К. Леонтьев

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ И ПИСЕМ

2

К.Н. ЛЕОНТЬЕВ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ И ПИСЕМ В ДВЕНАДЦАТИ ТОМАХ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВЛАДИМИР ДАЛЬ»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2000

К.Н. ЛЕОНТЬЕВ

ТОМ ВТОРОЙ

ПРОИЗВЕДЕНИЯ 1861—1864 ГОДОВ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВЛАДИМИР ДАЛЬ»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2000

УДК 8(47)82
ББК 84(05)
Л 47

Редакционная коллегия

С. Г. Бочаров, В. М. Камнев,
В. А. Котельников (главный редактор), Г. Б. Кремнев,
А. П. Мельников, О. В. Николаева, Н. Н. Скатов, А. Феррари,
О. Л. Фетисенко (заместитель главного редактора)

Тексты подготовили

А. Котельников, О. Л. Фетисенко

Комментарии составили

Л. В. Дмитриева, В. А. Котельников,
Л. Н. Мурзенкова, О. Л. Фетисенко

При подготовке данного тома использованы материалы,
хранящиеся в Российском государственном архиве
литературы и искусства
и в Государственном литературном музее

© Издательство «Владимир Даль», 2000
© В. А. Котельников, О. Л. Фетисенко,
подготовка текстов, составление
комментариев, 2000
© А. П. Мельников, оформление, 2000
© П. Палей, дизайн, 2000

ISBN 5-93615-003-8 (Т. 2)
ISBN 5-93615-011-9

ПРОИЗВЕДЕНИЯ 1861—1864 ГОДОВ

В СВОЕМ КРАЮ

РОМАН В ДВУХ ЧАСТЯХ

Часть I

I

«Каких страданий не переносит человек! О, Боже! Чего не терпит он в жизни — болезни, обиды, сомнения, нужду, обманы! И если бы от этого была польза другим; но нет: и другой страдает, и третий! Все мы друг друга гоним и тесним, все боремся из-за хлеба и крыши!.. Вот я теперь врач: я имею право решать участь семейств; я могу спасать людей; могу иметь чины; лет через 20 уже буду не бедный мещанин Руднев, незаконный сын крестьянки, а доктор Руднев — генерал от медицины.

Приятно, конечно, быть доктором! Но остаться здесь, в Москве; ждать-ждать, работать и не видеть, не чувствовать своей работы в куче других алчных работников! Не лучше ли производить меньше, да на своем станке, чем быть фабричным».

Руднев глядел на свою жалкую комнату: в воздухе пахло соседней кухней; сальная свеча догорала в черепке: диван, прорванный до того, что один товарищ принял паклю, которая из него вылезла, за собаку и отскочил от нее; окурки и сор на полу; на самом — старый халат...

Не лучше ли в глуши? В глуши, ему казалось, легче сохранить драгоценную теплоту своих помыслов — единственное благо, в которое он верил.

Стрелой промчались первые годы его жизни, и уже сколько горя, сколько мелких, но для него тяжелых испытаний!

Картины прошлого? Но где они, эти милые картины? Отца он вовсе не помнил, и слава Богу! мать помнил только в самом первом детстве. И хорошо было это первое детство! Разве он не помнил сам немного, и разве не рассказывал ему кой-кто, какой он был дикий, слабый, боязливый и сердитый мальчик? Коров и собак боялся, спать около белой печки боялся, гостей боялся. Другие дети, красные, толстые, шумят, играют, воюют, игры, драки затевают; а он бледен и одинок, как церковная свечка в уголку!

— Недотыка! Недотрога! — зовут его дети, ноги ему подставляют; покажут ему издали пушок или палец: он уже кричит и плачет.

— Какой несносный! — говорят уездные отцовские родные.

— Вася, вот тебе новый стулик; у тетиных детей у всех есть стулики, вот и тебе...

Вася рад; сел на стулик и от радости ни слова!

— Что ж ты тетю не благодаришь, свинья какая! — говорит одна старушка.

— Эх, матушка, — отвечает другая, — еще благодарности от этого хамья ждать. На то и мать его мужичка; ведь отец-то его, тем что женился перед смертью на ней, благородства не придал!..

Вырос дитя стройным отроком; а все бледен как воск и нежен как девушка, и глаза печальные. Кто, имея душу, видел его раз, тот не забывал его лица, его бровей, как нарочно потемнее и поотчетливее начерченных; его темных волос, которые сами поднимались хохолком над выпуклым лбом.

Вот он уже прилежный ученик: тетради его как бисером нанизаны; с золотой доски не сходит; от всякой шалости подальше; в свободное время вырезывает и скоблит линейки, тетради шьет, рисует, карты чертит. Тетради свои он

не дает всякому, а кому и дает, всегда скажет: «Я ничего не прошу для себя, и вы меня оставьте!»

Иной товарищ схватит тетрадь да ему в шею или по щеке!

Нередко он возбуждал зависть и злость товарищей тем уважением, которое ему оказывали учителя. Учитель математики, который всем говорил «ты» и «осел» или кричал: «ступай, осел, ступай; что ты начертил, вместо барометра, соху какую-то; ступай к отцу в деревню пахать!» — этот учитель звал Руднева «вы» и «г. Руднев», хотя по закону Вася был менее, чем кто-нибудь, «господин»; уже заранее кивал головою и закрывал от радости глаза, когда фаворит его выходил и начинал: «два параллелепипеда, равных основанием и равной высоты». И никогда не скажет, как другие с грубой поспешностью, какой-то «пирипипид», а так чисто и твердо: «параллелепипед!»

Зато, при случае, товарищи и не щадили его и прозвища ему другого не было, как то бранное имя, которое напоминало ему его незаконное рождение, страдания его матери, его податное сословие. И если гнев и отчаяние заставляли его изредка изменять своим тихим привычкам, он кидался на силачей и с невыразимой смелостью шел на побои и терзания... Его душили, топтали, драли за волосы до того, что дня два гребенкой было больно тронуть.

Кончилось это, стал он студентом; отдохнул бы! Но тут он в первый раз узнал настоящую нужду, стал часто болеть, едва успевал управляться с непривычными занятиями. На воображение его раздирающим образом действовали трупы синие, зеленые, худые, раздутые водой, удавленники, замерзшие пьяные женщины, одинокие старички и старушки, которых никто не требовал для похорон и которых терзали на куски для студентов... Он должен был прожить целый год в борьбе с самим собою, чтобы привыкнуть к постоянному созерцанию смерти во всех ее самых грязных, самых скучных видах; прожить года три в мучительном полубезверии; томиться то страхом небесного наказания, то стыдом от своего малодушия и боязни; сносить

всю тоску мнительности больного и не привыкшего к научным тайнам человека, который начинает везде видеть яд и смерть вокруг себя — и в воздухе неудобного жилья, и в заразительном воздухе больниц, и в дешевой, кой-как приготовленной, пище, и в сидячих трудах, и в оттепели, и в морозе, и в зною, и в дожде... Нет, Боже, Боже мой! это уже слишком много для одного!

От товарищей он бежал — что̀ ему в них? Одни — веселые ремесленники; другие — люди светские; третьи — такие же жалкие, каким он сам себе казался; иные глупы, иные молодцы, но бесстыдны, кощунствуют и издеваются над трупами.

Когда кто-нибудь из них звал его в театр, он говорил: «В театр? Для чего. Чтобы увидать там краски, горы, море, прекрасные глаза, слышать музыку, вернуться домой и сказать себе: „это только театр!"»

Однако у Руднева был один верный друг — дядя, и не родной брат отцу, а двоюродный; близкие родные все отняли у него, что̀ после отца осталось; а этот дядя жалел его еще тогда, когда он был у матери на руках, и с матерью был дружен; студентом Руднев каждое лето ездил в его деревушку. В деревне этой было всего тридцать пять душ, и вид ее вблизи был, конечно, слишком беден и невесел; дом дяди — просторная, старая изба; сад — две десятины; два-три сарая; изломанная повозка на дворе... Но, если Руднев мало помнил веселого, зато помнил много покойного и трогательного, и все, что̀ он помнил покойного и трогательного, было в деревне у дяди — прудок, в котором они уживали рыбу с матерью, огни деревенские, березник редкий и печальный над страшной рытвиной, промытой к Пьяне весенними ручьями, луга перед сонной Пьяной, на которой летом расцветают белые и жолтые водяные лилии; доброе, розовое, почти девичье лицо матери; стан ее, слишком рано растолстевший от сидячей жизни; игра любимых его коклюшек в немой и ослепительный зимний полдень; ласковый голос матери в шутливую минуту: «Васюта! Притвори-ка дверь, а то маленько вет-

рененько!» и голос умирающей: «Вася, мой Вася! пожила бы я еще с тобой, ангел мой!»

Там и дядя, и старый Гаврило — летом огородник, зимой столяр и плотник — один весь от рождения набекрень, другой крючком от старости — рассказывали ему про мать.

— Родился ты в городе, в самое Крещенье, — говорил дядя. — Что за страданье было! Покойный брат сидит в столовой и рыдает как баба, усач-то этакий! «Я погубил ее, я погубил ее, окаянный грешник! Иоанн Креститель, угодник ты Божий! Ты главу свою положил еси за ны! Погуби в этот святой день твой и мою главу, старого грешника; да сохрани, угодниче, душу сироты невинной, сироты безгрешной! Я, говорит, соблазнил ее: я — грешник поганый. Во всем-то я грешен, как посмотрю — и в прелюбодеянии, и в гневе, и в любостяжании, и в гордости грешен!» А народ с иордани валом валит мимо окон и слышит, как она стонет: «Вот, говорят, душегуб Руднев, кого-нибудь из своих дерет!» Я подошел, взял его за руку и говорю: «Успокойтесь, братец, не гневите Всевышнего. Он даде — Он и отнимет... Он даде — Он и отнимет!» — «Братец, — говорит он, — за что же ее душа смертный грех на себя взяла?» — «Очистится, братец, — я говорю, — очистится. Я послал уже за отцом Дмитрием; он прямо с иордани сюда». И представь себе, Вася, едва перешагнул порог от. Дмитрий, так она и разрешилась благополучно. Так брат вбежал к ней, упал около кровати на колени и ну, молча, земные поклоны класть, и ну, поклоны класть, и ну, земные поклоны класть!..

Да! Старый отец любил молодую мать! Но как? Хоть она и звала его своим благодетелем, хоть и рыдала навзрыд по нескольку раз в год над его могилой; но не сама ли раз она, не остерегшись детской внимательности, сказала при нем дяде: «Как не болеть мне, родной, как не болеть — ведь на мне разве печка только не была!»

И Гаврило тоже — он помнит, сам на корточках сеет в грядку у заднего крыльца жалкие ноготки и бархатки, которыми пренебрегает всякий хороший садовник — сеет эти

никому не нужные цветы, как нарочно, чтобы еще больше разжалобить отрока-страдальца, и ворчит, и ворчит...

— Маменька ваша! Маменьку вашу все мы помнить будем... Чего только она и за себя, и за народ ни приняла на свою голову! Хмельной из города приедет, она норовит первая выйти, пусть на ней злость сорвет. Бил он ее, бил! Под диван раз ногами засовал. Самый последний Ирод проклятый, мужик сельский, пастух деревенский, и тот свою дуру-бабу, кичку рогатую, больше жалеет, чем ваш батюшка вашу матушку жалел, когда хмелен бывал. А она, сердечная, ни гу-гу! Вот после его смерти, царство ей небесное, на волю меня отпустила, да разве я пойду куда отсюда? Ни за какие мильоны и от живой бы не ушел, и от могилы ее не уйду! Разве она мало нас всех жалела? Никто бранного слова от нее не слыхал! Вот разве девчонки? Так ведь вошкариц этих если не бранить, так что же это будет? Раз, уж вдовья была, здесь жили, уехали в Саров на трое суток Богу молиться и приказала Матрешке да покойнице Ольгушке: «Ночуйте — одна у меня в комнате, а другая у Владиміра Алексеича, чтобы клопы не оголодали». А они, дуры, побоялись врозь ночевать, да обе вместе в кухне и спали. Приехали господа; клопы оголодали, да всю ночь спать им с дороги не дали. Так еще бы и за это вошкарицу не бранить. Я и тогда сказал: «Дайте-ка, матушка, я их крапивой пострекаю сзаду-то; у них шкура больно нежна стала!» — Разве они клопов боялись? Да ведь она, девчонка-то, спит как бревно! Разве ее клоп проймет? В кухне им прусаки все руки поизъели, а все сопели, всю ночь сопели! Однако маменька ваша не приказали крапивой сечь, а только дурами их назвали да посмеялись.

Все это он слышал в Деревягине; и если само Деревягино было жалко и сухо, то вся окрестная сторона, напротив того, оживлялась лесами и рощами, множеством сел, усадьб и простых деревнь; народ в их краю был нарядный, сытый и красивый; куда ни оглянись, везде белелись церкви из-за зелени; сколько разных помещиков жило в их стороне! Руд-

неву до них самих не было дела; но приятно невидимкой чуять жизнь неподалеку от себя... и самое Деревягино выигрывало от таких окрестностей. Все знакомые имена!.. (и даже дорогие, пока Руднев не существует для их обитателей)... В четырех верстах от них пышное Троицкое, на самом берегу Пьяны: бор большой; дом большой, кирпичный с белыми украшениями, с маркизами и террасами, ковры цветников сбегают к реке из парка; фонтаны бьют все лето; по холмам шире другого уездного города раскинулись избы; сколько новых срубов! Сколько картинных уголков! Здесь живет уже лет десять г-жа Новосильская с тремя детьми, и дядя часто бывает у них; и хотя сам Руднев, конечно, не поедет к ней в дом, но за церковной оградой Троицкого стоит простая деревянная решотка над его матерью, которую он так любил, что до сих пор весь содрогался, встречая вдруг на улице слишком полную и румяную молодую женщину. В кустах Троицкого он часто охотился прежде с дядей в «нахлопку» с борзыми и навсегда привязался к охоте. За Троицким, верстах в 12-ти, скромное и чистое Куреево, где живет всем известный в их стороне человек — предводитель Лихачов, получая от дворян большой оклад за свою службу. В Куреeве — большой осинник и два дикие флигеля с красными крышами друг против друга; налево — предводитель, а направо его младший брат — статный молодец в поддевке с надменным выражением лица. Дальше бор большой; а за бором в Чемоданове большой дом г-жи Забелиной, грозной старухи, вдовы трех мужей. На столбовой дороге — щегольское, новое жилище красавицы и губернской щеголихи — Протопоповой... Избави Боже от знакомства с ними! Но картины их деревень уже не вырвать из сердца!

Туда, к доброму дяде, поедет он теперь, и все лучшие места при столичных больницах не соблазнят его! Теперь он жаждет только одного: отдохнуть на чистом воздухе и привести в порядок свои мысли; а там, пускай придет и смерть в своем углу, как смерть дерева в лесу, правильно, и привольно погибшего от старости!

II

«Как сильно пахнет свежим тесом в этой новой пристройке! Что за воздух везде — и в пристройке, и в саду, и в лугах, и над рекой, и на мирном и таинственном гумне за овином! Как мало нужно человеку, чтобы прожить век в неспешном труде и пламенном и торжественном молчании. Где смрадные трупы, где ужасная квартира, измученный студент? Куда исчезло все это?»

Здесь хоть и тесно, но все удобно и свежо. Его пристройка на углу; два окна в огород, а третье с видом на Пьяну. Своей рукой, распевая песни, прибил он простые полки к стене; растрепанные книги его пока в порядке, и сам он едва ли когда подходит к ним; взглянул с уважением издали и отвернулся к окну. Для будущих бедных больных уже готов шкафчик с пустыми коробками и банками; у окна стол для аптечной работы. — И посмотрите, здесь все можно найти! Все необходимое, простое здесь доступно человеку. Вот, вместо сифона — пузырь с деревянной трубочкой домашней работы; нашлась где-то лейка и большая фарфоровая чашка без ручки вместо ступки и настоящая медная ступка. Дядя долго рылся в вещах покойной матери, отыскал там костяную ложечку и маленькую терку и сказал: «Это для корешков. Не знаю, как по вашей науке, а я полагаю, что ископаемое царство вреднее трав. Я думаю так: где находится болезнь, там и трава растет нужная. Вот по Пьяне лихорадочки живут, а по межникам полыни множество и трифоль в болотцах. У мужика натура крепкая, и простым пособишь!»

Весы и разновес подарил ему уездный аптекарь, чтобы не забывал его, когда войдет в силу. Сломало ветром сук у яблони; дядя погоревал, а столяр отрубил от сука кусок, выточил змейку, покрыл лаком, раскрытую пасть выкрасил красной краской, глаза сделал, укрепил ее хвостом на пьедестале, вдел в рот весы и сюрпризом поставил на аптечный стол. И вешать ловче, и красиво, и случайная эмблема Эскулапа, и дружба столяра! Во всем этом слы-

шал Руднев живую душу, все эти мелочи принимали сами собою, без всякого усилия мечтательных мыслей, в благородном сердце огромные размеры... Какое чистое пламя любви и человечности загоралось в отдыхающей душе!

Уж скоро два месяца живет он так и думает. Дядя не мешает ему. Дядя сам всегда скромно жил и скромно живет до сих пор; молодости он не знал, зато и старость в нем незаметна. А какой он маленький, слабый, кривобокий! Сам сознается, что товарищи в детстве его дразнили: «фик-фок на крив бок!» А он нисколько и не горюет об этом. Горевал ли прежде — кто знает! Верно, не очень сильно. Самый вздох, с которым он, опускаясь сейчас на скамью заднего крыльца, раскрыл свою любимую книгу — разве это вздох настоящего страдальца? Нет! настоящему страдальцу впопыхах и вздохнуть нет времени; настоящий страдалец — тот, чье достоинство рушится в прах в озлобленной, сухой и суетной борьбе! Крик тому наедине с самим собою, скрежет зубами, а не вздох с раздумьем и глубиной! Посмотрите на дядю — торопился ли он когда? Посмотрите, какой он удобный, опрятный, смирный. Едва встал, сейчас помылся, выбрился и пригладился: хохолок фамильный, рудневский, кверху — это значит достоинство; виски вперед — означает любезность; сюртук коричневый надел, в зеркало старинное посмотрелся, и лицо не стало грустнее от того, что «фик-фок на крив бок!» Ничуть не бывало! Еще ободрился, как увидел себя; ободрился, взял трубку и вышел к старосте, и затвердили одно и то же на целый час.

— «А что, Тимофей, сено выкосили?» — «Выкосили». — «Выкосили, не выкосили...» — «Даст Бог погодушку, не даст Бог погодушки...» — «Не любит мокроты сено!» — «Беда как не любит сено мокроты». Точно это — новость какая для них. И тут не спешат; между каждым вопросом и ответом помалчивают и подозрительно глядят друг на друга; староста как бы невинно бороду выставил вперед: «на, вот — я весь тут чист и свят перед тобой!» А дядя курит трубку.

Уйдет староста; дядя по биркам считает или на работы смотреть пойдет; или табак сам себе растирает, или сядет читать.

— Дядя! что это вы читаете — «Памятник Веры» или «Театр света»?

— «Памятник Веры» читаю.

— Ведь он на четных страницах «Памятник Веры» и на нечетных — «Дневник Российских достопамятностей». Так вы где?

— «Памятник Веры» читаю.

— О ком?

— Преподобного отца нашего Мартиниана.

— Почитайте-ко громко — я послушаю. Что̀ он делал, Мартиниан. Посмотрим.

«Святый Мартиниан с осьмнадцати лет водворился в пустыне близ города Кесарии Палестинския. Во всем городе чудились пустынническому житию молодого и прекрасного юноши. Одна прелестница потщеславилась перед мерзкими подругами своими, что она искусит и преодолеет его воздержность. С сим дьявольским намерением в один дождливый вечер прибежала к пещере в рубище, но с узлом нарядного платья, и жалостно возопила к пустыннику: „Праведниче Божий! спаси меня; я сбилась с дороги, не знаю теперь, куда идти; не отдай меня на растерзание зверям". Пустынник должен был дать ей у себя пристанище. Передняя пещера была предоставлена ей в ночлег, а внутренняя осталась для хозяина. Ангел сатанин начал тревожить мысли возненавидевшего мiр. Пустынник на самом рассвете хотел бежать от соблазнительного предмета, но вдруг увидел пришелицу в городском наряде и пришел в оцепенение. Коварная, пользуясь его недоумением, начала истощать всякое красноречие, чтобы соблазнить невинного. Чувствующий вожделение и вместе преступление, вышел из пещеры, набрал хворосту и, в глазах соблазнительницы зажегши оный, стал на огонь, весь опалился и сам себе сказал: „Что̀, Мартиниан? лучше ли приять огонь вечный или сие временное мучение?" Хра-

нитель невинности едва мог выскочить из огня и пал от слабости.

Побежденная и посрамленная сбросила с себя цветное одеяние в тот же огонь, надела на себя прежнее рубище, пала к ногам страдальца, молила его о прощении и поклялась перед ним очистить себя от всех прежних грехов целомудренною жизнию. Преподобный Мартиниан оставил по себе пример целомудрия».

Уж дядя давно кончил; уж пообедали вместе; старик, севши в беговые дрожки, поехал в Троицкое играть с «графиней» в шахматы, как будто вся его обязанность заключалась в том, чтобы знать о Мартиниане, а не в том, чтобы подражать ему — а молодой Руднев один на крыльце.

— Ах! Мартиниан! Мартиниан! Как ты прав! Как приятно одиночество. Пусть это чувствовал смуглый аскет в азиятских сухих скалах и под пальмой; но разве оттого, что на мне нет хламиды и что живу я на влажных берегах Пьяны, я не пойму его? Дядя-чудак больше моего обо всех этих отшельниках знает и не стыдится по целым часам смотреть, как крестьяне для его пропитания хлеб молотят или в анбар ссыпают; велит стул себе перед гумно принести, кисет, табаку, связку баранок, а вечером, после «Памятника Веры», к «графине» в шахматы или карты по три раза в неделю не боится ездить!.. Нет, я бы на этом не помирился! О, тишина, святая тишина! Ты научишь меня, что̀ делать!

Но дядя ехал не просто играть в шахматы в Троицкое: он ехал жаловаться на застенчивость своего приемыша и друга.

Давно уже мечтал Владимір Алексеевич о том, чтобы именьице, которое он взлелеял вставаньем до света, мелкой придирчивостью к людям, копеечными оборотами и кое-какими побочными доходами в то время, как был непременным членом в соседнем городе — чтобы это именьице не досталось законным родственникам его, а Васе. Вася должен поскорей дослужиться до дворянства или же-

ниться на дворянке, которая за него бы владела деревягинскими душами.

— Так ты, Вася, в Троицкое не поедешь со мною? — спросил после обеда Владимір Алексеевич.

— Нет уж, дядя, поезжайте одни! А я поеду на днях панихиду по матушке служить, — отвечал слабым голосом Руднев, зная, как он этим отказом огорчает дядю.

— Панихида, конечно, долг, — сказал дядя, — а и туда бы к ней самой недурно...

— Зачем?

— Рассеяние.

— Я не скучаю.

— Разве тебе она не по душе? Добрейшего сердца дама. И вид какой...

— Видел я ее в церкви!

— Что ж, Вася, разве плоха?

— К чему это такой рост? — с пренебрежением отвечал Вася, — и очень много уж руками рассуждает. Мне к такой рослой женщине и подойти страшно.

— Ты любишь книги, а книг там много. Молодежь, девицы бывают иногда, иногда бывают девицы...

— Вам все женить меня хочется, дядя... Нет, вы это оставьте! И к чему это мне жениться? Чтобы в тесноте кислым молоком пахло? или чтобы с женой в кибитке тащиться и нюхать, как рогожей воняет, и смотреть, как она клушей сидит? А я от жалости возненавижу ее... Нельзя не возненавидеть человека, которого надо беспрестанно жалеть! Сил не станет.

— Ну, служить! — помолчав, сказал дядя.

— Служить; рад бы, да в город смерть не хочется, а здесь как служить? даже в троицкий лазарет ездит доктор из города...

— Если хочешь, я похлопочу, чтобы тебя...

— Нет, нет, избави вас Боже!

— В таком случае практику надо по домам завести, у других отбить. Скоро ты и христианству своему пищи и опоры не найдешь. Последние свои пять рублей издержал

из лекарства; а после что̀ будет? Лечи помещиков... По крайней мере, источник есть, опора, пища, источник есть! И крестьяне своим порядком могут дань доставлять: куры, яйца, полотно...

— Без источника я сам знаю, дядя, что нельзя... дайте образумиться.

— Живи, живи себе, Вася, как знаешь; я говорю только из предусмотрительности об источниках... Для твоих же христианских правил.

Руднев покраснел. 10

— Далеко кулику до Петрова дня, дядя, и мне до христианских правил далеко! Если б я надел тулуп и почти не жил дома, и ходил с котомкой от старухи к старухе, от больного к больному: кто в силах сам купи лекарства, не в силах — я помогу — вот тогда бы я был христианин! Чтоб каждый грош, который я отдаю бедному, отзывался во мне, с непривычки, лишением и страданием — вот это — христианин! тогда бы я и к помещику пошел бы смело и взял бы с него деньги, чтобы обратить их туда же. А я ведь этого не делаю... И даже, — прибавил он, 20 вздохнув, — не стану ничего предпринимать решительного, пока не приду в себя, не обдумаю всего, что̀ мне нужно.

Руднев продолжал ходить по комнате; дядя внимательно следил за ним глазами.

— Старик стариком сгорбился, — заметил он наконец с досадой. — Это упорство заметно в тебе с малых лет и происходит ни от чего другого, по моему мнению, как от твердости характера!

— Какая у меня твердость! 30

— Нет, твердость есть, твердость есть... Как хочешь, брат, а твердость есть!

— Да что же вы меня как будто обвиняете? Я очень рад, если она есть.

— Это, смотря по обстоятельствам дела, Вася, смотря по случаю; я тебе скажу про себя. У меня всегда был твердый характер. Но изволишь видеть, где ахиллесова

пятá... Человек твердый упорствует во всем и не без ущерба иногда! В 48-м году была холера и меня затронула. Признаюсь, я испугался; потом мне стало легче; но что ж? никто не мог успокоить меня, дрожу от страха. Человек слабый успокоился бы давно; но я, твердый характер, стал на своем: боюсь, боюсь и боюсь. А это вредно, ты сам знаешь! Так вот и ты себе на зло все делаешь...

После этих слов дядя уехал, но всю дорогу не выходила у него из ума задача, как бы оживить дорогого упрямца и отшельника.

III

— Здоровы ли вы, Владимір Алексеич? — спросили в Троицком старика Руднева.

— По мере возможности, графиня, по мере возможности... Года уж не те...

— Отчего ж? Вы гораздо старее меня, а я перед вами развалина. Завтра хотим ехать в *** монастырь... Боюсь, что недостанет сил сделать верхом сто слишком верст взад и вперед. Грудь болит, и голова кружится.

— Года уж не те, графиня! Бодрости нет — сообщения соков...

Хотя Владимір Алексеевич с трудом решался говорить про свои чувства, пока не было в этом крайней нужды, но Новосильская умела сейчас узнавать, когда соседа волновало что-нибудь: язык его не выдавал, но выдавали брови, которые прыгали и от радости и от горя.

— Вы что-то не в своей тарелке! — сказала она ему. — Скажите-ка, чтò с вами... Не пригожусь ли я?

— Да все Вася... с Васей вожусь.

— Чтò же он?

— Пыжик; кàк был в десять лет пыжик, тàк и в двадцать остался... Нет, нет и нет.

— Чтò нет? Служить не хочет?

— И служить не хочет, и к вам ездить не решается...

— Хотите, — сказала Новосильская, — я сама ему первый визит сделаю? Завтра мы все, и Лихачовы с нами, заедем к вам около двенадцати часов... Это по дороге; и уговорим его... Я и детей заставлю просить... А уж раз познакомится, не будет бояться нас...

— Только вы его не слишком! Изволите видеть... надо знать человека... надо знать человека...

— Не беспокойтесь, — сказала Новосильская.

Старик притаился так, что Рудневу и в голову ничего не пришло.

На следующий день он сидел у окна и читал. За полчаса перед тем ушла от него первая пациентка, которой он сделал пользу... и с которой ему было очень много хлопот. В дядиной деревне никто и верить не хотел, что «Васинька-то дитятя» стал «лекарем». У старухи распухла нога; Руднев купил на свои деньги камфары и спирту и сказал: «Растирать, а завтра сделаю бинт и бинтом тебе...» А старуха подумала «винт» и, когда он вышел из избы, подняла крик, что над ноженькой своей баловать не даст, и чорт бы старого барина взял, что он ее научил Ваську-дурака призывать. Камфару забросила, а спирт выпили внуки старухи.

Купить больше было не на что: крестьяне своих денег не давали, а у Руднева уже не было; насилу выпросил у дяди полбутылки деревянного масла, смешал его с камфарой, которую забросили на полку, и насилу наш молодой доктор убедил старуху, что у него в руках «бинт», а не «винт». Бинтовал он отлично; старуха разлакомилась и все приговаривала невестке: «Ай-да Вася наш... Вася... мне и то легче стало... Нет, друг, он знает!..»

— Известно, кто чего держится, так тем и управляет, — отвечала невестка.

Опухоль через неделю спала, и старуха сама пришла к «дитяти» и принесла ему разукрашенное полотенце, которое он с удовольствием принял.

Приятное впечатление от этого случая было еще так сильно, что Руднев взял нарочно книгу, желая остудить

свое волнение; но читалось ему плохо... «Спасибо! спасибо!» — чудилось ему беспрестанно, — «Ты молодец!.. Живи ты нам на пользу и радость... Нет, Василий Владимірович наш ничего, тебя уважать можно. Ты людям нужен. Ты не последняя спица в колеснице... Спасибо, молодец; спасибо, молодец, Василий Владимірович. Ай-да Вася наш деревягинский!»... Наконец он положил книгу и, так, в самом хорошем настроении духа, глянул в окно на дорогу, которая вилась с горки на горку к реке.

Вдруг на первой горке показались всадник и всадница. За ними два других, еще трое, еще два — 9 человек! вдали чернелись экипажи... ближе-ближе...

Руднев уже ясно мог разглядеть все общество: впереди, рядом с Новосильской, солидно ехал длиннобородый, толстый предводитель на большой казацкой лошади; за ними, гарцуя на сером в яблоках, чересчур уже красивом коне, сопровождал скромную англичанку кудрявый брюнет в парусинном балахоне и синей фуражке; дети, берейтор-солдат, француз, должно быть, на чахлой клячонке, в круглой соломенной шляпе, спешили за передовыми...

Одно мгновение — Новосильская пустилась в гору вскачь; за ней другие; поворотили во двор; дядя уже суетился на крыльце... Филипп помогает дамам... Руднев! что̀ с тобой? В твоей ли пристройке такой шум, такая толпа светских людей? Едва находишь ты голос для коротких и смущенно-строгих ответов. Все улыбаются, жмут доктору руку, зовут и просят; дети расспрашивают: «Что̀ это? что̀ вот это у вас? а эта человечья голова зачем?..»

— Доктор, верно, френологией занимается, — говорит рослый и кудрявый молодец в балахоне.

— Разве вы верите в систему Галля? — спрашивает Новосильская с улыбкой, и сверкнула глазами так, что Руднев не знал, что̀ это: насмешка, ласка или светская наглость?..

— Нет, я занимаюсь немного рациональной краниоскопией и вообще остеологией, — отвечал доктор глухо.

— Вы ведь верхом поедете с нами? — перебивает его второй сын Новосильской, здоровый мальчик, лет одиннадцати, с приятно-русским лицом.

— На Стрелке; Стрелка смирная, — говорила старшая дочь, обращая на него задумчивые карие глаза...

— Милькеев, где мы будем теперь есть?.. — кричит третья дочь.

— Везде, — отвечает Милькеев.

— Дети! Довольно... — раздается голос француза.

— Он изучает всего человека, — шепчет дядя, где-то за шкапом.

— А, и вы любите исповедь Руссо? — спрашивает Милькеев, снимая с полки книгу. — Катерина Николавна и m. Баумгартен находят эту книгу грязной...

— Не правда ли, вы тоже находите? Разве можно позорить так, как он, свою благодетельницу, m-me Warens? — спешила спросить Катерина Николаевна.

— Нисколько, не нахожу-с...

— Что̀! что̀! — кричит Милькеев, — наша взяла! Не правда ли, доктор, нравственность есть только уголок прекрасного, одна из полос его?.. главный аршин — прекрасное. Иначе, куда же деть Алкивиада, алмаз, тигра, и т. д.

— Опять свое!

— Дело, дело говорит Милькеев, — перебивает толстый предводитель.

— Едемте, уж первый час. Едем!

Какой вихрь, какая слабость унесли Руднева, но он и оглянуться не успел, и возразить не нашелся перед этой шумной ватагой... перед этими детьми, которые без церемонии тащили его за руки и целовали его, умоляя не отказываться, и он, сам не зная как, очутился на линейке рядом с очень почтенной, седой дамой в синем шерстяном платье и большом платке, которую все называли то няней, то Анной Петровной. На козлах линейки сидел усатый армеец лет сорока с загрубелым и недобрым лицом в истасканном сюртуке.

— Капитан, — сказала ему Катерина Николаевна, — вот вам еще спутник; он будет вас мирить с Анной Петровной.

Капитан глупо и подобострастно улыбнулся и приподнял фуражку.

Все посели на коней и тронулись.

Веселый Федя остался верхом около линейки.

— Напрасно вы не хотели ехать верхом на Стрелке, — с сожалением сказал он Рудневу. — Какая это лошадка! Послушная, седло мягкое, казацкое... Мы у вашего дяди заранее узнали, ездите ли вы верхом, и он сказал, что вы ездите на казацком седле...

— Благодарю вас; мне и так хорошо.

— Доктора́ ездить не умеют, — заметил капитан, — у нас был лекарь, когда мы стояли в Каменец-Подольской губернии. Боже ты мой! Что за смех, как носит это его в треуголке лошадь по полю...

— Нѐчего смеяться так, — с упреком сказал Федя, — у вас в Каменец-Подольской губернии все вздор, капитан, случается. Зачем смеяться! Вы вот сами не умеете ездить верхом, а над другими смеетесь...

— Не люблю я докторов-живодеров, — возразил капитан, но Федя уже успел умчаться вперед с другим, и вместо него вступилась Анна Петровна.

— Вы, пожалуйста, капитан, этот разговор оставьте. Не знаю, кто больше живодер: доктор, который здоровью пользу делает, или кто своего слугу колотит, как вы своего Каетана бедного...

— Эх, Анна Петровна, Анна Петровна! Вы опять меня обижаете. Вот дайте только от передних остать. Я так припущу — держитесь только. Вот и доктор близко; коли ушибу — вылечит.

— Уж вы, пожалуйста, капитан, ваше балагурство оставьте. Прошу вас ехать, как надо, а не то я сойду! — сказала Анна Петровна.

— Вот, доктор, горе мне какое, — продолжал капитан, — мне не дают и побаловать; а Милькееву вон какое

счастье. Анна Петровна на него не рассердилась, как он ее нарочно вывалил намедни. Живут же люди со счастьем с таким!

— Напрасно вы думаете, что г. Милькеев вывалил меня нарочно. Василий Николаич так учтив, что он никогда этого не сделает. Вам бы еще надо у него вежливости поучиться!

— Нашли вежливость! Кричит с детьми на весь дом, глотку дерет. А как уж это он бабам потрафить мастер!

— Вы, капитан, в хорошем обществе не бывали, — гордо возразила Анна Петровна, — кроме резервов ваших ничего не видали. Если графиня согласна, чтобы молодой человек кричал во время игры с детьми, так не нам с вами осуждать его. А вот бабами женщин он называть не станет, как вы!

— Вы, Василий Владимірыч, — продолжала нянюшка, обращаясь к Рудневу, — не верьте капитану; это в его словах одна злоба говорит. Ему обидно, что у него Олю отняли; однако, посудите сами: разве могла Оля век у них одной арифметике учиться да священной истории? Она должна получить настоящее воспитание, которое г. Милькеев в состоянии ей дать. А г. Милькеев так вежлив и так добр, что он Феде никогда не позволяет крестьянским мальчикам так головою кивать, а непременно снять фуражечку... Он — прекрасный молодой человек, и вся вина его в том, что он не богат. А сам по себе он во всяком обществе годится. Хоть ко двору!

— Ну, уж ко двору-то его разве печки топить пустят, — прервал капитан. — Зазнался, забыл, как в оборванной шинелишке сюда пришел!

Анна Петровна пожала плечами.

— Уж о дворе вы не судите, капитан, прошу вас, при мне! Я двор-то знаю, капитан, позвольте мне судить об нем не по-вашему. Я двор знаю! И за границей была; когда я ехала с графиней на пароходе из Чивитта-Веккии, с нами ехал итальянский граф, граф Карниоли. Вот точно смотрю я теперь на Милькеева — борода чор-

ная, взгляд... Только Милькеев ростом еще повыше того будет.

— Как вы его, Василий Владимірыч, находите?

— Да, он собой очень хорош! — отвечал Руднев.

Капитан на это не возразил и молча гнал лошадь. Анна Петровна тоже не продолжала спора, и Руднев незаметно погрузился снова в себя. Обрадованный тем, что его не трогают, он с участием следил за комками земли, которые, отрываясь от колеса, летели мимо него на дорогу, думал о центробежной силе, озирал широкие поля, всматривался в толпу наездников, которые, чернеясь вдали, ехали почти все шагом под знойным небом, и скоро стал радоваться, что решился ехать.

Прошло так около двух часов... Проехали несколько рощей, спускались с гор и поднимались на них, миновали несколько знакомых деревень. Капитан с Анной Петровной уже помирились и дружески толковали о том, где больше белых грибов — в Сосновке или Солодовке, а Руднев все радовался своей свободе. Кавалькады не было видно: она скрылась за большим спуском. И он даже пожалел, что капитан так отстал, потому что все лица эти: Катерина Николаевна, Милькеев, Nelly, предводитель и француз с немецкой фамилией, начинали занимать его с ученой точки зрения.

«У Катерины Николавны, — думал он, — нос горбатый, римский, вообще слишком резкий и крупный для женщины профиль; у Милькеева нос тоже велик, но мягче абрисами и грубее общей формой. Оба брюнеты. Он моложе, она старше; он беден, она богата; оба, вероятно, дворянской крови (я ведь не виноват, что для антропологии этот момент важен); оба очень велики ростом; оба, говорят, умны. Но у нее глаза карие, уже несвежие, но беглые и блестящие; а у него серые, большие и томные, как у младшей девочки, Оли; только у Милькеева как будто добрее, чем у этой Оли. У него, кажется, голова шире, чем у нее и т. д. Что̀ из этого всего выйдет? Как применить эти примеры к тому вопросу, который предла-

гает Карус своим сочинением о „Символистике человеческой наружности"? У кого из них больше воли, ума — интересно было бы узнать! Только бы они не приставали; ведь они самые подвижные из всего общества; ну, как они больше других ко мне будут обращаться и из довольного своей судьбой зрителя обратят меня в действующее лицо? Счастливы зоолог и ботаник: они рвут цветы и режут животных, не рискуя утратить научное спокойствие в вихре тех проклятых ощущений, которые испытывает человек как член общества!» 10

Но размышления его были вдруг прерваны голосом капитана:

— Эва! Федя наш как жарит к нам навстречу!..

— Уж не случилось ли чего? — воскликнула с испугом Анна Петровна.

Федя уже был близко.

— Скорее, Матвей Иваныч, скорее! — кричал он. — Маша упала... Доктор, Маша ушиблась...

Капитан помчался. Маша сидела на траве. Она была бледна; мать, еще бледнее, поддерживала ее сзади; другие 20 молча толпились кругом, только изредка перешоптываясь:

— Вот, очень нужно! Кто ж пускает ребенка на старой лошади?.. Долго ли!.. Старая лошадь хуже бойкой! Споткнуться недолго... Она ничего не видит...

— Видит! видит — это случай!

Лошадь Маши была велика и очень красива, и отлично выезжена по-манежному; но она точно была уже немолода, и глаза ее были немного испорчены. Маша ее очень любила, потому что Бэла умела даже играть как-то правильно, красиво и покойно, а галопом ходила отлич- 30 но. Маша хотела перескочить через канавку, Бэла споткнулась, и все успели только с ужасом увидеть, как огромная лошадь всей тяжестью перевалилась как-то через Машу.

Руднев осмотрел «барышню» и расспросил ее; Маша божилась, что ей нигде не больно и что она просит «только оставить ее в покое». Послали гонца за коляс-

кою, усадили туда больную и с нею молодого и смущенного доктора.

— Тебе не больно? Тебе не больно нигде? — спрашивала мать. — Послушай, ты, как почувствуешь, сейчас скажи... А? Скажешь?

— Скажу, мама́, скажу... Ты ступай себе...

— Нет, ты, Маша, хорошенько подумай, где тебе больно... и скажи...

— Уж как будет больно, так и без думы услышит, — заметил предводитель. — Трогайтесь, что ли... Лучше на место скорей...

— Нет, вы ступайте, а я около нее останусь, — отвечала мать.

Но Маша и слышать этого не хотела и сказала: если к ней будут приставать, так она заплачет.

Катерина Николаевна сказала, что до той рощи, где был назначен первый привал, ехать нельзя, а надо будет остановиться в большом селе; до него оставалось еще верст пять или шесть, и поезд тронулся.

Сначала доктор молча и сбоку поглядывал на свою милую и бледную соседку; потом решился спросить у нее:

— Что̀ вы чувствуете?

— Теперь что-то рука стала сильнее болеть... А больше ничего.

Ее молчание и бледность пугали его; несмотря на все успокоения, которые могла доставить ему физиология — сердце все спрашивало... «Ну, если что-нибудь не так? Ну, а если! Такая нежная!.. и вдруг такая лошадь!..»

— Нет, вам ничего теперь... — угрюмо твердил он.

— Какой вы смешной, Василий Владимірыч; совсем на доктора не похожи... такой молодой... — отвечала Маша и, улыбнувшись, начала его рассматривать прямо в лицо, кусая ногти...

— Все доктора сначала бывают молодые; а вы все старых знаете... Вас не отучают от этой привычки кусать пальцы? — прибавил он не без искусственной строгости...

— Мама обещает квасцами или чем-нибудь еще хуже намазать руки... А Вася Милькеев бьет линейкой, когда нет мамки тут. При ней не смеет.

— А что̀ же она ему?

— Мамка сейчас: point de violence! Это у нее такая фраза всегда. Ах мамка, мамка!.. Где-то она едет?..

— Вот она близко, вот мама... вот она... смотрите... вам ворочаться не больно?

— Что это — все вздор! Мы с Васей Милькеевым вдвоем ездили на прошлой неделе в лес, так я распустила подпругу, а после дурно подтянула; а Вася не заметил, я и упала вниз головой, только в песок — не ушиблась. Вот они, вот они, все стоят под горой, ждут нас. Василий Владимірыч, вот Вася, вот мама, вот Nelly.

Федя уж скакал навстречу коляске.

— Тише, тише, Трофим Павлыч, — заботливо распоряжался он, обращаясь к кучеру... — больная, знаете...

Скоро радостная толпа окружила коляску; все увидали, что Маша улыбается и что доктор покоен, посмеялись с минуту и поскакали на гору, вперегонки. Только Федя остался у коляски; он взялся быть вплоть до ночлега курьером при сестре и через каждые четверть часа догонять всадников, извещая об ее положении. Он очень скоро познакомился с Рудневым и рассказывал все, что̀ попало.

Ласковое лицо его с ямками на щеках беспрестанно улыбалось, заглядывая на сестру, которая, кротко вздыхая, повторяла, покачивая головой:

— Ах ты Федя, Федя! Чудак ты, Федя!

— Такой уж идиот, — заметил Федя сам про себя и продолжал без остановки. — Я, доктор, идиот. Это меня прошлый вторник... нет в среду... да еще поддиктовка была... Вы знаете, что такое поддиктовка? Какие сестра моя ошибки делает до сих пор «под диктовку». Что̀ это такое, скажите? Смыслу нет вовсе! Кто идиот после этого — она или я?!

— А кто вас идиотом зовет?.. вы сказали...

— Вот m. Баумгартен... наш... Как вам сказать, он человек добрый... сопел только маленько.. Потлив... Очень неприятные у него руки... «Капли холодного пота выступают!..» Это он в классе на нас кричит: будто у него от нашей лени пот выступает. А уж у него природа, норов такой — мокрота! И вдруг, как завертится, затопчет — страсть! Вот Ваську Милькеева мы не боимся... Сначала так жутко, боязно маленько было. Воззри в леса на бегемота, что мною сотворил с тобой! А мы, знаете — лягушки, просящие царя... Видим чурбан, такое страшилище... и боимся. А после... Сначала такой суровый... А потом, вышел в сад и говорит: «Дети, хотите со мною играть?» Мы его за ноги да на сено и свалили! С тех пор ладно живем. Вот барышня, это первый друг — невеста Васиньки нашего, Мария — невеста с объеденными ногтями... Самоедка! Сама себя ест...

— Федя, полно болтать глупости, — сказала Маша, — у меня голова уж закружилась...

— Эх... Трофим Павлыч, — продолжал он, обращаясь к кучеру, — Трофим Павлыч. Что, как Лукаша ваша поживает?.. (И, не дожидаясь ответа, Федя обратился к Рудневу). Это — сестра Трофима Павлыча, знакомая мне кухарка... Я люблю к ней летом на сушила ходить... Летом я учусь скверно... Вот Мосенька... Винокура Исаака знаете? Его Мосенька... Сердце, злой тиран, тиран... Он поет эту песню... Так тот и летом и зимой всегда прилежен...

Маша смеялась до слез, слушая брата.

— Что̀ это он говорит? Я половину не понял, — спросил ее Руднев с удивлением.

— Он всегда так, — отвечала усталым от смеха голосом Маша.

Но Федя уже был далеко: он поскакал повестить, что дела идут отлично.

— Барышня смеется, — сказал он матери.

Уже было часов восемь вечера, когда приехали в большое село; ночевать остановились у одной богатой расколь-

ницы, которая за табак не сердилась, и по старому знакомству, и потому, что хату внаймы отдавала новую, а не ту, в которой сама жила. Вся деревня сбежалась смотреть на троицких господ; многие давно знали Катерину Николаевну и говорили с ней; и Руднев мимоходом слышал, как хозяйка сказала громко при всех:

— Э! Уж тебя-то, матушка, никто не боится. Ты уж дюже проста.

IV

Катерина Николаевна и за ней все пошли в избу, тогда со всех сторон кругом Руднева поднялся такой крик, смех и шум, что он уже ничего не мог разобрать. Бабы смеялись и толкали друг друга с крыльца; дети плакали, дрались и хохотали; собаки лаяли; из избы слышались голоса: то хриплый бас предводителя:

— Милькеев, а Милькеев! Эстетик Паша! Ваше изящество! а, ваше изящество! Поди сюда... Что̀ говорят-то здесь про тебя!

— Что вам?.. Некогда...

Потом вдруг тихо женский голос:

— Доктор-то лучше!

— Неправда, не лучше!.. Как можно, у него черты лица гораздо красивее ваших... Вот горе-то! Васька! У-у! Васька! — кричали дети.

— Нос очень красивый... — говорила опять Новосильская, — а глаза-то!.. Вот горе-то! Что̀ делать теперь?..

Потом взрыв хохота, а вслед за этим Милькеева дети вытолкали в спину на крыльцо и сами бросились за ним с криком:

— На реку!.. на реку играть!

За ними вышли Nelly и Баумгартен. Звали и доктора, но Руднев поблагодарил и остался на крыльце.

Бабы деревенские и дети разошлись скоро, потому что коровы и овцы вернулись с поля. Тогда Руднев закурил

сигару и с большой радостию отдался опять размышлениям о том, какие это люди окружают его и какую пользу можно будет извлечь из этого тяжелого для него путешествия. Не определит ли он наконец какие-нибудь психологические или физиологические черты...

«Главное, все они ничуть не конфузятся и никого не стыдятся... Это неестественно... особенно в этом Милькееве. Что̀ ему за охота как будто шута и балагура перед этой знатью разыгрывать», — думал Руднев, слегка и невольно прислушиваясь к разговору, который велся в избе между Катериной Николаевной и предводителем.

— Отчего он не приехал, скажите по правде? — спрашивает она.

— Опять то же! Помочь была! Ну, знаете!..

— Неужели до сих пор?..

Потом опять стихло, и слышался только шопот:

— Вот уже пять месяцев не пил — с тех пор, как вы ему говорили, — начал опять предводитель, — а вот теперь опять...

— Мы всегда видим только падение, — возразила она, — а не хотим и знать про борьбу, которая была перед этим падением. Вот это несправедливо...

— Вам издали лучше, — отозвался предводитель.

«Вот какую славную вещь сказала, — подумал Руднев, — не ожидал я от нее... Эх! опять стихло!..»

— Если Самбикин будет завтра, так и он будет, — сказал опять предводитель.

Катерина Николаевна засмеялась.

— Меня радует, что он боится показаться после кутежа... Это обещает... Не правда ли — это обещает?

— Обещает ли или нет, — возразил предводитель, — не в этом беда: женить бы его надо! — и, понизив голос, он продолжал:

— У Павла Шемахаева живмя живет. Сестра есть...

Тут уже Руднев не слыхал ничего, кроме возгласа «лихая!», и когда Николай Лихачов спросил опять погромче: «А Милькеев около Nelly вашей все еще выпус-

кает крыло?» — Руднев сошел с крыльца, не желая быть нескромным поневоле и услыхать какие-нибудь тайны.

Ему вздумалось пойти на реку, посмотреть на игры детей и молодежи. Но навстречу из-за угла показался Баумгартен. Лицо его было мрачно, руки скрещены на груди. Он сел на скамью и тотчас же обратился к Рудневу сперва по-русски:

— Вы один сидите, docteur?

— Один, m-r Баумгартен.

— Скучно, docteur, очень скучно. 10

— Вам или мне?..

— И вам и мне: nous sommes toujours seuls... Мы оба с вами пария, я вижу, — продолжал он по-французски (он говорил медленно, и Руднев с небольшим трудом мог понимать его)... — Да, признаюсь, эта русская жизнь убийственна! Она механизирует человека. Ça me mécanise horriblement! Скучно... скучно... Вам и мне скучно, доктор.

— Я не скучаю; я общества не люблю, m-r Баумгартен.

— Вы не любите, может быть. Я француз, хотя родился 20 в Альзасе, а уже давно сказано, что французы самый общительный народ в міре. Когда я жил в Nancy и Celestà, меня все звали ami Josephe или ami Bongars — ибо французы не могут выговорить — Баумгартен... Я был очень занимательный собеседник. Les parties de campagne, кости, шахматы, кофе; надо было видеть, как я выходил в длинном платье на кафедру и читал историю Франции. У нас министром определено все до малейшей подробности в преподавании. Взглянув на часы в Париже, он может знать, что̀ в эту минуту читается во всех департаментах; однако, не- 30 смотря на это строгое единство, я умел придать занимательность и жизнь своим лекциям. Работа кончена, и начинаются развлечения. Voyez vous... Un travaille noble, une aisance honnête, l'estime des amis, l'amour des femmes, docteur! J'étais la coqueluche des dames, docteur!

— Позвольте, я этого не понял, monsieur Баумгартен, мне показалось — коклюш...

— Oui, да, коклюш... коклюш... У нас так говорят — коклюш... Coqueluche des dames... j'étais la coqueluche des dames. У нашего мэра была дочь; мы с ней гуляли в саду, обнимались, лежали на траве... Конечно, это нескромно с ее стороны... Но она была очень умна; elle était bonne comme un ange et spirituelle comme un démon...

— Отчего вы не женились на ней?

— Согласитесь сами, что за охота жениться на женщине, которая гуляет со мной одна, до брака, в рощах?! цалуется... Вас берет сомнение... Не так ли? А здесь! Je m'abrutis!.. Вот уже год, как живу здесь, и не имею никакого сочувствия, даже сострадания не вижу... La comtesse, конечно, женщина добрая... Но в ней так много laisser-aller russe!.. А для меня долг выше всего... Дети тоже. C'est une éducation manquée... Сначала я хотел водить их гулять с собою и вести с ними, при случае, поучительный разговор... Что̀ может быть лучше ille tollit punctum, qui mismit utile dulci! У нас делают так, когда хотят дать правильное воспитание детям. Ребенок срывает цветок, я останавливаю его и спрашиваю: «Что̀ это?» Ребенок отвечает: «C'est une rose». «Qu'est ce qu'une rose, mon enfant?.. Какого растительного семейства? Куда употребляется?» Ребенок смотрит во время вечерней прогулки на звезды. Я останавливаю его и говорю ему: «Cher enfant, созвездие это называется, положим, так или иначе!.. около одного из светил, составляющих это блестящее созвездие... (я говорю, нарочно, заметьте, блестящее, чтобы поразить его воображение) обращается наше солнце. Громадное расстояние ничто для великого Творца... etc... etc». Прибавьте к этому исторические анекдоты, полезные игры, и вы получите стройное воспитание, в котором затрогиваются три главные элемента духа: разум (l'intelligence), чувство (le sentiment), воля (la volonté). Но здесь это невозможно... Дети убегают от меня, как от заразы. Они не злы; но Федя груб и почти идиот; Оля упряма, и хотя очень умна, но только в классе; кончились классы, она предпочитает скакать на настоящей лошади

или бегать с братьями на палочке... или играть в куклы с miss Nelly. Marie, Marie рассеяна et pleine de ce laisser-aller...

— Отчего же вы не обратите внимание матери?

— Мать! Мать! Мать скачет впереди верхом с г. Милькеевым или читает с ним Pouchkin et Tourgeneff. Elle le porte sur ces ailes... Я не хочу предполагать ничего дурного... Но он завладел всем домом... Он — оракул здесь. Он умен, добр, благороден, хорош собою, учен... Но, по моему мнению, это — человек ничтожный. Я стараюсь отдать себе отчет, чем он мог их пленить. Дети любят его рассказы; игры, которые он выдумывает, им нравятся... Miss Nelly est folle de lui... Laissez-nous donc vivre — вот его любимые слова!.. Но я сам жить не прочь. Я сам много жил; но у меня был час на все. Но здесь в России я не тот: я убит, я пария, я педант... И это потому, что я не эгоист; у меня есть характер, крепкая воля. Я ставлю долг и мелкие услуги другим выше всего. Я холоден, но это потому, что я тружусь; я не ласков, но это потому, что я стал недоверчив и скрытен; но я не эгоист. М-г Милькеев хвалит эгоизм... Он говорит, что «мораль есть рессурс людей бездарных!» Miss Nelly рада и смеется. Она квиэтистка — последовательница Кальвина... она рада предать все течению, и в этом случае его материализм совпадает с ее верой в провидение.

— Кажется, ужин в избе подан, — сказал утомленный этой вялой речью Руднев. Не пойдем ли и мы туда?

Ужинали долго, при свечах; шум и спор были ужасные... Рядом с Рудневым сидела Оля, а напротив ее Милькеев, и они городили такой вздор друг другу через стол, острили так бессмысленно и хохотали так громко при одном взгляде друг на друга, что доктору оставалось только удивляться, каким это средством дошел Милькеев до такой веселости, которая мыслящему московскому студенту совсем нейдет, а как будто искренна!

V

Ночевать Рудневу пришлось вдвоем с предводителем в избе. Милькееву, Баумгартену и Феде постлали на чердаке в сенях, а всем женщинам и девочкам был приготовлен ночлег в просторном сарае.

— Мужчины еще подожгут там у старухи, — сказала Катерина Николаевна.

Руднев тотчас же лег; а предводитель долго ходил по избе, разглаживая и взъерошивая бороду и усы.

— Я вам не мешаю? — спросил он наконец.

— Нет, — отвечал Руднев... — Ничего пока.

— Пока! И то правда, что спать пора... А что, вы будете служить? — спросил он сурово.

— Места нет теперь.

— Теперь-то нет, я знаю; а взяли, если б было?..

— Какое же?

— Ну, хоть окружного врача?

— Разве есть?

— Зон уезжает. Хотите, я похлопочу. Ведь разве легче так жить?..

С этими словами предводитель сел у стола и пристально, с участием посмотрел на молодого человека.

— Вам бы надо в Троицкое поступить.

У Руднева занялся дух.

— Что вы? У вас лицо изменилось?..

— Нет, ничего, я слушаю... Ничего мне!

— Я говорю, вам бы надо в Троицкое врачом. Окружным будете 300 получать, да здесь 600—700, вот и жить можно... Что-с?

— Я бы не желал служить в Троицком, — отвечал через силу Руднев...

— Это отчего?

— Не могу вам сказать... Тут слишком много причин...

— Как хотите. А кажется, отчего бы это не служить... Катерина Николавна — женщина добрая и умная. Дом

славный; семья славная. Чего бы вам лучше? Вы — человек образованный, должно быть, деятельный, будете полезны. Доктор В. стар и давно бы отказался, да некому его заменить... Катерина Николавна просит остаться.

— Поговоримте после. Я подумаю, — отвечал Руднев, стараясь отклонить разговор. В Троицкое он решился заранее не поступать; а потому ему гораздо интереснее было бы расспросить предводителя о Милькееве... Обдумывая раз десять свой будущий вопрос, он наконец было начал; но остановился вовремя и шумно повернулся к стене, желая еще раз напомнить, что давно спать пора. Предводитель это понял.

На рассвете разбудил его опять страшный шум... Изба была полна новыми лицами. Младший брат Лихачова тут, еще какой-то военный брюнет, огромный рост Милькеева, очки Баумгартена, предводитель, Федя... на стол дворецкий ставит самовар, стелет скатерть, и мимо окон ведут оседланных лошадей... Утро ослепительное, чистое... Лица все веселые... «Как спали? Как вы спали... Ели ли вас мухи?» Доктор благодарил всех и сконфуженный, что его застали таким заспанным и растрепанным, спешил на крыльцо. Федя прибежал туда, настоял, чтобы он позволил подать себе умыться, и рассказал ему, подавая, что «этот в поддевке с белокурой бородой — брат предводителя, а тот, военный брюнет — князь Самбикин. Этот князь Самбикин привез, кажется, письмо от нашего папа́... Вы знаете, у нас есть папа́... Он служит на Кавказе... А Лихачова Александра Николаича вы, кажется, знаете? Вася говорит, что он на чемодановского целовальника похож... Он очень храбрый — Александр Николаич на Дунае сражался, в Молдавии и Валахии был... Раз Васька сказал вместо Молдавия и Валахия — Малахия и Волдахия... Лихачов как над ним долго смеялся: ужас! Они — друзья».

— Друзья? — спросил Руднев, вытирая лицо.

— Друзья. Ведь Ваську Лихачов к нам привез, Вася очень беден был тогда... Пешком тридцать верст пришел к нам, последние...

— Вот как! Расскажите-ка...

— Theodor, — закричал из избы Баумгартен. — Не заставляйте вас ждать! Пейте чай... Мама́ сейчас на лошадь садится...

В самом деле, молодые люди едва успели проглотить стакана по два, как уже прибежал толстяк дворецкий и объявил, что Катерина Николаевна сейчас садятся и все барышни...

Все кинулись к дверям. Федя ухватился за полу Руднева и стал умолять его сесть на Стрелку.

— Седло казацкое, мягкое... Лошадка смирная... Не бойтесь, я вас на чумбуре поведу...

Баумгартен так был озабочен сам своею «Grise» (по-русски Крыса), что не мог остановить Федю. Федя умолял так настойчиво и ласково, утро было такое свежее, и Стрелка в самом деле казалась такая гладенькая и добрая, что Руднев решился на нее сесть, не делая больше никакого затруднения, и, чтобы стать выше собственного самолюбия, позволил даже Феде вести себя при всех на чумбуре.

Восторг Федин был страшный.

Он всем кричал:

— Я, Васька, на чумбуре доктора... Я на чумбуре, мама́, доктора поведу...

— Доктор вовсе этого не желает, — сказала мать. — Вы не слишком ему поддавайтесь — он надоедает ужасно, — сказала она. — Оставь-ка лучше.

Федя молча опустил чумбур, и слезы полились у него градом по щекам.

Все засмеялись, но Руднев поспешил вручить ему чумбур, и Федя, улыбаясь, как солнце сквозь дождик, скромно и стыдливо поехал с ним рядом.

Все общество двинулось из деревни по росистым полям. Впереди ехали Катерина Николаевна с князем Самбикиным, за ними две девочки с берейтором; за берейтором Nelly и Милькеев, потом предводитель с Баумгартеном. Сзади всех остались Федя с Рудневым и молодой

Лихачов. Он был тоже в Московском университете и скоро разговорился с Рудневым.

— Вы когда кончили курс? — спросил Руднев.

— Я? Я курса не кончил. Я только год или два был всего...

— Что же так?

— Надоело мне, по правде сказать. Грановского слушал, Кудрявцева иногда... А вообще-то я не очень люблю всю эту работу, я люблю вот деревню. Ну, и бросил. Сухая материя — эта юриспруденция. Я больше все на бильярде.

Мало-помалу разговор перешел на семью Новосильских и Милькеева, и Рудневу удалось наконец толком добиться от него, что̀ это за Милькеев, кто он и как он сюда попал.

— Он очень способный малый, — сказал небрежно Лихачов, — только чудак ужасный, помешан всегда на разных правилах — правилами живет... Я его давно знаю.

— Неужели он все делает по заказу или напоказ?

— То есть, не то что напоказ. А он, как сам выражается, дорожит «самым фактом красоты», он будет один на необитаемом острове — так и там то же... «Поэзия есть высший долг... Исполняют же люди долг честности, а я исполняю долг жизненной полноты». Вот этакие вещи, и за них он готов на виселицу... Очень добр, впрочем... Вообще, отличный малый... Будете вы нынешнюю осень ездить с собаками?

— Не знаю, право, Александр Николаич; Ерза околела, и дядя забросил псарню... хотелось бы обзавестись...

— Я могу вам с удовольствием предложить двух щенков от Лётки... заезжайте ко мне — выберете сами... Интересная помесь вышла от Крымки и Густопсового!..

— Благодарю вас... А Милькеев охотится?

— Куда ему!.. Он все с каким-то насосом ходит, из барышень поэзию выкачивать. Это — одна из его специальностей. Уже очень влюбчив и снисходителен.

— А что это я слышал — он к вам пешком пришел весной?

Лихачов махнул рукой и засмеялся.

— Этих штук сколько угодно!

Потом продолжал серьезно:

— У его отца славное именьице, душ в двести. Бросил все это, перессорился с братом и сестрой. Душно ему с ними: атмосферу, говорит, сгущают. Он ходил в ополченье, но, благодаря австрийцам, дальше Киева не пошел. Влюблен был там разом в трех: в еврейку, в помещицу и в хохлушку — Оксану. Он, я думаю, нарочно их отыскал и привел в порядок... Потом приехал домой к отцу готовиться на магистра... Вдруг, Бог знает почему, поссорился с родными, и в марте, в самую распутицу, поехал к нам; денег у него было мало и достало только до нашего уездного города, а остальные тридцать верст то пешком, то на обозы садился. Да это еще с ним не раз будет.

— А вы не знаете именно, за что он поссорился с отцом?

— Чорт знает, право! Отец его — капризный и скучный человек... Зять у него хитрый... сестра пустая. Она уже давно ему надоела, но он не хотел с ней прервать, потому что она à la Sand жила с этим зятем, ну, долг, знаете, правила его... Ходил, скучал у них. Отец ее не принимал, другие братья тоже. Как же ему не ходить! А потом, как она вышла замуж и приехала к отцу в деревню, и рассорился.

— Что̀ же ему именно в них не понравилось?

— Да это вы бы у него когда-нибудь расспросили, он расскажет с удовольствием... Впрочем, вот еще что̀ можно сказать, что он из тех людей, которых тонкие ощущения важнее крупных... Найдет у себя искру — и раздует ее, и надо отдать ему справедливость, с энергией идет по своей дороге... Не мог, говорит, видеть, что зять такой худой и чисто выбритый, все целовал шею сестры; а шея у нее старая; а сестра и кричит на зятя и детски жеманится... За людей потом что-то вышло... Пришел к нам на Страстной

и говорит: «Я к вам пришел есть; кормите меня». Рад, как Бог знает что... Хохочет... Ну, мы все его очень любим... Как нарочно, в Троицком не было в это время учителя, и Катерина Николавна хотела писать в Москву; мы его и устроили туда. Теперь пишет свою диссертацию.

— О чем она?

— Из государственных наук что-то, что-то вроде «О влиянии учреждений на нравы» — это одну; и другую, на всякий случай, маленькую, уже кажется изготовил, если ту нельзя будет пустить в ход: «О прямых налогах». Эта, кажется, у него тоже готова. Пробовал он мне читать... Да уж очень скучна! На деле все это прекрасно, но в книге...

Когда они поднялись на горку, навстречу им от передовых отделился Милькеев.

Лицо Лихачова повеселело... Милькеев тоже улыбался.

— Ну, что ты? еще не весь сок выжал из британки своей?

— Перестань врать, — отвечал Милькеев с недовольством. — Доктор, вас Катерина Николавна просила догнать ее на минуту, хочет что-то у вас спросить.

Когду Руднев отъехал от них, Милькеев спросил у Лихачова:

— Что он, каков этот Руднев?

— Не знаю, право, душа моя; кажется, обыкновенный студент, и, если не ошибаюсь, довольно скучный и бесцветный. Все выспрашивает... Видно, своего запасу немного... А ты что̀ поделываешь... Не грустишь?

— Нет, не грущу... Каждый день все благодарю тебя и твоего брата, что вы меня в Троицкое определили... Из дому, слава Богу, писем нет. Забыл я об них.

— Это главное, — отвечал Лихачов. — А ты слышал новость — этот несчастный Самбикин привез от мужа Катерины Николавны письмо и отдал ей сегодня поутру. Просит взять к себе на воспитание сына от француженки, которая была гувернанткой Маши и которую он обольстил.

— Возьмет она или нет? — спросил Милькеев.

— Еще бы не взяла! Такая оказия для нее — праздник. Она теперь поздоровеет на три недели. Поедем-ка к Nelly, ее ami Joseph совсем уж заел скукой!

Пока они говорили, Руднев подъехал к Катерине Николаевне и спросил, что̀ ей угодно.

— Вы, кажется, занимаетесь физиогномикой, — сказала Новосильская, — не можете ли вы по описанию князя узнать, какой характер у ребенка лет восьми?

— Я думаю, — заметил Самбикин вкрадчиво и тихо, — очень трудно узнать, какой характер у ребенка. Дети везде одни, и все от воспитания...

— Этого нельзя сказать, — перебил Руднев сухо. — А какое лицо у этого мальчика?

— Как бы это вам описать? Это трудно! Глаза у него светлые, лицо очень белое, худощавое...

— Нос и рот обыкновенные, примет особых нет, — докончил Руднев. — Так паспорты пишут!

Красивый князь покраснел и застенчиво улыбнулся, а Катерина Николаевна одобрительно взглянула на язвительного мудреца.

— Нет, вы не живописец, — сказала она Самбикину. — Впрочем, вы не беспокойтесь, я обдумаю... Вы говорили что-то об моем муже, когда я позвала доктора?

Руднев, полагая, что он больше не нужен, поспешил отъехать от них, а Катерина Николаевна продолжала:

— Вы не стесняйтесь — говорите мне все...

— Граф очень грустил все это время после смерти Clementine, — отвечал Самбикин, — и ампутированная нога его иногда страшно болит в рубце. Мне, право, так его жаль! Граф — такой милый, такой добрый, и судьба бедного Юши его сильно озабочивает.

— Успокойте его поскорее, что я не прочь и подумаю. Денег на воспитание мне не нужно. Пусть лучше те пять тысяч, которые остались от матери, пришлет, я их спрячу для Юши, а он все промотает...

— Вы слишком строги к бедному графу, — с вялой любезностью отвечал Самбикин.

VI

В старой липовой роще, на горке, над большим озером, был второй привал. Что за веселая картина!.. Над мирным озером, где все дно было видно — зеленая горка, на горке липы, под липами тень, а по воде и по лугам вокруг нестерпимое солнце... В тени стелют пестрые, бархатистые ковры, готовят большую палатку для ночи, разводят костер для обеда, лошади ржут, и люди шумят, звонят бубенчики, и колокол сзывает к завтраку! Одна забава сменяется другой, отдых — развлечением... Одни ушли за грибами в березовую рощу, которая обогнула все заливы и заливчики озера с боков и спереди; другие лежат на коврах и читают... Кто взял ружье и сел на маленькую лодку, которую привез тотчас седой и согбенный великан-рыбак с того берега... Вот утка вылетела, и слышится уже выстрел молодца-повара... А вот и Лихачов стреляет... Принесли грибы — идут все, и люди, и дети, и взрослые господа за ягодами... Никому не скучно. Пока Катерина Николаевна ходила за грибами и ягодами, уже ей между двумя липами повесили гамак над ковром, и она, как усталая и добрая царица, отдыхала на нем... И Руднева никто не трогает: не только не оскорбляют, но даже и занимать не ищут... Одно нехорошо: как эти молодые люди бранятся между собою и смеются друг над другом без страха и осторожности... Это удивительно!.. А еще удивительнее, что глядя на них, не обидно за них, и будь на их месте, так, кажется, и сам не обиделся бы... а на своем?.. Нет, уж покорно вас благодарю! Давича Лихачов говорил за глаза про Милькеева, что он с насосом ходит за барышнями; но это цветочки, а вот здесь-то ягодки — при всех, при женщинах, при детях, которых Милькеев учит... Подходит к Милькееву мисс Нелли и подает ему букет ягод.

— Закройте глаза скорее, — говорит ей Лихачов, — закройте, это василиск, ведь один взгляд его ужасен... — и не дождавшись, уже своей рукой закрывает глаза Милькееву.

Тот смеется. Катерина Николаевна хохочет.

— Василиск? Что̀ такое василиск?! — кричат дети.

— Василиск, это, как вам сказать, это — гад, такая ящерица...

— Ну, ты сам не знаешь... — говорит Милькеев.

— Бедный, бедный Вася, обидели, — восклицает Федя, с беспокойством глядя Милькееву в глаза, и, кидаясь к нему, целует его...

Сам Лихачов замолчал, тронутый этой неожиданностью, и все общество, молча переглянувшись, улыбается.

— Вы лучше спросите у доктора, что̀ такое василиск... — начал опять Лихачов сюрпризом для Руднева.

— Василиск, — говорит доктор, — это точно, это — ящерица... только, что она взглядом одним поражает и убивает, так это неправда... Это древние греки, кажется, верили...

— Василиск — значит царь по-гречески, — перебивает Баумгартен, — это название дано животному оттого, что у него на голове есть небольшой венец: кажется, так, docteur?

— Да, нарост, — сухо и глядя в сторону отвечает docteur.

— Греки эти были такие изящные! — вздохнув вдруг и кусая ногти, замечает Маша.

И потом тихо, все молчит: люди, озеро и роща! Вдали, вблизи, зелень и пестрые ковры, ржание лошадей и огонь костра...

— А ведь ты в самом деле на того целовальника похож, Лихачов, — начинает теперь уже Милькеев...

Лихачов улыбается и хочет отвечать.

— Только он поделикатнее, поизящнее будет немного.

— Гиппопотам ты этакий!

— Что̀ такое гиппопотам? — спрашивают дети.

— Все равно, что бегемот: большая свинья, которая в Египте, кажется, живет.

— Болван! — отвечает Милькеев.

И все опять хохочут. Дети спорят между собою: как лучше назвать Ваську, бегемотом или василиском.

— Он — Вася, значит, василиск и будет, — решает их спор предводитель.

— Василиск! василиск! Вася, ты — василиск.

За обедом опять спор, даже ссора.

— Французская нация любит равенство! — говорит гордо Баумгартен, — за равенство она с радостью отдает жизнь...

— И свободу! — прибавляет предводитель, — а равенство целью никогда не должно быть.

(Руднев, поклонник Руссо, напрягает слух.) 10

— Как так? — с удивлением спрашивает Катерина Николаевна, — равенства не надо... И это вы говорите?

— Я-с. Равенства должно быть настолько, чтобы оно не стесняло свободы и вольной борьбы.

— Я думаю, главное, чтоб не было насилия?.. — возразила Катерина Николаевна, — это — главное... Или нет...

— Все условно-с.

— А как же оправдать насилие?..

— Все условно-с. Пожалуй, и не оправдывайте. 20

— Нет, надо оправдать.

— Оправдайте прекрасным, — говорил Милькеев, — одно оно — верная мерка на все... Потому, что оно само себе цель... Всякая борьба являет опасности, трудности и боль, и тем-то человек и выше других зверей, что он находит удовольствие в борьбе и трудностях... Поход Ксенофонта сам по себе прекрасен, хоть никакой цели не достиг!

У Милькеева заблистали глаза и загорелись щоки; не видел еще Руднев его с таким лицом. Предводитель хотел что-то сказать, но Милькеев уже был в волнении и, откидывая назад свои кудри, продолжал, все больше и больше разгорячаясь: 30

— Что бояться борьбы и зла?.. Нация та велика, в которой добро и зло велико. Дайте и злу и добру свободно расширить крылья, дайте им простор... Не в том дело, поймите, не в том дело, чтобы отеческими заботами предупредить возможность всякого зла... А в том, чтобы уси-

лить творчество добра. Отворяйте ворота: вот вам — создавайте; вольно и смело... Растопчут кого-нибудь в дверях — туда и дорога! Меня — так меня, вас — так вас... Вот что̀ нужно, что̀ было во все великие эпохи. Зла бояться! О, Боже! Да зло на просторе родит добро! Не то нужно, чтобы никто не был ранен, но чтобы были раненому койки, доктор и сестра милосердия... Не в том дело, чтобы никто не был обманут, но в том, чтобы был защитник и судья для обманутого; пусть и обманщик существует, но чтобы он был молодец, да и по-молодецки был бы наказан... Если для того, чтобы на одном конце существовала Корделия, необходима леди Макбет, давайте ее сюда, но избавьте нас от бессилия, сна, равнодушия, пошлости и лавочной осторожности.

— А кровь? — сказала Катерина Николаевна.

— Кровь? — спросил с жаром Милькеев, и опять глаза его заблистали не злобой, а силой и вдохновением. — Кровь? — повторил он, — кровь не мешает небесному добродушию... Вы это все прянишной Фредерики Бремер начитались! Жан д'Арк проливала кровь, а она разве не была добра, как ангел? И что̀ за односторонняя гуманность, доходящая до слезливости, и что̀ такое одно физиологическое существование наше? Оно не стоит ни гроша! Одно столетнее, величественное дерево дороже двух десятков безличных людей; и я не срублю его, чтобы купить мужикам лекарство от холеры!

Все молчали.

— Вы, дети, Васе не верьте, он на себя выдумывает; он вовсе не такой злой, — сказала наконец с немного натянутой улыбкой Новосильская и, помолчав, прибавила, — он больше многих способен делать добро.

Младшие дети обрадовались и стали кричать:

— Васька с носом! Ваську осрамили! Вот тебе, не вяжись с большими в разговоры! Зачем с нами не говоришь?

— Довольно, дети, вы надоели, — не без досады сказал Милькеев. — Видите, Катерина Николавна, и с ними бы свирепым быть не мешало...

— Будьте уверены, — отвечала Новосильская, вспыхнув, — что я не только свирепым, а даже и строгим не позволю вам быть с моими детьми.

— Как вам угодно, — сказал Милькеев мрачно, и обед кончился в молчании.

VII

Тотчас после обеда Милькеев вышел поспешно, спустился к озеру и скрылся в кустах. Дети побежали за ним; но строгий голос Баумгартена удержал младших; только Маша поманила Nelly, и та, краснея, догнала ее. Обе они тотчас скрылись в березнике.

— Он, кажется, не шутя сердится? — с беспокойством спросила Катерина Николаевна.

— Еще бы, — отвечал предводитель, — сами же вы его часто удерживаете от излишних шалостей с детьми, чтобы они в классе не забывались... А теперь вот при них как...

— Я думаю, это неприятно, — прибавил молодой Лихачов...

— Вы думаете, он обиделся?..

— Обиделся! — сказал предводитель, — что за слово — обиделся! А просто нейдет так резко говорить при всех, если вы человека уважаете.

— Le prestige aux yeux des enfants est indispensable, madame, — с своей стороны заметил честно Баумгартен (тем более это было честно с его стороны, что Nelly ушла за Милькеевым)...

— Но если бы вы знали, как противно слушать! Что за бесстыдство! — сказала Катерина Николаевна. — Извинять жестокость в каком-нибудь случае, это еще понятно, но оправдывать, обращать в принцип... при детях!

— Он увлекся.

— Нет, это — его всегдашняя манера преувеличивать собственные дурные мысли и без стыда говорить о них...

А сам, ведь знаете, как добр... Он платья до сих пор нового не может сшить оттого, что почти все деньги посылает дворовым на выкуп от отца, с отцом они чрез это поссорились...

— Я этого не знал, — сказал Лихачов.

— Вот видите! Он вдруг рассердился, когда я сказала, что он умеет делать добро... Неосторожно взглянула на него... Я узнала это от Емельяна, а Емельян от почтмейстера... Тогда он и сам рассказал мне подробно все... Как люди пошли против отца и зятя... И теперь вот!.. Это бесстыдно, это грязно... А ведь я его сама ужасно полюбила... Дети, бегите, увидите Васю, скажите, что я хочу у него извинения просить...

Но детям бежать не было нужды: Маша вернулась и сказала, что Вася с Nelly сели в маленькую лодку и поехали к острову, который там, там... в зелени за рощей...

— Он сердится? — еще беспокойнее и пугливее продолжала спрашивать Катерина Николаевна.

— Нет, мама, только грустит... Я вижу, что они стали шептаться с Nelly — я и ушла, чтобы не мешать.

Руднев мельком взглянул на Баумгартена и не ошибся, — лицо француза было красно... «Бедняга, — подумал Руднев, — вот кто мне настоящая-то пара!»

— Не угодно ли вам пройтись немного по роще?.. — спросил он его.

Француз с восторгом согласился.

— Вот видите! — начал он тотчас, как только они миновали липовый лесок, — видите... не правду ли я говорил... Это беспокойство г-жи Новосильской, это утешение в лодке, на острову...

И пошел, и пошел!

Между тем Катерина Николаевна продолжала тревожиться. Двадцать раз спрашивала она, суетливо обводя всех глазами:

— Ему теперь, я думаю, очень больно! Верно ему теперь грустно? Что̀ он это с Nelly там говорит?.. Пустите,

дети, пустите, я пойду. Дайте мне руку, Александр Николаич, встать...

Младший Лихачов помог ей подняться и хотел предложить ей руку, чтоб проводить. Все встали, но она просила всех остаться и поспешила одна к тому берегу, около которого должны были плыть Nelly и Милькеев. Все видели, как она, забывая свою усталость и послеобеденную лень, шла бодро и быстрыми шагами к березнику и, раздвигая ветки, вошла в самую его чащу...

— Экая добрыня! — заметил предводитель. 10

Никто не отвечал, только по смуглому лицу князя Самбикина пробежал какой-то луч не то сомнения, не то молчаливого согласия, не то насмешки.

Милькеев и спутница его тихо подвигались на лодке между двумя островками; скоро зелень лозника закрыла от них и пригорок с липами и другие берега. Они сошли на остров и привязали лодку к большому кусту.

— Ведь мы посидим здесь? — спросил он скромно.

— Да, сядем, — отвечала Nelly.

Сели, и Милькеев вздохнул. Nelly казалось, что руки, 20 которыми он расправлял свои волоса, дрожали.

— Вы непокойны еще? — спросила она.

— Все, что̀ вы мне говорили на лодке, правда, может быть, и я это знаю... Ах, да, нет! Разве не ужасно это из-за спора, из-за этой бестактности, которая меня губит... потерять такое место... При всех, при всех. Как это мелко, фу, как противно... Нет, я не могу сидеть, пойдемте...

Nelly тихо засмеялась и, взяв его без церемонии за руку, потянула к земле.

— Voyons donc! — сказала она, как милый товарищ, 30 обращая на него синие глаза. — Вы нас не оставите, графиня вас так любит.

Милькеев сел.

— Между двух презрений!.. Презирать себя, если останешься, когда так пристыдили; презирать, если уедешь, потому что не кончил ничего... Ну, что̀ будет, будет! Подождем! Какие, однако, у вас удивительные глаза; я таких

глаз, серьезно, ни разу не встречал... Какие они глубокие... нехорошо только, что они всегда ровно глубоки — везде и для всех... Этот доктор говорит, что глаза выражают главную струю, которая пробегает по характеру... Вот у Маши глаза мечтательные, а у вас — любящие. А выходит — это вздор, ваша протестантская строгость не допустит вас ни до одного страстного взгляда. Это видно на бедной жертве вашей — на Баумгартене...

— Ах, Баумгартен! Разве Баумгартена можно любить? Он такой вялый, мокрый такой.

— А, какой славный жест! — воскликнул Милькеев, — такой мокрый, и сжали кулак, как будто выжали тряпку. Бедный Баумгартен! Он ведь вас страшно любит, а вы... Да, я вижу, что и Лютер и все реформаторы приходили напрасно... Женщины нисколько не стали гуманнее — напротив, к жестокости кокетства еще прибавилась жестокость неприступности. Потом эта проклятая английская кровь.

— Зачем неприступность? — отвечала, смеясь, Nelly. — Для человека, которого бы я любила, я, вероятно, готова была бы наделать тысячу глупостей.

— Право! — с удивлением сказал Милькеев. — Вот этакой выходки я от вас не ожидал. Это меня удивляет и... радует! — прибавил он тихо и задумчиво замолчал.

Nelly долго играла сломленной веткой по воде и долго смотрела на тихий и прозрачный пролив, который отделял от них соседний островок.

— Что, это отражение кустов, и зелени, и облаков реально или нет? Правда это, или только так кажется нам? Ведь все там есть у них, — сказала она, указывая на воду.

— Какие однако, вы умеете делать славные вопросы, — отвечал Милькеев, ласково оглядывая ее с ног до головы, — реально ли это? Вы хотите знать? Все реально, все реально! Всякая глупость, всякая фантазия человека реальна, потому что она *есть* или *была* и отслужила своим появлением службу в общем ходе дел. Да ведь и

все эти кусты реальны только для наших чувств. А кто их знает, что̀ такое они сами! Да и что̀ мы-то сами? Нет, довольно, поедемте, ради Бога, я опять вспомнил... Вставайте, вставайте!

— Постойте, — сказала Nelly. — Слышите? вас кто-то зовет... Вот, вот... Это голос m-me Новосильской! А-а! как вы рады, какое у вас вдруг стало лицо... А!

В самом деле, с берега еще послышался голос Катерины Николаевны, которая аукалась и звала их.

Молодые люди поспешили сесть в лодку и выехать из пролива. На берегу, около березника, стояла, заслоняя руками глаза от солнца, Катерина Николаевна.

Зоркая Nelly уверяла даже, что видела ее улыбку.

— Она беспрестанно улыбается, и мне сначала это не нравилось, — заметила она.

Но Милькеев поспешно греб, не отвечая ей. Через секунду он уже и сам мог видеть, что Катерина Николаевна улыбается, и так поторопился, что чуть не опрокинул челнок.

— Смотрите, вы мне Nelly еще утопите, — весело сказала Катерина Николаевна, протягивая руку молодой девушке, чтобы ей легче было встать из лодки.

Глаза ее сияли.

Потом, когда смущенный Милькеев привязал лодку, она и ему протянула обе руки и произнесла с такою лаской и таким беспокойством: «Неужели *мы* поссорились!..», что Милькеев не отвечал ничего и спешил покрыть эти большие и прекрасные руки поцалуями.

Катерина Николаевна смотрела на его кудри, и на ресницах ее навернулись слезы.

Nelly поспешно ушла вперед.

— Вася, Вася, вы ли это? — продолжала Катерина Николаевна.

— При всех, при детях... все же я человек, — говорил Милькеев.

— Я думала, что у вас самолюбие есть только для широкого, а не для будней...

— Напрасно вы это думали, — отвечал Милькеев. — Напрасно, Катерина Николавна! Здесь, в этой жизни от покоя и веселости — все мне стало нипочем, а если бы вы знали, сколько огорчений и самоуничижения в моем прошедшем... Ведь здесь я не тот... не тот. Я сам себя не узнаю. С души поднялось столько здоровых, честных чувств, столько снисходительности, столько... Ну, да, чорт возьми, всего. Однако, все же, поймите, вспомнить старое...

— Ну, ну! не волнуйтесь, Василиск! Все-таки, вы ведь Василиск. Разве вам можно терять к себе доверие, и разве я могу уже разлюбить вас, — уж это кончено!.. Я люблю вас и кончено, — люблю. Сделайте что-нибудь дурное, — я не могу разлюбить вас...

— Я сам вас как в кармане ношу, — отвечал Милькеев. — Я вас никогда не слышу и не чувствую. Я был влюблен, у меня была мать, были, к несчастью, родные, приятели и друзья, пожалуй, но все они чем-нибудь да мешали мне.. Та, которую я любил, часто не понимала того, что̀ я говорил ей; надо было ей столько объяснять. Были минуты страшного блаженства, но зато какие ж и муки... Отец, мать, родные? О, Господи! жалость и боль, гнев и жалость, презрение и дружба... Товарищи! (Милькеев махнул рукой.) А вы, вы, поймите, вы — первый человек, с которым нет борьбы, а только удовольствие. Что̀ это такое? Это какая-то прелесть, а не чувство... Ну, так поймите же, каково мне...

— Разве я не знаю всего этого, Милькеев? Я все это знаю... Зачем же такие вещи неблагородные при детях моих говорить, когда вы на них больше всех, даже больше меня имеете влияния, потому что они на вас смотрят почти как на товарища.

— Оставим все это! — сказал Милькеев. — Баронессы вашей еще нет?

— При мне не было; теперь не знаю.

— Терпеть я ее не могу.

Они подошли к остальным спутникам под руку, друзьями, и были встречены улыбками взрослых и криками детей:

«Помирились, друзья! Васька и мамка опять друзья!» Оля при этом немного задумалась; потом, не поднимая глаз с земли, громко спросила у матери:

— Ты, мамка, за что̀ Васю любишь?

— За то, что он добрый и хороший человек, — отвечала мать.

— А ты, Васька, за что̀ мамку любишь? — продолжала Оля.

— За то, что у нее всегда развязка бывает à la Berquin. Ты помнишь, Оля, ту книжку, где добродетель всегда награждена, а порок — наказан?

— Не пронялся, — сказал предводитель.

— Не едет, однако, баронесса, — заметил младший Лихачов. — Уж пора бы, восьмой час, скоро солнце сядет.

Руднев, который, отслужив свою гуманную службу при Баумгартене, приблизился опять к обществу, услыхал этот разговор и спросил поскорей, вполголоса, у Феди:

— Кого это еще ждут?

— А это, видите, баронесса Рабенштейн, мамкин друг.

— У вас все друзья, кажется! — тихо и не без досады сказал Руднев.

— Да, — продолжал Федя громко, — мамка у нас такой сахар-медович.

— Что̀ ты говоришь там, Федя, про меня доктору?

— Он тебя, мамка, сахаром-медовичем назвал. Николай Николаич всегда тебя так зовет, ты знаешь... — отвечала за брата Оля, сидя на коленях у предводителя и дергая его за бакенбарды.

— Я сказал доктору, что баронесса тебе друг, мама! — объяснил Федя.

— За это стоит назвать вас сахар-медовичем, — заметил Милькеев. — Как можно без разбора всех, как солнце, озарять? Я очень рад, что такие женщины существуют. Но под тем условием, чтобы их к себе на выстрел не подпускали люди другого рода.

— Баба дельная, — возразил предводитель, — таких женщин у нас немного! Вы ее знаете, доктор?

— Нет-с. Как я ее буду знать? — отвечал Руднев, уже взбешенный этим сюрпризом, и пожал даже плечами.

— Она оригинальна в своем роде, — прибавил младший Лихачов. — Она Фихте, говорят, переводит?

— Еще бы! Она так умна и учена! — сказала Катерина Николаевна, — так развита и так практична! Я даже и не понимаю, как можно так жить. Завидую ей. Вот муж-то ее покоен должен быть! У нее все записано на целый день, что̀ делать: сколько поиграть на фортепиано, сколько прочесть, сколько яиц выдать повару. Дом свой как она отделала здесь в деревне! Она сама детей учит.

— У нее разве есть дети? — спросил Милькеев.

— Есть. А что? — отвечал Лихачов... — Не одни ли у нас с тобой мысли? Я сейчас думал, что если бы у меня жена была такая, по табличке, так у нее не было бы детей... Ведь ее мужа нет здесь?

— Нет, он посланником при короле... каком-то германском, я все путаю...

— Ну, Бог с ним, — сказал предводитель, — я тоже все забываю... А видали, Катерина Николавна, как у нее лицо переменяется, когда горничная или слуга взойдет? Сейчас игривая такая с вами, один миг — и перед вами царственная строгость.

Каково было слышать все это Рудневу? Ко всем этим лицам он уже немного привык, они его мало тревожили... Все почти, по очереди, пробовали заговаривать с ним; всем, кроме Феди и Баумгартена, он отвечал немного-сложно и сухо, и все как будто привыкли к нему; ужас его при мысли, что его будут рассматривать или занимать, почти прошел, и хоть не в своей тарелке он был, что ж! — уж полпути проехали. В глазах пестрота, в ушах шумно, многое любопытно и ново для него, и хотя все чуждо, страшно чуждо и холодно, но уже не так долго остается за свою слабость платить ежеминутной дрожью застенчивой души!.. Все это можно вытерпеть дня полтора. Еще чаще

заговаривать с Федей, с Олей, с капитаном, с французом... Но эта баронесса, знающая Фихте, посланница, твердая и гордая!.. Это что̀ еще? И что̀ он слышит? Она проведет ночь в палатке с Катериной Николаевной, а завтра утром едет, вместе с ними, и последний отдых у нее в доме?.. Нет, этого не будет! Верхом, пешком, на этой маленькой лодке, а уж он убежит, когда все лягут... Не даст он себя на поругание, не позволит себя свести в чужой дом, где на него будут смотреть как на лакея и где накормят его прекрасным обедом с тем же чувством, с каким накормят бульдога Феди, потому что он прибежал с Новосильскими. Нет, уж на эту-то штуку, чорт возьми, не пойду!..

Вот уж и коляска мчится четверкой в ряд... Маленькая, худощавая посланница выходит из нее и бросается в объятия Катерины Николаевны. Сама точно сделана из фарфора, как те старинные изящные куколки, которые ставились на каминах; белая, нежная, стройная, но что за презрительный очерк губ, еще сильнее, чем у Лихачова; у того хоть борода смягчает эту многозначительную линию. «На! смотри, ты, жалкий плебей. Как там тебя зовут, не знаю!..» И какова гамма взглядов и улыбок? Все оттенки от восторга при встрече с Катериной Николаевной до рассеянности, когда Новосильская представила ей уже озлобленного Руднева... Скажите ради Бога, зачем это — детей расцаловала страстно, предводителю подала руку, улыбнулась и сказала: «А, и вы здесь, Николай Николаич; я очень рада», брату его только улыбнулась и подала руку, и ничего не сказала; Милькееву с достоинством и без улыбки кивнула головой и небрежно заметила: «Вы, кажется, пополнели с того раза». Баумгартену мельком кивнула головой; капитана, который ей кланялся чуть не в пояс, вовсе не заметила; а когда Катерина Николаевна движением руки указала на самого доктора, так ее лицо выразило: а! это еще что такое?

Все смущение Руднева исчезло. Лицо его, ей в ответ, выразило вдруг такое естественное презрение и строгость,

что молодой Лихачов шепнул на ухо брату: «Каков доктор-то! Смотрите, как он взглянул на посланницу... Нет! он, должно быть, ничего... Мал золотник, да дорог...»

Милькеев, который, до приезда баронессы, сидел на подушке рядом с Катериной Николаевной, прислонясь очень удобно к березе, хотел было уступить ей свое место, но Катерина Николаевна удержала его и, посадив около себя, сказала:

— Нет, вы сидите тут около меня, а Надя напротив сядет... У нее спина не болит, а мне ловчее с ней будет так говорить.

И этот легонький эпизод не ускользнул от зрителей... Младший Лихачов предложил доктору пройтись и сказал ему:

— Не солоно хлебнула! У Катерины Николаевны она долго не будет кобениться... Та как раз ее объездит, и утром завтра отличным шагом и курц-галопом будет идти!.. Пройдемтесь-ка!.. Теперь пойдет сушь, про Вену рассказы, и про Париж, про разную петербургскую дребедень... Пойдемте-ка!

Посланником небес и благодетелем показался Рудневу в эту минуту Лихачов... Ночь располагала к откровенности... Они спустились с горы, и Руднев сказал ему:

— Александр Николаич, у меня до вас есть просьба!

— Что̀ такое? Очень рад, — спокойно и любезно отвечал Лихачов.

— Вы старика этого знаете, у которого лодку взяли? Вы с ним охотились.

— Приятели старые, а что̀ вам?

— Мне что̀?.. Послушайте, я болен, мне дурно очень. Я непременно хочу уехать домой... Ведь от этой деревни до нашей верст тридцать?

— И сорок будет слишком!.. Что вам за охота? Посмотрели бы монастырь в большом лесу. Это интересно в своем роде. Не с религиозной точки зрения, конечно, а так, знаете: луговина большая, ручьи, кресты огромные с распятиями, по берегу ручья бор, подземные ходы, цер-

кось большая и т. д. Ничего! Да и дом баронессы посмотрели бы; тоже недурной. В Троицком хуже, и беднее, и старее все. А у этой куклы порядочный вкус... Гостиная ее светло-зелёным штофом обита, и в самые стены вделаны большие медальоны четырех времен года... Отличные картины, а потолок немного сводом и с верхнего карниза лепной плющ на потолок ползет, и не на белом грунте, заметьте, а на розовом чуть-чуть, точь-в-точь как зимняя зорька, когда встанешь на порошке. Ведь это очень красиво. Посмотрите все это... Может, вам лучше станет к утру. Да уж не стесняетесь ли вы в чем-нибудь, так скажите. Я скажу Милькееву, и мы все устроим.

— Очень благодарю вас, Александр Николаич. Я верю, что дом хорош, а монастырь еще лучше; только уж, право, не могу... Я, право, нездоров. Как вы думаете, нельзя ли мне на лодке переехать и у старосты этого лошадей нанять?

— Это вам дорого будет стоить. Да и мордва эта ночью едва ли поедет... Лучше утром.

— Нет уж, Александр Николаич, благодарю вас; может быть, старик и свезет; я скажу, что от вас... Вы полагаете, что лодку можно взять?

— Если вы нездоровы, так нечего делать!.. Не хотите ли, я вас провожу... чтобы вы не плутали по озеру... Впрочем, видите тот огонек?

— Нет, я и сам найду, благодарю, Александр Николаич. Вот и лодка.

— Так смотрите же, прямо где огонек дрожит, вот тот, вон! видите?.. Озеро тихо, гребите себе, валяйте прямо, да на старика и прикрикнуть можно. Вы с ним не слишком церемоньтесь... Он плут.

Руднев уже был в лодке, и Лихачов взял ее за борт, чтобы столкнуть своей сильной рукой с береговой мели, но вдруг остановился и сказал:

— Захватили ли вы из дома деньги... на задаток? Если старый бедокур не повезет без задатка... Возьмите у меня рубль...

Рудневу и захватывать было нечего из дому... Не хотелось брать, ужасно не хотелось, но долго спорить было еще страшней... Голоса и смех раздавались на горке, колокольчик дворецкого уже звал к ужину... Прибегут их искать... Лихачов протянул ему руку с бумажкой, с какой: с рублем, синей или зеленой — и разобрать в темноте нельзя.

— Что̀ делать! Спасибо тебе, добрый Александр Николаич, какой славный малый... Ах, чорт возьми! Чорт возьми, как славно!.. — шептал Руднев, уносясь по сонному озеру все дальше и дальше от праздничной горки. Огонек деревни все ближе, и красные огни костров все меньше. Боже мой! как хорошо на чистом, широком и привольном озере. Молодец Лихачов, да и я молодец... Вот за эту решимость, так и быть, прощу я вчерашнему Рудневу его слабость. Пускай себе темно, и собаки лают... все лучше, чем там!

— Эй, старик, старик! Эй, ребята, эта крайняя хата старика Андриана?

— Эта! кто там?..

— Отвори.

— Да кто? Что за человек?

— Уж не бойтесь, не разбойник, не злодей, а я от Александра Николаича Лихачова к старику.

— А! ну, коли так, иди. Иди, отец мой! от Александра Николаича, иди, милый человек. Отвори ему дверь-то с лучиной... Как бы впотьмах не расшибся... Иди, иди, милый человек.

— Спасибо, спасибо тебе, молодец Лихачов!

При лучине посмотрел Руднев на бумажку и увидел, что она пятирублевая.

Старик, однако, не только сам не повез Руднева ночью, но когда на увещания доктора стал было сдаваться молодой сын его, старик закричал с печи:

— Что ты! что ты, скотина! Кто его знает, какой он человек... Ночью... долго ли до худа.

Сын вывел Руднева в сени и с сожалением сказал:

— Уж ты лучше ночуй у нас, брат, ты не бойся... Худа от нас не жди, мы — мордва...

— Я не вас боюсь, я боюсь жару в избе, мух, тараканов...

— Экой ты какой... Ночуй... Вот ты нас боишься ночью, а мы тебя...

— Ведь у вас в селе священник есть?.. Проводи меня к нему.

— Как не быть священника! Пойдем, пойдем!

И к священнику постучался беглец в окно, и его испугал сначала, но потом был принят радушно. Отцу Семену самому было всего двадцать пять лет; он был белокур, кроток, и глаза его были совсем голубые. Жена у него, напротив, была большого роста, деревенская, грубая, крикливая, хотя тоже очень молодая. Но, несмотря на все это, отец Семен был свеж, весел и развязен, взял у Руднева папироску и, прохаживаясь перед ним по комнате и потирая руки от радости, объявил:

— Наконец-то наша отсталая Россия проснулась! Все переформировывать хотят! И, право, давно пора!

После полутора суток, проведенных на воздухе и в движении, Рудневу было не до разговоров; но надо было кротко объяснить, откуда он взялся и как ему стало дурно, и почему он не хотел остаться на той стороне озера; надо было слушать жалобы молодого священника на то, что книг трудно доставать и что мордву до сих пор причащаться и исповедываться заставляют чиновники, что у мордвы развито сердце, а разум неразвит; что Катерину Николаевну он знает, что она ему кума, а Александр Николаевич Лихачов — отличный приятель... и пособлял ему не раз работниками, что в такой «сфере», как дом Новосильской, очень приятно бывать... Впрочем, отец Семен обещал завтра рано свезти его на своей лошади и уступил ему свою широкую кровать под чистым ситцевым балдахином.

VIII

Утром отец Семен подкрался взять со стола шляпу, чтобы идти служить раннюю обедню; но, несмотря на всю его осторожность, гость проснулся...

Бедный гость! Оказалось, что матушка больна, что надо ее посмотреть... Крестьяне узнали, что полуночник в самом деле лекарь и лечит; и нашло человек с десять — все молились долго на образ, а потом кланялись низко Рудневу; бедные старухи, у которых волосы росли внутрь век и которым нечем было помочь; дети с золотухой и нарывами; пришел один сильный мужик и говорил: «Живот-то, я тебе скажу, когда у меня начал пухнуть... это я прошлой зимой, на торгу, возле церкви шел, сказывали, фершел обронил порошки... одни жолтенькие, а другие серенькие... Я сереньких-то и попытал... Так, Господи, что̀ сталось со мной — блевал, блевал... Да чего! Боров по двору ходил, так вот, при твоей милости сказать негоже, блевотину-то съел, так борова-то ворочало-ворочало по двору, насилу жив остался, сердечный». Красивая девушка, с прекрасными чорными глазами, показывая лишай на щеке, сказала: «Сама собой ничего, а вот рыло-те больно благо!»

Все бы это ничего, когда бы было что в руках, а то прописал кой-что, кой-что посоветывал, а другим у себя велел побывать... «Там, голубчики, найдем что-нибудь!»

И этим не кончились мытарства, в которых умный юноша почерпнул новое сознание своего бессилия и новые причины одиноких вздохов! Не он один страдал, конечно, но тем хуже для честного сердца... тем хуже, друзья мои... разве есть что-нибудь слаще на свете живого добра, которого плод — конец страданью перед исцелением!.. Не один он, конечно, страдает, давно это известно... ему и всем на свете!.. Но разве легче от этого?

Пока рослая матушка угощала его, на дорогу, чаем с баранками, вышел вдруг из соседней комнаты бледный молодой мужчина в очках и с очень светлыми волосами.

— Богоявленский, — рекомендовался он сухо.

— Это двоюродный братец мне, — объяснила матушка... Вот тоже, сердечный, без места...

«Неприятное лицо у этого бедного семинариста», — подумал доктор.

— Вы служили? — спросил он.

— Нет! — гордо и с кривой, язвительной усмешкой отвечал Богоявленский, — и надеюсь — не буду...

— Вы откуда?.. Вы в нашем губернском городе?..

Опять язвительная улыбка. 10

— Не кончил курс в семинарии, — перебил Богоявленский.

— У них философия книга такая есть, — заметила матушка... — Жалятся все, что оченно трудно...

— По этому образчику вы можете судить, как ошибался отец Семен, когда сказал вам вчера, что наша отсталая Россия проснулась. Нет, еще ей долго не проснуться... России!..

Бледно-синеватое, недоброе лицо Богоявленского, его кривая улыбка, та неестественно гордая манера поднимать голову, которой страдают многие люди, надевшие очки — 20 все это не могло никому понравиться; но отдаваться подобным тонкостям впечатления Руднев считал неблагородным, когда дело шло о несчастном человеке, и несовместным с своею собственной ролью в жизни.

«Неужели Лихачов будет добрее меня? — подумал он. — Нет, это не резон!»

— Вы теперь не ищете ли частного места? — спросил он громко.

— И рад бы в рай, да грехи не пускают... куда прикажете за частным местом обратиться? Если бы я имел с чем 30 доехать в столицу, — я бы не думал ни минуты.

— В университет?

— Конечно! Там — литературная деятельность, обмен, люди, есть из чего нужду терпеть... А здесь!.. Везде нужны деньги. Вот видите эту кузину мою, — продолжал он, когда матушка вышла... — На что вам хуже ее... а и то мужа себе купила.

— Мужа купила? отца Семена? — с удивлением спросил Руднев.

— То есть не она, а знаете кто? Мать ее покойница, добрая баба, поехала к куме своей, помещице Авдотье ⟨Андревне⟩ Забелиной, вероятно, вы слыхали?.. Смочила платок слезами, объяснила, что не с чем в город ехать, жениха доставать для своей дочери; та, как натура славянская, широкая, отсчитала ей пятнадцать рублей серебром; на них эта старуха съездила да этого белокурого и достала. Мне, конечно, это все равно; но я слышал, как он вчера разглагольствовал здесь, когда вы чуть от сна на ногах держались; не люблю лжи! Вот как его на днях дьячок отделал, — этого не рассказал...

Заметив беспокойство и грусть на лице собеседника, Богоявленский продолжал:

— А что̀! не сладко! не то, что в той «сфере», на горке?.. Да, то одна сфера, а это — другая!.. Большое разъединение сословий!.. Вчера славно было смотреть отсюда, как огоньки костров краснелись сквозь деревья... Решительно неподражаемо. Между мужиками произошел фурор... Именно другая сфера, другой мір, как звезды!.. Ха-ха-ха! не правда ли? Или вы придерживаетесь мнения Гегеля, что «звезды просто — прыщи на лице неба» и что выше человека нет созданья во вселенной?

— Я Гегеля не читал, — скромно отвечал Руднев. — Но позвольте мне поискать вам что-нибудь, через кого-нибудь здесь в окрестности... хоть через дядю... или через Лихачовых... Ведь как же так жить?

— Ищите! Это дело доброе будет с вашей стороны. И спасибо вам; я с этой мыслью и вышел к вам... да вот вы сами начали. Спасибо; только добра-то нет ведь в сущности, а все эгоизм; ведь и вы для меня сделаете для того, чтобы рисоваться перед самим собою.

Еще испытанье! Вот встреча! И опять бессилие! Руку-то есть охота протянуть озлобленному страдальцу, да где сила, где опора?.. О! дядя! велемудрый дядя! Нет, ты в

самом деле мудрец, и хорошие книги должны быть: «Феатр света» и «Памятник Веры».

На крыльцо явился вчерашний дед и хотел теперь везти доктора всего за два рубля, но Руднев возвысил голос и скрипнул зубами.

— Довольно, ступай прочь! — сказал он деду, подходя к поповской тележке, на которую сама матушка постлала ковер.

— Батюшка, Василий Владимірыч, — сказала она ему, провожая его по двору, — постарайтесь для Алеши нашего местечко-то у господ у каких. Убивается, бедняга, страх! У них ведь дома семья большая; а батюшка их человек старый, да и хмельной. Такую войну на Пасхе подымет, беда... Сынку-то и больно. Постарайтесь, батюшка!

IX

На горке побег Руднева нельзя было скрыть надолго; Катерина Николаевна скоро заметила, что его нет, и стала спрашивать о нем. Лихачов сказал, что молодой доктор занемог и уехал.

— Что̀ с ним? Где ж он? Может быть, ему нужна помощь? — спросила баронесса.

— Нет, не тревожьтесь, — отвечал Лихачов, — эта болезнь, кажется, душевная. Он очень бодро переехал на лодке на тот берег.

— Что̀ это такое — спросили все друг друга.

— Не установился, должно быть, — сказал Лихачов.

Иным поступок Руднева понравился; другие нашли его странным. Князь Самбикин сказал, что это не совсем вежливо; предводитель, — что это не беда; Баумгартен, — что оно очень таинственно и сообразно с теми претензиями, которые имеют русские, быть теперь самой поэтической нацией в міре; Милькеев предложил ему, по этому поводу, написать роман из русской жизни, в котором бы героем был «le fils d'un boyard et d'une serve»! Дети хотели послать за Рудневым, забывая, что в объезд по берегу, до

той деревни, насчитывалось верст шесть; но Катерина Николаевна покончила все эти разговоры и споры тем, что пожалела Руднева.

— Это недаром, — заметила она, — что-нибудь его мучает. И какой сюрприз это будет бедному Владиміру Алексеичу, которому ужасно хочется ввести его в свет! Он его так ведь любит!

— Кто это Владимір Алексеич? — спросила посланница, — это — старый Руднев? Я никогда не думала, чтоб он что-нибудь чувствовал. C'est une espèce de bibliothèque renversée!

Все засмеялись и оставили Рудневых в покое. Катерина Николаевна еще с утра не раз задумывалась и была гораздо молчаливее и скучнее обыкновенного; ссора с Милькеевым оживила ее на время; но чем темнее становилась ночь, чем ближе подвигался ужин и сон, тем чаще на глаза ее набегало облако, и раз она даже не слышала, что̀ спросила у нее баронесса.

Поужинали; дамы и девочки ушли в палатку; мужчины и прислуга уснули где попало под деревьями, на шинелях и коврах, и кожаных подушках; только Катерине Николаевне не спалось; часа два пролежала она в палатке, на покойной складной кровати, прислушиваясь ко всем звукам, к ржанью и топоту лошадей у коновязи, и вышла наконец на воздух, накинув только шаль на белую блузу. Ночь стояла темная, костер чуть тлелся в стороне. Терпела она три часа, хотела и еще терпеть, и не стало сил! Хотела она просидеть одна у костра на ковре и не тревожить никого, но и на это решимость длилась недолго. Ей надо видеть Милькеева, надо говорить с ним; завтра утром опять шум, опять люди, опять любезная хозяйка и вождь веселого отряда; целый день думала она о том, как бы остаться с ним надолго одной. Она зажгла спичку и, на тихом воздухе, едва прикрыв ее рукой, нагнулась к живой чорной груде, которая была у ног ее... Вот севастопольская бурка младшего Лихачова... (лишь бы он не проснулся некстати!) вот и кудри Милькеева из-под шинели...

Вот он спит, сегодня, при всех, хоть и поделом, но все-таки обиженный друг! Еще зажгла спичку: или не надо будить его? лучше не надо... Совсем было нагнулась, чтобы рукой его тронуть; но у Милькеева сон был самый чуткий.

— Это кто? Это вы? Что̀ вы делаете?! — спросил он с удивлением и встал...

Она уговаривала его лечь опять, раскаявалась, но он отвечал:

— Нет, ни за что! Я и так не спал. Бог знает, что̀ бродило в голове...

Он сам отнес небольшой коврик подальше от палатки и поближе к костру, подложил еще хворосту, и они сели.

— Что с вами? Отчего вы опять не спите? — спросил он.

— Отчего? Вы бы лучше с удивлением спросили, отчего я сплю? Много ли я сплю и как я сплю? Впрочем, вы сами говорили всегда, что я не имею права ни на что жаловаться, что вы ни в каком случае жалеть меня не станете...

— Еще бы вас жалеть! Не принесть ли вам еще что-нибудь на плечи?

— Не надо, сидите; скажите мне лучше, что̀ мне делать, брать или не брать этого Юшу?

— Муж вас очень просит, отчего же не взять... Да и на что совет, — вы его слушать не станете. Вы сами все уже передумали...

— Вот потому-то мне и хочется узнать от вас, все ли я передумала. Я как безумная ждала ночи, чтобы хоть между сонными оставаться одной.

— Что̀ же вы придумали?

— Взять? — продолжала она в раздумье, — неравенство с моими детьми... зависть; быть может, он избалован; мать его была умна, но недобра и несимпатична; отец? Я бы вам сказала, что̀ такое его отец! В кого ему быть, какое воспитанье!.. Ну, хорошо, исправим его. Все же страшно; уж наша жизнь здесь так хороша, не испортить бы ее как-нибудь. И это не беда; положим, я сумею опять

все поправить... Другое придет в голову: покажется, что ребенок этот не по годам испорчен, что он моих детей всему грязному научит!.. Одно за одним, одно за одним. Придет мысль, поточит-поточит, вот здесь, и опять отойдет... Другая за ней...

— Да это просто вас раздражило все вместе. Езда верхом, жаркий день, наш давишний спор, быть может...

— Да! Если бы вы знали, что̀ вы мне напомнили давича, когда так гадко выразились за обедом... Я понемногу, с годами, стала забывать свои старые впечатления. А теперь все смешалось у меня в голове: Юша, вы, мои дети, как я мужа любила, как я его разлюбила, как я с ним рассталась... Я представила себе, что он захочет повидаться с Юшей, приедет сюда... могу ли я отказать ему в том?.. Дети уже забыли... По крайней мере меньшие. Маша? О, Маша ничего не забудет... Она молчит и не спрашивает об отце. И я, разумеется, не спрошу у нее, помнит ли она, как она отвечала, когда в Тифлисе гости спрашивали у нее: кто она? Она отвечала: «Маша, солдатская дочь!» Но, ручаюсь вам, что она помнит это!.. Я знаю, что я права, что для них и для людей я с ним рассталась. А сердце точит-точит, все спрашиваю себя: не лучше ли было бы его переносить? Может быть, он с годами бы лучше стал!

— А за что вы с ним расстались-то, я до сих пор толком не знаю? Неужели за какую-нибудь неверность?

— Нет, мой друг, я терпела все его неверности. И любила его, и терпела... Пробовала ревновать сначала и устала. Его и ревновать было трудно: он сам этого чувства не признавал между мужем и женою. Его правило было «vivons et laissons vivre!» Сам неверен, и в отчаянии, что я верна... Ведь я вышла за него глупая, невинная, совсем ничего не понимала, всего боялась... Любила его так, что без него отыскивала его старые перчатки, которые ремнями от уздечки пахли, и целовала их по получасу; а он уверял, что взять за руку законную жену несносно.

— И сам никогда не ревновал?

— Он!? Да он был самый счастливый человек, когда видел, что я нравлюсь и была окружена. «Дай мне забыть, что ты жена моя, и я влюблюсь опять в тебя», вот что̀ он твердил. И на Кавказе, и за границей, и в Москве — он старался из всех сил сблизить меня то с тем, то с другим. «Ради Бога, не компрометируй ты меня своей буржуазною привязанностью... К чему ты до сих пор не можешь не смотреть на меня при всех с счастливым лицом... Это грязно и еще хуже, c'est ridicule, c'est roturier! Это прилично жене какого-нибудь станового, любоваться на мужа». Как он расхваливал мне то того, то другого! Не было самых грязных вещей, которыми бы он не старался расшевелить мое воображение: заставлял меня Жорж-Занда читать; а я, вместо того, чтобы из Жорж-Занда-то «гососо» взять, которое он бы хотел... взяла, как бы это сказать?

— Положим, готическое и стройное стремление вверх!.. — сказал Милькеев. — Вы и наружностью похожи немного на Страсбургский собор... Вы не сердитесь, однако, если я вам не шутя скажу, что он мне очень нравится, и я удивляюсь, как вы могли расстаться с таким блестящим человеком... И на том портрете, который у вас остался, в казацком платье, — какое славное лицо русского вельможи!.. Немного грубые черты, но сколько благородства и энергии... И притом он, говорят, отважный человек!.. Удивляюсь!..

— Он не знал, что̀ такое страх, — продолжала Катерина Николаевна. — И доброта у него была, по временам, сильная... Федя на него очень похож: такой же веселый и храбрый... Но у Феди никогда, я надеюсь, не будет тех ужасных пороков, которые сгубили отца... Мой муж ничего не боялся: первый раз он был разжалован двадцати лет, по просьбе отца, который сам приезжал просить государя об этом... Не было шалостей, самых жестоких, которых он не позволил бы себе, когда приходила фантазия: стрелял в людей дробью, женщин, знаете, таких, выбрасывал из окна; потом осыпал их деньгами и

раздавал деньги бедным товарищам и слугам... Шесть лет был он солдатом... Когда новый начальник приехал на Кавказ, — велел тотчас позвать его к себе, увидел у него на лбу рубец от кивера и спросил: «Что, Новосильский, тяжело?», — так он отвечал: «О! нет, ваше п-ство, отлично!..» Его оставили еще на год. Солдаты его обожали; в деле, мне говорили, он был страшен... Солдаты под Салтами ему сами присудили георгиевский крест, и начальство утвердило. Вот какой он был! Я тогда приехала с отцом на Кавказ на воды; отец мой знал его еще ребенком. Я вышла раз на балкон, вдруг подходит солдат и спрашивает отца; я говорю ему: «Подожди, на что тебе сейчас, папа спит!» И сама удивляюсь, что̀ это за солдат — comme il faut. Я такая была дикая, неловкая, сентиментальная... По целым часам при лунном свете сиживала у окна и плакала о том, что никто в свете не может любить так, как я; или ночью на фортепиано играла, когда в трубе камина шумел ветер... Долго ли мне было влюбиться, да еще и в такого героя... Ведь он в самом деле был герой! Отец мой сам влюбился в него; обвенчались; произвели его скоро, и уехали мы за границу... тут три года был все праздник и праздник! Во Флоренции танцовали, в Неаполе, Париже, на водах, везде были... И я похорошела, пополнела, и застенчивость моя пропала... Я прежде думала, что я урод, такая большая, чорная, худая; и братья дома смеялись надо мной, все звали меня «вороной» и «madame фон Амстердам» — это тогда великаншу показывали за деньги, а «вороной» звали за то, что я была бестактна, что меня всякий мог обмануть... И после этих всех мелочей, понимаете, везде на меня все любуются; в Рим мы въезжали в самый карнавал, в коляске... так итальянцы кричали: «как она красива!» и бросали мне цветы... Вот после какого-нибудь такого случая он дня на два влюбится опять в меня... А там, опять старается влюбить в кого-нибудь, чтобы я не плакала об его неверностях. Какой он был бесстыдный на все это! Раз мы ехали из Парижа в

Saint Cloud в коляске: я, он и одна маркиза, по-моему очень натянутая и противная... Но он говорил, что «такой он еще не знает — надо и такую узнать; что он в Париже в первый раз!» Пошел маленький дождик, она предложила ему пересесть к нам и поднять верх... В сумерках я не могла рассмотреть ничего, но слышала только, как она без стыда сказала, когда дождь перестал и велели открыть коляску: «nous avons été trop peureux», т. е. «trop heureux!» Он на другой день сам мне рассказывал, что они Бог знает что̀ около меня делали!.. Бросил меня в Милане одну на целую зиму...

— И тут вы не увлеклись никем? Это непонятно! — перебил Милькеев.

— Нет, был в Милане один поляк высокий, бледный, лицом на Ван-Дика похож был немного. Он стал часто ездить ко мне, учил меня по-польски, говорил, что поляки должны быть для славян тем, чем французы были для Европы, что Пушкин перед Мицкевичем то же, что изящный афинский раб перед чистым и свободным римлянином; занимал у меня деньги, и я ему стала во всем верить... Начала думать: «Что ж? Если мой муж будет рад, и поляк будет рад, и я буду рада?» Только был тоже в Милане тогда один француз, именно un petit français — Charpentier, всем он был petit и мне вовсе был не по сердцу, однако он что сделал? приехал к Злотницкому и сказал: «Или завтра стреляйтесь со мною насмерть, или уезжайте отсюда, чтобы Новосильская вас забыла!» Злотницкий, не простясь, уехал, а Charpentier я перестала к себе пускать. Так и осталась, все-таки назло мужу, верна.

— Все это презанимательно, — сказал Милькеев, — только я не понимаю, за что вы с ним расстались и чем я давича напомнил его. Я все о себе беспокоюсь! Хоть до сих пор это сходство было для меня вовсе не обидно.

— Вы сказали давича, что не купите лекарства мужикам... Отчего вы не сказали: людям вообще? Я понимаю, что это все равно; только если бы вы сказали просто

людям, меня бы это, кажется, не так испугало и оскорбило... Из-за крестьян мы с ним и разошлись... Постойте, впрочем, я лучше по порядку вам буду рассказывать, как его характер все хуже и хуже портился.

— Вы смотрите, не озябли ли... Скоро заря займется — холодно.

— Что̀ вы! Я вся горю! дайте руку... Видите... Ну, пустите теперь руку и слушайте... Приехали мы опять на Кавказ: он без своей службы и войны соскучился, и через год опять его разжаловали.

— Это еще за что̀? — с удивлением спросил Милькеев.

— За пустяки... У него был соперником один генерал... Толстый, глуп очень, bon vivant из себя представлял и за мной ухаживал и за Имеретинской, княгиней одной. Он так был толст и глуп, что никому не мог нравиться: вздумал меня раз не пускать верхом ехать и лег у ворот дачи ничком, а я и перепрыгнула через него. После жалко стало, но та грузинка его и не жалела даже, и где же ему было с моим мужем спорить... Мой муж был так находчив, так остроумен, стихи даже очень недурно писал... Раз в маскараде он был просто в своем казацком платье и подал ей стихи. Я их помню:

Я много жил в немноги годы
И школу жизни изучил,
Но в вихре светской непогоды
Прямое сердце сохранил.
И верьте, средь забав нестрогих
Я многих, может быть, любил,
Но уважал немногих.

и подписался: «уважающий вас казак-стихотворец». Недурно ведь?

— Да, кстати, по крайней мере! — отвечал Милькеев.

— Вот раз мой муж сходил с лестницы от товарища с другим офицером, немного пьяный, а генерал ему встретился, щолкнул по воротнику и говорит: «Что̀ поручик,

залито?» А муж мой его по лбу ударил: «Что, генерал, пусто?» За это и разжаловали опять... Опять начались эти экспедиции, слезы; Маша родилась, в плен его взяли, насилу выпустили — это я вам в другой раз все расскажу. Тут он стал гораздо злее: выпрыгнул раз из окна одной дамы, днем, растрепанный и без фуражки, чтобы опозорить ее... Народу на бульваре было множество. Сорвал раз со стены мундштук и прибил меня из-за вздорного спора; я хотела уехать, но он раскаялся и даже плакал. Я осталась, и мы уехали сюда... Здесь он что начал от скуки делать! Если бы вы знали! Это передать трудно. Я читала, занималась детьми; цветники и зимний сад разводила; Оля только что родилась, а он стал пить и играть в уездном городе, пропадал по неделям, сек и бил людей, заставлял запрягать себе, как он называл, «обывательских» лошадей по восьми разом в карету; вздумал, наконец, собирать с крестьян по рублю с души в месяц каких-то столовых, потому что денег ему всегда было мало. А я в Троицком выросла, всех людей здесь знала, отец и мать здесь жили, я любила здесь все... Я сказала ему, что дети такого примера не увидят, и люди не должны больше ничего терпеть... чтобы он ехал отсюда, что я заплачу все его долги; он чуть не убил меня, но я уехала с Машей к брату в Москву... А тех детей он не дал. Брат мой придумал уловку: пригласил его через полгода в свой дом на свиданье с теми детьми, — я их увела через сад, посадила в карету и уехала сюда, а у брата в руках оставила к мужу письмо, в котором объявила ему, что для детей и крепостных моих я не пощажу его и, как он сам знает, могу про него такие тайны и такие насилия обнаружить, что ему лучше согласиться на мои предложения. С тех пор мы больше не видались; я знаю, что у него кроме жалованья ничего нет; узнала, что ему три года тому назад ногу оторвало ядром, хотела было ехать в первую минуту, да образумилась и послала ему только денег через третье лицо. Он, разумеется, знал, что это от меня; но он настолько умен, что не благодарил

и пишет только иногда об детях к брату... Вот вам, Вася, моя жизнь!.. Вот вам мой муж!

— Какая полная, пышная жизнь, — в раздумье сказал Милькеев, — сколько пользы сделал вам этот человек! Я понимаю индусов, что они строили храмы Злу!.. Что̀ ж вы сделаете теперь?

— Насчет Юши? Я придумала вот что̀; не знаю, как вы найдете. Пусть его присылает с верным человеком, но чтобы сам муж мой не ездил сюда, иначе я несогласна, деньги на воспитание мне не нужны; а то, что̀ от матери Юши осталось, пусть пришлет; я спрячу их, а он истратит. И чтобы в воспитание ребенка и не думал никогда мешаться; но я увижу через год: если он будет вреден моим детям, я его, как ни жалко, а держать не стану!.. Он знает меня, и сам, в добрые минуты, звал меня прозрачным хрусталем, я уж постараюсь!.. Хорошо придумала я?

— Я удивляюсь, зачем вы спрашиваете у меня совета? Вы так хорошо сами умеете и думать и делать!.. — вздохнув, отвечал молодой человек.

— Все-таки спокойнее, когда другой ободрит. Завтра же, в монастыре, напишу письмо!

На другой день в живописный монастырь приехали прямо перед всенощной; все, кроме Катерины Николаевны и Маши, сказались усталыми и остались в гостинице за оградой, но мать и дочь отстояли всю службу за огромной колонной в тени. Глядя оттуда на свечи перед золотым иконостасом и на седых монахов, которые становились посреди церкви полукругом и пели густыми, согласными голосами, они обе молились, плакали и клали земные поклоны.

X

— Нет, у нас лучше! — сказал себе Руднев, отворяя дверь свою и спускаясь по двум ступенькам в пристройку... Опять обдало лицо родным, смолистым запахом, и, как в таинственном святилище, спущены занавесы темно-

зеленые на веселых окнах... Книги! Вот они здесь, верные, однообразно-глубокие друзья!.. Ждут, бедные, и будут ждать всегда, без ропота, готовые доставить наслаждение... Куда как книги лучше людей!

Он был счастлив, вступая в свою скромную твердыню, но грустный вид его, его утомленное лицо испугали дядю... Руднев ждал этого испуга; еще верст за десять до дому стал он с горечью ожидать его, приготовляя то долгий рассказ, то отрывистую отговорку.

— Грудь? Голова? Мяты? Кашель?.. 10

Как это нестерпимо создана жизнь, что от самого преданного человека нет возможности скрыться!..

— Ничего, ничего... пройдет... ничего! — повторял он внушительно, уходя от дяди, и дядя слышал, как он два раза щелкнул замком, запирая дверь в свою пристройку.

«Ну, Бог с ним!.. Пусть отдохнет. Или уж не обидели ли его чем; бывает это», — думал старичок, вспоминая, как лет шесть тому назад одна дама обратилась к нему очень ласково: «Любезный, вели моих лошадей подать», и когда Владимір Алексеевич с неудовольствием отвернулся, 20 дама сказала: «Ах! какой ты невежа!.. Я тебе говорю, чудак, лошадей!» Но Владимір Алексеевич — человек опытный и с характером. Вынув из кармана старинную золотую табакерку, он измерил насмешливо даму с чепца до оборки шолкового платья, которое она волочила за собой по полу, и заметил ей тонко: «Если *я* не ошибаюсь, сударыня, *вы* ошибаетесь!» и вслед за тем прошел мимо нее, играя старинной табакеркой, и вступил в гостиную.

— А он молод — неравно и сробел!.. Доктором, поскорей надо доктором стать... Тогда всякий: с искренним 30 почтением и величайшей преданностью, милостивый государь, имею честь быть, ваш покорный слуга!.. И на конверте пишется: «Его высокоблагородию, милостивому государю, Василью Владиміровичу Рудневу».

К обеду взгляд племянника стал гораздо добрее и лицо не так бледно; покушав с аппетитом, он сам завел разговор.

— Знаете, дядя, предводитель предлагал мне похлопотать о месте окружного врача... Я обещал подумать... Дня через два не дадите ли вы мне беговые дрожки... Небось дадите?

Дядя только улыбнулся на этот последний вопрос.

— Я думаю, вы правы, что без источника нельзя... Все-таки триста рублей в год! Да и кстати, хочу замолвить слово об одном семинаристе, которого я встретил у отца Семена: не найдется ли ему место учителя где-нибудь.

Не стоит и объяснять, как рад был дядя такому намерению; с радости он было хотел спросить: «а что по истинной правде, какие побуждения были к подобному побегу...», но та внутренняя задвижка, которая с такой силой запирает вдруг душу людей осторожных, спасла Руднева от противного вопроса и смущения.

Шум, пение, пляска, зеленый двор, столы на ко́злах, уже почти опорожненные; розовые, синие, красные сарафаны и рубашки, золотые сороки, свист и топот женщин; чорный плис и светло-зеленые поддевки молодцов... ранжевые кафтаны мордовок с шариками пуха в серьгах — вот что встретил Руднев, въезжая во двор Лихачовых... Предводителя, к несчастью, не было дома: так сказала ему у ворот одна чернобровая в малиновом сарафане и парчовой повязке... и указала на Александра Николаевича, который, как всегда в поддевке, сидел у своего крыльца на бревне, рядом с простой старухой и курчавым молодым барином в голубом бархатном чекмене.

Перед ними толокся под гармонию тот самый здоровенный дед, который не хотел везти Руднева ночью.

— Довольно, дед, плясать, довольно, — говорил сухо, Лихачов, — надоел уж ты... Как толчея какая-нибудь перед носом...

— Друг ты мой! — вскрикнул старик.

— Чисто что друг! — отвечал еще суше Лихачов, вставая и отстраняя слегка плясуна, который хотел обнять его, прибавил, — смотри-ка, кто приехал.

— Кто? голубчик мой! Кто для меня есть на свете кроме тебя!

— Это все так!.. А ты посмотри, доктор приехал... Он в стан ездил на тебя жаловаться, что ты изобидел его ночью... Говорят, становой скоро будет за ним... Ведь доктор-то колдун: захочет, навек испортит...

— Ой! не стращай ты меня, старика, — с веселой улыбкой, припадая к плечу Лихачова, шептал дед.

— Довольно, пусти... Смотри, вон он слез с дрожек, идет... Хоть и мал, да в рот ему палец не клади...

— Не положу, голубчик мой... не прикажешь ты, я и не положу... Все по-твоему будет! Все по-твоему...

— Однако ты не на шутку пристал ко мне! — говорит Лихачов, подвигаясь вперед не без труда, потому что пьяный старик почти висел на нем. — Пусти мою руку... Эй, девушки, девки! Хоть бы вы заступились... Дед-то меня вовсе уж одолел!..

Несколько баб и дворовых девушек бросились на деда и оторвали его от барина, который поспешил навстречу давно уж с беспокойством озиравшемуся гостю.

— Девушки, голубушки! Пожалейте старика, — твердил дед, — нет ли, как третёвадни, помадки у вас...

— Есть, дедушка, для вас есть... Настя, беги, неси живей помаду... На-ка, выпей еще браги пока.

Настя живо принесла помаду. Старик напомадил себе голову, усы и бороду, нюхал руки и приговаривал: «Эх, как годно! Эх, гоже!», выпил браги и пустился снова плясать, припевая тонким голосом, как женщина:

Распомадил, раздушил!
Красных девушек смешил...

— Браво! Важно! — воскликнул, подкатывая под лоб глаза, помещик в голубом чекмене... — Валяй, валяй!..

Девушки хохотали. Пение, свист, балалайка, гармония, крики и смех поднялись вдруг со всех сторон с новой силой и восторгом.

— Вашего брата нет дома, — скромно сказал Руднев Александру Николаевичу, стараясь отворотиться в сторону. — Я к нему по делу...

— Вероятно, он будет сегодня дома... Подождите его здесь, или пойдемте в дом... Здесь не лучше ли? Вот, рекомену́ю вам, известный всем в околотке, по своему разврату, Сарданапал...

— Чорт! — отвечал бархатный чекмень, на которого разумеется, указывал этими словами Лихачов... — Напрасно, вы, доктор... (очень приятно познакомиться) с этим дьяволом...

— Это кого? Кого? — подбегая, спросил старик. — Это ты Александра Николаича так?.. тьфу ты, окаянный, ругаешь...

— Я тебе сказал, дед, чтоб ты отвязался, — строго заметил Лихачов, — надоел ты всем, как горькая редька... Доктор здесь... помни! Ступай, старик!.. Сядемте на крыльцо, нам сюда принесут чаю.

Они сели, а Сарданапал пошел в толпу, где наряду с крестьянскими парнями, опираясь на плечи хороводниц, подпевал и веселился.

Руднев объяснил Лихачову свое желание быть окружным врачом на место г. Зона, просил его напомнить брату о том разговоре в избе, на ночлеге, в котором предводитель сам предлагал ему это место, и сказал, что оно ему особенно нравится тем, что, может быть, келейно разрешат жить в деревне...

Хотя лицо Лихачова было красно, но свежие глаза его доказывали, что он сохранял все присутствие духа трезвого человека.

— Жаль, что брата нет, — отвечал, — он бы вам все лучше растолковал... Впрочем, я думаю, вам самим нужно видеться с Зоном и поручить ему обделать это дело в Петербурге... Да брат вам это устроит... Э-э! Акулька пляшет, это интересно... Не хотите ли посмотреть?

С этими словами Лихачов тростью постучал в окно флигеля и закричал туда:

— Милькеев! полно тебе газеты читать... Какая скука! Акулина пляшет... Довольно... Оставь свое педантство! Хуже деда надоел с своим чтением.

Милькеев вышел и поздоровался с Рудневым. При виде этого разговорчивого и беспокойного человека Руднев испугался, чтобы он не спросил у него, зачем он тогда уехал; но Милькеев, пожимая ему руку, не сказал даже ни слова.

Акулина была вдова, лет под тридцать. Продолговатое лицо ее было смугло, прекрасные серые глаза и томны и веселы по желанию; одета она была не богато и не бедно; всегда веселая, трудолюбивая и добрая, она была любима всеми, начиная с господ... Любовников у нее было множество; иногда ее били, но все это забывалось скоро, и она опять плясала, пела, смешила всех и работала, припевая.

Она плясала с упоением и приговаривала беспрестанно то то, то другое, подскакивала к пожилому столяру, который то мчался к ней, расправляя бороду, то многозначительно толокся на месте...

Уже месяц взошел; запахло коноплями. Все молча, тихо любовались на пляску.

— Чем я не баба? — кричала вдруг Акулина.

Или вдруг обращалась к столяру:

— Поправь бороду... Я бородку люблю...

Махнув платком в сторону молодых господ, она сказала вполголоса: «Знакомые люди!»

— Сарданапал, — сказал Лихачов, — это на твой счет... Ведь ты был один из первых... Милькеев, как бишь это у Шекспира... тот говорит... ну — Фальстаф.

— Уж ученость-то, ради Христа, оставь, — закричал Сарданапал, — мало вам было сегодня... Вы с Милькеевым мало разве об инфузориях электричества толковали... Просто смерть мне вас слушать... Зачем камень летит книзу, а не кверху?

— Всякому свое, Павел Ильич, — отвечал Милькеев, — у вас одно, у других — другое... Вы — специалист по вашей части...

— У него разделение труда в доме доведено до крайности, — заметил Лихачов, — Паша, Настя, Катюша,

Февронья, Хавронья... Это не шутя, у него есть Февронья и Хавронья.

— Февронья летняя, худенькая, а Хавронья зимняя.

— Нет, ты расскажи-ка лучше, как ты своими незаконными детьми выселки хочешь селить?

— И поселю; что̀ возьмешь?

— Чорт знает, что̀ это такое, — прошептал Милькеев, отходя прочь, — нам, доктор, в одну сторону, кажется? Поедемте вместе в тарантасе, а на ваших дрожках какой-нибудь мальчик за нами доедет... Лихачов даст мальчика... Мне очень нужно с вами поговорить... Где он? Лихачов?

Но Лихачов не отозвался, потому что приятель его, старый дед, совсем пьяный, заснул пренеудобно, вниз головой, свалившись с сена в углу двора. Милькеев и Руднев увидали, как Лихачов вдвоем с кучером бережно отнесли на руках тяжелого старика под навес и уложили его в прохладе и покое.

Народ разошелся почти весь со двора, оставив в душе Руднева очень грустное впечатление, в причине которого он и сам не мог дать себе отчета. Сарданапал насилу держался на ногах и бранился; Лихачов отправлял его спать... С деревни еще слышались песни... Луна была высоко, и Рудневу страшно хотелось быть поскорее в широком поле. Достали какого-то мальчика для беговых дрожек, и молодые люди, севши в тарантас, видели, как Лихачов, едва простившись с ними, скорыми и твердыми шагами пошел на деревню в ту сторону, где допевались песни.

— Нравится он вам? — спросил вдруг Милькеев, проводив его глазами, пока было можно в темноте. — Ведь молодец?

— Мне кажется, что общего тут мало, — отвечал Руднев.

— Мало-то мало... Да у него это иначе, чем у других выходит... Я ему завидую страшно!.. Мы все уважаем да жалеем народ; а он просто любит его и даже не знает, что глагол «любить» идет к его манерам.

XI

Ехать им вместе приходилось верст двенадцать; было, когда поговорить. Милькеев завел разговор сперва об университете, о физиологии, попросил совета себе от головных болей, хвалил деятельность провинциального врача и потом вдруг спросил:

— Отчего бы вам не служить в Троицком? Мне поручено вам предложить это. Я ведь сам хотел ехать к вам. Ваша суровость отталкивает всех, и дядя ваш отказывается вас уговаривать, но я хотел испытать над вами свое красноречие.

— Я уже знаком с вашим красноречием по тому разговору в липовой роще.

Если бы не ночь, Руднев увидел бы, что сосед его покраснел.

— Однако вы не только суровы — вы и язвительны, — отвечал он, — впрочем, это ничего. Давича я еще сказал этому болвану-Сарданапалу: всякому свое: кабану — клык, волку — зуб, а лошади — копыто. Только вы меня не язвите — это не подействует. Вы лучше мне скажите, почему вы не хотите в Троицкое? Вы нас всех, признаться, заинтересовали вашим ночным побегом. Знаете, это — своего рода сила. Многие люди идут на смерть, на труд, но на внезапное нарушение приличия и рутины — решатся очень немногие. И мне и Катерине Николавне это очень понравилось.

«И *мне* и Катерине Николаевне!», подумал Руднев: «вот как! *Я*-то, *я*-то!.. А ведь какая у него приятная, добрая улыбка и какое выразительное лицо!»

— Я считаю это скорее слабостью, чем силой, — заметил он громко.

— Это делает честь вашей скромности; но это та же теория, что самоубийство — слабость, а ослиное терпение — сила; а не хуже ли всего презирать себя и олицетворять что-нибудь безличное и пошлое. Не правда ли?

— Не знаю-с.

— Ну, полноте! — сказал Милькеев, — ездите-ка в Троицкое почаще. Если у вас есть какие-нибудь язвы, они заживут там. Такого общества, как наше, вы нескоро найдете. Александра Лихачова вы видели и понимаете немного, а брат его, предводитель, разве дюжинный человек? Он должен найти лазейку в вашу душу уже потому, что кончил курс с золотой медалью в Москве, жил в самом мыслящем кругу еще студентом, отказался от кафедры и уехал сюда, подобно вам. Дворяне как-то умудрились его оценить, выбрали его, и так как имение почти все не его, а младшего брата (они ведь от разных матерей, как вы знаете), так дворяне дают ему от себя пять тысяч в год. Где вы это найдете?

— Знаю, давно знаю, — отвечал Руднев. — Знаю также, что он и прошлого года, и третьего года на следствии высек крестьян. Видно, жаль было с пятью тысячами расстаться!

— Катерина Николавна упрекала его за это, — продолжал Милькеев, — и сказала, что лучше бы оставить должность тотчас же. А он ей отвечал хоть и грубо, но неглупо: «Вы переплели в рамку спину мужика, повесили на стену и любуетесь ей. По-вашему — брось дело, только не марайся; а по-моему — замарайся лучше, да держись за дело, в котором ты лучше многих». — «Вы, говорит, Катерина Николавна, — дух, а я плоть». Больно, а надо ведь сознаться, что это нерешенный вопрос, и надо еще знать, лучше ли будет крепостным, если у дворян будет другой предводитель? Одного овса сколько передавал бедным взаймы! Впрочем, Бог с ним! Главное, *она* — она фон, на котором вышивается вся эта жизнь, неподвижная звезда, без которой ничего на планете не жило бы и не двигалось. Она совершенна до бесцветности. Ее даже невыносимой нельзя назвать, как других слишком хороших женщин: ее лень и маленькие малодушия обворожительны. ее все любят. Вам надо ездить к нам непременно.

— Благодарю вас за вашу заботливость; но ездить к *вам*, не знаю, зачем я буду. Не для того ли, чтобы навести уныние на все это *ваше*... как бы это сказать...

— Не знаю, за что это вы мне все колкости говорите! — мягко и ласково отвечал Милькеев. — Я к вам, а вы от меня, — прибавил он так простодушно, что Руднева схватило за сердце.

— Ну, спасибо вам, коли так! — сказал он, вздохнув. — Да знаете ли что? Вы вот ее хвалите что-то очень. Знаете ли что? К мужикам-то она везде будет добра! Мужик-то не mauvais-genre. Ему дал отдых, да денег, да два добрых слова сказал, так и квит. А ведь гроза этих аристократов — мы... мы... Вот где реактив-то для них химический, в нашем брате, то есть в моем. Вы, конечно, сюда не относитесь.

Милькеев усмехнулся.

— Значит, я и понимать вас неспособен в подобных ощущениях?

— Ну, понимать, поймете авось. Так я говорю, что мы-то, мы — сорная трава, которую надо им выполоть из своей обстановки. В нашем брате внешней поэзии нет. А ведь с одной внутренней далеко не уедешь, хоть тресни! Еще хуже, как сыпь какая-нибудь на грудь падет. А ведь мы гордые, хотим сидеть с ними рядом и в разговоре не спускаем. Мужик, тот пришел на двор, выпил водки, поел, и доволен. А наш брат норовит, как бы своим плебейством гостиную их осквернить. Здесь еще терпят: на безлюдье и Фома дворянин, а приезжай-ка к ним в Петербург да смутись раз, смутись два, а на третий и скажут — нездорова, не принимает.

— Вас, как доктора, всегда примут.

— Э, помилуйте! А вы еще светский человек (извините, я это ведь без злобы). Как же вы не понимаете, что это-то и скверно: когда я хочу ехать в дом, я хочу, чтобы меня там желали видеть как гостя, а не как доктора. Кому же охота олицетворять собой гофманские капли, горчичник или слабительное? А, не так ли? Ну-ка, ну-ка! Пускайте

в ход вашу элоквенцию. Я вот у вас метафорами позанялся. Только, пройдя сквозь меня, они приняли, так сказать, несколько топорный характер.

— Ну, так что же? Они правы, — отвечал Милькеев. — Я сочувствую им. Что же за охота наполнять свой дом бесцветными людьми, отнимать у него всякую поэзию. Мужик поэтичен, руки его испорчены благородной, земляной работой, и под грубой кожей можно всегда видеть красивый очерк этих рук; его одежда, его кудри, его телесная свежесть и наивная грубость — разве можно сравнить это с каким-нибудь секретарем или учителем! На что они? Если мне нужно эксплуатировать их для какой-нибудь государственной или общественной идеи, тогда другое дело, а то зачем я с ними буду связываться? — скучно! Я беден и, конечно, как видите, незнатен, но я всегда удалялся от них, сколько мог. И не я один так думаю; недавно я спросил у miss Nelly, за кого бы она охотнее вышла замуж: за молодого швейцарского мужика или итальянского рыбака, или за Баумгартена? Она пришла в ужас и сказала: «разумеется, за мужика, лишь бы это было в хорошем, теплом климате и места были бы красивые, где мы будем жить, и лучше за швейцарца, чем за итальянца. Je n'aime pas ces hommes noirs du midi, ces hommes cuits...»

— Говорите по-русски, я вашу французскую фразу не понял.

— Не притворяйтесь. Я вам ее не повторю, а выслушайте дальше. Она еще сказала: «Я люблю высоких, сильных, белых».

— То-то вы, я думаю, пожалели в эту минуту, что вы не белокурый?

Милькеев захохотал и подал ему руку.

— Вот так-то лучше! — сказал он. — Это по-нашему. Это жизнь! Вы еще не совсем пропали для жизни. Я ручаюсь, что вы прикрываете отговорками менее высокими и просто самолюбивыми идеи высшего разбора, которых вы не хотите метать перед всяким. Я могу вас уверить, что я постараюсь не быть всяким, если хотите...

— Постарайтесь узнать эти тайные побуждения мои, тогда и будете не всяким, — отвечал Руднев, уже шутя, — вот дядина деревня. Вы ведь, батюшка, верно, ночуете у меня? Доставьте уж мне это удовольствие.

— Доставлю, если вы мне обещаете не говорить больше «батюшка»: точно один мой бывший товарищ с бакенбардами, который нюхал табак. Вам это совсем нейдет.

— Ну, так я вас буду звать «отец мой», если позволите.

— Это другое дело! — отвечал Милькеев. 10

Владимір Алексеевич просиял, увидев троицкого учителя (нейдет ли уж дело на лад?), предложил ему чаю с свежим маслом и яиц всмятку.

Милькеев был с ним почтительно любезен, ни слова не сказал о своих приглашениях в Троицкое; кстати перелистал «Памятник Веры» и рассказал одну легенду про Иоанна Златоуста; ел много масла и яиц, пил много чаю; рассказал еще несколько новых анекдотов про доброту Катерины Николаевны и заснул на диване, как дома. Обоим Рудневым он очень понравился на этот раз. 20

«Искательный! Не без искательности! Очень искательный», — думал дядя.

«Молодец он, однако! — думал племянник, — как с ним весело! Интересно бы знать, как это он дошел до такой свободы и веселости? Ведь все-таки он скорее нашего поля ягода, чем плод троицких теплиц... Это интересно!»

Поутру он предложил Милькееву дядины беговые дрожки и сам поехал провожать его до реки верхом, не забывши раза три попросить его о месте для Богоявленского.

Подъезжая к Пьяне, Милькеев указал ему рукой на 30 реку и бор, на сады, узорные цветники и красный замок, которые сияли в полном блеске утра, и произнес, сверкая сам своими загадочными, серыми глазами:

Бросься в море, кинься смело,
Весл взамену две руки,
Грудью мощной и дебелой —
Волн пучину рассеки...

— Ну-с? — прибавил, встряхивая кудрями.

— Я готов верить, что Троицкое — пучина веселья, да я-то... Да моя грудь не дебелая... Прощайте, отец; спасибо! Ко мне всегда милости просим, если не скучно, а туда уж не тяните за душу... Прощайте!

И с этими словами, повернув лошадь, ударил ее плетью, а Милькеев рысью и задумчиво спустился к мосту.

— Что, ваш барин всегда скучный или веселый бывает? — спросил он на мосту у мальчика, который провожал его и все время молча сидел за его спиной.

— Бог их знает. Не могу я знать, когда господа бывают скучны или веселы.

— А не сердит?

— Не слыхать что-то. На кого им сердиться! У нас людей-то всего четверо: старик да я, Филипп да кухарка.

Возвратившись в Троицкое, Милькеев сказал Катерине Николаевне:

— Какой, однако, тонкий этот Руднев. Нарочно не поехал со мной в беговых дрожках, а верхом, чтобы и вежливость соблюсти, и на двор к вам не въехать.

— Он меня самое очень интересует, — отвечала Катерина Николаевна. — Этот побег ночью не выходит у меня из головы, и потом я имею слабость ко всему исключительному — эта мать-крестьянка не раз ему поможет в жизни. Где после этого зло, а где добро, Василиск? Что ж вы, дайте, я вас в лоб поцалую.

— Я вам сколько раз говорил, — отвечал, подставляя лоб, Милькеев, — что зло — отличная вещь, да ведь вы — l'ami des enfants... Сыграйте-ка лучше что-нибудь из Нормы на рояле, а я до урока пока посибаритствую в вашем кресле!

XII

Уж скоро год, как Руднев врач не только по праву, но и на деле. Зон прислал ему скоро ответ и двадцать пять рублей сдачи.

«Остальное, — писал он, — пошло на подмазку. Я очень рад, что это нам удалось; жалованье, конечно, невелико, но вы можете иметь хорошие доходы при наборах».

Ему разрешил келейно окружной начальник жить в деревне, и в первое время ему казалось, что он достиг своего идеала.

Жизнь дома, чтение, одиночество, от поры до времени ободряющие разъезды — чего бы лучше? Но скоро он нашел, что на казенной службе он мало может сделать пользы: он один на несколько тысяч человек, на три уезда, больниц нет, аптеки не в порядке, фельдшера пьют и взяточники. Но если чиновник был бессилен, если у него часто болела чистая душа при взгляде на недоверчивые лица крестьян, которые, глядя на него, казалось, шептали: «Эх ты, лекарь, лекарь! какой ты лекарь!» — зато уединенный мудрец был свободен, и за бесплодные объезды, за статистические списки, которые он, по совету ближайшего начальства, выдумывал сам — получал он триста рублей; и коробочки, банки и бутылки стояли в шкапу уже не пустые и печальные. На них теперь были докторской рукой надписаны латинские ярлычки, и даже показалась банка с хинином и другими дорогими лекарствами. Эта банка досталась ему после небольшой борьбы: хотелось красивую зимнюю шапку с немецким бобром купить.

— Да что за вздор, и в старой бараньей похожу! Что мне? Сыт у дяди, живу тепло, одет тепло, из старой студенческой шинели перешил себе серую поддевку, как у Лихачова (славная мысль!) и не забочусь ни о галстухе, ни о жилете, да и панталоны, впущенные в сапоги, меняют характер и дольше служат!

В неспешной, обдуманной деятельности и в блаженстве одиночества проходили месяцы незаметно, сливаясь в однообразное прошедшее. Появление какой-нибудь новой баночки с новым лекарством в шкапу, мелкие открытия, неожиданная радость на собственный успех и ловкость были целыми праздниками.

— Василий Владимірыч наш затрубил аж! по комнате ходит! — говорил Филипп в людской мальчику.

Но если б знал Филипп, отчего так трубил и пел Руднев, гордо прохаживаясь по комнате!

Сегодня женщина из-за десяти верст приехала и сказала: «Вот сношеньку посмотри мою теперь; а я, дай Бог тебе здоровья, жива от твоих порошков стала», и сам Филипп передал ему, что невестка у дворни имя его спрашивала, чтобы просфору за его здоровье вынуть.

Бо́льшая часть его жалованья тратилась на приходящих больных, и он, не имея возможности справляться о средствах каждого, полагался на их добросовестность.

— Можешь ты заплатить — так не отнимай у другого.

— Могу, — говорил крестьянин, — дал бы Бог здоровья, а за деньгами не постоим. Вылечи только!

Тогда Руднев прописывал рецепт, но за «труды», несмотря на мольбы больных, не брал. А тому, который вздыхал и, падая в ноги, говорил: «не могу», Руднев отсыпал из своих кровных баночек и коробочек. И ни за какие деньги и почести не променял бы он этого честного самолюбия, которое в его глазах давало ему право существовать на свете, и полежать с книгой на диване и поесть с двойным аппетитом, и с дядей или Филиппом пошутить разик-другой.

Разумеется, дела не всегда шли отлично; было горе и в этой вольной деятельности.

Из крестьян не все им были довольны: один находил лечение слишком долгим или сложным, другой — боялся мушек и пиявок, третий — все твердил: «Не вынесу, родимый, не вынесу... а ты пошепчи лучше!»

Редкие приходили извещать, что им стало хуже или лучше; хуже — нейдет с сердцов, лучше — забудет прийти от радости, что можно и работать и гулять!

Была раз и другого рода обида:

— Что-то больных давно не видать, Филипп, — заметил Руднев поутру, выехав на дровнях с слугой своим на порошу.

— И всегда у вас никого не будет, — отвечал Филипп.

— Это отчего?..

— Оттого, что вы очень горды!

— Я горд? Я горд? — с изумлением спросил Руднев.

— Конечно, горды! Никогда ничего не поговорите с ними. Другой любит три раза рассказывать все одно, а вы сейчас: «это я слышал, ступай теперь».

— Я всегда прибавляю: «с Богом ступай», а не просто «ступай». 10

— Ну, положим, что так... А все бы поразговорились лучше. Иной раз из наших баб или мужиков кто на деревне к вам подойдет, а вы сейчас норовите уйти от него.

— Да, помилуй, что̀ я буду с ним говорить, когда я не могу ему пользы сделать? Совестно смотреть в глаза, как увижу, что они работают, а я гуляю; и бегу скорей в сторону. Глаза стыдно на них поднять... Что я, перед ними паясничать буду, что ли?

— Пустое это вы говорите! Вы думаете, мужику все дело нужно? Он также любит и так поговорить... О девках 20 хоть... Вот кузнец вас жалеет, сам говорит: «Смерть мне Василия Владимірыча жаль, я его даром хоть через день катать в санках буду на своей паре». А сказать прямо вам боится... Вот извольте видеть, если бы Александр Николаич Лихачов был доктор, так у него от мужичья отбою бы не было... Он с ними смеется, шутит обо всем. Его больше всех господ в околодке нашем любят. Вздумал как-то в Ногаево на ярмарку третьего года по-крестьянски одеться, всю одежду у старостина сына взял и ноги грязным полотенцем обмотал, потому сапоги велики, и пошел с своими 30 на ярмарку. А ногаевские мужики как увидали, что он за сосну спрятался папироску закурить, и хотели прибить его: «Зачем, говорят, барин нашу одежду надел!» А все-таки не посмели, и свои и чемодановские говорят: «Вот пойдите-ка, стукните его по шляпе, вон он с алой лентой стоит, так мы вам ребра-то намнем!» А вас боятся все. Вы не то что смеяться с ними, а еще сердитое лицо станет у вас.

— Не сердитое, Филипп, грустное, грустное, Филипп. Это ты вздор врешь, что сердитое.

— Может быть, и вру.

Вот и взгрустнулось дня на три, и пороши не забавляют, и на зайца застреленного не смотрел бы, и книги незанимательны, и все не то. Но, по крайней мере, никто не торопит, о хлебе завтрашнем не думать; проспал ночь хорошо, встал, день ясный, морозный, прошелся в пустой роще один, в дубленке; пришли новые больные, щедрой рукой отпустил им лекарства и шепнул себе: «Пусть не любят; что̀ же делать! Пусть уважают только да лечатся... А веселиться с ними не умею!»

Весь беспорядок своих мыслей, давно еще, бывши студентом, Руднев старался свести в систему. Не изучая правильно ни немецких мыслителей, ни французских проповедников свободы, плохо, по-гимназически знакомый с историей, он постоянными напряжениями мыслей дошел до того, что ему стало легче. Слышал он мимоходом, будто Декарт старался все забыть, что̀ знал прежде, для того, чтобы поставить себе новые точки опоры. Руднева поразил этот способ. Около того времени московский быт его улучшился немного, а для него и очень много. Одна старушка, у которой был внук, дала ему даром чистую комнату, на том условии, чтобы он наблюдал только за уроками мальчика, который ходил в гимназию. Ученик не отнимал у него много времени, и он мыслил; мыслил с утра за чаем, мыслил в клинике, мыслил за одиноким обедом своим; но самое лучшее время для него было после-обеда, когда он шел гулять или по улицам, где в темноте шумело такое множество чужого народа, или по пустым бульварам. Тут уже начинался разгул мыслительной работы! Все проходило перед ним: треугольники, призмы, рычаги, электрометры, разноцветные соли химической лаборатории, кровь, ячейки, скелеты, физиогномии, характеры, народы, поэзия и Бог. Некоторые открытия были отмечены особыми обстоятельствами; так, например, проходя вечером мимо аптеки Крафта, в которой на окне сияли разноцветные жид-

кости, он сказал сам себе в первый раз: «Медицина должна стремиться к тому, чтобы уничтожить самое себя, то есть стать просто предупреждающей, естественной гигиеной». От этой мысли родилась потом другая: разделить науки на нормальные и патологические. Современное общество, в котором есть бедные, честные страдальцы, подобные ему, в то самое время, когда негодяи и глупцы ездят в колясках и увлекают женщин, — такое общество он не хотел назвать здоровым; потому что собственные лишения, болезни и оскорбления, которые он перенес как незаконный сын, как застенчивый и небогатый человек, располагали его видеть конечную цель жизни в покое и рассчитанном благоденствии мильонов в цветущих селениях, с правильным разделением труда.

Гниль и разврат больших городов, которые он хорошо видел вблизи, приводил его в трепет. Даже мирная, широкая, полная садов Москва, для него была буйная и страдальческая Москва! Сам он раз в начале курса попробовал было съездить в театральный маскарад; встретил там выпивших товарищей; они его ободрили и подвели к одной маске. Она была одета в палевом шерстяном платье, в грязных широких перчатках и без домино. У Руднева было рублей пять в кармане; он велел подать бутылку шампанского, котлет и пирожного; угощал свою даму, которая уже называла его «милым дитяткой», и после ужина увел ее в коридор, упрашивая снять маску. Она долго сопротивлялась, говоря: «Ты увидишь очень обыкновенное лицо». Наконец, сняла. Руднев увидел лицо бледное, исхудалое, курносое, с колечками на висках. Бедная женщина, снявши маску, робко подняла глаза на него и сказала: «Ну, поцалуй же меня!» Руднев честно поцаловал ее три раза и, попросив подождать у колонны, убежал домой.

На другой день у него заболела грудь, и с тех пор он в маскарад уже не ездил. Итак, он решил: наука о современном обществе, если она возможна, есть патологическая наука. Общество нездорово; молодые люди, которые изу-

чают в университете юриспруденцию, изучают также патологическую науку, и сам закон есть только замена нравственности, свободного самооскопления для пользы общей. Рассуждая так, Руднев устроил себе систему и в ней довольно искусно старался выводить все из одной основной мысли; эту мысль он придумал, стоя на дежурстве в клинике, перед большим окном, в октябре, когда еще трава в казенном садике зеленела из-под морозного налета, а за садом открывался дивный вид на Москву... Да! дивный до волшебства, ибо как же назвать это море церквей и домов голубых, темных, красных, розовых, белых и жолтых; море красок, поседелых осенних садов, дыма и подстрекающего холода? Часа два стоял Руднев у большого окна и решился покончить, наконец, разом с своими сомнениями! Он сказал себе так: положение первое: всякая сила стремится удовлетворить самой себе; второе: силы приходят в гармонию или борьбу, притупляются взаимно или идут по равнодействующей линии и т. д. Что̀ такое сила — он не знал; что̀ такое вещество — он не знал тоже, но, извилисто прогоняя сквозь строй вещественных явлений до самосознания какой-нибудь электромагнетизм, а самоуслаждение еще извилистее до самоотвержения сквозь мiр духовный, он отдохнул на время.

За вопросом о силах шли воображаемые крупинки вещества. Слагались они на один манер, попроще выходили: камень, соль, вода или воздух; посложнее на другой манер (пределов нет, и в окончательную металличность металлов он не верил!) выходила дремлющая растительная ячейка; ячейки, слагаясь, образовали ракиту, которая стоит в Деревягине над прудом, элегические ноготки и бархатки, которые сеял Гаврило и не только Гаврило, но и сам Руднев! (На первом курсе было и страшно и обидно состоять из каких-то пузырьков и ниточек; а теперь Руднев скорей гордился, что и он — произведение природы!)

Зашевелились влюбленные тычинки цветов, дионея схватила муху, забегали живчики водорослей, чтобы, отслужив свою краткую животную службу, заснуть в расти-

тельном покое; полип схватил червяка и проглотил его; грубая змея задушила скульптурную серну, не обращая внимания на то, что и Кювье, и Руднев, и другие считают жертву гораздо выше победителя.

Выше и выше, все сложнее, богаче и туманнее внутри и ярче снаружи! Человек взял верх над всем центростремительной силой чувства и мышления; птица взяла верх и над ним центробежной силой мышц и подвижности... Сложно все это! Месяцами и годами доходил он до этого, как деревенский механик, открывая давно открытые вещи и кладя на них все-таки печать личной работы.

В Деревягине работа эта шла еще гораздо лучше, чем в Москве. Здесь сидел он неподвижно по целым часам, и тени прошедшего и соображения о будущем проходили беспрестанно в его мыслях. Этот покой был для него величайшим блаженством; сидел он час, другой, вставал, прохаживался и опять садился. И одно утро проходило так, и другое, и третье, и, странное дело! — одни и те же мнения, одни и те же лица, одни и те же истины и знакомые предметы проходили перед ним; поднимались до сознания из бездны духа; поднимались на миг и опять тонули в новой бездне, сменяясь по очереди, как в тех детских игрушках, в которых из темной башенки выплывают одна за другой все одни и те же утки. Но всякий раз эти мысли, эти предметы уже были не совсем те, что̀ прежде, и казалось ему, что не только они сами, но и способ их смены и самые сочетания их друг с другом были важны и оставляли по себе неизгладимый залог, угасающий только на время!

Даже воспоминание об этих детских утках и о страшном таинстве мышления навевало ему трепетное подозрение, готовое превратиться в торжествующую мысль: что есть родство законов у самого ужасающего своим величием с тем, что̀ мы считаем пустой игрушкой или пошлостью!

Он и смирялся, и блаженствовал, смиряясь и не чувствуя себя в силах сломить этот деспотический круг однооб-

разно-пестрых мыслей. Тогда и в игре метафор, которую так любил Милькеев, Руднев уже ясно видел не игру метафор, не бесплодные лепестки махрового цвета, а данный человеку дар, шутя и между говором обеда указывать на великую связь всех явлений.

И дальше мыслил он, переходя постепенно к оправданию своей практической жизни. Как птица отрывается от грязной земли, так и он хотел оторваться умом от общества и не быть рабом неизбежной его драматичности. «Разум и наука, — говорил он сам себе, — возьмут верх над всем рано или поздно, все поймут, все уравняют и все примирят».

«Служи науке, Руднев: она не обманет тебя. Верь в науку, Руднев, в ее спасительный ход от простейшего к сложному; верь в свободу! Поднимайся душевно над жизнью, как птица, — повторял он, — птице издали и грязные пятна являются только живописными темными пятнами между зелеными травами, синей водой и белыми жилищами. Живи один, Руднев; на что тебе люди, скажи мне? Любить тебя не будут и ты, пожалуй, не люби, а холодно и молча жалей и лечи их честно, помогай твердо, сухо и молча... Беспрестанно, каждый миг молчи! Не уставай молчать, а если услышишь на дне души своей что-то шевелящееся и горячее, береги это шевелящееся и горячее для себя одного, как роскошь и праздник. Чувство — как благоухание — вмиг улетает и портится, открытое на воздух!»

И хотя и прежде, еще не оправдавши своей деятельности натурфилософской цепью, он мог лечить и лечил крестьян; хотя вся эта отвлеченная работа была для него просто личной потребностью, не удовлетворяя которой, он задыхался и все искал чего-то, — но и для деятельной медицины не мешало заставить молчать хоть на время решенные вопросы и беззаботнее думать о том: «Какая это опухоль: просто жировая, или рак?» «Какая это чахотка: от неизлечимых бугорков, или более излечимая, от легочного нарыва?»

XIII

Милькеев во всю зиму был всего раза два у Руднева. У него были свои заботы и наслаждения. Он вполне сросся с троицкой семьей; вместе с ней тревожился и радовался, боролся и побеждал. То надо было слишком полнокровного и счастливого Федю привлечь к занятиям; пробовать, с какой стороны его взять; не подкупить ли его анекдотической частью истории, пользуясь тем, что он очень мило рассказывал про Давида, который «вечером с балкона увидал одну девочку; она ему понравилась, и он мужа ее отправил на войну, чтобы его там убили», и прибавил: «Мама́! ведь это он скверно сделал?», или прицепить как-нибудь к его ранней страсти ходить в лес с ружьем зоологию и ботанику? Федя, несмотря на свое беспамятство в классе, на воле был очень наблюдателен, рассказывал каждый день новые и комические случаи про форейторов, крестьянских детей и знакомых иногда представлял в лицах. Надо было постоянным внушением добра и кротости смягчать несколько крутую и независимую природу Оли, которая в классе приводила учителей в восторг и в деле точности скоро обогнала старшую мечтательницу, Машу, а Маша отлично писала сочинения, но ни за что не хотела помириться с буквою «ѣ». Надо было бороться с ami Bonguars'ом, не обижая его. Bonguars требовал, чтобы Катерина Николаевна запретила miss Nelly по вечерам рассказывать детям готические сказки и девочкам играть в куклы. «Волшебные сказки удаляют от здравого смысла, а куклы делают из женщин деспоток», — утверждал он. Насчет точности и всех тонкостей классной эрудиции ему делали уступки, позволили даже читать историю Франции гораздо пространнее, чем нужно («пускай они не будут вполне чужды всему этому блеску, который мы прежде слишком уж любили», — говорила мать); но не только германские фантастические рассказы не были запрещены, но еще позволено было няне-хохлушке, которая приехала с графским Юшей с Кавказа, при-

водить детей в восторг старинными песнями и русскими сказками. А сколько хлопот было с Юшей! Его привезли около осени и тут же еще раз убедились, как князь Самбикин глуп: ребенок был вовсе недюжинный и понять его было нетрудно; бледный, нежный до того, что все синие жилы на висках были видны, с мрачными глазами, которые оставались мрачны даже и тогда, когда он смеялся; больной, избалованный и тщеславный, он больше любил отца с густыми эполетами, который осыпал его подарками и учил сквернословить от скуки, чем память матери, боготворившей его. Надо было все сообразить не спеша; как бы не обидеть сироту, обуздывая его? Как укрепить его, постепенно приучая к той грубой и привольной жизни, которую вели троицкие дети, падавшие не раз и с лошадей и в проруби? Сначала Юша часто убегал в темные комнаты, ложился под диваны и плакал там, призывая отца и мать; бил Федю, который горько плакал, не смея тронуть его, из боязни раздавить своей гигантской силой; называл «наемными свиньями» своих наставников, хотел убежать на Кавказ; все это надо было исправить в смышленом и впечатлительном мальчике, у которого были даже свои таланты; например, никто из детей не был так способен к музыке, как он; никто не играл так мило на семейных спектаклях, никто не умел так забавно и с чувством петь хохлацкие песни:

Чи я в поле не калинка была,
Чи я в поле не зелена была...
Взяли меня да нарвали,
В пучечки повязали.

И тут же после хохлацкой, французскую скороговоркой:

Un pâtissier demeurant
Dans la plaine du Mont Rouge,
Avait un bien bel enfant,
Qu'on nommait le petit chaperon rouge.
Voilà me direz-vous un nom singulier!
Que je n'ai jamais vu dans le calendrier...

Да и кроме детей, сколько было у Милькеева и работы и развлечений: езда в манеже, коньки, большая библиотека, диссертацию и статью кончать, мимоходом покрасоваться перед Nelly и тут же утешить ученой беседой ami-ennemi Joseph'a, погружаться на целые часы в заграничные издания, ездить к Лихачовым и совещаться с предводителем о каких-то социальных вопросах, играть в войну и в жмурки с детьми — и конца нет! Троицкая жизнь располагала его душу к такой гармонии, что он все это успевал делать, не тяготясь, а наслаждаясь. Когда же ему было часто думать об этом Рудневе, который сам знать их не хочет. Да и Катерина Николаевна говорила: «Оставьте его, дайте ему устояться!»

Раз, однако, перед постом, они сошлись в большом лесу, куда оба забрели — один с ружьем, другой с мечтами — и поговорили; другой раз Милькеев ехал в гости и встретил Руднева в дубленке, на дровнях, с больным мужиком; доктор правил сам и поскорее свернул целиком в сторону.

Милькеев узнал от его дяди, сколько он хлопотал для крестьян, и это так понравилось и ему, и Катерине Николаевне, и предводителю, что все начали опять думать, как бы достать его.

Милькеев чаще стал ездить к нему, и они теперь скорее сблизились, чем прежде; начали спорить и судить обо всем, даже ссорились; иногда Милькеев кричал на него с приятным выражением лица:

— Что вы напустили на себя эту плебейскую жолчь! Знаете ли вы, что демократические чувства в людях средних, как мы с вами, бывают двух родов: снизу вверх — к князьям, графам, губернаторам, генералам, и сверху вниз — к нашим слугам, мужикам и т. д. Последнее всегда почти исходит из доброго источника: из сострадания, доброты; за все эти чувства мы имеем только одну отраду — возможность уважать себя всякий раз, как почувствуем. А демократическое чувство снизу вверх всегда имеет источником зависть, сознание своего бесси-

лия, или досаду на их преимущества, на богатство, красоту и свежесть, которая у нас, по крайней мере в России, распространена только между мужиками и людьми высшего сословия... Вы, как физиолог, должны понять, что я говорю правду... И те и другие больше нашего пользуются движением, воздухом и душевным спокойствием... Но за что же ненавидеть их и бежать от них? У работника или настоящего мещанина, если есть демократическое чувство снизу вверх и если источник его не совсем чистый, так это, во-первых, извинительно потому, что оно вынуждено иногда стеснениями, и потом к нему примешано столько наивного чувства народности: борода, вербы, иконы, поэзия молитвы и постов, которых мы не соблюдаем, и это ему не нравится в нас. В аристократе же, если есть демократическое чувство, так оно всегда признак или большой доброты, или политической дальновидности. А то из чего ему хлопотать, скажите?..

Иногда Руднев был жолчен и болен, и тогда резко отвечал своему новому приятелю:

— Что̀ у меня на душе — не знаю! Быть может, ничего! Но дайте мне, молю вас, дайте одному тосковать, одному, не торопясь, работать, когда свежо, и дремать, созерцая по целым часам и дням, когда скучно и что-то слабо. Оставьте, ради Бога, ради Бога оставьте! Я даже и мыслить не буду, не презирайте только меня за то, что я брожу туда и сюда и повторяю: «Боже! что за мука!» Кому до этого дело? Мне легче так, и я этого никогда стыдиться не буду... Выйду из этого, когда захочется выйти, а теперь не хочу. Вот и все...

— Однако вот вы, на днях, плелись с больным мужиком!..

— Это, батюшка, другое дело! Когда в свежее утро Руднев будет молодец и строг и этот строгий Руднев спросит у вялого Руднева: «Что̀ ты делал, когда глазам было на свет Божий больно смотреть... Спал?» — «Нет, я со злостью, с ленью, со скукою влез на мужицкие сани и по холоду тащился в город со скрежетом зубов... Я тогда не

усиливался думать и мужика этого вовсе не любил, но лошадь везла в город и привезла... А злое лицо мое, может быть, еще заставило Воробьева скорей мне дать инструмент; а правила операции тут... их не выбьешь из головы...» Вот строгий, но и добрый Руднев и скажет вялому и злому: «Ну, это еще, брат, ничего... Можешь жить, то есть, извините, не жить... Это ваше дело жить, а с нас и существования довольно!..»

Но как скрыться от людей?

Однажды — вечер был лунный; Руднев прохаживался по большой комнате, а дядя сидел у окна, и они уже собирались зажечь свечу и сыграть перед ужином в шашки, как вдруг раздался колокольчик, и перед двором, заметенным сугробами, показалась кибитка тройкой, попала с розмаху не туда, куда надо — завязла; из нее выскочил мужчина и, шагая с трудом через снег, поспешил к крыльцу. Удивленные хозяева встретили его со свечой в сенях и увидели князя Самбикина...

— Я к вам, доктор, к вам с тройкой и с просьбой. У сестры моей умирает ребенок... Вот она пишет к вам.

— Я частной практикой не занимаюсь, — отвечал Руднев угрюмо следуя в горницу за князем, не снимавшим даже шубы.

У Владиміра Алексеевича, который хотел было кликнуть заснувшего в прихожей Филиппа, чтобы поскорей подал доктору теплые сапоги и все, что̀ нужно, оборвался голос... Дергая бровями, стоял он на месте со свечой и глядел то на князя, то на племянника.

— Разве кроме меня нет врачей? Воробьев, Вагнер и другие есть...

— Когда дитя опасно, Вася, — сказал дядя.

— Опасность часто преувеличивается родными. Я ведь не занимаюсь частной практикой — и мне... наконец... я имею право... не ехать к тем... которые в силах платить... Есть другие доктора.

— Воробьев на следствии; Вагнер стар, а в город далеко посылать... Сестра сама вам пишет, — вкрадчиво

умоляя, продолжал князь и достал дрожащими руками из-под шинели записку... Неожиданное упорство Руднева так его взбесило, что он насилу отыскал ее в кармане.

— Не угодно ли вам, князь, шубу снять и присесть, — сказал Владимір Алексеевич, пока Руднев читал записку...

— Когда тут сидеть... помилуйте! У ребенка, кажется, круп...

«Умоляю вас, доктор, войдите в положение матери, у которой всего один сын... Ради всего святого не откажитесь приехать... Я знаю, что вы не любите ездить никуда, но сделайте на этот раз исключение... Требуйте от меня что̀ хотите».

— Если в самом деле никого другого достать нельзя!.. Филипп — сапоги!

— Филипп, сапоги! — повторил Владимір Алексеевич...

Тройка князя Самбикина была превосходная, и через час, не более, Руднев был уже за 20 верст у крыльца двухэтажного дома. Окна все были освещены; внутри все ново и по моде. В прихожей встретил доктора высокий, сухой, плешивый мужчина, щегольски одетый; в залу выбежала молодая мать, русая красавица с заплаканными глазами. Растрепанная одежда ее была изящна и богата.

«Тоже чувствует!» — подумал доктор, подходя к детской.

Крупа еще не было, но кашель внушил Рудневу подозрение, и он, подумав, тотчас решился действовать, как будто перед ним был круп в полной силе. Лекарства он захватил от себя. Обнадеженная немного мать старалась занять его разными расспросами; отец повел его в свой кабинет, показывал ему образчики прошлогоднего овса, пшеницы и полбы.

Князь Самбикин водил его под руку по освещенной зале, упрашивая ночевать и уговаривая вообще покинуть свое одиночество. Рудневу хотелось спать, и он остался. Ребенку стало легче на другой день; Руднев хотел ехать, но мать заплакала, и он остался.

Горесть этой красивой женщины, которая всю ночь, одетая, пролежала поперек двухспальной кровати, у ног своего божества, потому что Коля метался в своей маленькой кроватке — сильно тронула доктора; да и сам ребенок был такой исполнительный, покорный больной... когда ему ставили мушку, он сначала не хотел, а потом скрепился и сказал, понукая сам себя: «Ну, тащися, сивка!»

Нельзя сказать, чтобы следующий день прошел весело; в доме все лоснилось и сияло: бронза, мебель, хрусталь и серебро; обед был отличный; но разговоры так пусты и чужды Рудневу, что он очень обрадовался неожиданному появлению старого своего знакомого Богоявленского. Он приехал в больших санях с какой-то высокой, удивительно миловидной, русой девушкой, которую Полина обняла и назвала Любашей.

Князь Самбикин объявил доктору тихо и как бы таинственно, что «эта девушка — племянница мужа его сестры...»

— А Богоявленского ведь вы знаете, — прибавил он, — его по вашей же рекомендации пристроили в дом к Авдотье Андревне Забелиной, к матери Платона Михайлыча — моего зятя... Он, кажется, очень хороший человек и об вас часто вспоминает и все удивляется, что Полина не откажет Воробьеву и не возьмет вас годовым... Это он нам подал мысль пригласить вас, когда мы вчера совсем растерялись.

В самом деле, улыбка Богоявленского при встрече с Рудневым была естественнее ядовитой и отвратительной улыбки в утро их первого знакомства.

Крепко жать руку он не умел, а подавал какой-то холодный и мягкий кусок мяса; но словами выразил свою признательность тотчас же.

— Очень рад вас видеть, Василий Владимірыч, — сказал он, — я, благодаря вам, переминаюсь кой-как теперь... Спасибо вам...

— Вам хорошо в семье этой? — спросил Руднев.

— Э! Разве бывает хорошо в семье! — отвечал Богоявленский, махнув рукой. — Четыреста рублей! Вот, что хорошо! А семья мерзкая, как почти все наши русские семьи. Ну, да их к ладу, или к чорту; а я сюда приехал ведь вас в эту мерзкую семью звать. Как бишь это — Петру апостолу не велено было для пропаганды и гадиной брезгать...

— Да что̀ такое, болен что ли кто-нибудь?..

— Вот этой барышни папа́ нездоров, — продолжал Богоявленский, указывая глазами в сторону Любаши, которая у окна шепталась с хозяйкою дома. — Барышня, как водится, не выдерживает критики, но получше своей обстановки. Не надеялась на убедительность своих речей и, по совету бабки, взяла меня с собою. Я очень рад, долг платежом красен... Не откажите моему удовольствию вам заплатить услугой за услугу. Ведь к такому рассчитанному обмену услуг не должен ли прийти весь мір? Хоть и небогаты, а деньги вам дадут...

— Да что я вам дался! — сказал с сердцем Руднев, — нет у них Воробьева! Человек светский с перстнями, с цепями, завитой. Про министров и графов все рассказывает... Гораздо лучше.

— Тут целая история! Старик немного тронут... Любовь Максимовна, а Любовь Максимовна, потрудитесь доктору объяснить, отчего ваш папа́ не хочет Воробьева...

Любаша подошла, чуть-чуть краснея и заметно удерживая свои свежие губы от привычной улыбки.

— Да, пожалуйста, поедемте к нам, — сказала она. — Папа́ терпеть не может Воробьева: он все боится, что Воробьев отравит его. У папа́ бывает *это* временем...

— Да говорите просто, Любовь Максимовна, — перебил Богоявленский, — что *это*? *Это* значит периодическое умопомешательство. Чего тут стыдиться; вы разве виноваты?

Полина, убедившись, что ее сыну легче, стала тоже просить Руднева съездить с Любашей, переночевать там и поутру возвратиться опять к ней.

Пришлось ехать в санях вдвоем с Любовь Максимовной.

В передней хозяин дома схватил Руднева за обе руки, долго и выразительно жал их, приговаривая: «Благодарю, благодарю», и оставил в одной из рук его пакет с деньгами. А Богоявленский, прощаясь с ним, сказал:

— Вы поедете с Любовь Максимовной; а мне кстати надо провести сегодня вечер на крестинах, у здешнего отца Парфения — еще обогатил нашу касту отпрыском — родил сына...

— Желаю вам веселиться, — отвечал Руднев, надевая свой бараний тулуп.

— Веселья-то мало; а уж так пришлось. А вы, Любовь Максимовна, смотрите, моего доктора не конфузьте дорогой. Он стыдлив, должно быть, сгорит от стыда, и вашему папá будет хуже, если вы в Чемоданово привезете одну груду пепла...

Любаша усмехнулась, Руднев поморщился и ввалил свой тулуп в сани около бархатного салопа цветущей девушки. Атеист, насмешливо проследив за ним глазами, сошел с крыльца и задумчиво побрел к священнику.

Уж начало смеркаться, и мороз немного спал; заря занималась за лесом после сверкающего дня. Долго мчались по накатанной дороге Любаша и Руднев; по узким лесным дорогам ехали тихо, чтоб не сломать об деревья сани, а на открытом поле кучер кричал, и летели; только держись.

— Хорошо ехать в санях! — сказала Любаша.

— Недурно, — отвечал Руднев.

— И погода сегодня славная. Завтра тоже будет хорошая. Заря такая чистая. А вы не озябли?

— Нет, — отвечал он, — не озяб что-то... Когда же тут успеть озябнуть.

Уже видно было имение родных Любаши, и очень заметна была одна еловая аллея в саду, между другими голыми деревьями, когда Любаша опять обратилась к Рудневу:

— Вы не показывайте виду папá, что вас для него привезли: скажите, что для тетушки Анны Михайловны. Она тоже часто нездорова. Он сегодня смирнее стал, оттого что бок сильнее болит, а третьего дня сорвал с тетеньки мантилью и бросил в печь... И еще когда будете входить к нему, осторожнее в дверях: он как рассердится на всех, вынимает половицу около порога, чтоб никого не пускать в свою комнату... Прошлого года тетушка Анна Михайловна провалилась под пол... и только одной рукой удержалась.

При этих словах Любаша, заранее начавши улыбаться, засмеялась так громко, что кучер обернулся, взглянул на барышню и тоже захохотал.

Через минуту сани остановились у крыльца чемодановских хором.

XIV

Руднева провели по темному коридору в пустую комнату и оставили одного с сальной свечой. Немного погодя пришла горничная, принесла стеариновую и приняла сальную свечку. В соседней комнате шептались. С полчаса посидел он один. Наконец вошла Анна Михайловна. Вприпрыжку подбежала она к доктору и подала ему дрожащую и худую руку.

— Вы озябли? — сказала она, совсем приближаясь к нему лицом, — сейчас принесут чай. Mon frère va trés mal... Садитесь, пожалуйста... мы все так огорчены... Садитесь, пожалуйста... Вообразите себе (она еще больше придвинулась к нему и обрызгала ему лицо слюной)... он ажитируется страшно... Третьего дня прогнал дьякона и простудился... Когда он в ажитации, он терпеть не может, чтобы его кто-нибудь спрашивал о здоровье. Дьякон пришел и спросил у него, только всего и спросил: «Как ваше здоровье, Максим Петрович?» И Боже мой!.. C'est affreux!.. Вон, дурак, скотина, вон, дурак, скотина!.. Гнался

за ним в переднюю, на крыльцо, на двор... Пришел домой, и в боку немного погодя заболело. Все пробовали: горчичники, липовый цвет, бузину, — все давали...

— Позвольте же мне видеть больного, — сказал Руднев.

— Нельзя вдруг, никак нельзя вдруг. Избави Боже! Un médicin tout à coup!.. Он придет в бешенство. Надо вас просто познакомить. Сказать: приехал Руднев... Позвольте узнать, как ваше имя... Василий...

— Владиміров...

— M-r Basile. Мы ему скажем... M-r Basile Руднев. Вы пробудьте у нас дня два-три и как-нибудь уговорите его приставить пиявки. Я уж не знаю, право, что̀ делать... Даже домашнее что-нибудь трудно предложить ему... У него страшно ведь болит бок!

В эту минуту послышался шорох шолкового платья, и вошла Любаша.

Она сказала, что к отцу можно, что напрасно тетка беспокоится, что Малаша неосторожно проговорилась о приезде доктора, и старик спросил только у нее: «Какой это доктор, Руднев, что̀ ли?» И когда ему сказали, что Руднев, он успокоился и прибавил:

— Для Анны Михайловны?

— Да, папа́, для Анны Михайловны...

— Ну, пусть и ко мне зайдет...

Анна Михайловна была, по-видимому, рада и, шатаясь, пошла вперед. Любаша и Руднев за нею.

— Сколько верст отсюда до Троицкого: кажется, верст двадцать пять? — спросила девица.

— Да, будет около этого, — отвечал доктор.

— Я проезжала через Троицкое несколько раз. Как у них хорошо; я бы хотела там побывать.

Руднев не отвечал.

— У Полины тоже дом хороший, только там как-то, мне все кажется, должно быть лучше.

— Да, Новосильская хорошо живет, — сухо отвечал молодой человек.

Любаша замолчала, увидав, что он так неохотно разговаривает, и они перешагнули вместе через яму порога.

Старик сидел с кочергой у печки, когда Руднева ввели к нему.

— Папа́, Василий Владимірыч Руднев, — сказала Любаша.

Старик покашлял, исподлобья посмотрел на него и протянул руку.

— Вы доктор?

— Да, я медик...

— Что̀ значит медик? Вы хотите сказать: лекарь?

— Да, лекарь.

— Иностранные слова! — промолвил старик, все не спуская глаз с Руднева. — Медик... облагородить... Ну-с, г. медик... очень рад вас видеть... Прошу садиться...

Любаша смеялась, отойдя к окну. Руднев сел и молча наблюдал больного. Старик покашлял, вздохнул и, поглаживая бороду, продолжал смотреть на своего врача.

— Вы в Московском кончили?

— В Московском.

— Хороший университет, славный. Педагоги ваши всем известны.

Тут он вдруг засмеялся.

— У меня был один знакомый, из вашего университета — учитель. Его утопили в реке товарищи.

Сказав это, старик хотел захохотать, но схватился за бок и закашлял.

Руднев хотел броситься к нему и протянул уже руки к больному боку, но Максим Петрович отстранил его.

— Ничего, это пройдет. Ну-с, так его утопили товарищи...

— Зачем же? — спросил Руднев.

— Зачем?! Что за вопрос!.. Чтобы не было его, чтобы утонул... Цель, кажется, ясная?.. А за что? Вот это другое дело. Хороший был человек, начальство его любило, награды получал. Они напились пьяны и утопили его. Вы, может быть, хотите мой пульс попробовать?

— Позвольте...

— Извольте... Вы не поляк и не жид... Главное, вы Воробьева знаете?..

— Знаю.

Старик ядовито усмехнулся и велел дочери достать из шкапу склянку.

— Ту, знаешь...

Любаша его отговаривала.

— Да ведь она запечатана.

— Ничего, опять запечатаем. Вот, видите эту склянку... Я ее запечатал, хотел послать во врачебную управу... Воробьев этот — друг закадычный Анне Михайловне... Вы, небось, видели Анну Михайловну. Как она вам понравилась?...

Руднев пожал плечами.

— Вы пожимаете плечами. Это резонно! Не стоит и спрашивать! Так вот эта Анна Михайловна просила его прописать мне рецепт. Он прописал... Я ничего. Пусть пишет и пошлет в аптеку, а я все буду молчать, все ничего не скажу. А как привезли, я увидел эту стклянку. «Нет, говорю, брат, постой. Я знаю, что это яд... Злейший яд!..» У меня была собака... так, собачонка дрянная, дамская... Ну, а я к ней привык, любил ее; однако не пожалел ее, дал ей ложечку... Вмиг — судороги и смерть... А это не яд?... это не яд? скажите мне, это разве не яд?

— Позвольте посмотреть.

— Смотрите, нюхайте... что̀ же это по-вашему, г. медик?

— Это, точно, подозрительно, — сказал Руднев, — я возьму с собой, если вы мне доверите, и постараюсь исследовать его... Впрочем, все яды полезны; надо знать, в какой болезни и в какой мере... Воробьев — человек скверный.

— Ну, да, да, разумеется, в какой мере... Возьмите себе эту стклянку... Я вам верю.

Руднев поклонился.

— А ваш бок? — сказал он.

— Бок болит. Я, впрочем, сделаю все, что вы мне посоветуете. Матушка и Любаша (вот эта барышня, кото-

рая стоит у окна... это — дочь моя Любаша... — с небрежностью прибавил он) — так вот эта Любаша и матушка все жалуются, что я не лечусь... Я сам говорю: дайте мне доктора, а у Воробьева я лечиться не буду... Что̀ это за доктор! Постойте-ка, Любаша, выйди-ко вон.

— Зачем это? — с неудовольствием сказала дочь, — разве вы не можете при мне говорить?

— Ах, матушка... Пожалуй, останься, коли у тебя стыда нет! Мало ли о чем мужчина доктору может говорить...

Любаша поскорей ушла, а старик схватился за бок и, стараясь не охать, качался от радости на кресле...

— Ушла девчонка! — начал он, и лицо его сейчас же стало опять грустно. — Я очень рад, как вас там зовут... с вами поговорить. Мне сдается — человек вы хороший. Скажите мне, между прочим, отчего бывает гной на крови, которую выпускают из руки перед смертью. От яда этого не бывает?

— Гноя никогда не бывает на выпущенной крови, Максим Петрович.

— Не бывает? А что̀ ж бывает?

— Кора такая белая бывает, воспалительная кора...

— От яду?

— Нет, зачем от яду? Эта кора бывает в разных случаях: при воспалениях некоторых, иногда у беременных женщин фибрин...

— Фибрин — это яд, как стрихнин?... Не дают ли его беременным?

— Нет, позвольте, дайте мне досказать: фибрин — это вовсе не яд: это — нормальное вещество... Что̀ с вами, что с вами?

— Ах! чорт возьми, бок проклятый, бок... Помогите мне лечь. Эх! чорт побери, дьявол... Ой!

Любаша, которая ждала за дверью, вбежала, вместе с Рудневым сняла с отца халат и уложила его в постель. В доме были пиявки; Руднев сам поставил тотчас их Максиму петровичу. Любаша все время не отходила от него,

измаралась в крови; старик лежал и молча слушался, беспрестанно переводя задумчивый взгляд с дочери на молодого человека, а с него на дочь.

— Вы верите, доктор, в животный магнетизм? — спросил он только раз.

— Верю; а что-с?

— У вас он есть; вы как меня тронете руками, так приятно станет... Эх, как приятно! Подите в магнетизеры! А?

— У меня слишком мало душевной силы, чтобы быть магнетизером, — отвечал Руднев.

Когда Максиму Петровичу после пиявок захотелось спать, Любаша увела Руднева в большую темную залу с пляшущими половицами и спросила его:

— Он вам, верно, говорил об крови, об яде?

— Говорил. Что̀ это значит?

— Это всегда... Вы что̀ ему сказали?

— Я сказал, что гноя на крови не бывает, а то, о чем он думает, бывает не от яда.

Вслед за этим вбежала Анна Михайловна и спросила у Любаши:

— Est-ce qu'il a parlé?

— Да, я уж сказывала, — отвечала Любаша по-русски.

— Toujours ces bêtises?

— Все то же.

Анна Михайловна внимательно посмотрела на племянницу и печально покачала головой.

— Toujours, toujours! Вы что̀ сказали ему?

— Я сказал, что гноя в крови не бывает, но бывает воспалительная кровь, которая происходит не от яду.

— А! вот и прекрасно. C'est magnifique! Он теперь уснул... Ха-ха-ха... Такой он у нас чудак... Пойдемте теперь к «maman».

«Maman» была гораздо больше похожа на матушку, чем на «maman». Она только что вернулась из субботней бани и сидела в большом кресле; горничная расчесывала ей густые и длинные седые волосы большим пальмовым греб-

нем; вся она была белая: лицо белое, глаза светлые и цветом и блеском, капот белый с оборками.

— Очень приятно познакомиться, — сказала она Рудневу с гордой небрежностью, — кажется, наш больной успокоился?

— Да, ему, кажется, лучше.

— Ашенька, — продолжала она, обращаясь к Анне Михайловне, — не подать ли нам сюда ужинать? Я ослабела... Да где твой брат, Люба?

— Брат? не знаю, бабушка.

— Верно в людской в карты играет... Хи-хи-ха-ха!... — донесла Анна Михайловна.

У старухи пробежал по лицу луч гнева.

— Марфа! — сказала она сурово, — отыскать Сережу... И пожалуйста, из людской или из девичьей всегда его прогонять...

— Le voilà, le voilà! — захлопотала вдруг Анна Михайловна — и в самом деле, в комнату вошел мальчик лет шестнадцати, в старом гимназическом платье, очень похожий на Любашу.

— Ужин привел сюда? — холодно и ядовито спросила бабушка... — Кланяйся же доктору, или уж совсем с холопьями отвык от порядочного обращенья. Предупреждаю тебя, что я велела тебя из людской и передней в три шеи гонять.

— У меня только одна шея, — отвечал гимназист спокойно.

Анна Михайловна затряслась, закивала головой, защелкала языком с упреком, а Любаша тихо засмеялась.

— Вы слышите? — сказала бабушка Рудневу, — какой острый ответ. Хоть бы при чужих постыдился.

— Стыдиться или не стыдиться, зависит от убеждения, — возразил гимназист.

Бабушка махнула рукой и велела поскорее подавать ужинать. Стол поставили перед ее креслом, и все заняли молча свои места. Большая комната была освещена всего двумя свечами, и Руднев, только садясь за ужин, заметил,

что из-за кресел старухи поднялся кто-то. С удивлением Руднев догадался, что это была дурочка. «Где я?» — подумал он... Сомневаться было невозможно — это точно была дурочка, уже немолодая, глаза навыкате и раскосые, волоса всклокоченные; платье, однако, на ней было чисто.

— Рекомендую; это — Пелагея Сергевна наша, — сказала бабушка.

— C'est une pauvre idiote, — объяснила Анна Михайловна.

— Маменька, маменька, а маменька... Какая же ты дура! — закричала вдруг Пелагея Сергеевна.

— Знаю, что я дура, — кротко отвечала бабушка, — только зачем же ты при докторе-то меня бранишь?

— Дай хлебца... маменька... Авдотьюшка... дай хлебца...

— Сергей, подай ей тот большой кусок!

Сергей швырнул хлеб дурочке через стол; и она опять опустилась в темноту за кресла, как будто провалилась сквозь землю.

Ужин был вкусный и обильный; старуха начала расспрашивать доктора о службе, о Троицком, о дяде.

— Я ведь знавала хорошо Владиміра Алексеича, — сказала она между прочим, — прежде мы все вместе жили; съезжались, веселились много, все знали друг друга. А потом стали стары, стали дома все сидеть; а молодые наши не мастера веселиться. Я лет пятнадцать, думаю, вашего дядю не встречала. А первый раз, как мы познакомились, это было преуморительно! Аша, помнишь?

— Помню, maman... Как не помнить!..

— Да! ныньче все здоровья стали плохого, беспрестанно простужаются... А мы что̀ выносили — волос дыбом теперь станет... Я была первый раз вдовой; второй мой муж был женихом моим тогда, и мы, вот с Ашенькой, приехали к нему в дом на несколько дней погостить. Было еще человек несколько родных; а ваш дядя был Петру Петровичу (моему второму мужу) друг; от скуки вздумали возиться, и ваш дядя вострый такой был на все. Бегать прыток был, игры выдумывать и смешил исподтишка —

на все руки! Возились-возились, бегали-бегали, Ашеньке было лет пятнадцать, она взяла да из рукомойника Петра Петровича и облила всего, а на нем был с иголочки бархатный сюртучок, как этот цвет, Аша, звали?

— Puce évanouie, maman.

— Да! так звали этот цвет. Что̀ тут делать? Какую месть придумать? Вот, вы и не поверите, быть может, а это правда: Ашенька была всегда такая худая, слабая, и мы ее «фараоновой коровой» звали. Что ни ест — все не впрок. Так ее пожалели, а меня, вот княгиню Самбикину да еще покойную сестру мою взяли под руки да в пруд и окунули, как есть в платьях, а на дворе октябрь стоял.

— В конце, в конце октября! — подхватила с восторгом Анна Михайловна.

— Да, в конце октября, — продолжала бабушка, — а ничего, все сошло с рук... Теперь уж не сойдет! Зато, по крайней мере, пожили мы! Пожили ведь, Аша? — прибавила она с гордостью.

— Пожили, maman, как еще пожили! — отвечала Анна Михайловна со вздохом.

После этого рассказа все собеседники приуныли. Анна Михайловна пробовала развлечь общество, принуждая Пелагею Сергеевну за кусок пирожного повторять поговорку: «каша — мать наша!»

— Говори: каша — мать наша...

— Экая ты дура! Хи-хи-хи-хи...

— Говори: каша...

— Каша...

— Мать наша...

— Мать наша...

— Нет, не так (comme elle est drôle): каша — мать наша...

Но никто не смеялся; а Сережа вышел из терпения и отдал дуре с своей тарелки большой кусок пирожного, чтобы прекратить эту сцену.

Пелагея Сергеевна опять провалилась и, громко чавкая, невидимкою, ворчала оттуда: «Ах! ты дурак! Ай! ты дурак

Коле́чко (так выучил ее кто-то в людской звать молодого барина вместо „Сережка"). Колечко... Ах, ты мой муж — ты меня бьешь, бьешь, бьешь, бьешь»...

Бабушка вздохнула, заметила, что «вот идиотка, и у нее что-то есть... думает, что муж непременно бьет»...

— Это потому, что русские все бьют жен; видала часто, — заметил Сережа.

Ужин, наконец, кончился, и все простились.

Любаша и брат ее пошли провожать Руднева до той комнаты, где ему следовало ночевать. 10

Любаша крепко пожала ему руку и благодарила.

— За что̀? — спросил он с удивлением.

— За папа́.

— За папа́? Ты бы лучше за попадью поблагодарила, — сострил Сережа.

— Ну, полно, ради Бога, — сказала сестра и протянулась к нему для поцалуя.

— Вот еще что выдумала! Цаловать я тебя каждый вечер стану? — отвечал брат, — жирно, брат, кушаешь; в день по яичку. Я губы-то свои для какой-нибудь по- 20 лучше тебя поберегу. Войдите, Василий Владимірыч, идите — вот ваша комната.

Руднев посмотрел на уходящую по коридору Любашу, и она стала ему на минуту так мила, так знакома... что он не мог удержаться от легкого вздоха, и поскорее вошел за Сережей в жарко натопленную и очень уютную горницу с старым ковром по всему полу, где ему уже была приготовлена на одном конце огромного турецкого дивана самая свежая постель, покрытая пунцовым шолковым одеялом.

— Вы еще не хотите спать? — спросил Сережа, ос- 30 тавшись наедине с Рудневым.

— Нет, еще посидимте, покурим вместе... — отвечал доктор. — Вы, конечно, курите?

— Курить-то курю! Да, знаете, не всегда финансы есть... Вот с тех пор, как Алексей Семеныч здесь, курю все его табак.

— Кто это Алексей Семеныч?

— Вы не знаете Алексея Семеныча?.. Что̀ вы? Да вы же сами его рекомендовали. Богоявленский, Алексей Семеныч...

— А!.. Вы довольны им?

— Кто? я или наши?

— И вы, и ваши?

— Отец ведь ни во что не входит. Всем вот теперича кощей-то бессмертный вертит; старуха только: «Ашенька, Ашенька». Я доволен, а они не так-то... Алексей Семеныч молодец; все, что скажет, как зарубку сделает в душе... Право!

Руднев не отвечал и стал раздеваться.

— Вы хотите спать? — спросил Сережа, вставая.

— Нет-с. Я только прилягу, я очень рад побеседовать с вами... Какое славное одеяло мне положили.

— Это Люба вам свое... ишь, бестия!.. Алексею Семенычу ни за что бы не дала...

Руднев покраснел.

— Зачем же это? Это зачем, я не знаю, — сказал он, — я его сниму, здесь и так жарко. Я одной простыней оденусь. Отослали бы его назад.

— Ну, вот еще... Что она за фря! У нее два одеяла... Другого в доме хорошего нет, — так вот это вам прислала. Алексею Семенычу старое ситцевое дала. Накрывайтесь, накрывайтесь... А я посижу...

— Скажите, давно ваш папа́ впал в душевную болезнь?

— У-у! давно уж! Это все кочерга, эта Анна Михайловна наделала. Она, шельма...

— Зачем это вы все бранитесь? Перестаньте, пожалуйста, я вас прошу; говорите просто.

— Ну, хорошо. Так это все она сделала... Ведь она от другого мужа; старуха-то наша бедокур, троих мужей заела. Третий-то бездетный был, бессемянка; а от второго отец наш; да еще тетка есть на Кавказе, замужняя; да под Карсом полковник убит, тоже дядя; а от первого мужа трое: один в Варшаве — губошлеп, старик уж;

другой, вот знаете, Платон Михайлыч, у которого вы Колю лечите (какую красотку ведь старый чорт подцепил; дура только), а третья — вот наша ехидна Анна Михайловна. Да вот еще тетка была, Марфа Михайловна, за Шемахаевым; сын ее олух, еще к Александру Николаичу Лихачову часто ездит, тот его все Сарданапалом зовет. Родных у нас куча!

— Знаю, знаю; да что же вы об отце своем забыли?

— Вот я вам сейчас расскажу все. Приехал он молодым офицером в отпуск; Анна Михайловна одна была дома: ее братья тоже были на службе, — меньшие еще не родились; а бабушка уж овдовела второй раз; ну, Анна Михайловна была двадцати восьми лет, а отцу двадцать два... Шуры-муры пошли. Известно, чем кончилось; она ведь, говорят, смолоду хороша была... Завтра в зале посмотрите ее портрет с голубком... В ту эпоху-то! Каковы? Тоже люди! После отец второй раз приехал, женился, — из Курской губернии привез нашу мать... Любаша, говорят, на нее две капли воды похожа... Тут вдруг польская кампания; отец уехал, а мать была мною беременна. Умерла в родах, а я вот жив остался. Люди рассказывают, что доктор приехал, пустил ей кровь, так кровь даже сверху вся жолтая, как гноем покрылась, он поскорее выбросил ее из окна.

— Это вздор! Я вам после объясню, что это вздор, — перебил Руднев. — Если бы ей сильный яд дали, и вас бы не было на свете. Продолжайте, продолжайте, мне все это для лечения нужно.

— Нет, доктор, поверьте, если не в этот раз, так прежде она хотела ее отравить. Повара за это сослали на поселение. Это такая до сих пор неразгаданная тайна! Вы знаете наш суд, Алексей Семеныч называет его всегда шемякиным судом. Старая стряпуха до сих пор помнит, как Анна Михайловна бледная бегала; а мать молоком поили... и кто бы, вы думали, ее спас? Эта Палагея Сергевна, которую вы видели: она выпросила у матери варенье, в котором был яд, да и поела; а мать одну ложечку съела. Конечно, Палагея Сер-

гевна — животное, вынесла, — уж, говорят, что с ней делалось; а мать с тех пор все хирела. Отец как из Польши вернулся да мать не застал, — он, первое дело, до полусмерти сестру избил, говорят, — ужас! Она от него, в ноябре месяце, за анбаром всю ночь просидела спрятавшись, а на рассвете убежала к тому брату, у которого вы вчера Колю лечили... С тех пор отец и плох. Вот у нас, батюшка, какие дела происходили. Вы нами не шутите. Любаша не верит этой истории, а я верю! Мать была добра, не сдобровала, а Анна Михайловна живет и наслаждается! Какое же тут высшее правосудие, скажите?

— Не надо его себе так представлять; тогда и не удивимся таким случаям, — отвечал Руднев. — Вам, может быть, это кажется странным; а уж если верить в высший, всемірный разум, который так, как наш дух проникает все частицы нашего тела, проникает всю природу, — так и не будем удивляться, что злой коршун доброго зайца ест; заяц развелся бы и поел бы овес у мужика и т. д. Ну, однако, покойной ночи.

Сережа ушел, а в душе Руднева, когда он остался один и погасил свечу, поднялась целая буря ощущений.

Эта жаркая комната, лунный свет на пестром ковре; этот старый дом, небрежный рассказ грубого мальчика про темные дела прошедшего; эта красивая девушка, которая, как полудикий куст розового шиповника, казалась еще милее оттого, что выросла в смрадном углу развалины, и которой девическое благоухание он слышал так близко от себя, в свежем шолковом одеяле... Руднев, Руднев!.. что̀ с тобой?! Ты ли осмелился так свободно мечтать? Что̀ ты подумал, глядя на ковер, на свет месяца и касаясь рукой невидимого шолка, которым тебя так радушно покрыли?.. Усни, усни скорее, мгновенный смельчак... и проснись ты завтра обыкновенным скромным Рудневым, который смеет только существовать и трудиться, а не блаженствовать.

XV

Лунный свет в окне сменился солнечным; с крыш текло, птицы веселились на дворе; в доме все помолодело... Любаша ждала доктора в зале с чаем и кофе; старик три раза уж спрашивал о нем. Напился кофе; угодил еще раз больному; позволил себе даже фамильярно покачать головой Сереже за то, что тот при нем толкнул в спину сестру, и собрался к Протопоповым, где его тоже с нетерпением ждали.

— Прощайте, г. медик, прощайте, — сказал ему Максим Петрович, — завтра жду вас... Вы поняли мою болезнь, я это вижу!..

И когда он вышел, Максим Петрович сказал дочери:

— Вот это доктор, так доктор. Не Воробьеву чета!

В зале Любаша догнала Руднева и подала ему небольшой конверт.

— Что̀ это, деньги? — спросил Руднев.

Любаша покраснела.

— Конечно, деньги. А то как же?

— Я не возьму, — отвечал Руднев.

— Отчего же вы с Протопоповых взяли? Двадцать пять рублей, а тут всего три.

— Не возьму я с вас деньги...

— Отчего?

— Еще ваш отец не встал; когда встанет, тогда. Не возьму теперь...

— А ездить будете?

— Буду, пока бок его пройдет, — отвечал Руднев и уехал, несмотря на все просьбы Любаши.

У Протопоповых он застал Воробьева.

— Я не нашел характеристических трубочек в рвоте. Крупа не было, — сказал насмешливо при всех уездный врач.

— Да, их и не было еще, — отвечал сухо окружной, — я полагаю, что рутины не для чего было держаться и ждать, пока круп выразится. Серно-кислая медь не

могла повредить ребенку, а предупредить развитие крупа могла. Самое густое содержание пузыря, который подняла на шее мушка, уже показывало большое расположение крови к пластичности; да и вы застали уже изменившийся к лучшему timbre кашля.

— Я согласен, что круп мог бы быть, но утверждаю, что он не настолько еще выразился, чтобы мы имели право назвать болезнь крупом — Laryngitis pseudomembranacea.

— С чисто научной точки зрения, это — правда, но ведь родителям не статьи писать и не любоваться на клинический идеал болезни; а им надо, чтобы сын их выздоровел, — оглядывая с ног до головы соперника, возразил Руднев.

— Я против результата ничего не имею, — с придворным жестом отвечал Воробьев.

Протопоповы, муж и жена, радостно переглянулись, а Руднев, садясь на возок (который запрягли ему четверней, не зная уже чем угодить), развернул новый пакет и нашел в нем еще двадцать пять рублей.

— Ничего! — шепнул он сам себе, откидываясь в глубь возка, который мчался во весь опор к Деревягину.

К Протопоповым он больше не ездил, и лечение волей-неволей кончал Воробьев; а в Чемоданове бывал через день, через два, в течение двух недель. Максиму Петровичу становилось все лучше и лучше; бок его совсем прошел; но по мере того, как спадал жар и проходила острая боль, он становился все молчаливее и задумчивее. Уж и приезд Руднева не радовал его; молча здоровался он с ним и, заложив руки за спину, продолжал прохаживаться по комнате. Руднев, увидав, что он уже не кашляет и за бок не хватается, не смел спрашивать у него о здоровье и узнавал от родных. Опустив глаза, говорил он с Любашей, которая сама подходила к нему с рассказами об отце, и от нее он узнал, что старик всегда бывает такой в то время, «когда с ним это случается».

— Что̀ вы вздыхаете, папа́? — спросила его вчера Любаша.

— Пора мне в могилу, пора мне в могилу, пора мне в могилу! — сказал отец и ушел от нее.

Анна Михайловна позволила себе сесть против него за обедом, но Максим Петрович тотчас же встал, ушел к себе в спальню, ходил по ней целый вечер и, часто вздыхая, твердил: «О, Боже! помилуй нас грешных! О, Боже! помилуй нас грешных!»

Боялись все, что он спросит стклянку с ядом, но он не спрашивал, и Руднев решился прекратить свои посещения. Проводить целые часы с старухой, которую он считал извергом, или с глупой и лукавой Анной Михайловной — ему было тяжело; от Любаши он удалялся; Сережа надоедал ему: то кривлялся и беспрестанно говорил, зевая: «Скука! спать хочу!», то не давал ни сестре, ни тетке, ни Рудневу сказать слово, сейчас пренесносно острил, играя словами. Кто-нибудь говорил: «Макового молока надо; мак есть?..» Сережа спрашивал: «Какой мак? Мак'Дональд или Мак'Магон?»

А сестра и тетка не знали даже, кто это такое Мак'Дональд и Мак'Магон...

Говорил кто-нибудь: «Она не виновата».

— Не вино-вата? — восклицал Сережа, — значит, пиво и хлопчатая бумага?

— Полно, Сережа!

— Пусто, Любаша!

— Перестань!

— Я сижу, а не стою; ты бы сказала: «пересядь...»

Конца нет, и сам один хохочет.

С Богоявленским Руднев, во время этих посещений, стал почти врагом.

Богоявленский с своей стороны не остался в долгу.

— Есть ведь и между мужчинами тряпки, которые, как старые бабы, без воздыханий жить не могут, — заметил он раз, когда Руднев возражал против его атеистических теорий.

— Все-таки они лучше вас, — возразила ему, вся вспыхнув, Любаша.

Богоявленский тоже покраснел, поправил очки, пристально взглянул на нее и воскликнул выразительно три раза на разные тоны: «Эге! эге! эге-е!»

Когда опять пришлось получать от Любаши деньги, Руднев опять отказался.

— Вы взяли у Полины пятьдесят рублей, — сказала Любаша. — Отчего вы у нас десяти не хотите взять?

— Протопоповы гораздо богаче вас, — отвечал он, — позвольте мне так уехать. Сделайте мне удовольствие!

— Бабушка не возьмет назад.

— Спрячьте и издержите на себя, — шутя сказал Руднев.

— Как! Что̀ вы это! Возьмите вы их ради Бога!

— Ну, если не хотите оставить себе, отдайте бедным, в кружку положите, что хотите. Только я бы не хотел с вас брать.

— Лучше уж вы истратьте их на лекарства мужикам. Вы, я слышала, свои на них тратите... Все вас хвалят!

Руднев, краснея, возразил, что пора ему ехать, что долго спорить он не станет, и предложил поделить деньги так: пять рублей он возьмет на лекарства, как она сказала, а пять рублей оставит у нее.

— Так и я их в кружку положу, — отвечала Любаша. — Хотите, вместе положим? У меня есть серебряные рубли; я разменяю бумажку, и мы пойдем вместе, пока лошадей запрягают.

Руднев сомневался, пустят ли ее; но Любаша побежала к тетке, поцаловала у нее руку и сказала:

— Позвольте мне, душечка, пешком до поворота к Полине доктора проводить?

— Спросись у бабушки, — отвечала Анна Михайловна.

Любаша и у бабушки поцаловала руку; старуха поглядела с улыбкой на дочь и спросила:

— Что̀ ты об этом думаешь, Ашенька?

— Я думаю — ничего. Он такой скромный молодой человек. Что ж, пусть пройдется; она все это время с отцом была и не гуляла.

Любаша повязала голову песцовой косынкой, разменяла бумажку на рубли и выскочила к Рудневу в бархатном салопе такая красивая, что доктору стало опять совестно идти с ней рядом в бараньей шубе.

Они вышли через девичье крыльцо, чтобы успеть дойти до церкви, прежде чем их догонят сани, молча побежали до кружки, оглядываясь со страхом, бросили туда деньги, и лицо Любаши все заблистало от волненья, когда куча рублей со звоном упала вглубь.

— Что̀ ж? Дальше? — спросила она.

— Идем, если хотите.

Они прошли еще с полверсты молча; наконец Любаша заговорила, глядя вдаль:

— Вот, сегодня сумерки, и когда вы в первый раз к нам ехали, тоже были сумерки; тогда была заря, и теперь заря...

— Только сегодня теплее, — заметил Руднев и перепугался, что вышла нечаянно трогательная двусмысленность.

К счастью, Любаша приняла слово «теплее» в прямом смысле и отвечала:

— Да, тогда днем морозило, а вечером теплее стало, а сегодня днем таяло, а вечером подмерзло. Я люблю зиму. А вы?

— Люблю, — рассеянно отвечал доктор. — Однако, вот и сани. Прощайте, Любовь Максимовна, желаю вам быть всегда такой же, какие вы теперь! — осмелился сказать он на прощанье.

— Прощайте! — отвечала Любаша, с чувством пожимая ему руку, — вы будете к нам ездить? Папа́ вас полюбил. У нас теперь скука. А по временам у нас много бывает гостей и родных. Будете ездить?

— Нет, не буду.

— Отчего?

— Как вам сказать? Видите, я имею дело с природой. У кого бок болит, я могу приехать; а так ездить, — это уж не природа! Прощайте, будьте здоровы!

Сел доктор в сани и оглянулся немного погодя, но добрая барышня уже скрылась за церковью.

XVI

Слава Руднева вдруг разнеслась по округу.

— Вы, говорят, чудотворцем стали? Неизлечимые болезни вылечиваете! — сказал ему Лихачов, который заехал к нему на минуту.

Воробьев был вне себя от злости, еще не зная, что Протопоповы собираются отказать ему и пригласить годовым Руднева.

— Что̀ он там ни толкуй, — говорил отец Протопопов, — по своей науке, а ребенок жив; ведь круп известно что!

А мать и не находила слов в похвалу Руднева: и «charmant, и собой недурен, и внимателен, и дельный».

Даже «ай-ай», и тот желал снова видеть угрюмого юношу, который гладил его тихо по голове и который («ай-ай» чувствовал это) очень скоро облегчил его.

В Чемоданове все были тоже довольны им. Но Воробьев, еще и не зная обо всей силе его успеха, уже ненавидел его. Возвратившись в город, он тотчас же написал письмо к инспектору врачебной управы, который был ему близок, что «окружной врач не живет в городе, а в дядиной деревне, и что ему, Воробьеву, отбоя нет от государственных крестьян, которые приходят к нему лечиться». Приходило в самом деле человека три незадолго перед этим: один в самом городе на торгу вывихнул себе руку, а двое других были издалека, и город был, точно, ближе к их селам, чем Деревягино.

Окружной начальник скоро получил выговор частным письмом за такие упущения, а Рудневу пришло официаль-

ное замечание. Окружной очень сожалел, однако сказал, что надо будет переехать в город.

«Ну, уж нет!» — подумал Руднев в бешенстве и, вернувшись домой, рассказал тотчас же дяде всю историю и все низости Воробьева.

Дядя был поражен.

— Это уже в категорию черноты входит! — заметил он грустно.

— Что̀ же делать, как вы думаете...

— Думаю, что надо в город. 10

— Вы думаете?

— Думаю...

— Ну, а я думаю иначе!

И с этими словами Руднев ушел в пристройку. Там ходил он долго взад и вперед, раздумывая о Троицком.

В самом деле, с одной стороны, страдания и просьбы крестьян, которым нечем будет помогать, если выйти в отставку, с другой — возможность жить у себя, с третьей — невыразимое наслаждение отомстить Воробьеву и вместо несчастного, задавленного им соперника 20 предстать вдруг пред ним победителем! Да еще каким! Троицкое жалованье больше казенного, и на него больше можно сделать пользы.

— Постой же, я сделаю ему сюрприз!

Тотчас же написал он записку к Милькееву, приглашая его приехать. Милькеев не заставил себя долго ждать, и готовность эта, вид его привлекательного, доброго и веселого лица еще больше укрепили Руднева в новом решении.

— Вы, отец, не будете смеяться надо мною? — спросил он Милькеева. 30

— Не буду, — отвечал Милькеев.

— Ну, смотрите... Эх, да ну, куда ни шло! В жизнь хочу бросаться...

— Что вы?

— Ей-Богу. Говорите, нужен я, что ли, в Троицком?..

— Страшно нужны! Каждый день чувствуется ваше отсутствие.

— Да нет, точно ли я нужен; не для меня ли одного вы это говорите? Для других-то нужен ли?

— Говорят вам, невыносимо нужны.

— Так я на все ваши условия согласен... Скажите Катерине Николавне, и если угодно...

— Ура! Ура! — закричал Милькеев, отворяя дверь из пристройки. — Владимір Алексеич! Владимір Алексеич! племянник ваш переменил гнев на милость. Он — доктор в Троицком.

— В добрый час, в добрый час, — с обыкновенной загадочной усмешкой, входя в пристройку, сказал старик; но и племянник, и Милькеев видели, как руки его дрожали от радости.

Милькеев сейчас же уехал домой, чтобы поскорее все кончить; а доктор, оставшись один, сказал себе: «Однако, что̀ же это такое? Кажется, уж и меня люди любить начинают?»

Катерина Николаевна, узнав от Милькеева все подробности дела, с радостью согласилась отказать Воробьеву и написала записку.

Милькеев, которого эта история очень занимала и веселила, умолял Новосильскую быть верной своей наставительности и, примерно наградив добродетель, наказать порок, то есть сказать в записке, что отказывает Воробьеву за низость его характера. Но Катерина Николаевна не согласилась, понимая, что для такого человека двести пятьдесят рублей сильнее всяких слов, и причиной привела дальнее расстояние города и желание иметь врача у себя ежедневно.

Однако Милькеев, тайком от нее, приписал на обертке: «за лихоимство и неприличный вид» и подписал под этим свою фамилию.

Целый день после этого он ребячился: надел колпак из синей бумаги, представлял перед зеркалом страстного испанца, играющего на гитаре, которую заменял ему Юша; ездил с детьми по зале за морскими бобрами; до ужина терпеливо, постоянно говорил только дискантом, и когда дети спросили у матери:

— Чему Василиск так рад, мама? У него сегодня такое лицо, как тогда, когда он читал, как греки Ксеркса разбили. Чему он так рад?

— Это он рад, что Воробьевы существуют на свете, — отвечала мать, — и что Воробьевых можно наказывать.

— Воробьев будет сердиться или грустить? — задумчиво спросил Федя.

— И сердиться и грустить, — отвечала мать, — а разве тебе жаль его?

— Мне всех жаль! — сказал Федя.

Оставшись одна с Милькеевым после ужина, Катерина Николаевна передала эти слова Феди и, с глубоким чувством протягивая руку своему другу, сказала:

— Ах, Василиск! если бы вы знали, какое счастие видеть такое сердце у своих детей... Если бы не они и их будущее, я бы сейчас желала умереть... У меня самой все уже тупо и безжизненно в душе. Все чувствуешь только, как будто по старой памяти... Гасну, гасну каждый день...

Милькеев поднес ее руку к губам и отвечал ей:

— А любить уж вы не могли бы?

— Как, мужчину? Вы с ума сошли!

— Отчего?

— Да разве меня-то можно любить?

— Еще как! И отчего бы вам не позволить себе все, что̀ хотите... Вы столько делаете хорошего, что и люди вам все простят.

— Да кто вам сказал, что мне хочется любить так, как вы думаете? — отвечала Новосильская. — И кого мне полюбить? Уж не вас ли? Вас, кажется, Воробьев с ума свел?

— Хоть бы и меня. Я, понимаете, хотел бы только знать, мои ли недостатки этому препятствуют, или ваши года и усталость... Вы знаете, что и я с вами громко думаю. Ей-Богу, мне совестно от вас скрыть малейшую мысль. Подумал и сказал: успокойте меня! Скажите, я ли негоден, или вы отжили?

— Нет, мой друг, вы в самом деле легкомысленны, вам все нипочем... и воображение у вас сильнее всего, надо правду сказать... Я не презираю за это вас, Василиск; я сама такая, и если я теперь посолиднее вас, так это года́, болезнь и совсем другие взгляды; я, как вы говорите, остановилась на нравственности и порядке, а вы ищете другого... Но знаете ли, как у меня до сих пор развратно воображение! Не для себя, так для других. Вы этого не знаете, а я знаю! Но я ненавижу это в себе, и чистота для меня лучше всего... Иногда я внушаю себе такое отвращение, так тоскую целое утро, сижу здесь у камина и завидую какому-нибудь пустыннику и тем, вот, которые жили в столбах... От этого я и Руднева поняла легко... Подите спать, Вася, и такого мне вздору никогда не говорите. Наши отношения должны быть чисты...

Милькеев, вставая и уходя, обернулся и спросил:

— Вы не сердитесь?.. Ради Бога, не сердитесь... Это пустословие одно!

— Разумеется, не сержусь; стоит ли об этом говорить... Ступайте... Да! как вы думаете, звать Руднева завтра обедать или нет?

— Я думаю, не подождать ли; чтобы он не испугался сразу излишней близости.

— Хорошо, — сказала Катерина Николаевна.

На другой день Руднев принял в свое ведомство лазарет и получил вроде задатка сто рублей, не сам, а через дядю.

Лазарет был в порядке, больных было на этот раз немного. Светский фельдшер с бакенбардами сказал ему:

— У нас есть все: даже атропин, сантонин, дигиталин и лупулин есть... Г. Воробьев критиковал многое; но это они, я полагаю, больше для форсу делали... Потому отказу ни в чем здесь нет, и расход всегда превосходит приход от платящих больных.

— Хорошо, хорошо, — говорил ему Руднев, — я все это разберу понемногу!

Вернувшись домой, он от радости не мог книги в руки взять целый день, говорить ни о чем с дядей не мог и все рассчитывал, как распорядиться деньгами.

Купить то-то и то для больных; выписать роскошный атлас для глазных болезней, себе новую чорную дубленку, хорошую шапку. А там еще сколько денег ждет его!.. Чего он себе ни купит; он выпишет себе множество книг и узнает даже, что̀ Энгель говорит в Вене об архитектуре лица и черепа, что̀ в каком-нибудь далеком Марбурге придумал какой-то Fick о развитии костей, что̀, наконец, хочет сказать Гучке в Иене своим пышным заглавием: «Hirn, Schädel und Seele». Давно уже мучило его, что̀ они там говорят!

Засыпая, он было подумал, что хорошо бы поставить матери памятник в Троицком: большой камень, почти необтесанный, с крестом наверху и надписью: «Доброй матери одинокий сын»; но вспомнив, что троицкие будут читать это и думать, что он сделал это для... он так вздрогнул, что проснулся и уже не спал до рассвета.

Воробьев был, конечно, в исступлении от такого сюрприза; хотел наговорить дерзостей Катерине Николаевне и Милькееву; приехал, закричал на управляющего за оспу, хотя управляющий прививал оспу по охоте и обязанности никакой не нес; потом вошел в прихожую, швырнул шубу человеку и, сказав ему гордо: «доктор Воробьев!», вошел без доклада. Но царственный вид Катерины Николаевны и атлетические формы Милькеева расположили его более к дипломатическому разговору, чем к буйству или сатире. Николай Лихачов вскоре после этого ездил в губернский город, виделся с кем нужно, и Руднев остался по-прежнему окружным врачом.

Часть II

I

«Милькеев был прав!» — думал Руднев, проживши более полугода с Новосильскими. «Может быть, в жизни, которую я вел прежде, было больше ноющей теплоты, больше элегической сладости, больше борьбы с препятствиями... Ведь гораздо труднее лечить приходящих крестьян, чем заниматься в устроенном лазарете! Во всем этом было, может быть, больше достоинства. Но здесь так привольно, так все дышит здоровьем! Здесь элегия теряет раздирающую болезненность и является только на миг, как намек на нечто печальное и далекое, чтобы люди сильнее упивались близким и прочным счастьем».

— Вы полюбите нас! — сказала ему Новосильская смело, и он убедился, что она — хороший пророк.

И как было не полюбить? Дом, как полная чаша, простор, веселье; едят по-старинному: и много, и часто; большие комнаты под разноцветный мрамор; люстры с переливными хрусталями, колонны; на всех дверях резные фрукты, цветы, корзины с дрожащими колосьями; газеты, книги новые, гостеприимство; все старинное — хорошее, и все новое — почтенное. Сады, прогулки, купанье летом; катанье зимой на санках одиночками или на целой куче саней, прицепленных к передним большим, запряженным шестериком, в которых, стоя и обернувшись назад, сама хозяйка любуется на свой веселый хвост. Дети, простые иногда до грубо-

сти, но добрые и честные. Люди сытые, довольные, вежливые, разнообразные (Руднев старался все подметить, чтобы не ошибиться). Управляющий — умный толстяк, крикун и хлопотун; при графе пил, а с тех пор, как Катерина Николаевна одна, — закаялся, и трезвее всех; хирург по охоте, такой ловкий, смелый и находчивый, что Руднев приглашал его с удовольствием на все операции; он и уговорить больного, и прикрикнуть умел кстати: «что̀ ты орешь, что̀ ты рвешься; чорт, право, чорт!» — разражался он вдруг, замечая, что ласка не действует. «Дома жену бьешь, не жалеешь. А сам не хочешь терпеть!»

Больной крепился, и операция шла скорее.

Спрашивал про него Руднев тайком у крестьян, и они говорили:

«Ничего! дай Бог ему здоровья!», а это «ничего» — значило много у крепостного крестьянина!

Жена его, экономка — белая, розовая, полная; вкусно взять от нее съестное; немножко хитрая и жеманная, но прелюбезная! Стоило занемочь кому-нибудь в доме — Баумгартену, Милькееву, хоть слуге, — она уже бежит и с вареньями, и с сыропами, и с морсами. Слуга ходит за Федей и Юшей: смуглый, мрачный, тихий, с благородным лицом — точно принц, обращенный неприятелем в рабство; он молчалив, не учит детей глупостям и с кроткой твердостью переносит их шалости.

Руднев сам видел, как Федя с Юшей, оба нагие, гнались за ним из своей спальни, умоляя его не жаловаться; но он пошел и сказал Баумгартену.

Горничная самой Новосильской — настоящая субретка; слегка рябоватая, но милая, стройная, везде порхает с улыбкой и ловко одетая. Муж ее, повар — молодец, из хохлов; лихой охотник, выпить не прочь, но боится жены и любит ее так, что выскакивает из кухни, когда она идет мимо, чтобы поцаловать ее руку. Нянюшка, которая ехала когда-то на линеечке с Рудневым и заступалась за Милькеева против капитана — седая, скромно и со вкусом одетая, тонкая, скорей дельная классная дама, чем нянька.

Дворецкий — толстый добряк, говорит витиевато, любит Руднева за то, что тот выпустил ему раз чуть не целый таз крови; докладывает ему дружески, что он маменьку его хорошо знавал; и за глаза хвалит ее, и прибавляет только таинственно: «я их Марфушкой кликивал много раз!»; он недурно играет на кларнете, и слушать его игру издали очень приятно, особенно в зимние сумерки, когда в доме все стихнет.

И все они веселы, более чем сыты! Наряжаются на Святках и пляшут до упаду в господской зале вместе с детьми; и по всем большим праздникам приходят за подарками, которые, сидя в кресле, как добрая царица, раздает Катерина Николаевна.

Над всей этой жизнью царил ее дух. Не отходя иногда по целым дням от камина в своем кабинете, она умела простирать свое влияние до последней избы. Всякий ждал от нее чего-нибудь, и все получали возможное: один ситцу на рубашку, другой — помощь на приданое дочери, третий — угол старой матери; тот — лекарства, тот — прощения или материнского укора, и всякий ждал улыбки и приветствия: мужик, сосед, слуга, учитель, заезжий вельможа и нищий!

Она не совершала внезапных подвигов (хотя по ее характеру и прошедшему можно было думать, что она и на них была способна); но вся ее жизнь была тихий, незаметный для многих, но постоянный подвиг. Сколько раз видел ее Руднев поутру — убитой, изнуренной бессонной ночью, с мутными, почти старческими глазами, с невыносимой болью в спине; она умоляла только, чтобы ее оставили одну, просила детей не играть и не кричать близко, не сдавалась на мольбы Милькеева прослушать какое-нибудь чтение; казалось, искры жизни в ней нет! Но стоило только сказать: «Вас зовет в больницу Прасковья; она рожает и умирает от двойней» — где усталость, лень, спина? Стан выпрямился, глаза оживились; она бежит, просиживает по нескольку часов на деревянном табурете, ласкает умирающую, не брезгает даже пить кофе в тяже-

лом воздухе, потому что Прасковья держит ее за руку и не пускает от себя.

Сколько вещей, невозможных для других, для нее были возможны; людей, которыми она была недовольна, она отпускала на волю, и иные из них возвращались и просили допустить их в низшие должности. Она довела раз до слез увещаниями мужика, который безжалостно бил смирную жену, и через пять лет приходят люди с деревни и говорят, с тех пор не бьет!

Как умела она увидеть слабую струну человека! Но не для того, чтобы терзать еще больше, а для того, чтобы залечить, если можно, рану, а нельзя, так по крайней мере облегчить. Как незаметно и ловко умела она оказать предпочтение в обществе тому, чье положение было ниже!

Недостатки ее даже нравились Рудневу; проблески самолюбия, которые она и не старалась прикрывать неудачными уловками; изменчивость ее вкусов: то страсть к музыке и игра на рояле до изнеможения, то скачка за сто верст, то лень сойти с террасы, то от бильярда не отходит, то не подходит к нему; то видеть печатного не может, то оторваться от книги не хочет. Привычка переспрашивать десять раз одно и то же, добиваясь иной раз похвалы, раздражала на минуту Руднева...

— Не правда ли, моя Маша симпатична?

— Очень симпатична, Катерина Николавна.

— Нет, в самом деле, не правда ли она симпатична?

— Я, кажется, уже докладывал вам, что хороша... — И взор доктора омрачался на минуту; но немного погодя он был рад, что эти слабости давали ему еще больше права верить ее высоким качествам.

— Нет, батюшка, вы мало сказали! Слишком мало! — говорил он Милькееву, — я иногда так себе сижу и думаю: куда как она высока! Конечно, все ей смотрят в глаза, все ее хвалят, служат ей с энтузиазмом, она богата, смолоду была красавица... Да чем же она виновата, однако, чорт побери, что она небедна и недурна?!

Иногда, по привычке, Руднев досадовал и сомневался, когда был дома или ехал по дороге, спрашивал себя: «отчего бы ей не сделать неслыханную вещь — раздать всю землю и все вещи крестьянам, а самой остаться так?..» Но отворялась дверь в залу, и крик детей, ее улыбка... и куда, куда исчезали сомнения, досада. Он был друг, страстный друг этой благородной семьи, он был почти раб ее!..

Сколько успехов сделал Руднев в науках, благодаря богатой жатве, которую предлагала ему со всех сторон троицкая жизнь! Полушутя весной и летом в садах и лесу, зимой в оранжереях, он дошел до того, что ни одна ботаническая идея не была уже для него теперь чуждой; своими деревягинскими пальцами трогал он и вскрывал, отыскивая таинственные органы плодотворения, цветы бананов и пальм; следил за полетом пушистых семян тополей и осин; выучился находить сам все местные лекарственные травы... Но этот сухой перечень ученых успехов не даст понятия о том блаженстве, которое охватывало его сердце, когда он где-нибудь, один на островке, под густой шум близкого фонтана, срывал новый цветок с куста, вникал в его архитектуру и с замиранием духа раскрывал потом книгу, чтобы проверить себя. Бор, река, сады и поля поддерживали в нем также свежесть анатомических познаний, которые он, по желанию Новосильской, взялся передавать не только Феде, но и девочкам. Воздушная Маша и красивая, строгая Оля не брезгали этим, говорили с гордостью: «что это все вздор, нисколько не противно!» и охотно держали за лапку ободранную лисицу или ощипанного филина, пока Руднев распарывал им живот или вскрывал череп.

Дети любили Руднева наравне с Милькеевым, и Катерина Николаевна издали, по крику детей узнавала, который из них двоих входил в залу. Когда входил Милькеев, дети кричали как можно басистее и грубее: «Васька! Васька!», а когда входил Руднев, они кричали самым тонким дискантом: «Васинька! Васинька!»

Сверх того, Милькеев был по-прежнему Василиск, а Руднева Федя прозвал: «В глуши расцветший василек».

Во всех книгах с картинами дети отыскивали Васю и Васиньку. Если в книге были звери, то все слоны, ревущие быки, бизоны были Вася; а все лягушечки, червячки, жучки скромные — Васинька.

Милькеев теперь был для него уже друг, а не просто приятный собеседник. Разрушая, с одной стороны, веселыми сомнениями единство его прежней системы, ужасая его на мгновение картиной бесплодных, по-видимому, колебаний человечества, отвергая веру в возможность всестороннего улучшения, восхваляя изящные пороки одних и мужественную жестокость других в прошедшем, Милькеев вносил столько нового и заманчивого в круг его мыслей, предоставляя ему на досуге примирять все это как угодно, что Рудневу день, в который он не поспорил с Милькеевым и не послушал его, казался скучным и сухим. Ему первому с жаром рассказывал он о своем прошедшем, ему поверял свои беспокойства, свои научные и практические планы; говорил ему о таких вещах, о которых он не решался еще говорить никому.

— Что̀ бы там ни было, — говорил он, — убить ли личность нужно, или, по-вашему, дать ей волю иссушать других для пышного расцвета, во всяком случае надо бы понять, изучить ее; но людские телосложения так сложны, общество так меняет коренную природу нашу, что для этой науки нужны века, а пока насущного хлеба она не дает, охотников до нее мало. Я хотел бы внести для будущего один хоть плохонький кирпичек, и вот, что̀ мне пришло в голову... Если можно, изучить мозг галки, мозг вороны, во́рона, сороки и грача. Сравнить величину, вес мозга и частей его, химический состав и расположение ячеек чувства и движения и т. д. Эти пять птиц и близки друг к другу, и очень различны. Смотрите: галка глупа, неосторожна и общительна; ворона осторожнее и живет попарно; суровый ворон представляет те же свойства, но в высшей степени, и способен говорить; сорока говорит иногда еще лучше попугая, весела, летает то попарно, то целыми обществами, хитра и пронырлива; грач довольно бесцветен, но оригинален между ними

своими отлетами на зиму... Если бы, душа моя, изучив их до последней ниточки, я бы мог обогатить хоть на волосок бедную, недоходную психологию, я бы спокойно лег в могилу!..

Другой раз сидели они на лужайке в бору и долго оба молча слушали, как пели и чуть слышно пищали мелкие птицы; наконец Руднев сказал не без смущения:

— Не смейтесь надо мной, отец мой, я вот вам что̀ скажу: мне все кажется, что птицы — неудавшиеся на земле высшие существа... Быть может, на других небесных телах, воздушный полет соединился с глубоким развитием мозга и души. Мне кажется, что даром не было сказано ничего и что ангелы церковных живописцев найдут себе приблизительное оправдание, как нашел оправдание древний дракон в ископаемом перстокрыле. Течение идей не всегда верно течению природных явлений, благодаря сложности нашей преломляющей среды...

— Не знаю, увижу ли я таких ангелов, — отвечал Милькеев, — но во всяком случае мысль эта смелая, и ваша преломляющая среда неплоха!

— Эх вы элоквент, элоквент! — воскликнул Руднев. — У вас все любезности на уме! а вот я так вас от всего сердца люблю, и если бы мне предложили на выбор: с вами век жить и разговаривать или с любимой женщиной, — я бы выбрал вас!

— Течение идей не всегда верно развитию фактов; вы благородно ошибаетесь, друг мой!

— Поверьте, поверьте! — с одушевлением возразил Руднев, — я никогда не влюблюсь... Я так самолюбив и застенчив, что могу полюбить только ту женщину, которая сама бросится ко мне... А где ее найти? Для этого нужна женщина самого высокого умственного развития... А где она? Только такая, поняв меня, решится...

— Бог знает! решится и попроще, — заметил Милькеев. — Вы видите в себе только угрюмого и робкого мыслителя, а девушка, быть может, увидит только милого юношу с бледными и пушистыми щеками, которые ей смерть захочется цаловать!

Изредка Руднев впадал, однако, в прежнюю недоверчивость, принимал внимание Милькеева за жалость, не отвечал ему, удалялся от него, говорил ему колкости, но Милькеев видел ясно, что в эти минуты не он падает в глазах Руднева, а сам Руднев, и спешил всякими обходами и ласковыми словами успокоить и ободрить его; переносил его вспышки, заигрывал без малейшей гордости, ходил за ним и раз, когда Руднев, обидевшись чем-то, написал записку, что не может больше ездить в дом, а будет только лечить в лазарете, Милькеев собрал всех детей за угол ворот; подкараулив доктора, все они закричали «ура!», схватили его за руки и насильно привели в дом. На верхней ступеньке лестницы сама Новосильская стояла с кофе на подносе вместо хлеба и соли.

Можно ли было тут долго сердиться?

II

И Милькеев стал меняться в последнее время. Давно уже дети жаловались, что он не играет и не шутит с ними и слишком много стал сидеть у себя и писать. Осенью он послал в Петербург большую статью об эманципации женщин, в которой старался доказать, что семейная добродетель не должна быть целью всех женщин; что свободу женщин не следует понимать только в виде равных прав и независимости труда; что прошедшие века, не рассуждая об эманципации женщин, создали Аспазию, Нинону, Марию Стюарт, которые так же необходимы, как и весталки и честные матери, и нам остается только не падать ниже прошедших веков. Перед Святками ему возвратили статью, отзываясь, что ее нельзя напечатать, потому что она вся пропитана равнодушием к злу и разврату.

После этого Милькеев еще чаще стал задумываться и, с удовольствием внимая шуму и смеху в зале, ходил по ней, заложив руки за спину и не принимая ни в чем участия.

— Вы начинаете у нас скучать? Как вам не стыдно! — сказала ему Новосильская.

— Вовсе не скучаю; а так, вдруг что-то дурно станет. Весной надо будет ехать в Москву защищать диссертацию. Здесь я забыл, что есть на свете заботы о насущном хлебе, люди, которые будут мне вредить и которым я должен вредить, чтобы они не забывались... Жутко станет!

— После этой диссертации можно опять к нам вернуться, — сказала Новосильская.

Предводитель, который был при этом разговоре, заметил:

— А я так думаю, что с тебя довольно этой жизни. Заснешь ты тут. Еще полгодика, и марш!

— Не хочется ехать, — отвечал Милькеев, — здесь меня все любят, никто не оскорбляет...

— То-то и скверно, что никто не оскорбляет! — сказал предводитель.

Руднев тоже спрашивал у Милькеева:

— Зачем вы хотите бежать отсюда? Куда вы торопитесь? Еще бы годик или два... Я верю в вашу звезду, — она не уйдет от вас.

— Вы верите, что я буду всегда так счастлив, как был счастлив здесь?

— Нет, я не в этом вижу вашу звезду. Я знаю, что у вас будет много горя впереди. Но зато вы везде будете нести с собой движение и полноту. Разве вы засохнете оттого, что останетесь здесь еще хоть год?

— Для кого, — спросил Милькеев, — теперь мне придется повторяться? Для вас? Я вас ввел в жизнь, — идите сами. Для детей? Мои семена уже брошены в них. Для себя? До здешней жизни, до этих лет, я не знал здорового счастья. Здесь я узнал, что̀ такое нравственное блаженство в счастливой семье. Но цель нашей жизни не одно благосостояние; благосостояние должно быть только ночлегом для тех, кто хочет оставить по себе след. Целью нашей должно быть богатство идей, которое как тень остается в міре после нас. Если человек сумел прожить ярко,

то никакая гибель не убьет его лица! Погибнет тело, но лицо свершило свой круг — поднялось и исчезло, но след его пройдет... Многое я и сам понял здесь, чего не понимал прежде. Я понял, глядя на Новосильскую, что можно жить самому à la Dickens и понимать тех, кто живет à la Sand. Я понял, глядя на нее, что мечтательная душа может достигать результатов несравненно высших, чем натуры стойкие, если только она захочет внести начало пользы в свою жизнь. Все это я понял здесь. Все это так, но мне надо бежать!

— Разве его деятельность здесь не полезна? И разве человек не имеет права быть покойным? — спросила в другой раз наедине у старшего Лихачова Катерина Николаевна.

— *Он*, именно он не имеет права быть покойным! — сказал предводитель. — Здесь он перекипит бесплодно.

— А мои дети? — спросила Новосильская.

— Узко, не по нем шито! — отвечал предводитель. — Ведь это — эгоизм своего рода: заедать человека одною любовью и покоем. Учителем что ли ему навек остаться? Помилуйте, что̀ это? Аполлон в пастухах у царя Адмета! Послушайте меня: та деятельность только практична и небесплодна, в которой примирены: правила рассудка, природные расположения и вкусы и личные обстоятельства жизни. Ясно?

— Ясно. Что̀ же дальше?

— Ну-с, вот брат мой кутит с мужиками и любим ими, имеет много спокойной энергии, домосед, ума весьма положительного и острого, но до сих пор жил без правил и цели. Вообразим себе, что крестьяне отпущены, что учреждены новые должности на либеральном начале. Так вы как думаете, не может разве брат быть на своем месте, когда займет эту должность? А если местное самоуправление устроится, хоть к старости нашей, разве он еще не может вырасти на целую голову? Вот что я называю служить цельным убеждениям, составившимся из правил и вкусов, и только они-то и годятся; а натяжки все эти ни

чорта не стоят; только на время годны для выработки. Понимаете?

— Для брата вашего понимаю, а для Милькеева нет.

— Брат мой — здоровый, густой портер, вот что̀ такое мой брат! Пусть шипит медленно и густо, а ваш Милькеев — шампанское!

— Вовсе он уже не так пуст; вы видите, как он прилежно с детьми занимается; сколько дети в год успели; сколько он для себя кончил в эти полтора года, как он аккуратно высылал отцу семьсот рублей за тех людей, которых он взялся откупить; теперь только он все это кончил и стал задумываться... Может, и правда ваша, что ему нельзя быть всегда нашим учителем... Что же вы сердитесь? и барабаните пальцами по столу и за голову схватились...

— Да как же на вас не сердиться, Катерина Николавна! Посудите вы сами, что̀ вы наговорили; слов множество, а без толку все. Исходная точка — фальшь. Не надо спешить и людей смешить. Слушайте обстоятельно.

— Точно ami Bonguars; недостает только рукой по столу методически пристукивать.

— Bonguars — почтенный человек. И я рукой буду пристукивать — слушайте. Милькеев ваш — шампанское и должен им быть; постоял-постоял, да и хлопнул; еще закупорился, и опять хлоп! Последнюю копейку ребром, как все нервные натуры. Но этим, сударыня, я не хочу сказать, что нервные натуры, то есть вы или Милькеев, истрачиваются навек от этих выходок. Нисколько. Напротив того, я этим подвижным людям приписываю непостижимую живучесть души; упал, устал, никуда не годится, кажется, разрядился весь. Глядишь, нет! Вынырнул, да еще и как! Где наш брат, солидный, размышляет, а он уж вон где! Кавалерия, одним словом.

— Вы кончили? — спросила Катерина Николаевна.

— Кончил.

— Теперь вы меня слушайте.

Она объяснила ему, чего она хочет для Милькеева: призналась, что те самые должности, которых ждет Нико-

лай Николаевич для брата, соблазняют и ее для Милькеева, что она готова купить или отрезать ему земли, если, как слышно, это будет необходимо и если он, конечно, согласится; что будет не одна такая должность, и все они вместе — предводитель, его брат, она, Милькеев и Руднев составят огромную силу в краю, — силу, которая и теперь уже заметна в частной жизни, а тогда будет еще действительнее.

— Я не говорила еще ему об этом, — прибавила она, смеясь и краснея, — а сама, признаюсь, уже заранее даже 10 придумала, что̀ сказать ему, если будет стыдиться взять землю... Я скажу ему: «Разве Маша или Федя обиделись бы и не взяли бы? И вы должны взять!» Не правда ли?

Предводитель встал, прошелся по комнате, постоял перед ней и, не сводя с нее глаз, повторил задумчиво раза три-четыре: «А, это статья другого рода! Коли так — это другая статья!» Потом простился и уехал; но проходя через залу, спросил у детей:

— Где ваш Вася?

— Васька зазнался больно, — сказал Юша, — знать 20 нас не хочет! Все с англичанкой читает какого-то осла Байрона!

Предводитель с братом были всегда хороши, никогда не ссорились; но мало говорили между собою дома и если говорили, то охотнее о разных случаях и слухах, чем о чувствах и мыслях. Старший Лихачов иногда скучал без Милькеева, с радостию выслушивал отрывки из его статьи и диссертации, поправлял кое-что, советывал, готов был всегда ему помочь. Милькеев внимал дельным речам предводителя с большим почтением и научился у него многому 30 в течение года; говорил, что «от бесед с ним я стал ядренее». В общих спорах в Троицком, полушуточных или вовсе нешуточных, они были часто заодно. Предводитель нередко выпускал вперед Милькеева, а сам «крепил его тяжкой силой» какого-нибудь анекдота про губернаторов, про раскольников, про жида, про судью или про армейца дедовских времен и множеством других осязательных,

практических сведений, которыми изобиловали его память и суровый ум. Когда он говорил: «Постойте-ка! Слушайте!» — Милькеев нередко охлаждал свою пылкость и слушал, как тот рубил, пристукивая по-бонгаровски ребром руки по столу.

— Государственное начало, сударыня, Катерина Николавна, извольте, прошу вас, отличать от общественного: нравы худые могут убивать хорошие учреждения, и наоборот: хорошие нравы умеют обходить худые учреждения. Так, например, у вас, несмотря на гнусное учреждение рабства, крестьяне бедствуют гораздо менее, чем свободные городские мещане, а дворовые живут лучше чиновников.

И хотя в словах предводителя нередко и нового было мало, но служебный опыт его, его начитанность, его медленная стойкость, самый бас его хриплый и таинственный — придавали столько веса и вероятия словам его, что и старое приобрело в его устах проникающую в сердце силу.

Иногда, наоборот, Милькеев говорил что-нибудь игриво или возражал Рудневу и Новосильской, кувыркаясь философски, и предводитель был так рад его ловкости, что спешил договаривать или повторять за ним слова.

— ...Нагая динамичность французов сделала то, что их народность состоит в стремлении к совершенной безнародности!.. — замечал Милькеев.

— ...Безнародности! — вторил с тихим удовольствием предводитель.

Многое, что̀ было говорено предводителем брату, было не принято тем, но привилось Милькееву; многие из простых и ясных лучей предводителя, проходя сквозь милькеевскую призму и разлагаясь на множество разноцветных огней, возвращались к молодому Лихачову и находили доступ в его ум, менее солидный, но больше требовательный по тонкости, чем ум старшего брата, и предводитель с радостью стал замечать это возвратное влияние к концу второго года.

Александр Николаевич на предложение быть членом будущих мировых учреждений, не отвечал ему, как пре-

жде: «Что это! Вдруг я сделаюсь гражданином. Совсем не к лицу!» Милькеев говорил ему не так, как предводитель; предводитель говорил грубо: «Что̀, брат, ты небо коптишь!», а Милькеев совсем иначе: «Ах! если бы я был такой домосед, как ты, и так бы был популярен, как ты, как бы охотно занял бы я эту должность... Сколько в этом и пользы, и движения, и чести, и поэзии. И твой вид, твое русское лицо, даже мускулы твои!.. Это — прелесть! Вся твоя обстановка, серый флигель твой озарятся смыслом...» — и Александр Николаевич задумывался над словами Милькеева, и он, который не давал себе прежде труда подумать, популярен ли он или нет и даже не знал, идет ли такое важное слово к его поведению и обстоятельствам, к нему, который сближался с народом только потому, что «дед-чудак — смешит, Арина отлично пляшет, а Марфуша удивительно мила, когда она в штофном сарафане и кисейных рукавах говорит ему: «ну, ты! за что это тебя барином только зовут! отпустил бороду, настоящий купец! поцалуй-ка меня, разнощик!» И Лихачов полусонным султаном цаловал ее, приговаривая небрежно: «Чорт знает, что̀ ты городишь!» — этот самый Лихачов стал говорить: «А, пожалуй, что и недурно бы делом заняться!»

«Молодец Милькеев», — думал предводитель, замечая перемену в брате. «Вот, если бы он только Nelly оставил в покое!.. Пока брат не женится — не будет толку!»

С этого дня, в который Новосильская так ясно сказала ему, чего бы желала она для своего любимца, предводитель еще чаще стал повторять Милькееву:

— Пора бы тебе, брат, перестать пасти овец у царя Адмета!

III

Отпраздновали новый год с друзьями. Все были веселы. Милькеев выпил лишний бокал и, поднимая его, сказал:

— В сторону все серьезное; давайте нам женщин, вина, лошадей и музыку!

— Однако статью кончил прежде, а потом проклял науку... — заметил предводитель.

— Женщин, танцев и музыки недостает в этой жизни, — продолжал Милькеев, обращаясь к Новосильской. — Если вы искренно хотите, чтобы я остался здесь подольше, заведите у себя то, без чего жизнь похожа на обед без вина и десерта!

Другие поддержали его, утверждая, что в соседстве можно набрать много красивых девушек и женщин. Руднев похвалил Любашу и сказал Милькееву:

— Это, мой отец, штучка хорошая. Вот бы вам заняться! Женились и остались бы навек у нас.

— Да, она ничего, — заметил младший Лихачов.

— И очень даже ничего, — прибавил предводитель.

— За чем же стало дело, Василиск? — спросила Катерина Николаевна. — Не пустить ли в ход кудри и убийственные взгляды?

— Можно! — отвечал Милькеев. — Сколько месяцев до лета? Январь — вздохи и вступление; февраль и половина марта — сильная дружба; половина марта и весь апрель — страсть; май — сомнения, борьба, разрыв, отчаяние и отъезд! Ура! Да здравствует Любаша, и пусть гибнет все, что̀ напоминает Руссо, Адама Смита, Фурье и тому подобных извергов! Когда же первый вечер?

Новосильская просила дать ей обдумать, рассчитать расходы, приготовить наряды для Nelly, для дочерей и для себя; но на следующий день приехал князь Самбикин звать молодых людей к сестре, на обед и бал, и к себе на утро после бала на завтрак и folle journée с волчьей садкой. Он умолял также — нельзя ли отпустить с ними как-нибудь Nelly, и предводитель взялся быть ее отцом и дядей на эти два дня.

Руднев сразу обещал быть, нарочно, чтобы не очень просили и чтобы потом отозваться болезнью или неожиданным делом; но без князя вся троицкая семья уговаривала его ехать; дети говорили: «вы, Василек, нам расскажете много!» Однако он уступил только Милькееву, когда тот сказал:

— Где же та дружба, о которой вы говорили? Вы находите удовольствие унижать меня контрастом между вашей солидностью и моей пустотой. Дайте мне вырасти немного от мысли, что и вы человек!..

— Ну, ну! — отвечал ему Руднев, — поеду с вами для того, чтобы видеть, как вы там будете витать!

— Не очень-то развитаешься, — возразил Милькеев, — когда знаешь, что первый слуга, который из дверей смотрит, спросит у другого: «Кто этот большой и косматый?» А тот скажет: «Троицкий учитель!» А все-таки поеду, несмотря на все страдания, которые буду переносить от этой мысли!

Князь Самбикин и сестра его Полина были близнецы и родились в ночь под 4-е января; поэтому они праздновали или 4-е вместе, или Полина 3-е, а князь 4-е, чтобы иметь случай веселиться лишний день. Протопопов любил покормить и попоить гостей, а Полина считалась всегда очень любезной хозяйкой и танцовать была сама большая охотница. Знакомы они были почти со всей губернией, и гостей с полудня у них уже было множество. Многие должны были остаться ночевать у них, чтобы вместе с хозяевами ехать на другой день тройками к князю в его еще недостроенный, но крайне красивый швейцарский chalet, которым он украсил неподалеку от материнской усадьбы горку, покрытую молодыми дубками.

Баумгартен, вполне счастливый и в белом галстухе, приехал вместе с Милькеевым, в троицких крытых санях с богатой медвежьей полостью; а Руднева привез младший Лихачов. Все они были представлены хозяйкой многим из гостей, между которыми особенно заметны были два военных генерала и один мрачный господин, с чорными усами и седой головой, недавно возвратившийся из Сибири. Княгиня Самбикина, мать Полины и князя, была тут; Воробьев, Сарданапал, предводитель, Авдотья Андреевна, Анна Михайловна, Максим Петрович и Любаша, и Сережа...

Максим Петрович сейчас же подошел к Рудневу и почти до самого обеда не отпускал его от себя; водил его

в бильярдную, в кабинет, рассказывал ему, как он в Польше попал, во время ночного свидания, в такое место, хуже которого ничего быть не может на свете, показывал ему портреты родных и предков.

— Вот этот в пудре, граф***, — говорил он флегматически, — дальний, очень дальний родственник Самбикиным. Однако они его вешают везде.

— Гордый вид! — сказал Руднев.

— Гордиться нечем. Впрочем, это он дома так смотрел, а в Швейцарии его не то Массена, не то Макдональд распатронил так, что насилу ноги унес.

И, вздохнув, Максим Петрович продолжал:

— Графы ведь у нас заведение новое. А князья у нас двух разрядов. Настоящие князья — варяжские; это сейчас слышно — от городов имена: Оболенский, Трубецкой, Мещерский, Звенигородский... Это — князья. А то еще есть Шах-мамаевы, да Хан-лакаевы, да Уланбековы, да Сумбекины; это — все восточные! Там, которые побогаче, хорошо живут; а победнее — медведей водят. Прошлого года один такой мурза пришел к нашему кузнецу с медведем... «Дай-ка, брат, я у тебя переночую»; медведя поводил по пчельнику, заклинания делал да два целковых с него взял. Пчелам это полезно. А пчелы-то у кузнеца через неделю и улетели; три роя пропало! — с злобной усмешкой прибавил старик.

— Я и то говорю княгине... (Вы княгиню Сумбекину знаете? — вот на диване с кольцами и оборками сидит, папироску курит) — я ей говорю: «а что̀, ваше с-во, Шах-Мамай тот, который у кузнеца нашего ночевал — не родня вам?» Не любит она этого! У них княжество и вовсе отнять хотели — все в Петербурге хлопотали...

Потом старик спросил у Руднева, будет ли он завтра у князя?

— Я думаю, не буду, — отвечал Руднев, — в Троицком и дома дело есть...

— Дело не уйдет, — сказал старик, — молодому человеку надо веселиться. У него домик славный. Дела у

матери ихней плоховаты были. Она цветники разводить мастерица да колечки покупать, а насчет полевого хозяйства не так-то способна. Ну, так сын и поступил года на четыре в комиссариат, а тут война подоспела... Он — человек расчетливый, аккуратный, был смотрителем долго и поправил дела... Долги материнские позаплатил и домик этот вздумал строить... Посмотрите завтра. Со вкусом. А Любу мою видели?

— Видел, Максим Петрович!

— Говорили с ней? 10

— Нет, очень много народа было кругом.

— Конечно, на народе, что̀ за разговоры. Вы — человек скромный. А танцовать ужо́ будете?

— Нет, я не танцую; не умею.

— Ну, что ж. Это ничего! Не всем же танцовать. Я и военный был смолоду, да не мастер на это был. Люба, а Люба, поди-ка сюда!

Любаша подошла...

— Ты доктора видела?

— Видела. Я никак не ожидала, что вы здесь буде- 20 те, — сказала она, садясь около Руднева и пожимая ему руку...

Старик, как только увидел, что она села около Руднева, тотчас же ушел в залу. Но Руднев с Любашей еще не успели сказать друг другу и двух слов, как на хорах загремела музыка и все пошли обедать. К Любаше подбежал было князь Самбикин, но она уже прежде предложила руку Рудневу, и они вмешались в толпу.

Садясь около нее за обед, Руднев, по обыкновению, поколебался с минуту, но она сама указала ему на стул 30 около себя и сказала:

— Отчего же вы не садитесь? Садитесь.

Руднев сел и молчал.

Любаша ела с большим аппетитом, съела три пирожка с супом и сказала:

— Нравятся вам эти пирожки? Возьмите еще... Я от жадности взяла четвертый; возьмите его, если вам не про-

тивно, что я держала его руками... Впрочем, я его, пожалуй, на вилку надену сейчас...

Руднев с удовольствием взял пирожок.

— Вы любите хозяйство?.. — спросил он.

— Не знаю... право. Занимаюсь дома чаем всегда. Кто же будет? Тетушка Анна Михайловна нездорова... Папа́ и бабушка оба любят, когда я наливаю чай... Говорят, что у моего чая особенный вкус... Вот и все мое хозяйство... А другого я ничего не делаю... Иногда охота придет с нашей Ульяной... Вы ее видели... смешная такая, и помните еще, вы что-то с глазом ее хотели делать... Только я думаю, ей, бедной, помочь нельзя... Нельзя помочь ей?

— Нет, у нее бельмо слишком застарело.

— Вообразите, это ведь ей Павлуша инбирю много в глаз вдул... (Любаша засмеялась и указала на Сарданапала) он все лошадей в полку лечил и ей вдул...

— Как же вам не стыдно смеяться? — позволил себе сказать Руднев.

Любаша покраснела и пожала плечами.

— Такая глупая привычка; я сама знаю, что это нехорошо. Только, как вспомню Павлушу и все его штуки...

— Вы начали говорить о хозяйстве... Вы говорили, что вы с Ульяной что-то делали...

— Ну, что! Это совсем неинтересно. Я хотела сказать, что помогаю ей варенье варить; летом обираю ягоды, невейку люблю делать... Ну, что̀ тут интересного? Я бы вот лучше желала, чтоб вы с Павлушей познакомились поближе...

— Может быть, Павлуша не захочет со мной знакомиться.

— Полноте. Что за вздор! Отчего Павлуша не захочет познакомиться? Он вовсе не гордый. Да и гордиться ему нечем особенно. Скорей вы. Вы, вот, гордый... Сколько раз я хотела заговорить с вами, а вы все не обращаете на меня никакого внимания. Помните?

Руднев засмеялся.

— Да что вам во мне? — сказал он.

— Нет, вы мне понравились... Я слышала тоже об вас много хорошего. Хотела с вами сойтись. А вы, я думаю, думали: «Какая противная, скучная деревенская барышня!..» А! Признайтесь, думали? «Что̀ я с ней буду говорить...» Думали?

— Думал, по правде сказать.

— А теперь, что̀ думаете?

— Думаю, как Баумгартен прав, что недавно начал роман под заглавием «L'apparence trompe!..»

— Вы разве говорите по-французски? 10

Руднев захохотал и отвечал ей:

— Нет, не говорю, а на что вам?..

— Я так и думала, что вы не говорите... А вот это «L'apparence trompe» вы произнесли хорошо... Я тоже не очень хорошо говорю по-французски... У нас жила одна m-lle Feloux... Только она пила, часто была пьяна; бабушка ей отказала... Я у нее училась... Перевожу, читаю иногда...

— Много читаете?..

— Нет, не очень много, — серьезно ответила Люба- 20 ша, — то лень, то некогда, то книг нет... Да я как-то французских романов не люблю... Я больше люблю наших писателей. У наших как-то проще все... Наше такое понятное...

— Жорж-Занда читали?

— Нет; говорят, она такая безнравственная... Все против семейства писала... Ничего, говорят, у нее святого нет... Лихачов давал мне раз один роман читать, я не помню его названия. Только я не дочла: слишком уж серьезно... 30

— Вот вы какие, — вы ничего серьезного не любите, все веселое... Так как же вы хотели со мной подружиться, когда во мне веселого нет ни на грош?

— Я людей серьезных уважаю, — отвечала Любаша, — я не люблю книг серьезных...

— Отчего же это такая разница?.. Бедные авторы серьезных книг!.. — воскликнул Руднев громко... Он так

увлекся, что не почувствовал, как прошел обед; уже подавали жаркое.

— Объясните же теперь, отчего эта глубокая разница? Отчего вы любите серьезных людей и не любите серьезных книг?

— Я не говорю, что я люблю серьезных людей; я говорю, что я уважаю только их. Вовсе не трудно понять отчего, — отвечала Любаша... — Человека я могу издали уважать, буду смотреть на него и уважать, или изредка буду говорить о чем-нибудь, а книгу нельзя так издали уважать... надо ее ведь прочесть, чтобы уважать... Ну, и скучно... Я очень неразвита! Где мне было развиться! Папá добр. Только вы видите, какой он... Ну, бабушка — старый человек, тетушка Анна Михайловна тоже.

— Вот, если вы хотите развиться... вам лучше подружиться с Милькеевым, а не со мной; он как раз разовьет вас; а я не сумею...

Любаша поглядела на Милькеева, который на другом конце стола благосклонно разговаривал с седым генералом, и отвечала:

— Он мне не нравится; он, кажется, много о себе думает... Так нейдет! Разыгрывает из себя такого светского человека. Положим, он собой молодец, хорош... Ну, вот, посмотрите, как он лорнирует барышень!.. Как я не люблю, кто о себе так много думает... И даже к должности его совсем это нейдет...

— Вот уж это странно! — возразил Руднев.

В эту минуту все встали с бокалами, и смуглый генерал, который сидел около хозяина, сказал громко:

— Здоровье Пелагеи Васильевны Протопоповой!

— Здоровье Александра Васильевича! — закричал хозяин.

— Князя Александра Васильевича Самбикина! — перебила сама княгиня, привставая и протягивая с улыбкой бокал в сторону сына.

Музыка гремела; все чокались; князь покрыл руки матери поцалуями.

— Теперь вместе, за здоровье близнецов и вечную дружбу между ними! — сказал кто-то вдали.

Музыка опять заиграла, и опять загремели стулья.

— Не стоит и пить за это! — заметил другой гость, когда шум утих. — Близнецы, известно, всегда дружны... У меня были два знакомых брата...

— Может быть, братья и живут хорошо, — перебил как можно громче Максим Петрович, — а вот если брат с сестрой близнецы, так те не так-то ладят!..

Авдотья Андреевна покраснела; Анна Михайловна затряслась; князь опустил глаза; княгиня презрительно взглянула; хозяин нахмурился; Любаша тихо засмеялась; многие гости захохотали громко.

— Что̀ это такое? — спросил Руднев у Любаши.

— Папа́ чудак! — отвечала она, — что̀ вздумает, то и скажет. Княгиня Самбикина дочери не любит; князь — ее фаворит; княгиня, князь, бабушка, тетушка Анна Михайловна — это одна партия; а Платон Михайлыч и Полина — другая. А папа́ ни к кому не принадлежит: всех бранит; только бабушку не бранит, уважает. Он говорит — Полина не хочет, чтобы князь женился, потому что Коля после него наследник. А у бабушки и у тетушки с Платоном Михайлычем уже давным-давно были ссоры, из-за имения что-то! Как все это грустно, Василий Владимирыч! — прибавила она с веселым лицом.

— Это правда! — сказал Руднев. — Да вам-то что ж! Вы всех их любите?

— Мне-то никто из них не противен... Как-то нет-нет, да и пожалеешь всех!

IV

Тотчас после этого Руднев пошел искать Милькеева, чтобы сказать ему, что дела его плохи, и передать ему мнение Любаши.

Он нашел его в кабинете в куче других мужчин, которые спорили, стеснившись около дивана; сидели: смуглый

генерал, мрачный декабрист, недавно возвратившийся из Сибири, и еще один худой помещик небольшого роста с суровым выражением лица; перед диваном стояли сам хозяин и предводитель. Последний был окружен несколькими дворянами, которые осыпали его вопросами и возражениями, и Лихачов, медленно поворачиваясь то туда, то сюда, отгрызался от них, как кабан. Милькеев разговаривал в углу с тем седым генералом, с которым он подружился за обедом.

— Знаем, знаем, что̀ хотите вы сказать — сельскую полицию!.. — «Сельскую полицию? Это за что я няньчиться буду!» — «Это еще бремя за что̀?» — шумели дворяне, подступая к предводителю.

— Постойте, — говорил Лихачов, — это не я, а Аполлос Федорыч сказал — сельскую полицию... А я не то говорю...

— Для предупреждения... против опьянения свободы в прямом и переносном смысле! — перебил Аполлос.

— Дайте сказать! — продолжал предводитель, — чем меньше будет у нас власти, тем более будет влияния. Дворянство всегда будет впереди... Образование, предание, богатство...

Но тут несколько человек закричали разом:

— Богатство? Богатство! — «А разве, сударь вы мой, не знаете вы, какие есть дворяне: «сам пашет, сам орет!» — «Деньги в чужих карманах не считаны!» — «Да-с! Сударь вы мой, да-с!»

— Ни собственность, ни даже жизнь не обеспечены, — уныло заметил кто-то из толпы, когда шум смолк.

Лихачов взял одного соседа за пуговицу и сказал ему внушительно:

— Поймите вы вот что: если вы сами не догадались это прежде сделать, так не возбуждайте против себя ненависть бессильной оппозицией, а лучше спешите забегать вперед, где можно! Сколько у нас привилегий...

— Однако, Николай Николаич, — заметил смуглый генерал, — от вас, *именно* от вас мне странно это слышать... Доверие, девятилетнее доверие!..

— Чем менее будет у нас власти, тем больше будет влияния, — повторил Лихачов. — Те, которые не в силах поддержаться наряду с богатыми, опустятся в народ и выиграют от этого. Не сами они, так дети их из плохих шляхтичей станут передовыми простолюдинами, и совсем другое общество, другое настроение самолюбия облегчат им экономическую сторону жизни. Сытый мужик в дубленке доволен и бодр, а бедный дворянин в заштопанной шинели жалок и болен...

— Хорошо тому жить, кому бабушка ворожит! — 10 возразил издали один помещик двадцати душ.

— Не называйте меня «ваше превосходительство», — кротко шептал в углу Милькееву седой генерал. — Человеческая личность должна быть свободна; это вы правду говорите! Пусть всякий будет счастлив, доволен — это главное... Я вам скажу про себя; у меня прежалостливое сердце: вот теперь я вас слушаю, так у меня в душе переворот такой делается... Мне очень приятно познакомиться с вами!

— Разберите теперь вопросы о караулах, рабочих днях, — начал сам хозяин, обращаясь в Лихачову, — о стариках, 20 наконец, и старухах, которых мы должны даром кормить. Я, я еще могу! Но многие другие... И народ наш так груб, так дик, так не приготовлен... В друзьях своих видит врагов... не правда ли, Николай Семеныч? — прибавил он, обращаясь к мрачному декабристу.

— Правда, — сказал тот, которому родные только что возвратили восемьсот душ.

— Что̀ вы об этом думаете, ваше превосходительство? — спросил смуглый генерал у седого.

— Я что думаю? — отвечал старик. — Я сижу и 30 думаю, что это г. Милькеев вот правду сказал или нет сейчас... «Коли, говорит, мужик нехорош — так зачем дворяне его не воспитывали!» Я сижу и думаю, правда ли это?

— Правда, — сказал предводитель.

Он хотел продолжать, хотел сказать о том, что русский дворянин сам давно пренебрегает собой, предпочитая столицу и службу деревенской жизни, что их сторона еще

лучшая по населению и деятельности; но слова Милькеева, переданные седым генералом, так возмутили многих, что дворяне подняли страшный шум, подступая одни к генералу и Милькееву, другие к предводителю.

В эту минуту младший Лихачов подошел к одной кучке, посреди которой с жаром говорил худой, суровый помещик, и, вставляя в глаз стеклышко, спросил:

— Что̀ это у вас за базар, господа?

— Базар? Базар! — с изумлением и злобой закричал худой и суровый помещик, выпрямляясь перед ним. — Базар! На базаре мужики, подобные тебе... с бородой, а здесь общество дворян, а не базар!

— С каких это пор мы с тобой на *ты*? — спросил младший Лихачов.

— Либералы вы все! Базар! Общество... дворян — базар! Поди с мужиками обнимайся — вот твое место!

— Чудак! — заметил Лихачов, — забыл верно, что я девять пудов одной рукой поднимаю!

Опять все захохотали, а суровый помещик гордо отошел прочь.

— Что̀ ж, отец мой, вы не боретесь? — спросил Руднев у Милькеева. — Разве не под силу?

— Конечно! — отвечал Милькеев, — здесь, чтобы не быть смешным, надо показать пример, надо иметь крестьян. Лихачовы имеют право спорить: у них мало земли и потеря их будет сильная. А я — не от міра сего!

— Жаль, а я бы желал, чтобы вы разгорячились!

— Зачем?

— Чтобы возбудить нервы и повитать после... А то Любаша вас не хвалит; говорит, что учителю нейдут ваши манеры.

— Будто? Ну, Бог с ней, — рассеянно и печально отвечал Милькеев.

— Как, Бог с ней! — надо вступить в борьбу, на мазурку звать...

— Едва ли я решусь здесь танцовать мазурку; это не Троицкое; там я — Вася Милькеев, честный утопист, Ва-

силиск, старший брат, поэт, друг и наставник прекрасных детей, древний философ, поучающий в саду... А здесь я только — троицкий учитель. Ослабею вдруг от грусти, упаду посреди залы, и все будут рассказывать, как троицкий учитель упал. Здесь надо по-вашему жить, à vol d'oiseau...

С этими словами он встал и пошел звать Любашу на кадриль.

Но кадриль не помогла: Милькеев поговорил с ней кой о чем, но ни сам не сказал ничего хорошего, ни от нее ничего особенного не слыхал. Он был встревожен тем, что̀ видел и слышал в кабинете, ушел с Рудневым и младшим Лихачовым в дальнюю, пустую комнату, сел с ними там и высказал им все, что̀ думал о собравшихся дворянах.

— Что̀ это такое? — сказал он, — я ничего не могу решить... Хочу понять — и не могу. Все спуталось у меня. Мне кажется, что я ничего не знаю! По правам это больше чем аристократия... Нравы, физиогномии, привычки в целом дворянстве разнообразнее, чем у другой небольшой нации, взятой в целости... Люди средней руки, внешним видом, бытом, манерами, они почти все больше похожи на тяжелых западных лавочников или засидевшихся чиновников, чем на свежую и бойкую сельскую аристократию!.. Что̀ же это такое?

— Ты слышал, — отвечал младший Лихачов, — брат мой хорошо определяет их: это не аристократия, а шляхетство. Аристократия не может быть так многочисленна и так доступна...

— Я не могу теперь понять, — продолжал Милькеев, — как и с какой стороны примирить мне свой идеал с тем, что̀ я вижу вокруг себя! Любить мирный и всемірный демократический идеал, это значит, любить пошлое равенство, не только политическое, но даже бытовое, почти психологическое... Развиваясь под однообразными впечатлениями посреди тех жалких уклонений, которые способно дать одно разделение полезного труда, характеры должны стать схожими... Одна разница темпераментов

недостаточна. Необходимы страдания и широкое поле борьбы! На что̀ тогда великие полководцы, глубокие дипломаты? Поэту не о чем будет писать; ваятель тогда будет только сочинять украшения для станций железной дороги или лепить столбики для газовых фонарей... Я сам готов страдать, и страдал, и буду страдать... И не обязан жалеть других рассудком! Если сердце мое жалеет — это дело организации, а не правил!.. Идеал всемірного равенства, труда и покоя?.. Избави Боже! Истинная аристократия уже тем хороша, что она подразумевает *многое другое* под собой. Уничтожая аристократию, мы оставляем только два начала: фрачное мещанство и народ. Уничтожая в свою очередь буржуазию, которая не допускает до себя народ, мы уничтожаем в сущности не буржуазию, а народ, потому что работник и без того с ума сходит, как бы ему надеть сюртук, хоть грязный и вонючий, но сюртук!.. «Дело, говорят — в конце!» Отчего же все боятся говорить о конечных целях в точных науках, которые проще жизни, а не боятся решать конечную цель жизни, которая еще до сих пор необъятна?! «Воля человека ничто перед общей статистикой», говорит точная наука; «L'homme s'agite, mais Dieu le mêne!» говорит богослов. Конечная цель нам неизвестна... Вы понимаете ее так, а я иначе. Но нам есть указание в природе, которая обожает разнообразие, пышность форм; наша жизнь по ее примеру должна быть сложна, богата. Главный элемент разнообразия есть личность, она выше своих произведений... Многосторонняя сила личности или односторонняя доблесть ее — вот более других ясная цель истории; будут истинные люди, будут и произведения! Что̀ лучше — кровавая, но пышная духовно эпоха возрождения или какая-нибудь нынешняя Дания, Голландия, Швейцария, смирная, зажиточная, умеренная? Прекрасное — вот цель жизни, и добрая нравственность и самоотвержение ценны только как одно из проявлений прекрасного, как свободное творчество добра. Чем больше развивается человек, тем больше он верит в прекрасное,

тем меньше верит в полезное. Малоразвитой человек везде ясно видит пользу; но чем сознательнее идем мы в жизнь, тем труднее решить, что̀ истинно полезно для других, для *рода*; сохраняя вас, я, может быть, стесняю или даже гублю десять человек; губя их, я, может быть, спасаю косвенно сто. Вы, доктор, и на прошлой неделе вылечили свирепого старика, который вернется на деревню и станет опять бить свою невестку. Невестка умрет раньше, и муж ее женится на молодой девушке. Первая жена рожала все девочек; молодая жена от сорокалетнего вдовца будет рожать мальчиков, работников, и семья разбогатеет... Прекрасное не гибнет никогда: погибло здесь, поднялось там; вооружась прекрасным, мы понимаем и любим историю; с одной пользой, честностью и миролюбием мы видим в жизни народов только слезы, кровь и обманутые надежды. Я не боюсь демократических вспышек и люблю их; они служат развитию, воображая, что готовят покой; на почве этих стремлений вырастают гремучие и мужественные лица; их крайности вызывают противодействие, забытые силы, дремлющие в глупом благоденствии, и им в отпор блестят суровые охранители; а после, в года отдыха, из накопившихся богатств и противоречий слагаются глубокие, полные люди, примирившие в себе, насколько можно, прошедшее и будущее... В средние века была поэзия религиозных прений и войн; теперь есть поэзия народных движений; я даже не хочу сказать, что они лучше тех, но говорю только, что они под рукою... С другой стороны, я вот что скажу: «Стесните, пожалуй, сословие, которое убивает развязность других, но не лишайте мір широкого досуга и роскоши...» Только при этих условиях могут являться: Байрон, Гете, Жорж-Занд, Цезарь, Потемкин, граф Д'Орсе... Со всем своим гением Шекспир не вышел бы Шекспиром, если бы пестрая и вместе сдавленная там и сям формой жизнь Англии не посеяла бы ему в мозге разнообразных представлений. Не в том дело, чтобы не было нарушения закона, чтобы не было страданий, но в том, чтобы страдания

были высшего разбора, чтобы нарушение закона происходило не от вялости или грязного подкупа, а от страстных требований лица! И Креон у Софокла прав, как закон, повелевающий убить Антигону, и Антигона, которая, любя брата, похоронила его — права́!

— Но разве для народа не нужно вещественного благосостояния, чтобы облагородить его страдания? — сказал Руднев. — Страданий высших много. У дяди мужичок прибил до крови жену за то, что она принесла ему четверть часа позднее хлеб и квас на поле во время работы. А если бы он пошел позавтракавши вплоть пирогом и кашей, да выпил бы стакан вина, да жал бы, сидя на какой-нибудь машине? Помните картинку в книге, на которой представлен молодой английский фермер на машине с двумя здоровыми лошадьми, густая рожь и белый домик в зелени сбоку?.. Вы тогда сказали: «вот праздничный труд!» Глядя на это, веришь, что эти люди за ужином благословляют Бога и труд, который послан небом... Если бы труд был таков, разве мужик стал бы с голода и усталости бить жену? Он, может быть, способнее бы был влюбиться и пошел бы на войну от несчастной любви, если вы непременно хотите страданий...

— Я ничего не говорю против этого, — отвечал Милькеев, — мы с вами можем извлечь многое из бедности; а для земледелия не нужна личность; поэзия и достоинства крестьянина — в цветущем покое многолюдной семьи и правильной работе. — Ужасно видеть чиновника или портного, обремененного детьми и привинченного к месту, а здесь на чистом воздухе!..

— По твоему идеалу следует, — сказал Милькееву Александр Лихачов, — что для всякого народа нужно совсем не то, что̀ нужно для другого... Французам было бы полезно постепенное развитие, устояться бы им недурно, мохом порасти; а то Франция стала похожа на какой-то пустой, чисто выкрашенный балаган. Англию бы радикализмом хорошенько раскачать, чтобы не слишком уж повторялась; для Италии — то политическое единство, о ко-

тором она теперь хлопочет; немцам бы Фридриха нового, чтобы из кабинетов их доброй войной вытащил... После этого и живется, и поется, и думается лучше... Все это так... Но что̀ же нужно для России, чтобы дать ей в твоем духе прекрасную эпоху?

— Не знаю, не знаю! — грустно отвечал Милькеев. — Пусть скажет твой брат, что̀ он об этом думает...

— Для России, — сказал предводитель, — поди спроси у дворян, что̀ нужно для России! Поди, потолкуй с ними! Я думаю, брат, что я последний год служу! Уж на будущий год меня прокатят на вороных за все эти разговоры! Что ж, в посредники пойду. Нет, прежние бары были лучше; в тех была славянская ширина, сила, те умели иной раз, хоть в обход — да постоять за себя... А эти ни для себя, ни для других, на jeu de paume неспособны; вниз нагнуться не хотят, чтобы почерпнуть живой воды. Да, слава Богу, не сделать им ничего; против них и народ, и писатели, и мнения младших в семье, и сила вещественная. Для их же достоинства надо с них смыть пятно рабства и отнять у них страсть к казенной службе. Страдая, они вырастут... Я говорю: прежние бары жили дома, любили выборы, деревню и хозяйство, и наш край куда, до сих пор, еще много лучше других! Душа болит, как видишь под Москвой и везде заброшенные дома, заросшие сады, или чистые, да пустые... Наш край лучше многих... многолюден, жив... Трудиться легче там, где весело. Пропусти сквозь это веселье гражданскую струйку, доблесть и любовь к родному и посмотри, что̀ будет... Ты, Милькеев, хлопочешь о разнообразии, о развитии лица. Я стану на твою же точку зрения и скажу, что для этой цели необходимо обособление наций. Народный дух — ярмо, под которое должны волей или неволей склоняться самые необузданные сердца. Всякая нация только тем и полезна другой, что она другая! Уперлась одна нация в стену, не знает что̀ делать; поглядела на другую и освежилась... Стесни пределы твоих любимых крайностей любовью к родному; крайности отсохнут, но запас духовный вознаградится

более тонким и крепким развитием внутри. Ты ищешь разнообразия? Да где ты найдешь столько противоположностей, как у нас? Уж, конечно, не в Европе. Надо уметь их видеть; у нас все широко и рассыпчато, но все бледно и не выработано. Свобода и сознание — лак, от которого все черты становятся глубже и все краски ярче. Свобода и сознание только могут нам дать то внутреннее единство, которого нам недостает; без этого народного единства одни живут без свободы и сознания, другие довольно свободно и крайне сознательно носятся по воздуху, как ты, не зная к чему прилепиться. Чего у нас нет? В великой России земская община и рядом с нею помещик, у которого больше земли, чем у многих германских государей; в Малороссии — громада, без общинного владения землей; московский ученый и донской казак; петербургский безбожник и непоколебимый в вере своей раскольник; кавалергард и степной киргиз... Разнообразие физиогномий и сложений в высших слоях удивительно; обычаи и поверья — вовсе разные в разных местах... Вообще мы более философы, чем французы и англичане, более поэты, чем французы и голландцы, более музыканты, чем французы и англичане, трезвее умственно итальянцев, практичнее и решительнее немцев, более художники-пластики, чем англичане, более пышны жизнью, чем немцы, более европейцы, чем турки или персияне, более азиятцы, чем другие европейцы (и по-моему, это не всегда порок), мы более искренни и страстны, чем англичане, мы воинственнее немцев, у нас более, чем во Франции, начал для областного самоуправления и т. д. Но на каждое качество мы найдем на западе или востоке, на севере или юге, в прошедшем или настоящем такое блестящее, сильное выражение, что должны склониться перед ним!.. Нам нужен градус, нужна крепость каждого народного начала, каждой родной черты, душа моя Милькеев, а не ширина, которой мы богаче других! Не за варварство, не за азиятизм в Европе не любят России; боятся и не любят. Не любят за то, что прилепляться не к чему: все бледно, кроме государственной

силы; а государственная сила — вещь великая, но холодная!.. А между тем, эти пестрые племена, это богатство темпераментов, это разнообразие быта, климатов и степени развития — какое поле для обработки! Не жду я ничего от общества, пока народ, верующий, грубый и самостоятельный не влияет на него... В чем нет зла, суеверия? — но суеверие только застывшая пена веры; жестокость? — но без жестокости нет энергии. Все родное — спит; оно хранится у бедного народа, который тупо хранит, не развивая. Рука бы моя не дрогнула на того, кто святотатственно посягнул бы на земскую общину нашу, посягнул бы от подлого страха, что быт Европы основан на личной собственности; как будто рядом с этим нет у нас личной собственности; как будто ты, Милькеев, не прав, говоря, что для земледелия не нужна резкая оригинальность лица! Как будто Ломоносов и новый Кольцов не найдут уже Шувалова и Станкевича, для извлечения их из мірской сходки! Община, песни, одежды, постройки — все спит и дурнеет у народа; и не может не спать и не дурнеть, не может вырастать вещь, предоставленная одним беднякам! А между тем, все иностранцы с жадностью глядят у нас на то, что̀ не по-ихнему: на пеструю Москву, на розовые рубашки, на мелкие разноцветные дома; с наслаждением слушают наши песни; после мира в Крыму (вот брат Александр сам видел!) они с удовольствием прежде всего бросались к казакам и говорили друг другу: «Don! Don!» Баумгартен, и тот восхитился, когда в первый раз поехал кататься с нами в бор зимой и увидал, что Nelly и девочки в ранжевых дубленках и цветных платках на голове и больших сапогах. А кто научил? — Я. Жаль мне было видеть, что Федя и все мужчины молодцами, а девочки шлюхами, в капорах и салопишках! — Один художник в Москве говорил при мне: «нам нужно строить не мраморные дворцы и белые храмы, это слишком холодно для нашего и без того холодного неба; нам нужны теплые краски, как у той милой часовни, которую поставили на Невском; и не только часовни, но дома и дворцы надо

строить такие. Теплые краски эти и народу любезнее, и к печальному добродушию нашего ландшафта идут, и ни на что чужое не похожи!» Все эти народные искры надо раздуть, надо посеять пшеницу, которая тысячи лет спала в египетских гробах... Быть сильно народным — значит в высшей степени служить космополитизму, чтобы пригодиться примером другим в чорный день! — Освобождение крестьян — каково бы оно ни было теперь! Широкие права! Образование переходных форм быта!

Предводитель приостановился и, помолчав, прибавил, обращаясь к Милькееву с усмешкой:

— По твоей же эстетике, «красота есть единство в разнообразии». — Второе есть: надобно нам духовное единство. Посмотри на Австрию: государство сложное, богатое началами; а что̀ она производит без его единства? — При нем здоровые станут тоньше, а тонкие здоровее; сознательные станут проще, а грубые сознательнее; взамен общественного мнения, которого у нас нет, проснется свежее народное мнение... А если кто-нибудь кого-нибудь изредка прибьет, так, разумеется, это не беда; мне даже иногда кажется, что Козлянинов, о котором теперь так много пишут — человек независимый, и я бы желал познакомиться с ним...

Молодые люди засмеялись; в зале заиграли мазурку, и младший Лихачов пошел звать Nelly, а Милькеев Любашу...

Руднев сошел вниз, тайком от приветливой хозяйки, отыскал шапку и шубу и уехал.

Он в первый раз в жизни обедал под музыку за таким шумным столом; в первый раз видел так много незнакомых и красивых женщин; в первый раз видел Любашу в праздничной воздушной одежде, с цветами. Она была в этот день столько раз то доступнее прежнего, то оторвана от него толпой развязных и танцующих щоголей...

Вырвавшись из освещенной и полной залы в темное и морозное поле с такой же радостью, с какой, бывало, выходил он в Москве из вонючего склада трупов в маленький

казенный садик, покрытый инеем, Руднев почти возненавидел Милькеева за его соблазняющее влияние. К тому же все, что̀ он слышал в дальней комнате от Милькеева и предводителя, так кровно шевелило его, так сильно подрывало многое, во что он верил прежде. Одно уж то потрясало его, что демократия, как демократия, для них обоих ничего не значила: для одного она была только вечным орудием жизни и брожения, другой любил ее только тогда, когда она — архив народной старины, и сам говорил не раз и прежде, что демократия Соединенных Штатов «выеденного яйца не стоит»; ибо у нее нет и не будет загадочных, темных преданий...

Как примирить все это?!

V

Заметив, что Милькеев танцовал мазурку с Любашей и был очень оживлен, а Руднев за обедом сидел около нее и тоже был оживлен, Полина Протопопова стала думать об обоих молодых людях и, сравнивая их между собою, казалось, решала, который лучше годится в мужья Любаше. Милькеев, конечно, виднее, смелее и развязнее; дай ему состояние, так он был бы вполне светский человек; Руднев застенчив, не дворянин, но зато имеет верные доходы, ремесло и гораздо, кажется, добрее и солиднее. Она передала свои мысли мужу, когда осталась с ним наедине. Но в муже проснулась на минуту родственная гордость.

— Ну вот, какие же это женихи для Любаши! Милькеев, конечно, молодец и в компании славный малый. Я сам люблю слушать, когда он спорит или рассказывает. Да что ж... ветреный и пустой человек. В двадцать шесть лет с своими способностями, связями и образованием никакой карьеры не сделал... Домашний учитель! Это смех! А тот не дворянин и бедный лекаришка, хоть и солидный человек.

— Я сама нахожу, что Руднев надежнее Милькеева и вообще, как жених, лучше; а что он небогат теперь, так

это ничего не значит: ему всего двадцать четыре года; после дяди у него будет деревня; практика будет со временем большая. А что он не дворянин, кто ныньче на это смотрит! Нет, я бы желала его сблизить с Любашей.

— Да это, впрочем, твое дело, — отвечал муж, — мне, право, все равно. У нее есть отец, бабушка, тетка... А о брате едва ли стоит тревожиться... он, кажется, вовсе не сильно влюблен в нее...

На утро после бала Полина с Любашей поехали вместе к князю Самбикину, чтобы помочь ему по хозяйству. Они вместе расставляли букеты в вазы для украшения стола, и Полина сказала Любаше:

— А что, Любаша, замуж не пора тебе? как ты думаешь?

— Отчего ж! — отвечала, смеясь, Любаша. — Всем замуж надо! Одна тетенька Анна Михайловна не вышла. Только я знаю, что не придется мне выйти за человека, который мне нравится...

— Отчего?

— Приданого нет. Даст бабушка или нет, это ее воля... По ее вкусу жених — даст, не по ее — не даст!..

— Бедной еще лучше выходит замуж, — сказала Полина, — знаешь, по крайней мере, что берут тебя, а не деньги...

— Это правда, — отвечала Любаша, — да если за бедного же выйти, каяться после? — Я хочу веселиться, а тогда что̀ я буду делать?

— А богатый разве не найдется? — спросила Полина, — вот брату, кажется, ты нравишься...

Любаша покраснела.

— Может быть, я ему и нравлюсь. Да ведь он без спросу княгини не женится. А княгиня разве на такую невесту для него рассчитывает?

— Маменька сама не знает, чего хочет. Брату бы вовсе не надо жениться. Его всякая жена за нос будет водить. Еще тебя, Люба, мы знаем; ты добра... А другая — избави Боже! Впрочем, брат — такая флегма, что

из этого никогда ничего не выйдет. Он будет рассчитывать; а у маменьки на одной неделе семь пятниц! А что̀ ты думаешь о Милькееве?

— О Милькееве? Ничего еще не думала. Говорят, он очень умный... Я не знаю.

— А Руднев?

— Руднева я люблю. Такой он добрый и милый... И уморительный какой. Лихачов рассказывал мне, что̀ он сделал раз от стыда в Троицком. Он Nelly боится, потому что по-французски не знает. Дети ее подговорили, чтобы 10 она сама пригласила его танцовать; он хотел от нее в двери — дети не пустили; все кричат. У них в зале есть гимнастика — он на веревки влез и качается наверху. Однако сошел танцовать, все внизу стояли и звали его по-французски.

— Да! он уж слишком застенчив, — заметила Полина. — Это пройдет. Я уверена, что он будет со временем отлично жить...

Через полчаса Полина, увидавши, что мать ее, разодетая, выходила из сыновнего кабинета с раскрасневшимся 20 лицом и кричала что-то, спросила у нее:

— Что̀ с вами, maman?

— Опять Афроська, ma chère amie, зазналась!.. Расфуфырилась, как червонная краля, и сидит в передней с лакеями кокетничает, вместо того, чтобы помочь Наталье меня одеть. Как можно — возлюбленная князя Александра Васильевича! А этот слабый, слабый человек! Никем не в состоянии управлять! Вот тебе рука моя, что он женится на ней; я с ума схожу от этой мысли и готова была бы хоть сейчас его с кем-нибудь обвенчать! 30

— Вот уж с этим я не согласна, maman! Бог знает, еще какая жена попадается! Брат так осторожен и расчетлив, что никогда не решится жениться на Афросинье. Да и разве он так сильно привязан к ней?! Все молодые люди *это* имеют, и с ней нам всегда легко будет справиться и найти ей место; а с женой что̀ сделаешь, если он будет несчастен? Счастливых партий так мало!

— Это правда! — отвечала мать. — Но что̀ ж делать — эта связь меня бесит! Я так люблю его и так всего за него боюсь... Ну, и она не должна зазнаваться...

— Не беспокойтесь, не беспокойтесь, ради Бога, сегодня, maman! Слава Богу, мой вчерашний бал удался и сегодня надо всем быть веселым...

Полина пошла к Афросинье и так пристращала ее, что та сейчас со слезами пришла просить у барыни прощенья, что не догадалась прийти помочь ей одеться. Княгиня успокоилась и сказала себе: «Правда, рано еще ему жениться!» Несколько больших саней тройками и беговых на рысаках и иноходцах подъехали друг за другом к крыльцу. В числе приезжих был и Богоявленский; его привез с собой Сережа по настоятельной просьбе князя. Подали кофе, и князь объявил, что волк уже снесен с горки на открытое поле, и многие из гостей поехали прямо туда, в том числе младший Лихачов и Милькеев.

Волк, огромный и свежий, был принесен в большом ящике, вроде мышеловки с подъемной передней стеной. Все собрались за ящиком; псари держали собак. Александр Лихачов распоряжался садкой.

Милькеев, в новой чорной дубленке и хорошей боярке, помог Любаше выйти из саней, взял ее под руку, повел к ящику и любовался на нее, не думая ни о садке, ни об общественных вопросах.

— А если волк на нас выскочит? — спросила, заманчиво поглядывая на него, Любаша.

— Я не боюсь! — отвечал Милькеев, — он мои сапоги и мою дубленку не скоро прокусит...

— Что мне за дело, что вы не боитесь! Я боюсь, — возразила Любаша. — Зачем вы пистолета не взяли с собой?

— Я боялся быть похожим на Чичикова, который в дорогу возил с собой саблю для внушения страха кому следует.

— Кто это такое Чичиков? Не здешний? — спросила Любаша.

— Отчасти и здешний. У Чичиковых родство большое. А Гоголя вы знаете?

— Гоголь полицмейстером, кажется, в Петербурге был. Одна моя знакомая вышла за его дальнего родственника. Ах! смотрите, смотрите! Ящик открыли. Выскочит сейчас, выскочит!.. — закричала она без испуга и взяла Милькеева за руку.

Это движение так понравилось. Милькееву, что он желал бы в эту минуту иметь оружие и пять волков перед собой, чтобы защищать ее. 10

Смущенный волк выбежал из ящика, оглянулся на толпу и собак, которые рвались со свор, и пустился по полю вдаль. Когда, выждав немного, спустили собак, все ринулись за ними кучей и с криками — дамы, мужики, охотники, мальчишки...

Милькеев не бежал: ему хотелось побыть подольше с Любашей; взяв ее под руку, он шел за другими большими шагами, и Любаша насилу поспевала за ним.

Толпа остановилась, и раздались новые крики. Протеснившись вперед, Любаша и Милькеев увидали окровавленный снег и волка, который боролся с собаками. Весь зад был оборван, и кожа висела клочьями... 20

— Какая жалость! — воскликнула Любаша, — зачем это так много собак напустили! Посмотрите-ка, кто стоит перед нами, по ту сторону! — прибавила она, указывая вперед.

Перед ними стоял в теплой шинели и старой шапке Богоявленский; он криво усмехнулся, заметив движение Любаши, и спросил у Сережи:

— Это кто ж этот лихач-кудрявич с твоей сестрой? Уж не Милькеев ли? 30

— Он, — отвечал Сережа.

— Красивый зверь! — сказал Богоявленский. — Да полно тебе Сергей, улюлюкать... Помещичья кровь взыграла. Глядя на этого волка, я подумал, знаешь что? Что серый, злой, израненный волк — это я. А псы...

В эту минуту псарь Лихачова хотел подойти с кинжалом, чтобы сесть на волка и заколоть его; но волк рванул-

ся, хватил за нос одного борзого, щолкнул зубами и кинулся назад в ту сторону, где стояли Богоявленский и Сережа.

Все расступились; но Богоявленский не шевельнулся, а только махнул рукой на волка, надеясь его испугать... Один миг — и волк схватил его за руку...

Закричали все, бросились... Богоявленский со злобой бил волка по голове свободным кулаком. Лихачов вынул пистолет и размозжил зверю череп.

Окружили семинариста, приложили снег на окровавленную руку; Любаша перевязала ее надушенным платком своим и сказала ему с улыбкой:

— Вы, однако, не очень испугались!

— Рука не голова-с, Любовь Максимовна! — отвечал семинарист, — да и голову-то разве уж стоит так жалеть? Зубы — вот досадно — у него большие... Больно укусил, проклятый!

— Какой энергичный хам! — шепнул Лихачов Милькееву. — Говорят — радикал в своем роде. Жаль только, что наружностью похож на озябшего дождевого червя...

— Пойду познакомлюсь с ним, — сказал Милькеев. — Я его в первый раз вижу.

Он догнал Сережу; заговорил сперва с ним, а потом с раненым радикалом и спросил у него — отчего он не был вчера у Протопоповых?

— Фрака нет! — отвечал Богоявленский. — Сшить фрака не на что. Да и сюда-то я уж так... по неотступной просьбе Самбикина приплелся. Не следовало бы...

— Отчего?

— Вот Сергей знает... Маменька ихняя, княгиня Самбикина, очень знатны, брезгливы... С полгода тому назад в Чемоданове у них за обедом кричала-кричала на семинаристов и на всех простых людей. Даже героические кости Дениса Давыдова в гробу шевелила: «мошки да букашки, говорит, полезли из щелей...» У меня тогда, от неопытности, голова разболелась; из-за стола вышел. Ну, а князь зовет; клянется, что надо простить старушке отсталость...

Обидите, говорит, меня. Человек сладкий; на что ж его обижать!

— Конечно, нарочно бы надо приехать. Кто ж смотрит на эту бедную княгиню? Я даже и лица ее до сих пор не разглядел, — отвечал Милькеев.

Они пошли пешком до дому и всю дорогу разговаривали: Милькеев — интересуясь идеями Богоявленского, как проявлением лица, а Богоявленский — насильственно примирясь с молодцоватыми и театральными формами Милькеева, за те идеи, которых он ожидал от человека, пославшего, как он слышал, в Москву статью в пользу эманципации женщин.

— Что̀ ты в нем открыл? — спрашивал после младший Лихачов у Милькеева.

— Я вспомнил Хавронью Крылова, — отвечал Милькеев, — которая кроме грязи ничего не нашла на барском дворе. Но с другой стороны, думаю, что никто лучше этих людей не сумеет разрыть этот двор так, чтобы на нем выросло что-нибудь роскошное, чего они и сами не ожидают. Только прошу, не передавай моих слов никому; я хочу сохранить с ним хорошие сношения.

VI

С волчьей садки все вернулись бодрые и голодные. На большом столе покоем, рядом с вазами, полными цветов, уже стояли груды ростбифа и котлет; люди разносили в чашках бульон. Поели и выпили. Заиграла музыка; Милькеев стал танцовать с Любашей.

— Вашего поклонника нет, — сказал он ей.

— Кого, Руднева? — спросила она, оглядываясь вокруг.

— Отчего вы не боитесь так прямо говорить? Немногие девушки так откровенны; мне это нравится.

— Зачем я буду скрывать, когда я не чувствую ничего особенного? — отвечала Любаша. — Если бы я была

влюблена в него или в другого, я бы, может быть, стыдилась... Да и то нет — я думаю...

— А в вас никто не влюблен?

— Нет, я вам скажу правду: я нравлюсь одному человеку, и он мне... Только из этого ничего не выйдет — он здесь.

Милькеев вздрогнул, но пересилил это внезапное движение и продолжал:

— Нельзя ли указать? Хороший случай доказать вашу откровенность.

— Поищите, угадайте сами... Я вам скажу, если угадаете...

— Лихачов?

— Нет! Отчего он первый вам пришел в голову?

— Оттого, что по-моему он лучше всех: красив, ловок, умен, молодец...

— Тоже и у него есть большие недостатки... Манеры слишком гордые, потом язык злой — я этого не люблю, и еще один недостаток...

— Какой это?

— Вы сами знаете... Он пьет часто и даже с крестьянами...

— Это-то и хорошо. Жаль, что вы не цените его! Да об нем мы поговорим после... Кто же еще? Этот улан, который так хорошо все танцы танцует?

— Ну, вот! Я его всего второй раз вижу...

— Разве сразу нельзя влюбиться? Поверьте мне, что можно...

— Не знаю; только не он.

— Этот молодой человек с красивым носом, который давича долго говорил с вами?..

— Он мне двоюродный брат; я за него замуж не могу...

— Разве нельзя влюбиться в того, за кого замуж нельзя? — с удивлением и любопытством спросил Милькеев.

— Зачем же, из чего я буду хлопотать? Вы не знаете Вареньку Шемахаеву — сестру Павлуши, вот что Сарда-

напал... Его сестра Варенька два года как влюблена в Лихачова... А он не хочет жениться... Она плачет; сюда не приехала нарочно, чтобы не встретить его. Разве это приятно? Посудите сами...

— Вы очень положительны, я вижу, — продолжал Милькеев. — Кто же? Жаль, что я многих здесь не знаю...

— Нет, вы его знаете.

Милькеев думал и осматривал всех.

В эту минуту князь Самбикин закричал, глядя на Любашу: «Les dames en avant!» 10

Любаша улыбнулась ему.

— Уж, конечно, не Самбикин! — сказал Милькеев.

— Отчего не он? — спросила Любаша.

— Лицо, положим, красивое, — отвечал Милькеев, — но вялое такое. Глуп; как будто добрый; а я из верных рук знаю, что мать скажет: «бей людей» — он бьет; мать скажет: «секи!» — он сечет.

— Он очень любит мать, — возразила Любаша. — Если бы не он, княгиня теперь нужду бы терпела, а он ее дела поправил. 20

— А вы думали когда-нибудь, какими средствами он это сделал? Ведь здесь, где мы с вами танцуем — каждый ореховый стул, каждая чашка чаю украдены у полумертвых на Кавказе и в Крыму.

— Богоявленский то же говорил мне, — отвечала Любаша. — И я после спросила раз у князя, что̀ он делал в комиссии; он покраснел и говорит: «конечно, говорит, были выгоды, только я, говорит, добр и никого никогда не обижал. А возьму, например, половину капусты себе; если давать щи, как казна отпускает, так уж будет очень 30 густо!..» Он хочет, как только устроит все — на бедных пожертвовать тысячу рублей, чтобы совсем совесть была покойна.

— Grand rond! — закричал князь.

— Какая скотина! — сказал Милькеев.

— Что̀ с вами? Что вы так просто бранитесь? — с удивлением спросила Любаша.

— Да разве только для того, чтобы не вредить, не надо было трогать эту капусту? — спросил Милькеев. — Не надо бы к ней прикасаться, чтоб самому не быть грязным. Есть своего рода душевное comme il faut, которое этого требует. Не всякий вред грязен, и не всякое добродушие чисто!

— Очень жалко, очень жалко! — прибавил он, возвращаясь на место.

— Что̀ жалко? — спросила Любаша.

— На вас смотреть жалко... Много хорошего вам судьба дала; а еще было бы лучше, если бы семена добрые посеять... Лицо у вас красивое...

— Говорят, у меня нос слишком горбат, — заметила Любаша, проводя рукой по носу.

— Да! вот и это невинное кокетство кстати! — продолжал Милькеев. — Только видите ли что... Можно все вам говорить?

— Можно!

— Если бы вы убежали с Лихачовым или с Рудневым и никогда бы не вышли замуж, так можно бы вас было, пожалуй, еще уважать. А будьте вы самой доброй женой такой дряни, как этот князь, вы этим самым замараетесь и унизитесь... Женщин не только за то следует уважать или презирать, что̀ они делают, но и за то, *с кем* они что̀ делают. Подумайте дома; пошевелите у себя на сердце, и вы меня поймете. А главное, вам надо познакомиться с Новосильской, ездить к нам в Троицкое и, поверьте, через месяц вы будете думать так, как я вам теперь говорю!

Любаша отвечала, что она сама бы очень желала бывать в Троицком, но не знает, как это сделать, и Милькеев обещал употребить все усилия, чтобы сблизить ее с графиней.

К вечеру все разъехались. Милькеев всю дорогу при Nelly говорил, что Любаша — прелесть; и Nelly много смеялась, когда Милькеев рассказывал, как он уничтожал и позорил хозяина, у которого они так много ели и веселились. Баумгартен почти не слушал его: он был

покойнее обыкновенного; Nelly выбрала его при всех раза три в мазурке, и теперь он обдумывал стихи на первый выезд ее в свет. Пока ему нравился только припев, которым кончались все куплеты:

Oh! ma Sylphide,
Veux-tu un quide?
Me voici!

VII

После обеда у камина Катерина Николаевна села вдвоем с Nelly. Милькеева не было дома: он уехал в первый раз к родным Любаши. Дети играли в зале под присмотром француза.

— Что, отдохнули вы от бала? — спросила Катерина Николаевна.

— О, да, — отвечала Nelly.

— От души танцовали и много?

— Много!

— Я у вас еще мало расспрашивала. С кем вы танцовали первую кадриль?

— Ах! с m-r Bongars, — отвечала, смеясь, Nelly.

— Для этого не стоило ездить, — сказала Катерина Николаевна, — по крайней мере, другой раз были счастливее?

— Вторую танцовал со мною m-r Лихачов и один lancier и мазурку, и вальсировал со мною много.

Катерина Николаевна пристально глядела на тихую девушку, сгорая желанием узнать, что̀ она думает и чувствует.

— И весело было? — спросила опять она.

— О, да, очень весело! — спокойно отвечала Nelly.

— Оживились вы немного?

— Не знаю! Самой этого видеть нельзя никак. Не думаю, впрочем. M-r Лихачов смеялся даже надо мной и сказал, что танцовало только тело мое, а не душа.

Катерина Николаевна рассеянно улыбнулась и переспросила.

— А мазурку, вы говорите, танцовали с меньшим Лихачовым?.. А гросфатер был?

— Был, я его танцовала с князем Самбикиным. Это очень забавная вещь — этот гросфатер. Я его нигде, кроме России, не видала.

— О, так у вас все хорошие кавалеры были! А если я у вас спрошу, Nelly, откровенно одну вещь, вы скажете?

— Если могу — с удовольствием.

— Скажете? Ведь ваша мать просила меня быть с вами как с дочерью... Это, конечно, ничего не значит... Самую снисходительную мать редко дочь выберет в подруги. Но вы ведь мне не дочь и тем лучше, все-таки я вам желаю всего лучшего от души... Скажете правду?

Nelly поблагодарила и обещала сказать правду.

— Кто вам больше нравится — Лихачов или Милькеев?

Nelly покраснела и пожала плечами.

— И тот и другой, и ни тот ни другой, — отвечала она, подумав.

— Как так? Это интересно. Скажите обстоятельнее, как это?

— Я не люблю брюнетов, — сказала Nelly.

— Значит, наружность Лихачова для вас лучше.

— О, да! он лучше.

— Еще чем он лучше? Если бы вы только могли знать, какое вы наслаждение доставляете, когда говорите; говорите больше!..

— Неужели? — спросила Nelly с удивлением и отвечала, — если вас это занимает, я постараюсь вам сказать побольше. Лихачов танцует гораздо лучше; Милькеев уж слишком высок, с ним неловко.

Nelly приостановилась, но Катерина Николаевна с беспокойством взглянула на нее, и Nelly продолжала:

— Теперь что̀ следует — ум? Я гораздо больше серьезных вещей слышала от Милькеева, но мне кажется все-

гда, что если бы m-r Лихачов не был так ленив, он мог бы столько же говорить хорошего, сколько и тот...

— Знаете, я сама это думаю! И остроумны они оба, только на разный манер... Ах! как я рада, что вы согласны!.. Еще что̀?

— Еще что̀? — продолжала Nelly. — Лихачов, мне кажется, надежнее Милькеева, — (но заметив, что по лицу Катерины Николаевны пробежало что-то), прибавила с поспешностью, — я думаю, что Милькеев способен быть твердым во всем благородном, во всем добром; но как это сказать, не знаю, ему, кажется, так скоро все может надоесть... Il a, je pense, la tournure d'esprit plutôt allemande, mais le caractére un peu français... C'est tout le contraire de l'autre, qui a l'esprit plus léger, mais le caractére plus solide...

— Это великолепно! что̀ вы сказали сейчас, — с удивлением воскликнула Новосильская. — Какая это правда! Ах, какая это правда!

После этих слов Новосильская задумалась так, что забыла о присутствии Nelly. Nelly молча поправляла щипцами дрова. Наконец Катерина Николаевна пришла в себя и спросила:

— Ну, скажите... а если бы, положим, необходимость заставила бы вас выбирать из них двоих для себя, кого бы взяли? Вы мне простите этот вопрос...

— Кого бы я взяла? Я никогда не думала об этом, — отвечала Nelly, краснея.

— Это искренно?

— Как же мне думать об этом... Я не русская; мне никогда в голову не приходило прожить всю жизнь в России... хотя я русских очень люблю.

— А если бы пришлось вам выбирать непременно?

— Если бы это случилось, я бы желала смешать их вместе, — отвечала Nelly, — волосы и черты Лихачова, его постоянство, его спокойные манеры, а у Милькеева взять глаза, его познания, его веселость и предприимчивый нрав... С Лихачовым таким, какой он теперь, мы бы заснули.

— Вы думаете? — сказала Катерина Николаевна, продолжая подозревать, что Nelly не договорила до конца правду.

Больше ничего она не стала добиваться, несмотря на все муки любопытства, надеясь, что постепенно скорее узнает все, и полагая, что первый шаг уже сделан.

«И тот и другой; ни тот ни другой». И это на первый раз хорошо. Все-таки оба ей *нравятся!*»

Катерина Николаевна, оставшись одна, долго думала, помогать ли Милькееву, пригласить ли Любашу или нет?

Он так хвалил ее на разные лады, что Новосильской самой захотелось познакомиться с такой милой девушкой.

— Она не идеальна, — говорил Милькеев, — это чисто русская красотка, из веселых... Когда я думаю, что в старину жила точно такая же Любаша русая и белая, румяная, сытая и рослая, стройная белоручка — так я вовсе не воображаю ее себе в тереме, вечером, у окна, задумчивою при лунном свете, как Светлану, а представляю ее себе в роще с кузовком за ягодами или с плетушкой за грибами: хочу, чтобы она непременно покрылась платочком, чтобы черемуха и калина цвели в роще и чтобы ветер играл ее платочком; чтобы она смеялась и любя, смеялась и хозяйничая, пела и смеялась. Крылов назвал ямочки на щеках красавицы «умильными». У Любаши все лицо умильно. И что за коса! И как она танцует хорошо! И как проста в движениях и словах! И как мне нравится, что у нас в России, рядом с правильным воспитанием, существует неправильное. Она читала иных новых авторов наших, а не знает, кто такой Гоголь! Надо постараться, чтобы она перепрыгнула прямо из природного добродушия в прочное сознание добра.

Полагая, что намерения его непорочны, Катерина Николаевна решилась помогать ему. Но как сделать это поприличнее? Она так давно жила в отдалении от всех соседей и кроме Лихачовых и старого Руднева ни с кем почти не видалась. Поехать прямо к бабушке не хотелось: женщина эта была известна по всему околодку своей жестокостью, и самый ум ее имел неприятный оттенок хитрости

и злости. Анна Михайловна тоже не могла нравиться Новосильской. И если бы еще не было детей!.. Но вводить часто в свое семейное святилище людей, которых присутствие было бы пятном на троицкой жизни, ей казалось даже непозволительным. Протопопова сделала ей когда-то визит, и она его не отдала ей. Протопопова, которой муж был шесть лет губернским предводителем, которая всегда первая на губернских балах, во время проезда царской фамилии танцовала польский с государем — теперь без визита с ее стороны не поедет! И зачем допускать к себе ложную светскость! Женщина эта так пуста, так неприятна! Уж лучше тетка Любаши. Эта хоть и недобра, но стара, смешна и здесь от благоговения и благодарности будет безвредна. Она еще раздумывала, как вдруг Баумгартен подвинул ее на решение.

Бедный француз, по-прежнему, часто тосковал; бал развлек было его на один день; но там, несмотря на всю любезность хозяйки, он играл неблистательную роль, не ту, которой он считал себе достойным. Милькеев был по-прежнему не только учтив с ним, но даже внимателен; из всех сил принуждал себя быть гуманным и выслушивал по целым часам его жалобы на Nelly и его рассказы о прекрасной жизни в *Celestà*, но не мог никак угодить ему. Милькеев иногда нарочно отдалялся от Nelly, чтобы доставить ему удовольствие, но и здесь Баумгартен ловил его: «Ah! je le prends! — говорил он ей, — он нарочно удаляется от вас, чтобы заставить себя сильнее полюбить».

Nelly выходила из себя, просила его оставить ее только в покое... «Grâce! Grâce! — говорила она, — покоя, только покоя!»

— Это ваш квиетизм! — твердил Баумгартен, преследуя ее по зале со скрипкой в руках, — правила общежития важнее вашего покоя. Если у вас нет любви, будьте, по крайней мере, вежливы, сострадательны.

Всплеснув руками в отчаянии, Nelly уходила к себе, а Баумгартен бросал детей, бежал в свою комнату и плакал на кровати.

Не раз уже жаловались тот и другой Новосильской, не раз уже она мирила их, убеждала его быть благоразумным, а ее терпеливее; просила их, наконец, не нарушать покоя в ее доме, для нее, которая дорожит ими обоими; но, наконец, принуждена была сделать строгий выговор Баумгартену и сказать ему, что этим он ни до чего не достигнет, а только все больше вооружит ее против себя.

Француз с горечью объявил, что или ее, или его не будет в доме.

— Я ее не отпущу от себя, — холодно возразила Новосильская, и Баумгартен, который не хотел без капитала вернуться в Celestà, испугался и был потише. Но ведь и его было очень жалко, и Катерина Николаевна старалась утешить его, чем могла: приглашала его по целым часам аккомпанировать себе на скрипке, внимательно слушала отрывки из его романа: «L'apparence trompe», поправляла ему этнографические ошибки (например, по всей России нет menetrier du village и потому мужики на постоялом дворе не могли спорить, кто лучше играет на скрипке, он или le menetrier du village)... кормила его почти каждый день яичницей, подарила ему голландского полотна на двадцать четыре рубашки. И он принимал все это с благодарностью, с радостью, казалось, забывал на миг о Nelly и говорил только, что хорошо бы отдалить от нее Милькеева avec son *Эжель* et son égotisme, я не смею сказать «эгоизм»!

— Теперь, — говорил он, — у меня к ней только дружба, она упала в моих глазах; я только жалею ее, как одинокую и неопытную девушку...

Но Катерина Николаевна не могла положиться на это; в октябре и ноябре он делал предложение и получил отказ; в декабре помирился на дружбе; в феврале уже опять начинал слабеть и писал к отцу Nelly; в марте получил и от него отказ за то, что он католик; опять влюблялся до того, что рыдал и не спал ночей. Положение его было тем более трудно, что нельзя было заставить Nelly быть добрей к нему, потому что Баумгартен, при малейшей любезности с

ее стороны, начинал очень свободно обращаться с ней: при всех хлопал ее по плечу, а наедине брал ее за руку и говорил, протягивая к ней бороду: «allons-donc — будем счастливы!»

И вот... не успела Nelly уйти в свою комнату, как Баумгартен вошел в кабинет, сел против Катерины Николаевны и, краснея, достал из кармана исписанную бумагу.

Новосильская пришла в отчаяние.

— Это, верно, новая глава из вашего романа? — спросила она любезно. 10

— О, нет! — лукаво отвечал француз, — это кой-что новое. Я докажу вам, как вы ошибались, утверждая, что *она* равнодушна к Милькееву. Руководствуясь правилами нашего *Эготиста*, который утверждает, что цель оправдывает средства, я решился тайно списать произведение молодой и влюбленной души. Прочтите!

Катерина Николаевна с беспокойством и удивлением прочла:

«Шел путник по узкой горной тропинке и увидал розовое облако над синими лесами, которые покрывали вершины. Он поднялся с трудом к прекрасному облаку и увидал — один туман. Он отдохнул на минуту в прохладе, любуясь сверху на пройденную дорогу. — „Облака нет!..." — грустно сказал он, спускаясь по другому склону. Но путник ошибался! Облако было там; он не узнал его, когда был близко и, отдалившись опять, он обернулся и с радостью увидал, что на покинутом месте стоит опять то же облако, розовое... стоит там же, над синими лесами, лишь немного и не скоро меняя свой вид! 20

Не говори же мне никогда, милый друг мой, что идеала нет! Он есть, но вблизи ты не умеешь его узнавать!.. 30

О, жизнь! жизнь! Все проходит, все меняется!.. Недавно ветка под моим окном висела зеленая и полная жизни, а теперь она покрыта снегом... Но жизнь в ней спит до весны. Осенью закрыли фонтан, но он не уснет навсегда. Придет весна — опять мы все пойдем в сад и будем слушать его. И ветка, и фонтан — и все будет то

же, но я? Я буду ли все то же? И *все* ли мы пойдем вместе в сад?

Никогда Милькеев не был так близок мне, как пять или шесть дней тому назад, и вместе с тем я убедилась, как он далек от меня!.. Я спросила у него: „Зачем Child-Harold бежал от своей родины? Неужели никто не был достоин его? Или он был недостоин других!" — „Нет, — сказал он, — ни то ни другое. Разве бегут только от дурного? На родине Child-Harold'а было так много доброго, почтенного, честного... Но ему хотелось бури, борьбы и страстных наслаждений! И общество не было так дурно, как иные думают, стараясь оправдать Байрона, и Байрон не был извергом... Он хотел нового, нового и нового!.."

Я сказала ему, чтобы он приехал к нам, если судьба занесет его в нашу сторону, что дом моей матери — его дом.

Он покраснел и сказал: „Хорошо иметь друзей!"».

— Eh bien? Что̀ вы теперь скажете? — воскликнул француз, когда Новосильская прочла. — Это разве не страсть? И разве вы не рискуете перед Богом и людьми за честь и счастье этой девушки?

— Во всяком случае, — отвечала с притворной строгостью Катерина Николаевна, — я не нахожу похвальным, что вы позволили себе унести это с ее стола и списать... Я вас не узнаю! Это можно извинить только вашим увлечением...

— Мое увлечение! Oh, madame! Мое увлечение! Мое увлечение наводит на всех скуку — я это вижу... Но это — увлечение дружбы и сострадания... Честь и счастье этой девушки, которая приехала сюда издалека, подобно мне, для меня дороже моего спокойствия. И ее страсть, которой вы видите образчики, меня пугает!

— Я не знаю, страсть ли это, — сказала Новосильская в раздумье. — Конечно, она ничем почти не занята у нас. Это пока еще только тоска по идеалу, которого она ищет. Она всегда как будто сонная и тихая, но воображение у нее раздражено... Она любит уходить одна или с

Машей в лес... С восторгом говорит, что над тем пустым оврагом за лесом всегда кричат вóроны. Я слушала раз нечаянно сказки, которые она рассказывает детям. Всегда пустые зáмки на горах, старушки у камина... Все это опасно... я не спорю. Но теперь уже нечего бояться: Милькеев решился ухаживать за Любашей. Что ж, быть может, она составит его счастье; он останется здесь, и вы будете покойны...

— О, не верьте, не верьте ему! — отвечал Баумгартен. — Это — уловка... Любаша будет только щитом, из-за которого ему ловчее пускать стрелы в Nelly!

— Все-таки надо попробовать... Я теперь все придумываю, как бы получше устроить все это... Успокоить вас, отвлечь Милькеева от Nelly, ее развлечь, детей повеселить... Надо ехать с визитами... Знакомиться... Чем оправдаться... что до сих пор десять лет не ездила, и вдруг...

— Oh! qu'à cela ne tienne! — воскликнул Баумгартен, — дайте мне три-четыре дня, и я вам приготовлю комедию в трех действиях; она будет применена к актерам... Она уже давно у меня зреет... M-lle Эмé не может, конечно, поддержать дельный разговор на французском языке; но она произносит порядочно. Я ей приготовлю простую роль!..

И точно, дня через три-четыре, француз принес тетрадь и прочел:

La faiblesse de la force
ou
La force de la faiblesse.

Милькеев был разбит вдребезги в лице блестящего и ничтожного парижанина; сам ami Joseph выведен был в виде простого и честного земледельца. Особенно одно место живо напоминало Милькеева.

Фаншоннета (предмет спора и ревности) спрашивает у парижанина: «Вы все говорите: *поэзия*; чтò такое *поэзия?*»

«Поэзия? — отвечает парижанин, — это нечто невыразимое; это — игра радуги... Это — божественная искра, которая уносит нас вверх, уносит, увлекает, пленяет... и, облекая все душистым туманом, заставляет забыть печальную действительность!»

Читая это ami Bonguars лукаво улыбался Новосильской, и Новосильская от души похвалила пьесу, которая, в самом деле, вышла довольно жива и местами забавна.

VIII

10 Во всей окрестности не было тройки лучше лихачовской; и на этой тройке Александр Николаевич вез теперь, по морозу и сумеркам, Милькеева к Любаше.

Въезжая, проездом, в деревню, где уже зажигались вечерние огни, Лихачов спросил своего спутника:

— Любишь ты эту картину?

— Люблю; но больно, что уже не чувствуется того, что̀ чувствовалось прежде. Понимаю больше, а чувствую слабее.

— Я не знаю, отчего это у тебя, а я, напротив, нахожу,
20 что многое я стал чувствовать сильнее с годами, — отвечал Лихачов. — Попробуй-ка объяснить это мне.

— Попробую. Не оттого ли, что с утончением сознания крепнет в нас и то, что̀ от природы было слабо. У тебя воображение не сильно, но с годами и оно проснулось.

— Недурно! — сказал Лихачов, — а отчего ты меньше чувствуешь теперь?

— Про меня скажи ты! — возразил Милькеев.

— Профершпилился прежде, — отвечал Лихачов. — Воображение играло на эту тэму, не спросясь у сознания;
30 устало и требует нового.

— А где бы это новое достать — вот задача? — спросил Милькеев.

— Любашу достань — Эме́, как говорит Анна Михайловна.

— Что̀ это, повелительное наклонение или имя собственное?

— Никак это ami Bonguars со мной едет! — воскликнул Лихачов. — К чему эта грамматическая соль? Однако, Федор, ты намерен, кажется вроде обоза тащиться...

— На горку вздохнуть, — отвечал кучер.

— Чисто что на горку! Ну-ка! тронь, как следует! Разве ты не видишь, с нами троицкий учитель едет.

— Перестань браниться, — сказал Милькеев, когда лошади понеслись во весь опор. — Скоро приедем, и я не успею спросить у тебя кое-что. Скажи-ка, кого ты находишь лучше: Nelly или Любашу?

— Правого-то мошенника подзадорь, — сказал Лихачов кучеру. — Коренной весь в мыле... Что̀ ты, душа моя, сказал?

— Которая тебе больше нравится, я спрашиваю: Nelly или Любаша?

— Чем?

— Да всем.

— Всем? Всем — ни та ни другая не нравятся особенно. По бульвару пройтись, мазурку протанцовать или в кавалькаде проехать — Любаша лучше, эффектнее; а для домашнего обихода та — я думаю, посущественнее будет.

— В моральном или физическом смысле?

— И в моральном и физическом. Любашу приятно показать другим, а питаться той, я думаю, и здоровее и вкуснее. Кстати, я тебе скажу, какой мне прежде вздор приходил в голову; все казалось, что свежи могут быть только русские, а иностранки все будто только притворяются свежими... Ведь это страшный вздор, а я так думал или даже скорее чувствовал так... Но теперь, если оставить в стороне все общественные условия и т. п., а взглянуть единственно с точки зрения какого-нибудь паши, так я бы не без удовольствия бросил платок этой скромнице... Коса такая чорная, длинная, и синие глаза — очень недурна... И если бы потоньше нос...

— Ну, нет, я с этим несогласен... я бы бросил платок Любаше... Впрочем, в этом есть неодолимое химическое сродство... — отвечал Милькеев.

— Опять с точки зрения этого химического сродства, — продолжал Лихачов, — обе они перед Полиной никуда не годятся; вот так женщина! ни сучка, ни задоринки нигде нет! Я думаю, Катерина Николавна в молодости была гораздо хуже, грубее... Но горе-то в том, что с Полиной ничего сделать нельзя: она так осторожна, кокетства сколько угодно, а дела ни на шаг... Я пробовал еще на выборах с нею заняться... Нет, шалишь!.. Летом сама предложит идти в лес, обрадуешься, — а она вдруг ребенка возьмет или горничную кликнет... Чтобы никто и думать не смел... Наконец, она сказала мне раз, чтобы я не ждал ничего, что она меня бы всем предпочла, если бы хотела выбирать, но хочет быть верной своему верзиле!..

— Ты уж слишком гонишься за мелкими и правильными чертами, — возразил Милькеев, — а Руднев говорит, что в физиогномии от идеала до пошлости один шаг; есть психичность при правильных чертах — Аполлон и Венера; нет психичности — пустота и скука, Воробьев или твоя Полина. Жаль, что у Воробьева круглый нос, он бы как раз ей в симметрию годился! Оттого-то ты, заметь, и сам о *ней* выражаешься так, как не позволишь себе выразиться о Катерине Николавне или Nelly — она ничтожна. Это наблюдение Руднева очень верно, и я еще его поддел тот раз на это, сказав ему, что между социалистическим идеалом, который он полусознательно любит, и правильно организованной пустотой даже и шага нет!.. Руднев ведь ничего, как ты находишь?..

— Да, если верить твоим словам; а у нас с ним еще ничего особенного не клеится...

— Постарайтесь заменить друг другу, друг другом, когда я уеду...

— А разве решено, что ты уедешь?

— Решено; или весной или летом уеду...

— А Эме́? — спросил Лихачов, выходя на чемодановское крыльцо.

— Пока еще не Эме́ в смысле причастия, да и Бог даст, не будет. Я ведь, ты сам говоришь, профершпилился прежде! Ну, да во всем этом есть непреложные законы... Однако почти весь дом в огнях. Что̀ это такое?

— Старуха до сих пор любит жить весело, — отвечал Лихачов.

Они вошли в неопрятную прихожую, где слуга в старом нанковом сюртуке бодро сорвал с них шубы. 10

Хотя в Чемоданове дамы уже носили сетки и кринолины, но от многого еще веяло здесь духом старой помещичьей жизни. Большие дряхлые хоромы, построенные еще тогда, когда имение не делилось между наследниками первого мужа Авдотьи Андреевны; запущенный сад; просторная баня в саду, с передбанниками и полками, куда сама старуха, зимой и летом, ходила почти каждую субботу; качели на запущенном дворе; вокруг ветхий плетень и крапива; где попало кусты сирени и черемухи. Громадная вершина перед двором (прежде тут был отличный пруд; но 20 он ушел, и на поправку его у обедневшей помещицы не было средств). На половине дома тес был ободран; на другой цел и жолтого цвета. За домом, в светлом саду, была видна мрачная еловая аллея; она и зимой чернелась издали. — Горничные, в затрапезных платьях и печатных платках, шили или пряли, распевая, по зимним вечерам в просторной девичьей; конечно, прежде их было больше десяти, а теперь всего три. Люди к столу приходили без перчаток; мальчики босиком вбегали в гостиную; в прихожей на окне валялись щотки с ваксой; наверху, над лест- 30 ницей, навалены были груды перин и сундуков; сама барыня умывалась, сидя на кровати, и потом, не вставая с нее, пила кофе, и в это время ей расчесывали голову пальмовым гребнем. Случалось, что красивая Евгения, горничная самой барыни, выходила с синим пятном на щеке, потому что Авдотья Андреевна иногда «изволили серьезно драться». Комнат в доме было множество; сама Авдотья Ан-

дреевна занимала три; пустая зала была часто заперта; все половицы в ней пели и плясали; все окна были кривы; все стены увешаны портретами: дети Авдотьи Андреевны с голубками, собачками и цветами; первый муж — худой и строгий; второй — молодой и женоподобный; третий — полный и простодушный...

Во всем были видны остатки широкого, покойного, веселого житья; всего было еще много: старой мёбели красного дерева, с бронзовыми львами и грифами, посуды, белья столового; на зиму сушили груши, мочили яблоки, огромные бутыли с наливкой стояли в самой спальне барыни, на окнах: водицу шипучую делали трех сортов: малиновую, яблочную и из чорной смородины; невейку трех сортов: из чорной смородины, из клубники и малины; постилу из клюквы и яблок; розовый лист и мяту обсахаривали в коробках; варили брагу и мед. Одних кошек было шесть у старухи. Все они спали и мурлыкали около ее кресла, на лежанке; все были жирные, пушистые кошки; Авдотья Андреевна сама занималась ими, наблюдала их свойства и говорила: «Ну, что̀ Машка! Машка дура! Глупая кошка. Вот Арапчик мой, так кот! Всем котам кот. На плечо приляжет как нежно, лицо какое доброе; по столу пройдет, ничего не зацепит!»

Взглянуть за сбежавший пруд было страшно: там были видны закопченные избы, кривые, с растрепанными крышами, с волоковыми окошечками. Старуха только в последние лет пять ослабела и присмирела. Своей рукой умела она ободрять ленивых и наказывать непослушных, и не дворовых только — крестьян на работах бивала она, сходя нарочно для этого с одноколки, и самые простые соседи неодобрительно рассказывали, что когда в 30-м году была холера, она, боясь заразы, загнала нескольких заболевших крестьян в баню, поставила им большой чайник с мятой и заперла и заколотила все окна и дверь. Больные выпили всю мяту, вышибли окна и двери; двое из них кинулись к пруду и пили из него до тех пор, пока смерть не застала их на берегу. Рассказывали также, что беременная горнич-

ная от ее побоев выкинула и умерла. Но все это было давно, и что полегче худое случалось теперь — случалось не каждый день и забывалось скоро. Люди были бодры и не грустны, соседи и родные издалека собирались иногда толпою, шумели, ели, опять уезжали, и находила на дом скучная и тихая полоса.

Лихачов и Милькеев попали в бойкий день.

Все были тут: Сарданапал с сестрой; Полина; князь Самбикин и мать его княгиня; Богоявленский, Сережа; муж Полины щоголем, как всегда, ходил по комнате с Максимом Петровичем, который и не думал менять на сюртук свой голубой халат, сшитый из прошлогоднего платья дочери. Сама Авдотья Андреевна царила в своем кресле, и Анна Михайловна тряслась от смеха около нее. Только Любаши не было видно. Все о чем-то спорили, когда молодые люди вошли... Лихачов представил Милькеева старухе, и когда первые крики и приветы, которыми Сарданапал, Сережа, Платон Михайлович и Полина оглушили Лихачова, поутихли, — Максим Петрович продолжал прерванный приездом гостей разговор:

— Как хотите, матушка! — говорил он грустно и жалобно, почесывая себе затылок, — а князь взял с Фомы два рубля... и рои улетели...

— К чему ты это поминаешь, Максим, удивляюсь я... Уши вянут твою ахинею слушать! — с досадой сказала старуха и поспешно обратилась к Лихачову:

— Давно мы вас, Александр Николаич, не видали... Так добрые соседи не делают... Новосильская вас отбила вовсе... Это не по-соседски, милый мой!

Лихачов не успел и слова сказать в свое оправдание, как княгиня Самбикина воскликнула, нетерпеливо вставая с дивана и поправляя складки своего шолкового платья:

— Не у всех, дружок Авдотья Андревна, столько магнита, как у графини! Александр Николаич, может быть, бальзаковских женщин любит... У этого французского писа-

теля (пояснила княгиня для своей старой приятельницы, которая никогда романов не читала) все героини сорокалетние...

— Я очень рад и даже тронут, что мое отсутствие заметно, — с сухой любезностью отвечал Лихачов.

Сарданапал, с чубуком в руке, стал перед ним и, любуясь на него, сказал:

— Найдет, найдет, что̀ сказать... Найдет, что̀ сказать!

Максим Петрович опять вмешался и все с тем же печальным видом:

— Да отчего ж к графине и не ездить гостю. Она — женщина отличная, стол у нее, говорят, хороший, вежливо все... Настоящая графиня. Оно, точно, графство это — заведение у нас не так-то старинное, со времен Питера нашего, не далее. А все-таки...

— Ну, опять стал титулы считать, — перебила Авдотья Андреевна. — Не знаете ли вы еще каких слухов о пресловутой воле, милый Александр Николаич? Ваш брат ближе нас ко всем этим слухам.

— Не слыхал ничего нового, — отвечал Лихачов, — приходил ко мне старик один на днях и спрашивал, правда ли, что с господ будет рекрутчина, как с них; я, чтоб отвязаться от него, сказал ему, что это невозможно, потому что кость моя белая, так меня и не могут в солдаты отдать. Он задумался и ушел.

Все захохотали, даже Максим Петрович развеселился.

Милькеева все это время занимала Анна Михайловна на французском языке.

— La comtesse живет так уединенно; и непонятно, почему она чуждается соседства; конечно, она больна, но однако...

Княгиня Самбикина услыхала и тоже вмешалась.

— Именно, chère amie, однако! Странная болезнь, которая позволяет сорокалетней бабе по сто верст скакать на лошади во весь опор, так что никто поспеть за ней не может, и дети себе шеи ломают... Какая примерная мать!.. Может быть, она с неба звезды хватает, но я такой жизни

и таких странных правил не понимаю... Alexandre, подайка мне папироску! Я, вот видите, и сама курю, — продолжала княгиня, обращаясь к Милькееву, — а все-таки не стану за обедом между каждым блюдом курить и на тарелку перед собой пепел бросать... Не видывала я этого в порядочном обществе! Я, как вы знаете, туда не езжу, но вот это мне сын рассказывал... А я ее терпеть не могу, вашу графиню, milles pardons... Можете передать ей это...

— С удовольствием, — отвечал Милькеев.

Молодой князь весь вспыхнул, подавая матери папироску, которую та гордо закурила; из других кто усмехнулся, кто, как Сарданапал, Максим Петрович и Богоявленский, из угла засмеялись громко.

Милькеев насмешил их нечаянно; он почти ничего не слыхал; для него было непонятно, что он не видит Любаши и желание поскорее «увенчать жизнь» выводило его из себя.

Он наконец спросил у Анны Михайловны:

— А где же ваша племянница? ее нет дома?

— Любаша! Ах! c'est vrai!.. Любаша... И чай уже пора давать! Чай пора... Она это все с доктором...

— С каким доктором? Руднев разве здесь? — с удивлением спросил Милькеев.

— Хи-хи-хи! — отвечала Анна Михайловна, поспешно вставая, — да! она пошла с ним...

Максим Петрович остановился в эту минуту перед ними и сказал сестре:

— Дай же кончить; она пошла говорить ему о своих головных болях, да и засиделась верно... Не тревожься, я сейчас сам за ней схожу...

— Люба, — закричал старик, входя в соседнюю комнату... Тетка по тебе вся изныла. Да и гости тебя спрашивают — троицкий ментор и Саша Лихачов. Разве не слыхала, что приехали...

Любаша вышла из дверей, а за ней и полумертвый от стыда Руднев.

Ни Карус, ни Галль, ни Лафатер, ни совместивший их всех в себе сам Руднев не объяснили бы ему, что̀ значила приветливая улыбка друга, который протягивал ему как будто радостно руку... «Насмешка? Нет, не насмешка! Зачем насмешка, когда он сам все хлопочет, чтобы Руднев жил? Скорей радостное удивление, что он решился наслаждаться. Однако — ведь он сам сюда же намерен направить свои стрелы... Да, наконец, у нее голова ведь болит; чем же он виноват...»

Все это взволновало доктора гораздо больше, чем откровенно плутовской вопрос Лихачова:

— А, и вы тут? Кажется, науку прилагаете к живым организмам? Это — славная вещь!

Однако все обошлось: все на минуту не раз вспыхивавшие страсти приутихли, прежде всего благодаря несомненному такту старой хозяйки, которой беспрестанно приходилось следить и за Максимом Петровичем, и за княгиней, всегда готовыми сразиться, и за Сережей и Богоявленским, которые очень редко так удалялись в угол, как сегодня, и за Сарданапалом, который того и гляди бросит ком грязи во всех или заговорит нарочно по-французски и вместо «mon devoir» скажет «mon besoin». А старуха, хоть сама кроме русского ни на каком языке не говорила, однако понимала, что̀ из этой замены может выйти.

Любаша разливала в столовой чай. Почти все молодые люди сели вокруг стола: Лихачов, Богоявленский, Милькеев, Сарданапал, Сережа и Руднев. Только Полина осталась с старшими, да скромный брат ее, которому мать указала на кресло около себя и сказала:

— Сядь здесь, Alexandre; ты знаешь, мне и чай вкуснее, когда ты около меня!

Alexandre поцаловал руку матери и вяло стал толковать об устройстве вольнонаемного труда с Платоном Михайловичем, который, как дельный и богатый агроном, уже заранее делал очень удачную пробу.

Сестра Сарданапала, стройная брюнетка, лет двадцати четырех, с калмыцкими глазами и уж слишком залихват-

скими манерами, подошла к Сереже и, почти вырывая из-под него стул, сказала:

— Пошел вон! я хочу около Алексея Семеныча сесть... Вы позволяете, Алексей Семеныч?

— Позволяю, Варвара Ильинишна, — отвечал Богоявленский. — Только будет ли из этого соседства прок?

Варвара Ильинишна хотела было оттолкнуть стул, но вдруг переменила намерение и села.

— Не плюй в колодезь, — сказала она.

— Терпеть я не могу, как вы изволите эти пословицы говорить, — сказал Богоявленский, — куда как нейдет!

— Как к корове седло? — спросила калмычка. — Люба! Послабее чай. Я и без того ночей не сплю, все об Алексее Семеныче думаю...

— А вы разве умеете думать хоть о чем-нибудь? — возразил с усмешкой Алексей Семеныч. — Уж не про вас слово *думать*-то выдумано, мне сдается...

— Молодец! — закричал Сарданапал, — валяй ее! Алексей Семеныч! Я тебя полюбил с тех пор, как ты мне Белинского дал читать. Я сплю с тех пор; а то была бессонница, да еще контуженная нога под Карсом разболится ночью... Страх!

— Под коленкой, я слыхал, что болит нога, — через стол закричал Сережа, — а под Карсом не знаю... Где у тебя Карс?..

В ответ на это Сарданапал схватил из корзинки булку и с криком: «же ву тюэре», бросил ее в Сережу.

Сережа схватил другую.

Крик, хохот...

— Хлебом, хлебом, Сережа, грех, — кричит Любаша.

— Грех, грех, — подтверждает Богоявленский.

— Кес-ке-се! Кес-ке-се, Serge? — вбегая, шепчет Анна Михайловна.

— Э! финисе, машер, ожурдюи се комса! А-ле-ву-зан, старушка, — кричал ей во все горло Сарданапал.

— Тужур се-бетиз! Тужур...

— А я думал абажур! — отвратительно острит Сережа.

Милькеев, Лихачов и Руднев, по-видимому, смеялись всему этому, но каждому из них сильно хотелось знать, о чем думают двое других в эту минуту. Милькеев думал:

«Уж не влюбится ли Руднев в Любашу? Надо бы выспросить у него его намерение. Она удивительно мила! И как этот чудак Лихачов на нее, живя тут с детства, не обратил внимания!»

Лихачов думал:

«А ведь и вправду Любашу приятно было бы иметь женой на короткое время... Как даже сутуловатость ее небольшая к ней идет... Но, однако, Бог с ней... Все эти официальные узы — ужасная скука!.. Пусть эти оба молодые философа с ней упражняются... Который-то возьмет верх... И вдруг Милькеев скиксует, а тот скромнец успеет! Это для курьеза было бы недурно!»

Руднев думал совсем иначе, и его улыбка была натянута при взгляде на пошлости Сарданапала и Сережи и перебранку Варвары Ильинишны и атеиста:

«Ее тешит все это, — думал он. — Невзыскательный вкус! Какая привычка к грубой пище! Может ли ей понравиться человек мысли? Если бы ей понравился Милькеев, так это, конечно, будет не за игру его ума, не за благородство, которое дышит в его лице и поступках, вопреки его злым теориям, а разве за рост, дородство и кудри. Впрочем, и то сказать, едва ли она чувственна... На нашем севере, сколько я знаю, женщины чувственны те, которые ленивы в движениях и толстогубы, а она не вертлява, но и не ленива в движениях и уж слишком всегда спокойна и румяна...»

— Налить вам еще чаю, Алексей Семеныч? — спросила Любаша.

— Наливайте, наливайте, — отвечал Богоявленский, — русским барышням один рессурс — хозяйство... Их идеал должен быть кухня и кладовая.

— Это вы что̀ еще вздумали врать? Ныньче уж это оставляют, — говорила Варвара Ильинишна, сбоку взглядывая на него.

— Положим, что не только ныньче, а вообще теперича это оставляют... Да резону нет! Ум как-то им не к лицу... Все невпопад выходит. А сантименты разные еще хуже. Куда уж нам... с деревянными... знаете чем... Сказать только не смею.

— У вас, может быть, деревянное рыло, а не у девиц, — возразила Варвара Ильинишна.

— Так-с, так-с, — говорит Богоявленский, — видно, в самую сердцевину попал, что бранитесь...

Руднев ждал с нетерпением, чтобы Милькеев расправил свои кудри и, подавшись вперед, бросил бы через стол доброе словцо одностороннему жолчевику, но Милькеев, не обращая никакого внимания на пикировку Варвары Ильинишны с Богоявленским, не сводил почти глаз с молодой хозяйки.

Тотчас после чая все попросили Любашу аккомпанировать Варваре Ильинишне, которая отлично пропела, вместе с братом, несколько цыганских песен. После этого Любаша продолжала без приглашений играть соло, очень недурно и не без души; все, полувнимая, разошлись по углам и разговаривали: Богоявленский с Лихачовым, Сережа с Сарданапалом, Руднев с Варварой Ильинишной, или, лучше сказать, она с ним, а Милькеев остался у фортепьяно.

— Хороший предлог эти фортепьяны для того, кто хочет свободно говорить, — попробовал он нарочно посмелее и рассчитывая, что̀ из этого выйдет.

— Разве у нас есть с вами секреты? — спросила Любаша, продолжая играть.

— Я знаю, что нет и не будет, — вывернулся Милькеев, — но под музыку легко играет воображение.

— Зачем?

— Как зачем? Вот странный вопрос! Чтобы играло...

— Так это все, значит, неправда?

— То есть, что̀ неправда?

— То, что̀ вы говорите.

— Я еще, кажется, ничего не сказал такого, чтобы стоило отвечать мне загадками, — сказал Милькеев.

— Я неразвита ведь, все говорят — не умею, может быть, как надо говорить. Василий Владимірыч Руднев советует мне у вас поучиться всему...

— Если вы будете все кружиться так, как сейчас, так какое же я могу иметь на вас влияние. Руднев хвалил вашу откровенность, но я вижу, что он ошибся...

— А если нет, если я с ним откровенна?.. тогда что?

— Тогда что? Ну, мне это очень обидно — больше ничего.

— Совсем не следует обижаться. Руднева я давно уже знаю; папа́ его любит; он его лечил; мы вместе с ним за папа́ ходили... А вы мне совсем чужой. Зачем я вдруг стану с вами откровенна? Варя, а Варя, душка, спой-ка еще раз: «Того мне жаль, люблю другого!» Знаешь! Не ломайся, спой, голубчик мой.

— Не ломаюсь, не ломаюсь! — отвечала Варвара Ильинишна, подошла и запела.

Все умолкли, и все стали слушать, кроме раздосадованного Милькеева, который думал:

«Однако она — кокетка, и бедовая! Никак это меня она хочет в жалкие произвести! Надо подумать, с которой стороны ее взять».

Варвара Ильинишна пела сильным контарльто а выражения страстного придавала даже слишком много, по мнению иных, но двое из присутствующих слушали ее песню с особым вниманием: Лихачов пригорюнился, не замечая сам того, на соседний стол и подтягивал вполголоса, не глядя ни на певицу, ни на других, а Богоявленский сложил руки на коленях и качался на стуле, опустив глаза в землю.

Когда она допела и, вставши с разгоревшимися щеками, оглянула всех сверкающими и чорными как угольки глазами, все захлопали в ладоши и благодарили ее, а Лихачов очнулся и, издали указывая ей на стул около себя, сказал:

— Варвара Ильинишна! присядьте.

Она села около него, и они пожали друг другу руки.

— Давно мы не видались, — начала она тихо, пользуясь тем, что все остальные опять зашумели и заспорили:

что̀ лучше — танцовать до ужина или в разные игры сыграть?

— Сама виновата! — отвечал Лихачов.

— Я? опять я! Господи!

— Ты, разумеется! Я говорил тебе, что я буду жалеть о прошлом — ты не хотела, чтобы я расскаявался; а теперь вышли все те несносные дрязги, которых я так избегал, все эти слезы, ревность, словом — скука.

— Знаю, знаю, что все отвратительно! Но я уже более не буду... Все пусть по-старому будет... Я *много*, а ты — *хоть каплю*.

— Бери, что̀ дают, — отвечал Лихачов, — я, кажется, и сначала не притворялся и после ничего не обещал!.. Жалобы и раскаянье — пренесносные вещи!

— Еще какие несносные! Я это понимаю: стоит только на Алексея Семеныча посмотреть.

— Так мы с ним решительно соперники! Это интересно!

— Нет, ты не говори никому об нем... Мне сдается это так; а чорт его знает, может быть, он и не думает... Только ты не говори Милькееву своему, уж сделай одолжение... Алексея Семеныча и то здесь все не любят... Зачем же я буду еще терзать его... Ведь это уж свинство будет.

— Свинство, свинство, — отвечал Лихачов, — впрочем, Милькеев так добродушен, что если ему и сказать, он этим никогда против человека не воспользуется... Мне даже самому, если это правда, он будет больше нравиться: все-таки человек, значит, а не сухарь школьный. Пойдешь ты за него, если он посватается?

Выразительные глаза Варвары Ильинишны вдруг стали сухи и горды; она быстро встала и отошла прочь, говоря:

— Давайте, ребята, в жмурки играть!

А Лихачов встал за нею и подумав про себя: «это уж лишнее! Вовсе нейдет!», сказал громко:

— Нет, лучше в рублик! сидя.

Все сели и играли в рублик, все шумели, иные смеялись, иные только улыбались; Сарданапал кричал и хохо-

тал так, что Анна Михайловна опять выбежала в испуге, а князь Самбикин и Полина увлеклись и вмешались в игру... Играли и шумели до ужина, пока Сарданапал не закричал:

— Баста! Супé! Супé! Анкор нельзя!

Но если бы кто мог во всей этой свалке жмурок, четырех углов, всего туалета и жгутов, при звоне колокольчика, с которым бегали по просторным и темным покоям, — если бы кто мог, я говорю, хоть на миг пронестись по всем этим молодым и разнообразным сердцам, на миг, на один миг разоблачить их — сколько бы смятенья и мучительных мыслей увидал бы он; услыхал бы мимолетные сомнения, внезапные вопросы без ясных ответов, узнал бы отважные надежды и горькие жалобы на судьбу.

— Довольно! Ужин кончен, и все едут!

Все друг за другом садятся в сани и мчатся во мрак от крыльца, а в ободранном доме один за другим гаснут все огни.

IX

Один шаг — и все переменили настроение.

— Растаял наш сахар-медович у Протопоповых! — весело рассказывал предводитель младшему брату. Собралась через силу: и спина, и голова, и шея — все болит; а денек вышел ясный. Во-первых, сама Протопопова красива; а мы от всякой эстетики не прочь. Поцаловались: «я, говорит, люблю хорошеньких женщин». Потом Колю смотреть, а Коля не конфузится чужих; я, объявляет — «ай-ай». Сели мы в сани. «Приятно, говорит, видеть молодую мать! Все у них свежо и ново!» Я ей, конечно, тут отпел за непостоянство и слабость.

— Отыскивать во всем хорошую сторону — это ее страсть, — заметил младший Лихачов. — А в Чемоданове как?

— Ну, тут мрачнее показалось. Однако, Максим-бородач сюртук надел; старуха глазком мигала; Анна Михайловна как дух кругом от радости носилась. Люба тоже рада! Триумф, а не визиты! Наша царица была любезна,

и бабушка согласилась отпускать Любашу, хоть с Полиной, хоть с Сережей на репетиции, если тетке будет трудно. Для театра обещала и сама подняться.

— А Богоявленского звали в Троицкое?

— Милькеев хлопотал. Да нет! Твердость разыгралась у Катерины Николавны. Ни за что! Милькеев подстрекать пробовал: «яду, критики боитесь!» — «Пускай, боюсь: и вы боитесь, чтобы вам клоп на малину не попал». Его же оружием бьет: «вы сами, говорит, не велите быть всегда гуманной!» 10

— Что̀ ж Милькеев?

— Утешал Богоявленского; сидел с ним больше, чем с Любашей. А он, кажется, намерен за ней увиваться?

— На здоровье! — сказал младший Лихачов, потом прибавил:

— Сарданапал не был?

Брат искоса взглянул на него и отвечал угрюмо:

— Не был; а Варя была. И ее звали, смотреть, конечно, пьесу, а не играть.

— Еще бы! — сказал Александр Лихачов, — Еще 20 Любаша сыграет туда-сюда по-французски, а у этой всегда вместо французского N будет русский *наш!*..

Владимір Алексеевич тоже шептал в Деревягине племяннику о новом оживлении Троицкого.

— Мановение! мановение руки! — говорил он, — одно мановение руки!

Явилось, наконец, в Троицком и то, чего в нем недоставало, по мнению Милькеева: начались праздничные ожидания, приезды нарядных женщин; репетиции внизу; прогулки в лес; по вечерам танцовали под фортепьяно Новосильской, скрипку еврея-винокура и кларнет дворецкого; 30 танцовали запросто, весело, искренно, много; танцовали и радовались, что послезавтра будут опять танцовать. Дети были вне себя; горничные и слуги по три часа не отходили от дверей залы, а мальчишки и девочки с деревни по глубокому снегу влезали на террасу и висели на окнах. Баумгартен совсем успокоился; бегал из угла в угол в блузе,

вымаранной красками, поправлял некоторые места в комедии; помирился даже с характером Феди за то, что Федя не без души и очень складно пел куплет в его комедии:

Rêve, parfum ou frais murmure,
Petit oiseau qui donc es-tu?

И вообще, наслаждаясь игрой детей, которые должны
10 были представлять цыганят, стал добросовестно сомневаться, не слишком ли поспешно он счел русских народом неспособным и пустым? Сообщил об этом сомнении Nelly, а Nelly совсем уже осчастливила его, сказавши зря и без всякого отвращения к русским, что они «все и ничего!»

— Однако они переимчивы! — заступился он на радостях.

Милькеев уже не ходил задумавшись по целым часам по зале; не сидел запершись у себя, не пропадал на трое суток у Лихачовых; в свободное от уроков время он не
20 брал книги в руки; без Любаши помогал Баумгартену писать декорации, а при Любаше был с ней и *развивал* ее. Любаша заметнее удалялась от него, когда Руднев был тут; но без Руднева... держала себя немного свободнее, как думали все со стороны. И с тем и с другим она была уже на приятельской ноге; сама звала танцовать Милькеева, посылала не раз в Деревягино сказать Рудневу, что пора в Троицкое, что ей без него скучно.

Простодушие Любаши заменяло ей хитрость, и никто не мог понять, кого из них она предпочитает. Веселится ли
30 она только с обоими, или любит одного из них. Особенно с тех пор, как князь Самбикин уехал в Москву по делам матери на целый месяц, она стала еще развязнее.

— Что, отец мой, как дела? — спрашивал вначале Руднев у Милькеева, — интересно мне будет видеть, как вы отобьете ее у кирасира. Хоть и смирный он, и уехал, а все кирасир, и брюнет, и богат, и друг детства... Эх! кабы наша-то взяла...

— Я надеюсь, что у нее есть вкус! — отвечал Милькеев, который никогда еще не был так весел.

Через три недели Руднев спросил у Любаши:

— Как вы теперь находите Милькеева?

— Теперь я всегда вам буду верить. Какой он славный, умный какой. А как он вчера хорошо в классе детям рассказывал про римлян и христианских мучеников... Я все поняла!

— Да! он красноречив, — прошептал Руднев и задумался. 10

Вернувшись на ночь в свою пристройку, он не мог спать: ходил, ложился, садился к столу и, наконец, решился написать Любаше письмо:

«Я сам не знаю, когда *это* случилось со мной, только я теперь без вас минуты считаю. Все, что̀ прежде мне казалось словами и фразами у других, все это теперь стало для меня понятно. Поверьте — надежд у меня нет! Кого бы вы ни выбрали — Самбикина или Милькеева, я все-таки буду в стороне! Надежд у меня нет; а иногда я думаю — может быть! Прежде я мог судить вас, а теперь 20 только любуюсь; прежде я все думал, что не полюблю, если женщина сама не откроется мне, а теперь иной раз я понимаю тех пожилых людей, которые, вопреки отказам, добиваются руки холодных к ним девиц, покупают их деньгами, вниманиями, просьбами, надеются на привычку и усталость. Часто думаю я: жениться бы на вас во что бы то ни стало, год пожить с вами, а там — пусть будет что будет! Как мне трудно стало в больницу от вас уходить, — я вам выразить не могу; на книги смотреть некогда; все об вас думаю. Когда это сделалось со мной, — не 30 знаю! и прежде вы мне нравились, а все-таки были как чужие. Не тогда ли это случилось, когда вы вдруг вышли из зимнего саду в залу в белом шолковом платье с голубыми полосками и косу одной рукой поправляли, а другую дали мне поцаловать? Или тогда, когда я решился протанцовать с вами вальс по вашей просьбе и спросил у вас, где вас посадить, а вы сказали: „около вашего дяди!" Я по-

думал: неужели она уже и дядю моего любит и жалеет, как я жалею часто то Максима Петровича, то Анну Михайловну, то вашу злую бабушку, оттого что они *ваши!* Или тогда, когда вы похвалили мою руку и спросили, мою ли я ее после операций, — я уж не знаю. Только я бегать за вами готов, у ног ваших лежать стал бы сейчас; самолюбия у меня уже нет... Я не знаю, где оно и не хочу знать!

Как я Чемоданово ваше полюбил, — я вам выразить не могу! Знаете ли вы, что иногда оно мне кажется лучше, чем Троицкое; больше на русское похоже: дом старый, окна ближе к земле; вся душа изныла об этом! а калитка! Боже мой! Калиточка забытая в поле... Всякую травку я знаю там теперь! Если бы я мог вам объяснить, что̀ я чувствовал, когда сиживал с вами долго в угловой комнате у окна, перед которым стоит елка! И вы ведь любите эту елку и это окно... Вы сами сказали раз с таким чувством: „вот наша елка!" О бабушке вашей я сколько раз говорил себе: „все-то теперь на нее нападают, все бранят ее: и Богоявленский, и Милькеев, и Лихачовы, и люди — а ведь она умна, и отчего-нибудь да болит же у нее душа? И не все же она одно дурное делала? Ведь вы ей не дочь, — а она заботится об вас, как умеет — и людям лекарства дает иногда..."

О! Как бы я вас всех любил! Как бы я забыл пятно прошедшего! Скоро освободят крестьян, и старики будут безвредны; мы будем без страха тогда уважать их добрые свойства... Я буду вдвое трудиться, втрое — сколько хотите, лишь бы у вас были платья, лошади, духи... Вы будете порхать, и я буду счастливее вас, глядя на вас из угла...»

Он исписал еще листа два в том же духе, прочел внимательно письмо два раза, вздохнул и разорвал его.

«Что̀ с тобой, Руднев? — говорил он себе. — Где твоя скромная сила? Где независимость? Не гордись тем, что ты отрывался не раз от рояля, на котором она играла, чтобы спешить в больницу, где стонали и ждали тебя му-

жики. Этого мало! В этом тебя все видят и судят. А ты беги от нее для свободной науки, в которой ты один себе судья!»

Но есть ли возможность устоять, когда вечером, подъезжая к лазарету, он видел освещенные окна замка, видел тени в окнах и узнавал их!

И то уже радовало его, что он скрывать умел безнадежные чувства.

Милькеев тоже не всегда наслаждался с Любашей. Иногда он мучился нетерпением, ожидая от нее признания в любви или, по крайней мере, такого намека, который бы облегчил ему признание... в чем? Он сам еще не знал!

Иногда она раздражала его именно тем, чем прежде нравилась не раз: простотой, неопытностью, незнанием; тем, что читая книгу, говорила про героя: «Ах! он добрый; ах! он недобрый» — и больше ничего.

Раз из-за подобного предмета они рассорились и жаловались оба: он — Новосильской, она — Рудневу.

Любаша попросила его рассказать, как он был влюблен и почему не женился.

— Я слышала от Лихачова, что вы были сильно влюблены? — прибавила она. — Скажите все, как это было.

— Зачем это вам?

— Я сама никогда не была сильно влюблена, так хочу знать, как это бывает.

— Как это было? Вот как. Я берег лоскутки ее платьев, как драгоценности; целовал иногда. Все, что̀ принадлежало ей; все, что̀ касалось до нее, было мне мило. Она жила в строгом доме, и постом ей не давали скоромного; она потихоньку ела раз рябчика руками... Так я эти грязные руки сам съесть был готов. Она была не очень красива. Зубы были нехороши, лицо широкое, нос круглый, руки большие и сухие; талия только была эфирная и глаза огромные, серые с чорными бровями. Она этими глазами умела выражать все, все: и гнев, и доброту глубокую, и хитрость, и мечту... Она была старше меня двумя годами, хитра, упорна, тщеславна и старалась скрыть свое тщесла-

вие. Так мне и в жизни, и в книгах казалось странным, что за охота людям любить девушек или женщин, которые очень молоды, у которых руки малы, лицо свежее, нос прямой... «Это все не то, думал я, все не то! Не знают они, где настоящее блаженство!»

— И вы не женились на ней? — с удивлением спросила Любаша.

— Не женился. Она вышла замуж за богатого и привыкла к нему. Уж она была помолвлена и опять предлагала мне отказать ему, если я через год, когда кончу курс в университете, женюсь на ней или если оставлю учиться теперь... Денег не было ни у нее, ни у меня. Я не хотел трудиться, чтобы кормить семью; не хотел оставить университет — и отказался... Ноги подкашивались, жолчь разлилась; квартира опротивела; в больницу лег; все смеялись и жалели меня: думали, что она провела меня; а никто не знал, как она за неделю до своей свадьбы целовала мои руки и готова была убежать со мной... И все-таки я не женился...

— Значит, вы ее не любили! — воскликнула Любаша.

— Может быть, — сухо отвечал Милькеев. — Вы называете любовью одно, а я — другое. Я знаю только вот что, что через два года я был на другом конце России и сидел раз у камина с молодой вдовой... Она меня любила; красивее той была в десять раз; я любовался на нее и на камин, а сам думал: «нет! это все не то!» Через три года повернул раз за угол на улице, и вдруг лицом к лицу встретил высокую, круглолицую женщину с прекрасными серыми глазами и в точно такой соломенной шляпе с лиловыми лентами, как у нее была. Ноги задрожали, и сердце дрогнуло!.. А все-таки прекрасно сделал, что не женился. Теперь у нее много детей... Что̀ бы я делал!?

— А теперь что̀ вы делаете? — спросила Любаша с негодованием и ушла от него к Рудневу.

— Ваш друг — пустой человек! — сказала она, — можно ли было так поступать! Боялся для детей трудиться. Как стыдно!

— Бог знает, Бог знает!.. Это надо обсудить внимательно, — отвечал обрадованный и смущенный своей радостью Руднев...

— Вы бы так не сделали...

— Не знаю-с, Любовь Максимовна; не знаю, право, как бы я сделал, — продолжал доктор тревожно, — а Милькееву лучше всего быть свободным... Ему, верно, что нибудь и тогда шептало — будь свободен!.. Он не женится никогда и прекрасно сделает!.. У него такая уж звезда!

— Не женится — никогда?.. — повторила Любаша задумчиво. — А вы? 10

— Я тоже никогда не женюсь — отвечал Руднев грустно. — Но по другой причине... Он не хочет, а я... я не могу...

Любаша посмотрела на него, взяла его руку и сказала:

— Какой вы милый! Какой вы славный! Как я вас люблю!..

— Хм! — отвечал доктор, не сводя с нее глаз.

— Что̀ это *хм*!? Разве так вы должны отвечать?

— Признаюсь, — отвечал Руднев, вставая и отходя от нее, — я желал бы лучше, чтобы вы меня бранили, как его... чем это... люблю! Уж это плохо! Это очень плохо... 20

— Куда вы? Куда вы?

— Нет, нет, у меня есть дело! Прощайте... Это плохо! Хуже такого объяснения нет ничего!.. Это очень плохо! Это скверно! — твердил Руднев, уходя.

Дети в зале схватили его за платье; но он сказал с такой силой: «ради Бога — оставьте!», что никто не стал его удерживать...

Милькеев, с своей стороны, жаловался на Любашу Новосильской: 30

— Куда как она тупее Nelly! — сказал он, — я той тоже раз говорил о моей первой любви — слово в слово то же самое. Но она совсем не так отвечала мне! Совсем не так!.. «Я думаю, тогда вам было стыдно (она сказала); а после, как вы были рады и гордились вашей независимостью... Фи! как унижает человека этот мелкий, еже-

дневный труд!» Так что мне еще пришлось защищать труд!..

Новосильская засмеялась и отвечала:

— Да! Здесь вы с вашими воздушными стремлениями ничего не сделаете. Любаша, должно быть, очень практична, и дорогу в ее сердце прокладывать надо дружбой, добротой и привычкой, а не дон-жуанством или немецкими сентенциями... Как бы Василек не взял верха над Василиском?.. А! что̀ вы скажете?

— Нет; это было бы слишком хорошо! Я боюсь, что она поиграет-поиграет, да и выйдет за Самбикина... От этого надо ее отучать. Если б я этого не боялся, я бы, несмотря на ваши проклятия, возвратился к бедной Nelly, которая без меня, я думаю, страшно тоскует... Сами хотите, чтобы я здесь побыл еще, а жить не даете... Я обещаю вам, что я дальше поцалуев не пойду.

— Нет, нет, нет! — с испугом воскликнула Катерина Николаевна. — Я опять вас прошу — ради Бога, оставьте... Я даже готова сказать вам одну вещь... Смотрите только — молчите! Старший Лихачов и спит, и видит, как бы брата женить на Nelly... И брату она нравится; только он об этом не говорит: думает ли он, что она вами занята, или еще находит, что жениться ему еще рано... не знаю. Теперь он чаще с ней стал говорить с тех пор, как вы с Любашей. Разве вы, Вася, захотите мешать этому? Он, любя вас, не хотел вам мешать прежде, а вы будете? Такая милая жена разве не исправит его пороки? Разве не приятно сделать ее русской, когда она и без того уже любит нашу жизнь?..

— Это ужасно, однако! — воскликнул Милькеев, — жить на свете нельзя! Если б я знал, по крайней мере, что Nelly наверное ко мне неравнодушна, я был бы покоен... И оставил бы ее вовсе...

— Вы не хитрите, Василиск? — спросила Катерина Николаевна.

— С вами-то! — отвечал Милькеев.

— Ну, смотрите... Я на вас надеюсь.

Она передала ему все разговоры свои с Баумгартеном, предводителем и самою Nelly, показала ему даже заветные листики, списанные французом, повторяя беспрестанно:

— Это слабо, это гадко с моей стороны. Но я знаю — вы меня не обманете!

Милькеев был поражен, читая о розовом облаке на горах, о разговоре в зимнем саду, о самом себе столько лестного. Ему было не до шуток; молча сложил он листы и отдал Новосильской. Смущенный, задумчивый... не зная куда скрыться от самолюбивого восторга и внезапного прилива чувств, он поспешил уехать в Чемоданово, надеясь около светлой и бесстрастной, по-своему загадочной Любаши забыть близость той, которая ждала только одного серьезного движения с его стороны, чтобы отдать ему душу без страха и угрызений.

X

— Что ж ты, Сергей, не едешь в Троицкое? — спрашивал Максим Петрович у сына. — Ты видишь, тетка больна; сестре ехать не с кем.

— Боюсь бы скучно не было, — отвечал Сережа, потягиваясь.

— Дома веселее? Опух от сна! — сказал отец и прибавил, обращаясь к Богоявленскому, — вы, что ли, его не пускаете?

— Я ему не отец и не помещик, Максим Петрович, — отвечал Богоявленский.

— Поедем, Сережа, голубчик, — говорила Любаша, — посмотри, как там хорошо. Все идеи твои там объяснят тебе. И графиня, и доктор, и Милькеев... У Милькеева я нарочно для тебя спрашивала об этом...

— Баба ты, баба, Любаша, глупая баба!

— Видишь, какой ты грубый: что̀ это — баба! Там ты бы отвык от таких манер! Поедем, голубчик! — уговари-

вала сестра, которой дома после Троицкого все казалось и грубо, и скучно.

Сережа пошел к Богоявленскому и сказал ему, что от сестры отбоя нет, что нельзя не ехать.

— Поезжай. Что ж! попляшешь там...

— Неловко как-то! — заметил Сережа.

— Да ты говори начистую. Обиняк-то брось... Что̀ тебя конфузит?

— Несовременно как-то! — сказал Сережа.

10 Богоявленский усмехнулся.

— Проверь себя — прекрасный случай, — отвечал учитель.

Сережа в восторге уехал с сестрой, а Богоявленский заперся у себя и, схватившись руками за голову, просидел над столом целый час.

Постучали в дверь и позвали его обедать. Он вышел, как часто выходил: бледный, всклокоченный, злой, но в столовой душа его прояснилась: Варя Шемахаева была тут.

20 Отобедали молча. Только под конец Авдотья Андреевна начала бранить Милькеева.

— Презлой язык у этого человека, — сказала она, — непостижимо для меня, что̀ ему княгиня Самбикина сделала; не проходит разу, чтоб он ее не чернил! И кривляется, и свету настоящего не видала...

— Ужасно, ужасно! — воскликнула Анна Михайловна. — Возненавидел и чернит... А про князя прямо говорит, что он глуп...

— Я ему последний раз сказала, — продолжала ста-
30 руха, — мне очень жаль, мсьё Милькеев, что мой старый друг, княгиня, вам не по вкусу, но что ж делать! Всем не угодишь. «Извините, говорит, Авдотья Андревна, я не знал, что она вам друг!» Я говорю: «Не беспокойтесь, мой милый, она от вашего мнения ничего не теряет!» Покраснел и ни слова.

— Покраснел и ни слова! — с восторгом взвизгнула Анна Михайловна.

— Не хотел отвечать верно! — заметила Варя, — по доброте не хотел старого человека сердить.

Богоявленский ободрительно взглянул на Варю, и Варя продолжала:

— А я так со смеху умираю всегда, как княгиня начнет всю свою родословную перебирать... Граф Иван женился на княжне Прасковье; а Прасковья сестра была графу Василию, и граф Василий брат княгине Василисе... А уж Василиса никак самому Чорту Иванычу Веревкину была сродни!

Богоявленский и и Максим Петрович засмеялись. Авдотья Андреевна побледнела еще сильнее обыкновенного.

— Не нам с тобой, Варвара Ильинишна, о людях так строго судить! Еще к тебе люди слишком добры. Мало ты дурила и дуришь, а тебя все на глаза к себе пускают! Ну, заступалась бы ты за Лихачова, коли он тебе и твоему брату приятель; а Милькеев что тебе дался, что ты за него взъелась?

— Умный и образованный человек! — пылко возразила Варя. — И молодец — третьего дня приехал на тройке, на крыльцо вышел — картина! Сел и полетел!

— Образованный? — спокойно переспросила старуха, — с каких это ты пор за образованностью гоняться стала?.. Прошлого года никак книги вверх ногами держала, да на девку сваливала, что, мол, девка, каналья, так подала...

Варя покраснела и отвечала еще задорнее:

— Что ж! Коли я сама необразованна, так в других цену знаю. А в необразованности моей старые же дворяне виноваты, а не я. Ваш брат, а мой папá был так глуп, что не позаботился. Все это старье на одну осинку бы.

Богоявленский ликовал молча. Авдотья Андреевна потеряла терпение.

— Послушай, ты, глупая девка, если я тебя на глаза к себе пускаю, так это оттого, что ты моего брата дочь, а сама ты грязной ветошки не стоишь... Ступай вон — и не езди больше сюда. А не то я тебя холопьям велю вытурить...

— Погодите, — сказала Варя, глядя в окно, — еще лошадь за мной не приехала. А вы не командуйте, когда у вас своих мало... Дали Любаше тройку — да и все тут, и прогнать меня не на чем... Пешком я не пойду по снегу.

С этими словами она встала из-за стола и ушла в комнату Богоявленского.

— Экая вышла дрянь! — грустно сказала Авдотья Адреевна. — Кто бы мог подумать! Девочка была милая прежде.

10 — Это она занеслась оттого, что ее в Троицкое на вечер пригласили, — заметила Анна Михайловна.

Авдотья Андреевна вздохнула.

— Нет! — отвечала она потом, подмигивая ядовито, — это пустое. От этого не испортится. Скорей этот Милькеев вбил ей что-нибудь в голову или кто-нибудь еще почище Милькеева. От зла и низости нигде не убережешься. Вот и Сергея послушать, так волос дыбом станет... Да, впрочем, я скоро все это по-своему перековеркаю!

20 Богоявленский понял намек и, вставши из-за стола, пошел в свою комнату. Варя, услыхав, что он идет, схватила со стола книгу, перевернула ее вверх ногами и притворилась, будто читает.

— Эх, Варвара Ильинишна, вы вот балуетесь да шутите... — сказал Богоявленский, — а мое дело плохо. Авдотья Андревна хочет и меня согнать со двора...

— Большая беда! — отвечала Варя, — а у брата дом на что? У нас поживете, пока место найдете...

— Эх вы! Вы не знаете. Я себе дал слово нажить 30 рублей хоть триста, чтоб уехать куда-нибудь отсюда... Куда-нибудь, где люди больше на людей похожи. Авдотья Андревна должна мне за два месяца; пока не заплатит, не выгонит... Терпелива, крепка, старая!.. А заплатила — марш... и не хватит по моему расчету... Уж надо рожном против рожна... Терпение против терпения...

— Оттого-то вы за обедом меня не поддерживали? И за Милькеева не заступались? А я так его за одно то

уж люблю, что он, как приедет, все им наперекор говорит... Надоели они мне все, как горькая редька! Рада я радехонька, что с Новосильскими познакомлюсь... Я уж приготовила светло-лиловое платье к вечеру и бархатками чорными обшила... Блеснем!

— Ой! не хвались, едучи на рать! — сказал Богоявленский. — А я бы на вашем месте не поехал.

— Это отчего? — с гордым и кокетливым движением головы воскликнула Варя.

— Да что ж... По-французски вы не знаете; в светском обществе не бывали. Срежетесь еще — что̀ хорошего! 10

— Срежусь! — с досадой возразила Варя, — еще это увидим!.. Чем это я так плоха? Что там экзаменовать меня будут, что ли?

— Экзаменовать, Варвара Ильинишна, точно что не будут; а что срежетесь — мудреного нет!

— Зависть это вас гложет... Самих не звали...

— Как не звать — звали! Вчера Милькеев говорил... А я все-таки не поеду!

— Милькеев! Так вы не понимаете до сих пор, что Новосильская сама об вас и слышать не хотела — Милькеев насилу-насилу упросил ее... 20

Богоявленский в свою очередь покраснел.

— Коли так, спасибо вам, что сказали, — продолжал он, — спасибо Милькееву, что беспокоился... Рыбак рыбака видит издалека: хоть бы и не поехал, а все-таки спасибо ему, что хлопотал. Кабы не он да не беседа его изредка, так голову бы, кажется, другой раз себе размозжил об стену здесь. Поговоришь с ним час-другой — и вздохнешь полегче... 30

— А я... А со мной? — игриво спросила Варя.

— Что̀ вы! Разве барышни, подобные вам, людей ценить умеют? Вот я вас прошу для вас же самих не ехать в Троицкое, а вы кобенитесь. Милькеева вы хвалите за что?.. Разве вы знаете, что в нем хорошо?.. Давича про образование за обедом упомянули — и бабка вас ловко вздула за это! А вам вот что нравится — сел и полетел!

— Грубиян!.. вот назло же вам поеду в Троицкое и всех там с ума сведу! Прощайте; лошадь моя приехала... вот она, — видите...

— А руку сегодня не дадите? — спросил Богоявленский.

— Не дам! Знать я вас не хочу! — отвечала Варя шутя и вышла. Потом вернулась и подала ему руку, — на счастье — послезавтра в Троицком! — сказала она, сверкая глазами.

Богоявленский проводил ее на крыльцо и, возвращаясь к себе, встретил в зале Пелагею.

— Муж, а муж... муж... дай хлебушка! — закричала дура.

— Нет у меня хлеба, отвяжись! — сказал Богоявленский.

— Что̀ ты меня бьешь, дурак, а дурак, что̀ ты меня бьешь! дай мильон... дай мильон...

— Мильон — я тебе дам... Постой... Послушай, видишь — вот двугривенный... видишь, не чорный мильон, а белый... Вот пятак чорный, а это белый; я тебе его дам, скажи только, о чем я думаю: *да* или *нет!*

— Нет! — закричала дура.

— Прах тебя возьми! На вот тебе, — сказал Богоявленский.

Пелагея Сергеевна понесла двугривенный к Авдотье Андреевне с криком: «Алеша дурак... Муж мой белый мильон мне дал!»

Все удивились, что семинарист так расщедрился, не подозревая, что он гадал.

XI

Все выучили твердо свои роли; поставили декорации; большую лестницу убрали цветами и устлали ковром; приехал из города оркестр; залу и другие комнаты осветили сотнями свечей, как для многолюдного бала. Новосильская

была здорова и бодра; блаженствуя от мысли, что другие будут веселиться, она поспевала везде и не совестилась даже хвастаться своими чувствами.

— Вот, доктор, это — практичность настоящая: доставлять удовольствие другим, — говорила она, краснея, Рудневу, — это — практичность! Я только такую и уважаю...

Потом подходила к Баумгартену и говорила ему:

— Вы счастливы сегодня, — я вижу. Я вас люблю за то, что вы при ваших серьезных знаниях умеете веселиться. Вы очень хорошо развесили этот шатер под дубом, и перспектива в заднем занавесе хороша! очень хороша! Как я рада, что у меня под старость еще есть способность радоваться на других!

— Что̀, Василиск, рады вы? — спрашивала она у Милькеева. — Будете блистать?

— Постараюсь! — отвечал Милькеев, — веселиться там не стыдно, где всякий олицетворяет какую-нибудь идею!

— Я какую олицетворяю? — спрашивала Новосильская.

— Идею пользы и добра, доведенную до прекрасного.

— А вы?

— Идею разврата, доведенного до косвенной пользы!

Мимоходом и слугам Новосильская успела доставить приятные минуты: велела Оле надеть не московские башмаки, а те, которые ей сшил из серого атласа к празднику берейтор, отставной солдат и башмачник, и просила дворецкого и винокура играть увертюру внизу около занавеса, потому что для той комнаты, где устроен театр, городской оркестр слишком силен; у экономки попросила дюжину чашек на этот вечер: «боюсь, недостанет моих»; экономка чуть не заплакала от гордости и радости!

Съехались все: Анна Михайловна, Полина, Любаша, муж Полины, Лихачовы, дядя Руднева, Сарданапал с сестрой.

Заняли места. За стульями господ образовался род райка; винокур и дворецкий заиграли вальс; Баумгартен зазвонил за кулисами, занавес поднялся, и все притихли.

Цыганский табор в лесу; шатер; бочка, на бочке Баумгартен; дети поют в пестрых одеждах.

Все были довольны; Милькеев в синей блузе был молодцоват; Любаша и Nelly были очень милы в своих костюмах; Баумгартен играл недурно и с душой. Грамотным слугам были розданы еще прежде тетрадки с кратким изложением пьесы на русском языке, и люди много смеялись; особенно когда Баумгартен будто бы напился пьян, погнался с хворостинкой за Федей и упал. Больше других радовался и хвалил француза бородатый истопник; во все время репетиций он служил при театре и, зная заранее то место, когда француз должен схватить хворостинку, выставил вдруг на сцену из-за кулисы бороду и лицо, чтобы видеть любимый пассаж.

Автора и актеров покрыли аплодисментами и пошли наверх танцовать.

Варенька Шемахаева решилась не подходить сама к Лихачову и ждать от него первого шагу. Она старалась веселиться сколько могла, старалась забыть угрозы Богоявленского, но вечер был уже в исходе, уж подали знак начинать мазурку, а Лихачов не сказал с ней и двух слов.

«Дура я, дура! Зачем это я поехала? Зачем, скажите мне, ради Христа! Ах я дура! Ах я низкая, униженная тварь!.. Я ему еще больше опротивела теперь!..»

В отчаянии ушла она в кабинет и села у камина; долго была она одна; никто не приходил из залы; вбежал на минуту Юша, посмотрел на нее и убежал. Варвара Ильинишна думала: быть может, ребенок увидит, что она грустит, расскажет, и Лихачов придет. Но вместо него вошел Милькеев, осмотрелся и, подойдя к ней, позвал ее на мазурку.

— Я вас давно искал, — сказал он.

— Будто бы? — отвечала кокетливо Варвара Ильинишна, — это что-то невероятно, чтобы я вам вдруг занадобилась!..

— Всякий человек другому надобен, — отделался Милькеев.

— На подставку! — с натянутым смехом и сверкая глазами возразила Варя.

Если бы бедная Варя могла подозревать, почему Милькеев пришел ее звать, и если бы знала, что Юша вбегал недаром в кабинет — она бы еще больше огорчилась... Катерина Николаевна, разговаривая в углу залы с предводителем и Анной Михайловной, не спускала глаз с танцующих и следила всем сердцем за всем. Ей было недостаточно, что в первый раз видела, как Маша в белом платье стройной сильфидой порхала по очереди со всеми кавалерами; ей было недостаточно, что Федя в восторге гремел, как исступленный, каблуками в lancier, что Nelly кротко и приятно отвечала на приглашения всех: «très volontiers», что лицо Баумгартена оживилось от самодовольствия, приняло совсем новый характер «себе на уме», напоминая даже Генриха IV с бородой и горбатым носом; ей было мало, что Лихачов танцовал превосходно, как всегда, но гораздо больше и охотнее, чем где-либо в другом доме, судя по словам предводителя; что Милькеев, не стесняясь нисколько тем, что танцовал гораздо хуже Лихачова, не пропускал ни одного танца, ни одной дамы и даже вальсировал не раз с Олей, сгибаясь в три погибели; что даже два суровых мужа — Руднев и Юша увлеклись общим потоком и решились «пахать» в кадрилях, как выразился Федя про те угрюмые движения, с которыми они оба, казалось, совершали этот труд... Для Катерины Николаевны смотреть на чужую веселость было истинным счастьем, вся молодость ее проносилась перед ней; в троицком замке столько лет уже не было слышно ни музыки, ни гостей; она не раз уходила в темную спальню, плакала одна и опять бодрая возвращалась на свой трон, в углу между Николаем Николаевичем и Анной Михайловной. Но веселости любимых или близких ей людей было очень мало: она хотела, чтобы все уехали с хорошим впечатлением из Троицкого.

И князь Самбикин танцовал, по-видимому, без принуждения, и Полина, ловко подобрав свой длинный шлейф,

тоже вальсировала как следует, а Любаша толклась до того, что раз, когда кавалер ее оставил, она продолжала еще прыгать на месте под музыку.

Одна только смуглая барышня в фиолетовом платье с чорными бархатками беспокоила ее; Катерина Николаевна заметила, что на первую кадриль позвал ее Федя; но это еще не беда; надо же и Феде с кем-нибудь танцовать; но на вторую Сережа, обойдя прежде всех дам, взял ее; на третью явился к ней Баумгартен... Катерина Николаевна испугалась, чтобы Варя не попала в жертвы, и раздумывала, кого бы из молодых людей отправить к ней на мазурку; в эту минуту на место Анны Михайловны, которая зачем-то встала, сел около нее Милькеев, и она спросила у него, с Любашей ли он танцует мазурку или нет.

— Нет, — отвечал Милькеев, — вдруг, вы знаете, нельзя... и другие заметят, и она избалуется... Не знаю, кого пригласить.

Катерина Николаевна послала его к Варе.

Сначала, во время мазурки, Варя была молчалива и не могла скрыть своей грусти; потом вздумала оживиться и кокетничать с Милькеевым: давала ему свой веер, махала им на него, не доела мороженого и требовала, чтобы он доел его после нее; вздумала точно так же, как Полина, подобрать шлейф, которого почти не было, курила все время, беспрестанно роняя пепел с огнем на свой бареж, и принуждала этим Милькеева суетиться, гасить и хватать ее то за оборки, то за рукава. Лихачова не выбрала ни разу, так что все это заметили, и когда Милькеев сказал ей наконец, что она роняет огонь на платье нарочно и может сгореть сама, она отвечала:

— А что же? вам, что ли, жалко будет?.. Никто и не подумает!

— Почему же так? — спросил озадаченный Милькеев.

— Ведь я никому не нужна! Что вы смотрите! Ну, скажите, en grâce, скажите, кому я нужна...

— Я уже давно сказал вам, что всякий человек другому нужен.

— Ну, это вы из любезности приврали, а вы мне скажите, кому я нужна: брату? Это просто потеха! Любаше — тоже вздор. Вы понимаете, я хочу задачу вам задать, загадку, больше ничего... Заинтересовать вас хочу собой! Видите, брату и Любаше не нужна, Анне Михайловне и графине не нужна, Лихачовым обоим не нужна, Рудневу — тоже; уж не французу ли?.. разве уж не им ли в другой раз заняться... Послушайте, ну, вам, например, я нужна? Или лучше скажите, кто вам здесь нужен? Из всех, из всех... Кто?

Милькеев подумал и отвечал:

— Никто.

— Как никто?.. Это неправда. Ну, это вы сочинили.

— Если уж вам непременно так хочется знать правду, я вам скажу, мне нужно, чтобы все здешние люди существовали такими, каковы они есть, но я и без них на краю света могу быть очень счаслив...

— И никогда тосковать, грустить не будете?..

— А разве грустить уж такое несчастье?..

— А что же несчастье?

— Невозможность делать то, что хочется — вот главное.

— А если сделаешь что-нибудь да после станешь раскаяваться?

— Все лучше делать, чем спать... Да зачем долго раскаяваться: старого не воротишь, а выйти можно с достоинством из всякого положения, чем-нибудь, ну, хоть смертью, если хотите!

Огненные глаза Вари расширились, она с удивлением посмотрела на Милькеева.

— Старого не воротишь, старого не воротишь? — спросила она, как бы опьяневши от слов этого человека, которого все считали умным.

Руднев не танцовал мазурку; он сидел в углу, рядом с тем капитаном, который год тому назад вез его на линейке, и смотрел, как веселилась Любаша: не дожидаясь кавале-

ров, сама махала платком музыкантам, приказывая менять вальс на мазурку, а мазурку на польку-мазурку.

«Я для нее не существую», — думал он.

Любаша хотела выбрать его, подошла, протянула ему рассеянно руку; Руднев встал, поклонился, собрался надеть перчатку, но она, думая, что он отказывается, поспешила взять капитана.

Капитан отщолкал с ней и, возвратившись на место, сказал:

— Важная барышня, доктор, вот бы вам!

Руднев не отвечал; ему казалось, все заметили, как он остался не при чем и как он глупо развел руками, смутившись.

— Да нет, — прибавил капитан, — Милькеев-собака обойдет ее! Все говорят, что она врезалась уж в него. Этакая собака!

Маша Новосильская взяла немного погодя Руднева вместе с Милькеевым и, сказавши им, чтобы они обменялись прозвищами: Василек и Василиск, подвела их к Любаше.

— Василиск! — сказала Любаша, и Руднев пошел с ней солидным шагом.

— Что вы так тихо идете? — сказала Любаша с досадой. — Танцуйте как надо! Какой же вы Василиск — вовсе не похожи!

— Да вы знаете ли, что такое Василиск? И в каком смысле употребляется это слово в Троицком?

— Конечно, знаю! Посмотрите, посмотрите скорей, как Варя кокетничает с Милькеевым, — отвечала она невнимательно к его вопросу.

«Конечно! — подумал он, — на вечере я кажусь ей жалок».

После этого подошел к нему Милькеев и звал делать вместе новую фигуру.

— Куда мне! Это вы вот с ловкостью почти военного человека, — отвечал Руднев.

— А вам завидно, верно? — сказал Милькеев, стараясь тащить его за руку.

Руднев вырвал руку и сказал:

— Прошу вас, не оскорбляйте меня! Довольно с вас всех ваших успехов. Зачем же топтать людей ногами? Не думайте, что я совсем колпак; это может очень серьезно кончиться!

Милькеев пожал плечами и пошел танцовать.

Мазурка кончилась; пошли ужинать.

— Что̀ вы этим хотели сказать: старого не воротишь? — спросила Варя, подавая Милькееву руку.

— Хочу сказать то, что сказано, без всяких штук...

Варя подумала: 10

«Кончено! Кончено! Он рассказал ему все! Хвалился, Боже мой! Хвалился, бессовестный! Ну, пусть, все равно... Дура я! низкая дура, зачем я приехала...»

Молча досидела она ужин, не слышав ни одного слова из речей Баумгартена, который рассказывал ей, как он в Nancy был la coqueluche des dames...

— А здесь я пария, — прибавил он весело и с заигрывающим выражением, надеясь, что она поймет это не иначе, как в обратном смысле.

— Oui, c'est vrai, — отвечала Варя. 20

После ужина, когда заиграли гросфатер, Варя, сгорая желанием узнать еще что-нибудь от Милькеева, подошла и сказала, подавая ему руку: «Пойдемте-ка со мною, я хочу с вами еще переговорить!»

Скрепя сердце, пошел Милькеев, которого уже ждала к себе Любаша, глядя на него с улыбкой из угла; но не мог удовлетворить любопытству Вари, которая желала бы самого худшего, но какого-нибудь решения; он не понимал ее намеков, потому что Лихачов не говорил ему ни слова об ней, и отвечал ей вздорными фразами, тем более, что последняя выходка Руднева его сильно тревожила. Варя вообразила себе, что он все знает и смеется над ней, хотела в бешенстве поднять вдруг платок перед ногами Лихачова, когда тому приходилось перепрыгивать через него, чтобы он упал, но Лихачов взглянул на нее и сказал: 30

— Вы бы, Варвара Ильинишна, пониже держали платок: я уж растолстел теперь и высоко прыгать не могу.

Перепрыгнул и молодцом пробежал с Nelly по зале.

Тотчас после гросфатера, он, крайне недовольный, но не показывая никакого вида, уехал и, только проходя мимо Сарданапала, сказал ему на ухо:

— Сестра твоя дурит опять. Я сюда ездить не буду, если она будет эти финти-фанты строить.

И не одна Варя уехала домой по морозу, несмотря на все уговоры хозяйки, которая позвала даже доктора и при нем спросила, здорово ли это после гросфатера за двадцать пять верст по весеннему холодному ветру ехать. Этот самый доктор отвечал: «да, это скверно; грудь у вас и так часто болит; опасно!», но сам поспешно спустился вниз, схватил свою шубу и теплую шапку из комнаты Милькеева и, не дожидаясь саней к подъезду, вызвал Филиппа из кухни и уехал.

— А за дядей опять вернешься, — сказал он в сенях. — Ведь ты не озяб?

— Какое озяб, — отвечал Филипп, — я из коридора все глядел на вас, как вы за хорошенькими увивались. Чемодановская барышня по-моему лучше всех будет... Милашка, просто ахти мне! Да все хороши! Что говорить... И англичанка вышла в розовом платье, Лизе графской говорит: «Лиза, я тебя люблю, когда дай воды!» Другие смеются над этим, а мне ничего! Уж чисто-то по-русски всякая дура у нас говорить умеет на деревне. А она так нежно, не *воды*, а *вади*. Дусецка такая, шельма! Нечего сказать, вечеринку важную Катерина Николавна задала. Все хороши! Только вот коптевская Варвара Ильинишна подкапустила. Что, у них траур по ком, что ли?

— Никакого траура нет! Ступай скорей! Нечего балагурить тут.

XII

В Чемоданове все родные осыпали Анну Михайловну и Любашу вопросами: кто там был и как... Богоявленский присутствовал тоже при этом, отвернувшись ото всех и барабаня пальцами по оконному стеклу.

— Ну-с... Так значит, много вчера мужицкого пота съели, — спросил он Любашу, оставшись с ней один.

— Я не понимаю, что̀ это такое, — сказала Любаша.

— Я тоже думаю, что не понимаете; нельзя и требовать... Я спрашиваю, что все эти наряды, небось, стоили в сумме столько же, сколько стоит десятка два дубленок простых, да избы две новых, да коровушки три... Ась?

— Какой вы, Алексей Семеныч! Какой вы этакий!..

— Какой этакий?

— Такой вот, все на всех сердитесь... Злой, недобрый... 10

Богоявленский поправил очки, улыбнулся, посмотрел на нее и покачал головой.

— Наивное существо! так вас называет, я думаю, ваш интересный доктор! Он в вас влюблен, это верно! А что вы думаете, кабы я пришел вдруг, да все бы платья ваши посмял, да свечи погасил бы, да вино все, которое ваши поклонники так дули за ужином, если бы я все это отнял да мужикам бы роздал или мастеровым, это еще лучше, из них больше проку будет... так те бы меня злым бы не 20 назвали... Что̀ вы на это скажете?

— Какое же вы имеете право... Кто же вам даст! — с досадой сказала Любаша.

— Право! Эх, Любовь Максимовна! Что̀ такое право? Уж на что ваш чувствительный доктор плох, да и тот смекнул это: говорит, что закон есть суррогат добрых нравов.

— Что̀ такое суррогат, вы мне скажите... Как вы любите слова такие употреблять...

— Это я в семинарии, Любовь Максимовна, привык к книжности... Схоластика!.. Вот вам еще... опять не по- 30 няли... Вы запишите да у своих джентльменов и спросите...

— Все не по вас! А там все люди хорошие... Например, Милькеев — разве он не ученый, не умный...

— Милькеев еще лучше других... Живой человек, не застыл, не даст заснуть себе... Милькеев еще перед другими молодец; ну, а еще-то кто?

— А Лихачов Александр Николаич? а Николай Николаич, предводитель!

— Нашли кого! Один псарь, другой все о легальном развитии дичь порет... Слыхали и мы... И нашим и вашим: как бы и перед мужичком полиберальничать, и дворянский окладец сохранить. Фарисей! Дома лампадку держит, чтоб мужики ему больше верили...

— А сама Катерина Николавна какая добрая... Мужиков хотела давно на волю отпустить с землей — не пошли...

— Расчухали, видно, что царской милости ждать не вернее ли будет! Впрочем, Катерина Николавна ничего еще, и знаете, есть французская поговорка: в царстве слепых кривые королями бывают... Так, разумеется, Катерина Николавна ваша между другими кривая... Хоть одним глазом, да видит... Это, Любовь Максимовна, французы так умно говорят, а не я...

— Я не люблю французов, — отвечала Любаша. — Вот еще вам Nelly, англичанка, какая милая!

— Напрасно французов не любите; они молодцы, как раз нос утрут тому, кто зазнался; а Nelly этой я хоть и не знаю, да не думаю, чтобы из Англии что-нибудь могло быть доброе... Самый подлый народ... Все равно, как Николай Николаич Лихачов, и туда и сюда... Либеральничают-либеральничают, а сами ни с места... Да впрочем, на что вам все это говорить, вам это скучно слушать... Скажите-ка лучше, что Варвара Ильинишна блистала там или нет?

— Нет, — отвечала Любаша, — я ей говорила, чтобы она дикого платья не надевала; нехорошо было, да и кажется, она рассердилась, что с ней мало танцовали... Я боюсь, не грустит ли она, бедная. Вы бы съездили сегодня...

— На цуфусках? — спросил Богоявленский.

— Нет, надо похлопотать... Только вы уж не дразните ее...

— И мы ведь люди, и мы ведь люди, Любовь Максимовна. Не один ваш докторок человек, Любовь Макси-

мовна. Достаньте лошадку, мы съездим... Отчего же не съездить...

Любаша выхлопотала Богоявленскому лошадь, и он застал Варвару Ильинишну в блузе, на диване; около нее читала по складам дворовая девочка Саша, которую Варя давно уже учила, как могла. Предсказание Руднева сбылось: бок и грудь заболели. Сарданапал куда-то уехал; и они могли одни просидеть целый вечер.

Варя приняла Богоявленского с радостью и, не скрывая своих чувств, благодарила его. 10

— Не за что! — отвечал семинарист, краснея, — ну, как вчера?

Варя помолчала с минуту и, выславши вон Сашу, сказала:

— Верно уж знаете, коли приехали! Правда ваша, что люди гадки... Так гадки, так уж гадки, один Бог знает, как...

— И без Бога мы с вами знаем, Варвара Ильинишна. О прошлом что вспоминать — вперед лучше урок...

— Дома-то как покойно, как хорошо... Особенно как 20 этого осла нет — брата... От радости душа вся изныла, что одна... Лежишь тут одна... Тихо так все, вдруг птички запищат, начнут в карниз ноготками скрестись... и побежит-побежит что-то по сердцу... Эта комната угловая; слышно, как они под крышу лазают...

Богоявленский вздохнул и не отвечал.

— В монастырь пойти разве? — продолжала Варя, — в чистенькую келью; герань на окнах поставить...

— Без веры? — сказал Богоявленский. — Заморят заутренями, постами, бесплодным трудом... Лучше бы вы 30 занялись чем-нибудь здесь... детей бы учили дворовых... Мало ли их у брата... Одних его детей сколько... Родные все ведь...

— Скучно! — сказала Варя.

— Труд — наслаждение, а не скука, — отвечал Богоявленский. — Когда бы я имел здесь возможность трудиться, я бы был доволен... Давайте вместе детей учить...

Мимоходом и сами вы будете развиваться... Мы им кой-что впустим в уши... Брат ваш не раскусит...

— Где ему! — сказала Варя, пристально глядя на него. — Хорошо, я подумаю.

— Что вы на меня смотрите?.. — спросил Богоявленский.

— Смотрю я на вас зачем? — рассеянно отвечала Варя, — смотрю я на вас затем, чтоб...

— Ну, договаривайте... Не надо ни перед чем останавливаться...

— Не надо? Милькеев то же говорит, только иначе... Вчера я с ним мазурку танцовала... Какой он славный!

— Вот видите, вы танцовали мазурку с Милькеевым, так за это одно все другие невзгоды можно простить.

— Неужели он так хорош?

— Милькеев-то! Милькеев — сила, сударыня вы моя; конечно, у него есть кой-какие феодальные закорючки, да все это я ему прощаю; тщеславен он, суетен, и это правда, для форсу многое делает, да по крайней мере кровь кипит... Милькеев! Я вам скажу, я — человек смелый, я — человек способный, а он еще смелее и способнее меня!..

— Так надо в него влюбиться! — с натянутой кокетливостью сказала Варя.

Богоявленский покачал головой.

— Опять вы за свое! Опять вы за свое! Оставили бы лучше эту игривость, бок у вас болит, по-французски не знаете... А я вот вас, несмотря на все это, люблю... — сказал он вдруг, краснея.

— Я давно это вижу и удивляюсь, — отвечала Варя... — Мы с вами бранимся, и кроме того, все лучше меня — первая Любаша.

— Что Любаша! Любаша — простак... Ее дело вот чай разливать вкусный, голубые ленточки надевать, канареек семячком кормить да с этой бабой-доктором таять в углу... Она вот истории жирондистов не могла дочесть, первой главы не дочла; Милькеев ей привез, а она попро-

бовала да и говорит отцу: «Нет, папа́, скучно!» А тот спрашивает: «Кто тебе дал?» — «Милькеев». — «Ну брось, может быть, еще какая-нибудь скверная книга!» Она, дура, и бросила! А вы — другое дело, Варвара Ильинишна! Вот вы ничего не знаете: в записке писали *нонеча*, вместо *нынче*... и вместо *часы* — *чесы*. А Белинского стали же читать; про Татьяну и про Онегина поняли, да еще, что̀ мне понравилось, что вы с Белинским не согласны: нашли, что он Онегина слишком балует, а вы его бранили. И конечно, он ленивый пошлец — больше ничего.

Варя молча курила, закинув голову назад... Богоявленский продолжал:

— Потом-с ваше пение мне нравится... Нечто вроде так называемой души вижу в нем; еще-с что? Еще считаю вас способной к решимости и труду... в минуту горя не забыли Сашу; дело — великое утешение! Читать только надо, самой учиться...

Варя вдруг спустила ноги с дивана и села перед ним.

— Ведь вы мне это все зачем говорите... Жениться хотите?.. А? так, что ли? Ну, что, говорите. Жениться вы хотите на мне?

— Положим, что и так... А разве ни за что нельзя?

— Нельзя! — сказала Варя с слишком уже смелым и вызывающим движением головы и глаз.

— Нельзя — так нельзя! Верно потому, что я кутейник?

— Какой вздор... я необразованная, а все-таки не такая, как вы думаете!.. За кого вы меня принимаете? Нельзя по другой причине...

Она встала и прошлась по гостиной.

— Когда бы вы знали, — сказала она, — как бок у меня болит. Надо послать за доктором завтра. Или уж оставить так и умереть... А? как вы думаете? — продолжала она, подходя к нему, и положила ему руку на голову.

— Белые, белые волосы! — сказала она, — а у меня чорные, как смоль. Парочка! Жаль, что нельзя... Ведь нельзя; как вы думаете?..

Угловатые ужимки Вари, ее сознательно-томные позы, катанье глаз, детское надуванье губ и внезапные, негодующие повороты головы не понравились бы другому, но Богоявленскому было не до таких тонкостей: он находил ее умной, способной к труду, отважной, страдающей и нелюбимой людьми, — сколько общего с его судьбой! Сколько родного!

Погладив его по голове, Варя опять села против него и сказала:

— Если вы хотите знать, почему нельзя, я вам скажу...

Голос ее прервался.

— Скажу, — продолжала она, не сводя с него глаз.

Богоявленский знал, что она хочет сказать, но молчал нарочно.

— Видите ли, — продолжала она, кокетливо рассматривая и трогая руками пуговицу его жилета, — видите; вы говорите, что Александр Николаич Лихачов — псарь... А если я вам скажу, что он был для меня не псарь, а царь... царь — и я была его рабой... Что̀ вы теперь мне скажете?

— Скажу вам то, что̀ вы мне недавно сказали: за кого это вы меня считаете — за дурака, что ли... Ха-ха-ха! Так от этого нельзя? Никак?

Богоявленский даже встал и продолжал смеяться.

— Чего вы хохочете? Что̀ с вами?..

— Как над вами, Варвара Ильинишна, не хохотать!.. Вы, видно, думаете, что я, как многие, на словах одно, а дошло до развязки, так и свобода и права женщин к чорту! Нет, я не свинья, я не дворянчик гнилой какой-нибудь... А что же, если кроме вас с Лихачовым никто не ликовал, так уж все дело и дрянь вышло? Напрасно! Напрасно! Да посудите сами: это только свинье или дураку прилично так думать.

— Кто ж вас знает... — отвечала Варя в раздумье. — Никто так не думает... кроме вас: ведь это исключение...

— Нельзя сказать, — возразил Алексей Семенович. — Милькеев тоже говорил в Чемоданове, что все это — чисто

вопросы эстетические, от которых пользы никому нет, иначе сказать — вздор; а я прибавлю, что это — остаток восточного рабства... выдумка мужчин для собственной гастрономии и эгоизма... Ну-с, и теперь нельзя?

Варвара Ильинишна протянула ему действительно слабую от утомления руку; дала расцаловать себя, не только эту руку, но все лицо и шею; сама не отвечала на его ласки, но и не мешала ему.

— Хорошо, успеем еще, — сказала она наконец. — У меня уж в голову вся кровь ударила... в глазах зелено... теперь уезжайте, а на днях займемся нашей школой... Да не забудьте мне привести, что вы обещали, какую-то книгу вам Милькеев дал?..

— Это французская, которую madame Новосильская на чердак забросила, а Милькеев ее там разыскал. Чего не поймете, запишите, вместе в лексиконе отыщем. Ну, будьте здоровы да непременно за Рудневым пошлите насчет груди вашей; на это дело он годен!

Богоявленский уехал обновленный и такой бодрый, каким он уж давно не бывал... Сделать из Вари лихую гражданку и помощницу себе, увезти ее потом в Петербург, скопить для этого еще денег, еще дольше и упорнее переносить духоту и мерзость чемодановского дома; наконец ее приданое (*ей, ей*, конечно) на подъем... Фу! Куда развернулись ширь и гладь будущего! Мелочь вещественных страданий ему нипочем, не привыкать; а жена будет пылкая и умная, молоденькая и отважная, ученая и игривая.

— Выучу, выучу ее всему, что знаю... Даже вот что; говорят, в Троицком собирается Руднев читать из естественных наук краткие лекции для взрослых, Баумгартен — историю литературы, а Милькеев — политическую историю. Рудневу уж тут с его дурацкой мистикой раздолья не будет: как ни финти, а законы притяжения не нарушит и *горе* земную оболочку не вознесет. Тот француз сообщит ей факты, которые можно будет разъяснить ей как следует, а на Милькеева я надеюсь... А ведь надо согласиться,

что Новосильская эта — женщина небесполезная; все-таки с своими барскими затеями...

Но эта последняя мысль испугала Алексея Семеновича, и он со вниманием остановился на ней.

— Нет, Богоявленский, семинарист и хам, — сказал он себе, один содрогаясь и краснея, — ты будешь поистине хам и гад, если из-за одной личной удачи забудешь статистику вознаграждения, которая правит природой, — везде угол падения равен углу отражения; и неравенство положений делает колебания счастья и горя слишком неравными; без колебаний этих нельзя, но конечный идеал истории тот самый, который представляет средняя температура погреба: колебание в ней так ничтожно в сравнении с тем, что̀ делается на дворе в январе и в июле, что для практики эту разницу можно считать нулем. И как бы ни было тебе хорошо, с людьми мириться не след! Тебе лучше, а другим в эту самую минуту, может быть, стало хуже от невыносимой игры страстей, которые порождает весь этот социальный хаос, возведенный в закон хитрецами! Стыдись, Богоявленский! едва повезло, уж ты и размок... Вот тебе живой пример этот Милькеев! Барчонок, его там балуют и ласкают, а он все свое ломит... Вперед, вперед!.. Так вот и сдается мне, что кто-нибудь теперь вдруг сильно застрадал!

С такими мыслями вошел он в чемодановский дом и на конце темной залы застал Любашу в слезах...

XIII

Когда после отъезда гостей из Троицкого в доме все утихло и последний раз зазвенела сенная дверь, которую затворил за собой истопник, почитатель Баумгартенова таланта, — Милькеев не мог заснуть; он погасил свечу, которая мешала утреннему свету, опустил сторы и долго ходил по комнате. Внезапный гнев Руднева, его отъезд, когда постель уже была готова, — все это навело его на догадку о любви Руднева к Любаше...

Едва только он убедился в этом, как им овладело раскаяние. Не Любашу щадил он в этом случае; он еще не *кончил*... В его глазах женщина не падала оттого, что любила до брака вполне; он сам бы женился с удовольствем на такой девушке, если бы он вообще хотел жениться; и много случаев русской жизни доказывали ему, что прошедшее не мешает русским девушкам выходить замуж и быть счастливыми не хуже безукоризненных; но увлечь девушку он считал позволительным только тогда, когда сам увлечен и когда девушка страстна и мечтательна, когда 10 она борьбу и наслаждение в силах предпочесть покою и миру. Словом — такт был здесь для него важнее правил. Любаша была не такова; да и сам он не чувствовал к ней ничего сильного; она представилась ему довольно новой и занимательной по простоте и по веселости, которые, к несчастию, у нас встречаются все реже и реже, и он занялся ею. Желание настоять на своем разжигало его... И при всем том у них не доходило даже до поцалуя. Раз только, в один из тех несравненных зимних вечеров, когда все маленькое общество их блаженствовало после работы, они, 20 вальсируя, вышли из гостиной в залу; Любаша пожала ему руку (так что перчатка ее лопнула) и сказала, вздохнув так сладко: «Ах, Боже мой! я не знала, что здесь так хорошо...»

Дальше этого у них никогда не заходило... Он, конечно, не был уверен, как бы дело пошло дальше, и потому досадно было оставить! Катерина Николаевна не позволяла ему ухаживать за Nelly, и, глубоко уважая серьезную девушку, он боялся в самом деле прикоснуться к святыне ее чувств; здесь хотел попробовать (ведь без романа скучно!) — и здесь нельзя... Эту бы он не пожалел и для 30 ее же пользы, для ее «развития» довел бы ее хотя до поцалуя в зимнем саду... Но Руднев, милый Руднев! Этот нежный сын крестьянки, его умный собеседник; эта душа, только с виду трепетная, внутри же чистая и твердая — его ли оскорбит он, у него ли отнимет он скромную отраду брака? Руднев не создан для бродячей жизни... Его назначение — ровный, честный труд, любовь спасенных им

людей, наука и цветущая семья... Решившись оставить Любашу, Милькеев повеселел; ему казалось, что Руднев тоже не спит. Он пошел сам на конюшни; кучера уже проснулись, запрягли ему сани в одиночку, и он поехал в Деревягино.

Руднев не спал, но дома его не было.

Милькеев встретил дядю.

— Вы уже встали? — с удивлением спросил он старика.

— Привычка — вторая натура, — сказал дядя, — привычка — вторая натура... Привычка вставать в 7 часов.

— А что, доктор спит?

— Доктор уехал...

— Уехал!

— Напился только кофею и немедля в округ. Я и сам его просил отдохнуть, увещевал, просил-просил, увещевал — ничего! «Я, говорит, и то не в свои сани залез, говорит, в свет пустился уж очень...»

Милькеев молчал. Он бы хотел погнаться за Рудневым, броситься к нему на шею, уверить его, что Любаша к нему равнодушна. Сколько проездит он в этом сомнении, в этом страдании!..

— Есть старинный стишок: «Наш доктор сердце потерял! ловите, девушки, ловите!» — заметил между тем дядя, лукаво и не без радости поглядывая на Милькеева.

Когда Милькеев приехал в Троицкое, все, в том числе и Любаша, спали; он сам заснул, давши себе слово отдаляться от милой девушки, как бы трудно и досадно ни было ему иногда; но когда проснулся далеко за полдень — Любаши уже не было; Катерина Николаевна лежала с головной болью в постеле, Nelly грустно сидела в зале у окна, Баумгартен задумчиво играл у себя в комнате на скрипке; дети бродили по комнатам.

— Скучно без гостей! — сказала Оля, лениво влезая к нему на колени.

— Скучно без гостей, — повторили Федя и Юша хором.

— Ему без Любаши скучно, — заметила Маша.

— Tout passe! — сказала Nelly, подавая ему руку.

— Tout change! — отвечал Милькеев, взял книгу из шкафа и сел читать.

Между тем Руднев мчался в кибитке на службу. Пересказать все отвращение, которое он чувствовал то к себе, то к Милькееву, невозможно. Даже Любаша на минуту не раз падала в его глазах: то, что̀ прежде казалось ему не только естественным, но и основательным в ее вкусах, теперь унижало ее.

«Нет, она пуста и недобра! На что прельстилась! Ведь истинно хороших сторон Милькеева она не понимает; она любит его рост, его находчивость! Пустые качества, которыми и Воробьев сумеет блестеть на уездном бале!.. Да! на уездном!» — думал он потом. «А этот разве только на уездном?»

Больше же всего он презирал себя за свою слабость, за свои уступки, за то, что он согласился покинуть свое одиночество и увлекся куда же!..

— Ворона! Ворона в павлиных перьях! — твердил он... — Ощипали жалкую ворону! ощипали, и поделом...

Наконец он заснул и проснулся только у избы старшины, которого должен был освидетельствовать. Здесь ожидало его несколько тихих утешений. К счастью, старшина был в самом деле болен, и кривить душой из гуманности ему не было нужно; потом пришла старуха и бросилась ему в ноги, благодаря за сына, которому он купил лекарства на свои деньги.

— Батюшка, отец мой, — говорила она, — отец ты наш родной. Спасибо тебе, что ты нами не брезгаешь!

— Встань, Матрена, встань, — говорил сконфуженный Руднев, — встань, что я — образ, что ли, что ты передо мной лежишь... Это грех... Бога благодари... Без него, Матрена, и я бы не помог. Встань же, голубушка, прошу я тебя... Ведь это моя служба, я за это жалованье получаю.

— И не говори, отец мой, что жалованье!.. Что̀ жалованье? А то дорого, что ты нами, бабами да мужиками, не

брезгаешь! Я уж, ты не прогневайся, яичек и холста тебе принесла. Возьми, ото всей души я тебя прошу...

— Не надо, старушка; нечего мне и брезговать-то... Моя мать была такая же крестьянка, как ты.

— Знаю, знаю, батюшка. Я не смела только сказать тебе... Я ведь ее знала. Я из одного двора с ней... Вот я тебе что скажу, — только ты не прогневайся: я ей, твоей маменьке-то, ручку даже раз вывихнула, ледешок ее перевернула с горы на маслянице. А она, родная, и ушиблась: «молчи, говорит, Мотря, ничего»; а какой ничего, — за костоправкой пришлось посылать!

Старуха долго еще рассказывала; Руднев угостил ее чаем, и на прощанье она уговорила его взять на память от сына хоть собачку, которую сын и принес тотчас же.

Руднев был растроган; взял собачку, поцаловал старуху, поцаловал сына, который испугался, когда он протянул руку, чтобы обнять его, и после до того обрадовался, что сказал: «Что ты это! что ты это?.. Не стоим мы того, чтобы ты нас цаловал-то, Василий Владимірыч».

«Вот это жизнь моя! — думал Руднев, садясь в свою повозку с помощью своих новых друзей, — бедные, народ, книги! А я-то! на что решился... О, малодушие. О, низость! И все говорят: он ничего — он ничего, не глупый и не урод! О, гадость! Господи! Господи! Нет, ни Любаша не заслуживала осуждения, ни добрый Милькеев. Всякому своя дорога!»

Решено, — он должен воротиться в свой тихий приют и бросить все свои занятия в Троицком. Иначе как еще победить сладкую привычку беседы с Любашей? Он не должен встречать ее. Но больница и средства делать пользу, но дети? Жалованье, которое уже вперед рассчитано на книги, на инструменты, лекарства для бедных, на помощь дяде!.. Отчего же он не может заниматься всем этим, понемногу отвыкая от *нее*... Слава Богу, теперь пост; все будут говеть в Троицком; веселья тоже кончатся, и жизнь пойдет опять тем ровным ходом, когда человек имеет время всмотреться во все подробности своего

быта и своих трудов; книги уже не покроются опять пылью, не будет он искать всякий раз по четыре часа сряду, куда он положил четыре месяца тому назад сравнительную таблицу роста, долговечности и смертности; возобновятся одинокие прогулки в окрестных рощах; стоит только не поддаваться просьбам Милькеева и Катерины Николаевны.

Двое суток ездил Руднев по округу; на третий день, остановившись на почтовой станции, вспомнил он, что Чемоданово недалеко отсюда — всего три версты. С крыльца можно было видеть даже лесок их и пятно еловой аллеи в саду... Горько ему было взглянуть туда. В первую минуту, увидев эту аллею, он хотел взять почтовых лошадей в ту сторону, но скоро опомнился и уехал к себе...

Дядя сказал ему, что Милькеев был два раза: один раз поутру, тотчас после бала, а другой раз приезжал вечером и оставил какую-то записку.

— У вас что-нибудь да вышло, Вася? — сказал дядя... — Уж не косточка ли между вами?..

— Не знаю, ничего, — отвечал доктор и пробежал записку.

«Вы сердитесь? За что? Вы не говорите со мной, как дитя. Стыдно. Пожалуйста, поискреннее. Вы знаете, что мне быть с вами в ссоре больно! Верите ли?»

«Верю или не верю? Верю, верю! — сказал себе Руднев, — что больно! Но каково мне! Его боль скоро заживет. У него столько друзей: Катерина Николавна, Маша, Nelly, Федя, Оля, Лихачов; *она*, наконец, она его любит... Он и не заметит этого несчастия между всеми заботами. А я уже побуду один... Мне так будет легче!»

Тотчас же написал он записку к Катерине Николаевне с просьбой уволить его от уроков и умолял ее не приглашать к себе после визита в больницу. На другой день, скрепя сердце, поехал он осмотреть своих больных и как преступник робко вышел на крыльцо... Он так и ждал крику, нападения... «Вот, думал он, выскочит опять Милькеев». — Но все было тихо... Перед грустной

душой мелькал задний двор, стая галок на крыше большого сарая, бор, избы, вдали — гора и церковь... В лицо пахнуло весной... Он сел в сани и, как бывало полтора года тому назад, поехал мимо сада. Дети играли уже там: раздался издали какой-то крик. Федя бросил вверх фуражку, но никто из них не побежал даже в его сторону...

Подъезжал он к своему крыльцу и видит вдруг — кучер водит двух оседланных лошадей... Одна, кажется, с дамским седлом... Кто такая — Боже!

Нет, не может быть, да нет!.. Ее смех в приемной...

Вот тоже знакомый голос говорит: «Это он приехал».

«Да, это он!» — отвечает Любаша. Она, она сама, сияя, встречает его в дверях — розовая, озябшая, веселая, в чорной амазонке и теплых перчатках. Она протягивает ему руку... За нею брат улыбается, за братом — дядя, тоже вне себя от радости кружится в углу туда и сюда... с табакеркой.

Они остались одни на минуту:

— Папа опять болен, — говорила она, а сама так и хочет засмеяться. — Папа опять болен... Бок опять (и расхохоталась). Не умею я притворяться. Я приехала к вам потихоньку. Взяла брата. Папа здоров...

Руднев молча стоял перед нею.

— Что же вы молчите?.. А? Бабушка не позволила мне больше ездить в Троицкое: говорит, что вы и Милькеев совсем меня испортили. Ну, я не вижу вас — и скучно. Только вот что. Папа вовсе не болен; он желает вас видеть и послал брата верхом. Такая распутица (никто не видит; дайте мне вашу руку)... нельзя ни в каком экипаже... брат поехал верхом к вам; я выпросилась с ним к Полине, а дорогой и свернула с ним к вам.

Руднев все молчал и слушал.

— Что же вы молчите?

— Что̀ я могу говорить? — отвечал Руднев, опуская голову и поднимая руки. — Что̀ я могу говорить? Любовь Максимовна!..

И, ни слова не сказав ей, вышел в переднюю и закричал, чтобы оседлали Бурбона.

Филипп оседлал Бурбона, и всадники наши, съехав шагом в соседнюю вершину, на всех рысях пустились по дороге к Полине... Руднев дожидался один в роще, пока Любаша с братом доехали туда, и ждал недолго. Сережа приехал назад мигом, и они поехали в Чемоданово.

— Когда же Любовь Максимовна воротится? — решился спросить ободренный счастьем доктор.

— За ней после обеда пришлем кучера, — отвечал Сережа.

— А не будет поздно?

— Нет, Люба не труслива; доедет. Уж как, Василий Владимірыч, бабушка сердилась!

— Да я ничего не понимаю! — сказал Руднев.

— Да ведь и я не знаю, за что. Уж расходилась старуха! кричала, кричала — и язвительная она у нас какая! Алексей Семеныч зовет ее: вампир, а я говорю — какой *нам пир* — скорей: не пир — бомбардировка! страх!

XIV

Дня два после троицкого вечера, часов около двенадцати утра, приехал князь Самбикин и, встретив в гостиной Любашу за книгой, спросил у нее, кто дал ей эту книгу.

— Милькеев, — сказала она.

— Вам он, кажется, вскружил голову... Я думаю, мы скоро будем опять танцовать, только здесь, по случаю вашей свадьбы, — начал забытый кирасир.

— Нет, — отвечала Любаша, даже не краснея, — Милькеев никогда не будет моим мужем.

— С вашей стороны, значит, несчастная любовь...

— Александр ⟨Васильич⟩, Александр ⟨Васильич⟩, вы ли это! — воскликнула Любаша, — за что вы мне говорите такие колкости? Милькеев, если бы и посватался за меня, — так я за него не пойду...

— Отчего?

— Как вам сказать... Я вам скажу откровенно: ведь с мужем нельзя только сидеть и разговаривать... С ним я бы разговаривала целый день... но только, чтобы он был мне не муж...

Князь молчал и не верил и верил.

— Любовь Максимовна, — продолжал он, немного погодя, — вы знаете, что я давно думаю об вас. Я давно хотел сказать вам решительно... Конечно, я не такой умный и не такой красноречивый человек, как ваш Милькеев, но я зато давно люблю вас...

— Александр ⟨Васильич⟩, — отвечала Любаша, — я помню, как мы с вами вместе играли, как вы меня пасли на лугу и заставляли есть сено из копны в саду... Все это я помню... Помню, как мы с вами качучу вместе танцовали. Жаль всего этого, да ведь не воротишь...

Любаша сначала говорила спокойно, потом заплакала.

— Оставьте это лучше, Александр ⟨Васильич⟩... подите теперь к бабушке... Я ничего вам больше не скажу, ни слова... Подите к бабушке... Почему я плачу — не спрашивайте.

С этими словами Любаша ушла.

Князь был человек мирный и смирный; хороший служака, точный исполнитель, любим был начальством, ни разу не ссорился с товарищами; войны не любил и уехал с Кавказа, потому что боевая жизнь была слишком тяжела для него и понаслышке он называл ее варварством, прибавляя, что рано или поздно люди поймут, что это вздор, и будут решать все дипломатическим путем (Милькеев отвечал ему раз на это, что царство варваров он предпочитает республике стрикулистов); хотел даже навсегда бросить кирасирский полк и поступил, как мы знаем, в комиссариат; но мать, которая с ума сходила, когда видела его в латах и белом мундире, хотела, чтобы он вернулся в этот полк, и он, как смирный сын, повиновался; и в самом деле, в белом мундире и золотой каске он с своими большими, чорными и тихими глазами, с

кирпичным румянцем на впалых и смуглых щеках, был вполне красавец.

Сколько раз сама Любаша любовалась им и говорила ему:

— Ах! Александр ⟨Васильич⟩, как вы, в самом деле, красивы! Смотрю я на вас и ни одного недостатка в вас не вижу!..

А он, бывало, покраснеет, улыбнется скромно!.. И вдруг!.. Князь вовсе не был горд и не считал себя аристократом против Милькеева; но теперь самолюбие и ревность взбесили его. Как! этот пройдоха, балагур и пустомеля; этот троицкий учитель! туда же носится верхом и через барьеры скачет — штафирка невыносимый... И она еще говорит, что он не будет ее мужем?.. Это вздор. Она лжет! Итак, прекрасная гостиная в помпейском вкусе; его кабинет, отделанный дубом и липой; его банановое дерево над письменным столом, на который не смеет сесть пылинка... Его дом в виде chalet. Все это должно задаром пропасть?..

В таких мыслях застала его бабушка; старуха вышла в этот день в гостиную и была в духе. Не заметив сначала, что князь грустен, тем более, что лицо его чаще всего выражало скуку или ровно ничего, она начала ему рассказывать, что Машка окотилась и опять заела одного котенка... «Такая глупая кошка. Не могу расстаться с ней... а стоило бы ее утопить!.. Не могу: у нее такие милые глаза, когда она мяучит... и что за шерсть — тигр, настоящий тигр!.. Ну, что, как веселились вчера?

— Ничего, — отвечал князь.

— Что̀ наша гордячка?

— Ничего — здорова...

— Уж и здорова стала! Удивляюсь! Что̀ за баба — то с мужиками возится, то лежит, то балы дает... Удивительно! Ну-с... а в чем она сама была?

— В белом шолковом платье и с пунцовой камелией на голове...

— Ну, это довольно обыкновенно. Впрочем, к ее значительным чертам это должно идти... а Полина наша в чем?

— Полина — в малиновом тарлатановом с белым поясом, а в голову Катерина Николавна ей дала из зимнего сада две белые ammaryllis... Прекрасно!..

— Хороша, должно быть, была... Сколько же всех их танцовало?.. Две девочки — Маша и Оля, англичанка, Полина, Любаша... Варя — шесть пар всего.

— Нет, семь пар. Еще еврейка Дебора была... дочь винокура.

— Вот как! А в чем же это она была?

10 — В пестром бареже... Очень хорошенький бареж...

— Ишь ты, матушки! Ну, и та красива?

— Даже очень недурна.

Старуха вздохнула, покачала головой и усмехнулась.

— Потеха! — сказала она, — нашей сестре-старухе только и остается, что хохотать в углу... Жаль, что я поленилась, не поехала... Да весело ли было, по крайней мере?

— Так себе, — отвечал князь.

— Вы что-то не по себе... и бледны, дружок, сегодня!..

20 Князь не отвечал и, опустив глаза, поиграл пальцем по столу.

— Что̀ с вами?..

— Я уж больше не буду ездить к вам, Авдотья Андревна.

— Как, что вы, что вы!..

— Признаюсь вам, я сделал сегодня предложение Любовь Максимовне... и она наотрез отказала мне.

Старуха помолчала, внимательно посмотрела на князя; лицо ее покрылось багровыми пятнами; она сбросила с

30 колен кошку и встала.

— Что̀-с? — сказала она, и светлые глаза ее так блестели, по лицу разлилось столько злобы, что князь испугался.

— Да, — сказал он робко. — Любовь Максимовна отказала мне...

Авдотья Андреевна помолчала еще, встала, вышла вон и кликнула Любашу.

Князь, между тем, сконфуженный и огорченный, предугадывая семейную сцену и жалея Любашу, удалился поскорее, сел в сани и уехал. Любаша вошла.

— Что̀ это значит, — сказала старуха, бледнея и краснея, — что̀ у вас было с князем? Отчего ты отказала ему? Отчего? Что̀ такое это значит... ты с ним по беседкам сиживала! Нехорош он? Красавец!.. князь, богат, добр, смирен... Чего тебе еще нужно?.. А! чего тебе еще нужно? Разве я век тебя буду кормить, — тебя и твоего безумного отца?.. 10

— Я, бабушка, не хотела вас огорчить. Я думала, вам все равно, пойду я за князя или нет...

— Нет, это штуки! штуки... Ты повадилась с этой распутной бабой... с графиней водиться... Что̀ она тебе за пример?.. У тебя там что-то в Троицком шашни завелись. У тебя есть страстишка там...

— У меня, бабушка, нет страстишки ни к кому.

— Ишь! Неколка упрямая!.. Отец, две капли отец... Ты лучше мне скажи — скажи прямо, кто твой предмет. Уж не Милькеев ли ваш кумир... О! матушка, выходи, 20 выходи за него. Знай только, что не видать тебе от меня ни крошки на приданое, если ты выйдешь за кого-нибудь другого, кроме князя.

Любаша молчала, и старуха утихла.

— Позвольте же спросить, — продолжала она, приняв опять свой хитрый и спокойный вид, — кто сей предмет... Милькеев или Руднев?.. Верно, Милькеев!..

— Бабушка, — отвечала Любаша, — мне ни Милькеев, ни Руднев, ни князь и никто не нужен. Князь мне нравился прежде, только теперь я уж не об нем думаю. 30

Помолчала еще Авдотья Андреевна с минуту, села и взяла даже опять на руки Машку, которая давно мяукала из-под стола, глядя на нее.

— Как знаете, Любовь Максимовна, — заключила она. — У вас есть отец; а я вам бабка... больше ничего. Но знайте, что я вам не помошница, если вы выйдете за Милькеева или за Руднева; да и в дом вас с женихом

вашим не пущу... Да, постойте, забыла... Ваши поездки в Троицкое кончены... Сейчас напишу Полине, чтобы она вас туда не возила.

Любаша, оставшись одна, думала недолго; она пошла к отцу и рассказала ему все.

— Сегодня князь сватался? — спросил отец.

— Сегодня. Что̀ мне делать?

— Что ж! прежде никак хотела за него, а теперь уж расхотела.

10 — Что̀ ж делать! Кабы другой мне не нравился, я бы за него с удовольствием пошла.

— Кто ж тебе нравится?

— Сама не знаю; и князя жалко, и все это так противно!..

— Да ты мне скажи толком, Руднев тебе по душе, что ли, или нет?

— По душе.

— Так пошли Сергея за ним... я с ним поговорю — вот и все... Эка невидаль.

20 Максим Петрович лежал на диване, когда Сережа ввел к нему Руднева.

— А! медик! — сказал будто сухо старик, протягивая ему руку. — Устали?..

— Нет, ничего, Максим Петрович. — А ваше здоровье как?

— Мое здоровье?.. Да что вам сказать! — Сережа! тебя тут спрашивали?.. Пошел к чорту, болван. Убирайся к шуту, — спокойно и с благодушным выражением лица сказал старик. В глазах его видна была даже ласка.

30 Сережа ушел не торопясь и вовсе не обиженный.

— Как вы находите, умен Сережка этот или глуп? — спросил отец.

— Он напустил на себя что-то, — отвечал Руднев.

— Вы находите... Да вы совсем не о том думаете, я вижу... Глаза у вас бродят... туда-сюда...

— Нет, нет... Я слушаю... Я говорю, ваш сын что-то напустил на себя... Небрежность, что ли, неуместную...

или просто скучает... А что же, Максим Петрович, ваш бок?

— Да что бок... Все хлопочу о том, как бы без мушки обойтись...

— А сильно болит?..

— Да, болит-таки! А вы вот послушайте... Вот... Ну, что̀ там есть?..

— Позвольте, позвольте — вы помолчите... Дышите только...

— Ну, ну... дышу... 10

Старик покачал головой и радовался, думая, что Руднев будет уверять, что слышит шум или свист, когда у него вовсе и не болит бок.

Однако Руднев не нашел, разумеется, ничего и сказал: «Должно быть, это — наружная простуда... и просто вы потритесь чем-нибудь... или горчишник», — прибавил он, думая, согласится ли старик терпеть его задаром или нет...

— Хорошо, я ужо поставлю горчишник.

— Впрочем, зачем же?

— Нет, нет, поставлю ужо... Сергей, а Сергей, вели приготовить горчишник. Да небось озябли, выпьем пуншу?.. Пуншу, Сергей... Али уж Любашу подождать... Она лучше делает чай. Подождать Любашу, Сергей... Слышишь, слышишь? 20

— Ну, слышу... слышу... Что̀ пристали...

— Болван!

Выгнав сына, старик опять обратился к своему любимцу и, проницательно вглядываясь в его лицо, спросил:

— Дядюшка-то ваш здоров?

— Здоров... благодарю.

— Не в благодарности дело. Я серьезно спрашиваю: каково вообще его здоровье... Постоянно ли он здоров или болеет когда? Я давным-давно его не видал... Э-э! еще когда! Когда жена-покойница была жива... Он всегда хилый был, а ведь препочтенный человек... и пребедовый делец. Много постарел? 30

— Не скажу... Кажется, у дяди такая наружность, что и в молодости не молод и в старости не стар.

— Не ослабел?

— Незаметно.

Максим Петрович еще помолчал, прошелся по комнате; повздыхал, побарабанил в окно, еще повздыхал, сел и вдруг так глубоко задумался, что Рудневу стало тяжело на него смотреть, и он вышел вон... Перешагнув за бездну порога, Руднев от людей узнал, что Авдотья Андреевна ушла с Анной Михайловной ко всенощной; что Сережа тоже куда-то пропал, а Богоявленский еще утром уехал к Шемахаевым.

Но мысль его не могла долго останавливаться ни на Богоявленском, ни на Максиме Петровиче, ни на Сереже. Глаза его не могли оторваться от окна и от грязного снега той дороги, которая, загибаясь за церковь, вела к Полине. Что чернеется, что белеется — все высматривал, все ждал с тревогой, но эта тревога казалась ему блаженством после *той* тревоги, которую он только что перенес.

Наконец всадница выехала шагом из-за церкви, въехала и на двор... И что за счастье, что за невыразимая радость: старухи у всенощной, Сережи нет, Богоявленского тоже нет... Максим Петрович только... Недолго, однако, и это его тревожило. Любаша тотчас же сбегала к отцу, воротилась и сказала, указывая на часы:

— На два часа мы одни, на два часа... Пойдемте на нашу ель смотреть...

— Вы будете амазонку еще снимать? — сказал с горестью Руднев.

— Очень нужно. А пуговицы на что? Помогите их кругом пристегнуть...

Устроили все: пуговицы пристегнули; положили развернутую книжку на окне — на всякий случай... и сели. Ель была на месте; только уже не в снегу или инее, как зимой, а кой-где бурая подсохлая, кой-где зеленее зимнего.

— Я все это так только баловалась; а люблю-то я вас, — сказала Любаша.

Руднев взял ее руки и, припавши к ним, умолял ее не играть его чувствами, не обмануть его, не измениться! Они

просидели вдвоем больше часу, разговаривая и молча, и мучаясь страхом, чтобы им не помешали.

Наконец пришел Максим Петрович и позвал Руднева к себе. Старик был смущен.

— Вы — хороший доктор, — сказал он, — я вас давича хотел обмануть; а вы сейчас узнали, что у меня внутри ничего нет. У вас будут деньги! Вы говорили с Любашей?

— Говорил, Максим Петрович.

— О! Боже, Боже! — прошептал старик и прошелся, опустив глаза в землю, несколько раз по комнате.

Потом постоял перед Рудневым, посмотрел на него и сказал:

— Матушка Авдотья Андревна — женщина крутая... Она умная, способная старуха, да княгиню очень любит... Смолоду дружны. Княгиня и так, и сяк... И женила бы сына, и нет! А матушка уж из одного того, чтоб ее не огорчить, не пойдет против нее... И то сказать — княгиня раз, как у нас неурожай был, сто четвертей хлеба прислала; вот хвалят все Любу, что она одевается хорошо... а ведь это княгиня ее выучила: сама сколько ей шила и кроила. Ну, и матушка ей была не без пользы! Ротозей-то, соня, соперник ваш, еще в корпусе был, а у княгини люди забушевали, не слушаются; той где справиться! Истерика! Вот матушка приехала к ней; да кого сама за загривок, а кого на конюшне обработала без станового! Баба лихая! Теперь еще случаи были... Та ни леса не сумеет продать, ни сделки никакой сама сделать, а матушка со всяким гуртовщиком или с торгашом простым будет чай пить... Попьет-попьет и устроит все — и для себя, и для княгини... Видите сами, пойдет ли матушка против нее?.. А коли сын решился — значит, мать позволила и заодно с ним... У меня, милый мой, гроша нет... Приданое Любе — бабушка даст... Надо молчать и ждать, и практику заводить... Понемножку-понемножку попадем мы на дорожку! Да-с, сударь мой! Терпи казак! а уж мы с Любой — подождем, потерпим, я за это ручаюсь; а пока отправляйтесь-ка домой, пока не заметили ничего! Вы куда теперь — в Троицкое или в Деревягино?

— Нет, мне еще в округе дело есть, я не раньше недели вернусь домой.

— Ну, с Богом! Да, постойте! Милькеев-то приударял за Любой или нет? Она говорит — да...

— Как вам сказать, право, не знаю!.. Он — человек, впрочем, очень благородный.

— Чорт ли мне в его благородстве! — сказал старик, — не мудреное благородство, коли она любит не его, а вас. Я разве боюсь его, что ли?! Я рад только, что он на бобах будет.

— За что вы его не любите? Я давно это замечаю, — спросил с удивлением Руднев.

— Не люблю, вот и баста! А ну, отправляйтесь-ка подобру-поздорову...

Прощаясь, старик обнял Руднева и подставил ему для поцалуя свою розовую щоку и белую бороду.

Авдотья Андреевна вернулась из церкви и узнала от людей, что Руднев был тут и долго сидел в темноте с Любашей. Она тотчас же пришла к сыну и сказала ему:

— Коли у тебя есть чем дочь снарядить и не жаль тебе, что она за прохвостом замужем будет.. отдай хоть сейчас... Я ваши шашни вижу. Отдай ее не только за Руднева, пожалуй, хоть за Филатку-кучера... Только ни ты, ни она, ни женишок от меня тряпки старой не увидят, и Рудневу дверь моя заперта отныне! Имеющие уши — да слышат!

— Чего вы, чего вы, матушка! — отвечал Максим Петрович, — спросите хоть у Любы самой; Руднев ей ни слова не говорил любовного; а вот Милькеев — другое дело: этот точно волочится... Да спросите у Анны Михайловны, она на вечере разве не была?

Анна Михайловна сказала, что это правда, что Милькеев весь вечер был с Любашей, а тот только одну кадриль танцовал.

— Не разберешь их, Ашенька! — сказала Авдотья Андревна дочери, оставшись с нею одна. — Не беспокоить же мне княгинюшку из-за этих прощалыг... И князь

такой милый, такой приятный человек... Что̀ сталось с нашей девчонкой — непостижимо! Во всяком случае, вели Иринашке, чтобы когда Руднев или Милькеев приедут, для обоих нас нет дома...

— Особенно Милькеев, особенно Милькеев! это — такая звезда! — воскликнула Анна Михайловна, — я сама видела, как он Лихачову на меня головой кивал. Так наглостью и пышет, так и пышет... А что̀ он такое? Ничего, просто ничего!

— Бог с ними, Бог с ними! Лишь бы не ездили, да чтобы семинарист наш какие-нибудь записочки не стал бы передавать... Где он?

— Повадился к Варваре Ильинишне, к ней все льнет! — донесла Анна Михайловна.

— Час от часу не легче! — засмеявшись сказала старуха, — одну внуку за лекаря-мещанина отдать, а другую — за кутейника чахлого! Ну, да эта как знает; я люблю княгинюшку и князя моего милого; и кабы не они, я бы померла со смеху, глядя на людей. Без дураков да без глупостей — на свете тоска бы была смертная. Не правда ли, Аша?

— Oui, maman! хи, хи, хи! Правда, правда! Вы всегда правду говорите! Потеха, потеха! А я сейчас же побегу сказать Иринашке, чтобы не принимали ни Милькеева, ни Руднева. Сейчас же, сейчас!

XV

Пока Руднев странствовал по округу, сперва убитый горем, а потом вне себя от счастья, а Милькеев опять стал уединяться, читать и раздумывать, — Варвара Ильинишна принялась за дело. Богоявленский узнал, что в Троицком лекции расстроились и потому начал ездить через день к Варе и вместе с нею учить дворовых и крестьянских детей. Конечно, сразу дело не могло идти превосходно; дети слушали и смотрели с удивлением, боялись, смеялись

некстати, затоптали, засморкали, заплевали весь пол; девочки закрывались руками, мальчики скорее ободрялись и затевали драки. Варя смущалась и говорила, что из этого не будет толку; топала, схватила даже одну девочку за ухо, когда та двадцать раз не могла сложить слово «тя-тя» и говорила «дя-дя». Но Алексей Семенович обращал все это в шутку, уговаривая ее быть спокойнее и не воображать, что все пойдет так плохо, как сначала.

— Подождите месяца два, и вы сами их не узнаете! прежде всего, чтобы они нас не боялись.

За порыв выдрать девочку за ухо он строго журил свою вспыльчивую невесту.

— Старый Адам, Варвара Ильинишна, старый Адам проглядывает; признайтесь, пристукивали иногда?

— Все случалось! — отвечала Варя, краснея.

Богоявленский, может быть, не совсем выгодно для дисциплины, заставил ее покаяться при всех детях, что она поступила дурно, и скоро простил ей этот поступок, убеждаясь все больше и больше, что она хочет трудиться с честностью и рвением. Прежняя ученица Вари — Саша, помогала им и указывала самым отсталым детям большие и пестрые фигурные буквы на огромном листе, которые раскрасил в Чемоданове сам Богоявленский, пока господа занимались дальше с самыми способными.

— Не все помещичье надо бросать, — сказала однажды Варя, — вот у нас, у всех, знаете, привычка на масляница или на церковные праздники раздавать пряники и ленты девочкам; нехорошо только, что бросают как собакам, а они рвут друг у друга и дерутся за них. А я думаю, не будет ли практичнее по праздникам раздавать награды тем, кто хорошо учился.

Богоявленский покачал головой в раздумье.

— Видите что! Выходит, что они это для нас делают одолжение, а мы им за это платим; и потом надо от них требовать, чтоб они в самых занятиях приманку видели, а не в побочном. Скверная вещь эти награды — для награды учиться.

— Сначала только, — отвечала Варя. — Чтобы приманить, заохотить, пока скучно еще им; или вот что, не будет ли практичнее так: ленты — это точно награды, заметно очень; а пряники, постила и яблоки, так вроде десерта всякий раз, чтобы было веселее. Вот в Троицком мы еще до театра слушали раз целый вечер, все вместе, как Милькеев читал из истории Рима, а мы пили чай и даже мороженое ели — как-то бодрее слушали.

— Ну, это другое дело, это другое дело! — воскликнул Богоявленский, не сводя с нее радостного взгляда и 10 думая: «Не ошибся я в ней!»

— Правда, правда, — повторял он и, обнимая ее, долго целовал и упивался неожиданным счастьем.

Катерина Николаевна звала еще раз Варю и, получивши ответ, в котором Варя отказывалась болезнью, подумала, что болезнь эта душевная и сама, объезжая всех благодарить за вечер, заехала к ней и приглашала опять; несколько раз хотелось ей навести Варю на откровенный разговор и приучить ее к себе, но страшно было так поступить с человеком, которого она считала раздражительным. 20

Варя отвечала ей, что она очень занята теперь, учит детей и что она вообще для света не создана.

— Отчего же? — сказала Катерина Николаевна. — И что за свет — Троицкое? Уж так просто! И я сама терпеть не могу всех этих стеснений и натяжек. И почему вы думаете, что вы не созданы для света?.. Вы скажите, что вы не привыкли к нему — это другое дело.

— О, нет-с! Я просто не создана! Во-первых, я по-французски не умею хорошо говорить, — с гордостью сказала Варя. 30

— Так это разве значит созданы, разве с французским языком родятся?.. Вы стройны, танцуете очень легко, легче Nelly и Любаши, — так говорили мне Милькеев и Лихачов-меньшой, и даже мой Федя... Федя находит, что даже слишком легко: «не слышно, говорит, ворочать не́чего». Видите! лицо у вас такое, что везде заметно будет...

— Своим безобразием! — сказала Варя.

— Нет, оригинальностью, — ласково продолжала Новосильская... — Полноте, вы сами знаете, что это так. Зачем вы от меня отдаляетесь? Наше Троицкое вроде болота: стоит только попасть в него, уж не выйдешь. Вот Руднев слишком год не ехал к нам, а теперь как с нами подружился. И Любаша, и Полина Протопопова стали часто ездить. Я вас уверяю, что Бог дал вам все, что̀ нужно: рост, и талию, и развязность, и ум, и глаза выразительные, а это что вы говорите о французском языке, или вот еще уменье одеваться к лицу, эти вещи не Богом даны от рождения, а приобретаются.

— Я не знаю, что̀ Богом дается... Если Он и дает что-нибудь, так очень несправедливо: одним — много, другим — ничего. Вот Полине дано все — и красота, и богатство, и ловкость, и положение в обществе...

— Какое же общественное положение? Что ее муж был губернским предводителем и что она со всеми ревизорами и флигель-адъютантами танцовала в первой паре мазурку? Это ведь не всякому нужно... и по-моему, она не умна, и скучна, и суха... Да вот еще насчет французского языка я хочу вам сказать... Остроумие, находчивость, некоторые приемы, наружность и еще стройный стан — это везде и всегда будет годно; а язык этот скоро, поверьте, перестанут считать у нас необходимым для светской жизни... Что̀ за вздор... Знает — хорошо, не знает, да все другое есть — не беда... Мало ли есть порядочных англичанок и итальянок, которые ни слова по-французски не знают... И русский язык теперь уж со времен Пушкина, Лермонтова и Тургенева приноровили так, что на нем и всякие эти легкомысленности очень мило могут выйти. Бросьте вы это недоверие и приезжайте к нам. После занятия с детьми еще лучше повеселиться... Наша молодежь тоже вся занята по утрам, и они могут вам много пользы сделать своими советами.

— Merci, — отвечала Варя, — мне не нужно — со мной Алексей Семеныч занимается... Впрочем, я подумаю и, если будет время, постараюсь... Я вам очень благодарна.

Новосильская уехала, упрашивая ее приехать не с церемонным визитом, а ночевать дня хоть на три, сначала, потому что деревни их за двадцать пять верст друг от друга; а Варя в тот же день виделась с Алексеем Семенычем и рассказала ему, как она отклонялась от приглашений графини.

— Щемило сердце, ох как? — спросил он.

— О! нет, — отвечала Варя.

— Будто бы?

— Перестаньте, какой вы демон, — отвечала Варя. — У меня вот когда щемит, когда вы начнете через очки так пристально на меня смотреть.

— Так хочется?

— Да нет же, нет... Противный!

— Если хочется, — продолжал, спокойно наблюдая ее душевные конвульсии, Алексей Семеныч, — если хочется, — говорил он медленно, — то можно и съездить. Прятаться от людей, значит сознавать себя бессильным. Отречение — вздор, сидя в своей мурье, но отречение для высокой цели, на людях, при увлекающей обстановке — вот это дело. Умей, живя с людьми, презирать их пустые радости, бороться с ними — вот это дело: в Фиваиду удаляются только те люди, которые не могут вытерпеть, чтобы не скоромиться постом. Поезжайте... Поезжайте. — Развлечение и испытание.

— А если?.. А если?.. — спросила Варя.

— Ну, что ж? Что̀ значит это «если»?

— Если? — повторила она, краснея.

Богоявленский прошелся по комнате.

— Если? — повторил и он, — ну, что ж, тем лучше... Увидим, что̀ делать дальше.

— А наше слово, — слово, которое мы друг другу дали?

— Что̀ слово? Что̀ такое слово, Варвара Ильинишна? Слово — пустой звук... Из-за слова надевать на себя цепи! Помилуйте... Кому же этим пользу сделаешь, посудите, Слово! Дело очень ясно: если *его* вы встретите, обсудите

дело сами; теперь вы сблизились со мной, короче узнали меня и сравните, взвесьте, кто вам больше понутру...

— Как мило: *понутру?* разве можно так женщине говорить?

— Вот видите, хвостик Новосильской и остался... Ну, этак пусть будет — по душе, если нутро вам не понутру. Так, я говорю, разберите, взвесьте, оцените все, как знаете — к весне увидим, едем ли мы с вами в Петербург или я, бедняга, один уеду... А все-таки, сами согласитесь, что лучше нам разойтись, чем ненавидеть друг друга...

— Стоило поднимать все это!.. Чтò за любовь ваша, когда вам все равно: хочешь — любишь, хочешь — нет... Чтò это такое?.. чтò это такое? Это разве любовь? это разве любовь?.. — настаивала она, кокетливо приступая к нему.

— Любовь-с, любовь-с... Значит, любовь-с, когда я вот вижу, как вы от радости, что можете ехать в Троицкое, сами не знаете, чтò говорите! А все-таки не сержусь.

XVI

«Простенькое платье к лицу, прекрасное пение, скромные игры с детьми, неглупые разговоры с Катериной Николаевной и Nelly — молодец Варя! На все руки! И как Катерина Николавна ко мне внимательна! Значит, я не так уж плоха! И за что я так себя презирала? Теперь, если бы и *он* меня увидел, я бы верно не была бы ему противна!»

Вот как в трое суток, проведенных в Троицком, зазналась Варя!.. Сознание того, что она дома все это время трудилась с Алексеем Семенычем, а теперь имеет и здесь успех, вдруг подняло ее до той бодрости, при которой человеку кажется, что он все себе может позволить и что ему все сойдет с рук.

Как нарочно, Лихачов приехал на третий день. И она не совсем ошиблась в его чувствах. Неприятно пораженный сначала ее присутствием, молодой человек скоро ос-

тался доволен ее скромностью и несколько томным и серьезным видом, который приобрела она после того, как у нее болели грудь и душа. Глядя мимоходом, как она, гладко причесанная, в чистом воротничке и темном шолковом платье, смотрела с Машей большую книгу с старинными гравюрами и с участием расспрашивала ее о той или другой картине и делала сама разные замечания, Лихачов подумал:

«Как приятно, однако, видеть, что женщина, которой страсть нас обременяет, может еще жить помимо нас и не утратила способности к тем умным наслаждениям, которым всякого научит этот удивительный дом!.. Когда бы она меня забыла!»

Интересуясь знать, как об ней думают здесь, он спросил, нарочно, у Nelly:

— Кажется, Варвара Ильинишна ночевала у вас две ночи?

— Да, две ночи, — отвечала Nelly, — у меня в комнате... Маша уходила спать к матери... а она была со мною; она мне нравится. Бедная! она, говорят, так одиноко живет!

— Этого нельзя сказать, — отвечал Лихачов, — разве недавно. А то ведь она безвыездно по неделям гостила то у Протопоповых, то у Авдотьи Андревны. Очень бойкая девушка, но с дурными манерами.

— Эти три дня она гораздо лучше была, чем на вечере. — Кажется, тогда она была чем-то огорчена, — сказала Nelly.

Катерина Николаевна выразилась про нее гораздо откровеннее и вместе с тем хитрее.

— Она ведь не глупенькая, Александр Николаич, только ужасно иногда кривляется, и я с ней все время на иголках... Того и гляди, чем-нибудь обидится; и еще вы заметили, как она плечами шевелит, когда смеется... Смеется совсем как горничная. Но она гораздо умнее Любаши, гораздо умнее! Вот бы вам заняться ею; воспитаем ее вместе, а вы женитесь; приятеля вашего сестра, и за ней

пятнадцать тысяч серебром приданого. Годится все-таки... Мне кажется, что из самолюбивой и умной девушки можно все сделать... Она теперь детьми крестьянскими занимается. Как вы думаете?

— Мне кажется, что симпатичною женщину *сделать* так же невозможно, как самого умного и образованного человека *сделать* таким писателем, каков был Пушкин. Это — врожденное. Посмотрите, вот Nelly ничего почти не делает и, кажется, от нее особенной пользы не видать; да уж одна польза оттого, что она такая, а не иная... Не знаю, впрочем, как вы думаете... А я думаю, что я прав...

Катерина Николаевна на это не отвечала ничего, но глаза ее заблестели от двойной радости: слышать и правду, и похвалу своей Nelly.

Уезжая, Лихачов пожал руку Варваре Ильинишне и шепнул ей:

— Прощайте; когда бы вы всегда так мало обращали на меня внимания, как бы я вас уважал... Вы здесь были очень милы!

Крайне довольный, что *все это*, кажется, кончилось, и Варя будет себе жить, как и все и еще гораздо лучше прежнего: учить детей с Богоявленским, будет ездить в Троицкое, в Чемоданово и к Полине — он встал на другой день, по обыкновению, рано и, севши со стаканом кофе у окна в большое кресло, взял Пушкина, которого знал почти наизусть и все-таки не мог никогда им вдоволь начитаться. Вспоминая о Варе и Nelly, напал он нечаянно на одно стихотворение, крайне свободное и ясное до того, что только Пушкин мог себе позволить такую вещь:

Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем...

Прочитавши Пушкина, взял он другого своего любимца, Шекспира, и отыскал то место, где французский король, уводя с собою обиженую отцом Корделию, говорит, что «отвергнутая родными, она ему еще милее...»

Мысль за мыслью, Nelly и Корделия, Варя и Nelly, Любаша, Nelly и Корделия, Любаша, Варя и Nelly, Nelly, Вакханка, Клеопатра, Варя и капризная Катерина в «Исправленной строптивой», гражданский труд и бодрость, освобождение крестьян, либеральная должность, новый домик и свой очаг — вдали путешествие изредка как будто одиноким холостяком, но таким одиноким холостяком, который знает, что̀ ждет его дома в глубине русских полей и за родными рощами, не на песке построенное счастье, — а жена добрая, синеокая, румяная, с утра разодетая и всегда ровная, как водное зеркало того озера в зелени, на берегу которого они все веселились два года тому назад.

Мысль за мыслью, картина за картиною, дошел он до того, что задал себе вопрос: как на него смотрит Nelly, и любит ли она Милькеева или нет, и что этот чудак Милькеев, в самом деле, намерен заняться Любашей или это он хитрит, чтобы там чего-нибудь достичь? Ведь он откровенен иногда до наглости и бесстыдства; но чего он ищет, чего он хочет — иногда так же трудно узнать, как у самого таинственного скрытника; скрытник молчит не сложно, а этот чудак отыскивает тысячи новых рессурсов в своем изворотливом уме и так часто является в новой коже, что в него надо бы было бить вперед, как в птицу на лету, если бы только можно было уловить, куда он полетит завтра!

«Да, в этом и весь вопрос! Куда он полетит завтра?»

С этими мыслями Лихачов, надев дубленку и шапку набекрень, как всегда, сходил покормить собак на псарню, посидел на конюшне с кучером, полюбовался на мартовские поля, с которых крупными пятнами уже начал сходить весенний снег, и хотел велеть давать себе обедать, не дожидаясь брата, который уехал надолго в город, как вдруг в воротах показался на беговых санках Милькеев.

Лихачов был ему всегда рад; он кликнул кучера, чтобы принять у него лошадь и распречь ее, но Милькеев распрягать не велел, и тогда Лихачов заметил, что у него и

глаза невеселые, и выражение всего лица какое-то скучное и сухое.

— Что̀ с тобой? — спросил он, введя его во флигель.

— Что̀ со мной? — спросил Милькеев, сбросив с себя полушубок. — Скучно, вот что̀ со мной... Душно, скучно... Тоска такая, что сил нет...

И он начал скорыми шагами ходить взад и вперед по комнате.

— Нет! Это отвратительно, весь век провести в этой скромной доле... Это невозможно... Я уеду! Душа моя! Дай мне взаймы пятьсот рублей.

— Постой, постой... ты мне скажи...

— Нет, ты мне скажи, дашь ты мне пятьсот рублей... или нет? А то поеду чорт знает к кому занимать... В Чемоданово поеду, к Рудневу, к Сарданапалу — осрамлюсь, но займу хоть по частям... а уеду...

— Да куда! Куда, скажи...

— Куда уеду? Что̀ тебе до этого? Можешь ты мне дать пятьсот рублей или нет?

— Смотря по тому, скажешь ты или нет, куда едешь.

— Ты рутинер или нет? — спросил Милькеев, — дурак ты или нет? Настоящий приятель ты мне на дне души или злорадный друг? Ну, что ж ты не говоришь? Скажи прежде всего, дурак ты или нет?

— Дурак, — отвечал Лихачов, — потому что ничего не понимаю, что̀ с тобой.

— К Гарибальди еду — вот что. Теперь понимаешь? Вот что! к Гарибальди хочу ехать... Но ты понимаешь, что̀ значит на такую вещь решиться нашему брату, в глуши? Понимаешь ли ты весь риск смешного? Я измучусь, если это не удастся... До тех пор, пока не сяду на тройку, не выеду вовсе из Троицкого — не успокоюсь... Это уж кончено!.. Дашь ты мне пятьсот рублей или нет?

— Погоди, у меня теперь всего двести, спрошу у брата; у него всегда есть деньги.

— Я хотел с братом твоим посоветоваться насчет кой-чего по этому поводу... Так я заеду к нему, а теперь

прощай. Я вижу, что ты веришь мне только на двести рублей серебром. Прощай!

— Постой, постой, — сказал Лихачов, — это вздор, дождись брата, я тебе слово даю, что я достану тебе или у него или у Сарданапала еще триста рублей. Будь только покоен... Садись, я велю твою лошадь отпречь и пообедаем, а к вечеру брат приедет... И чтоб тебя скорей утешить, подожди, я сейчас...

С этими словами он отпер ящик в письменном столе, отсчитал двести сорок рублей наличных денег, оставил себе двадцать, а двести двадцать отдал тут же Милькееву.

— И двадцать годятся, все меньше у других занимать!

Милькеев обнял его и сказал:

— Очень может быть, друг мой, что ты этих денег и не получишь. Потому что кто знает, что̀ там будет... Но поверь мне, я, даже и умирая, раскаяваться уж не стану, что занял их у тебя.

— Очень приятно слышать, — отвечал Лихачов, — так уж я на всякий случай заранее их похерю... Выпьем-ка хересу да потолкуем, какие это соображения заставили тебя сделаться таким коммунистом не на словах, а на деле... Иван! давай-ка обедать...

Милькеев с жадностью пересчитал еще раз деньги, выпил одну за другой три рюмки и съел две тарелки супу, объясняя Лихачову, как ему пришла мысль уехать в Италию.

XVII

Они спорили и рассуждали до тех пор, пока стало немного смеркаться.

— Любопытно было мне самому узнать, что̀ это меня гонит, — говорил Милькеев, — спрашивал, спрашивал себя, и все не могу... Строго добирался, уж не желание ли новых успехов — какие еще успехи? Меня здесь все любят и — баста! Ну, да что там толковать; знаешь ли, что

Руднев влюблен в Любашу не на шутку... Не знаю, как она... Они оба что-то перестали ездить... Руднев заглянул только в лазарет, а теперь в округе третью неделю пропадает.

— Уж не ты ли его счастливый соперник? Впрочем, знаешь ли, что̀ я тебе скажу... Что̀ с тобою? Что̀ ты встал?

— Послушай, — сказал Милькеев почти с отчаянием, — Бог с ними! Бог с ними! Дай Бог счастья Рудневу и ей... Они оба стоят его... Но мне, клянусь тебе, не до них... Что же брат твой не едет, скажи мне... Послушай, душа моя, успокой меня, доставь мне вечер наслажденья, вместо целой ночи муки, чтобы эти пятьсот рублей были все сполна у меня в руках сегодня... Не жди брата, съезди к Сарданапалу.

— Поедем вместе... А ты лошадь отпусти свою.

— Ну, нет, ни за что! — отвечал Милькеев. — Лошадь? Ни за что! Я завтра же уеду, чтобы с деньгами в кармане продолжать там, пока до Святой, уроки... Я забрал уже вперед деньги до половины апреля, и надо ей отслужить... Да я у тебя умру с тоски без работы. А там пока все пойдет своим чередом... Вели запречь и поезжай к Сарданапалу и привези мне еще триста рублей.

— Так вот сейчас ехать... Послушай, однако... После обеда.

— Последний раз, Лихачов; ведь скоро ты меня и не увидишь... А я один подожду... Может быть, брат твой подъедет пока.

Лихачов, покачивая головой, велел запречь себе лошадей и уехал; а Милькеев, спустивши только его с глаз, сел в свои сани и поспешил в Чемоданово.

В зале его встретил Максим Петрович очень неприветливо и спросил: «какими это судьбами?»

— Я к Алексею Семенычу! — сухо и надменно отвечал Милькеев и, не обращая большого внимания на старика, прошел мимо него в коридор, застал Богоявленского одного за чтением и немного погодя заперся с ним на ключ.

— Я хочу огорошить вас, Алексей Семеныч, — сказал Милькеев.

— Извольте, горошьте, я готов, — отвечал Богоявленский.

— Едемте вместе, недели через две, в Италию, к Гарибальди; в волонтеры поступим, если удастся... Отчего же? Англия также чужая земля для Италии, а англичан, посмотрите, сколько там будет... Денег нам надо немного. Мы с вами не на балы придворные будем ездить... Ах! Алексей Семеныч, Алексей Семеныч... Если мы с вами здесь в грязь и снег таскались на долгих в кибитках и в избах ночевали, так ведь вся Италия дворец перед этим... Чтобы бедный русский не мог перенести там то, что̀ он иногда переносил здесь... Да в этом смыслу нет! Я знаю, каково было ваше житье прежде; да знаю, здесь оно каково! А там-то, там-то! Горы! Неаполь — с народом вместе, и с каким еще народом... который страстнее и добродушнее французов и способнее их к той свободе, которой образец мы видим в Англии.

— Английская свобода — фальшивый идеал, — отвечал Богоявленский в раздумье.

— Положим так, в нем много фальши, потому что мало любви, но в Италии то же самое будет с любовью, и цветущего, бедного итальянского рыбака нельзя же ставить на одну доску с золотушным английским работником. Правда ведь... А? Скажите сами? Потом, в этом есть еще другие стороны...

Милькеев понизил голос.

Богоявленский встал, прошелся по комнате, потом сел и молчал.

— Конечно, — сказал он, — приятно быть атомом в таком прекрасном деле... Но откуда вам вдруг пришла такая странная и смелая мысль?..

— Это кто мне говорит? Это вы мне с удивлением говорите — смелая мысль? Вы? Послушайте; отчего же я вас, именно вас выбрал себе в товарищи... У меня есть тут два приятеля, пожалуй, друзья — Руднев и Лиха-

чов; однако я не к ним обратился... Выразить вам, как я уважаю Руднева — трудно, но я знаю, что ему предлагать этого не следует... Он — доктор, он страстно любит свой край, и к тому же его привлекает еще другое...

— Постойте, я знаю, что̀ это такое за другое! Знаю... И ему платят тем же. Я уверен. Она князю Самбикину отказала недавно... Но почему вы думаете, что и у других не может быть того же? Я, Василий Николаич, вас сам несколько уважаю, по крайней мере знаю разницу между вами и всей этой шаверой, которая нас с вами окружает, и не хотел бы, чтобы вы думали чорт знает что̀ обо мне, что я рутинер, трус что ли, или Хлестаков, хвастун на словах... Я здесь и сам не намерен киснуть и гнить... все-таки мы хоть на что-нибудь да годимся... Надо здесь трудиться, а там и без нас обойдется дело... Но пусть будет по-вашему — опыт, участие в движении, пусть мы имеем столько же права, как и богачи, ездить за границу и с бо́льшим смыслом съездить, чем все эти таскуны и обжоры... Но я вам скажу не обинуясь, что и у меня есть задержка здесь... Я хочу жениться... разумеется, если она не откажет... на Варваре Ильинишне... Девушка эта мне нравится... И я хотел бы вместе с нею, а не один уехать в Петербург. Я говорю вам это, надеясь на вас... Раньше времени не хотел бы я, чтобы кто-нибудь знал... Мне было бы это не по вкусу...

— И я ехал к вам с своим планом итальянского путешествия, с такой надеждой на вас... Подвергнуться насмешкам в моем случае опаснее, чем в вашем. Вас еще пожалеть могут, если ничего не выйдет, а меня осыпят насмешками... если не в глаза, так заочно! Да вот еще что... Она-то вас любит?

— Я люблю ее, — отвечал Богоявленский, — а она свободна и богаче меня в пятнадцать тысяч раз, так как у меня ничего нет, а у нее пятнадцать тысяч. Значит, если она согласна, она знает, что̀ делает...

Милькеев помолчал и поколебался, но начать дело и не доделать... это хуже всего!

— Бывает ведь и так, что девушка, любя безнадежно, выходит с горя за другого! Бывает ведь и так! — сказал он.

Богоявленский покраснел.

— Не знаю, насколько любит она теперь Лихачова, — отвечал он прямо, — но знаю, что любила прежде, что она была его любовницей; но ведь вы понимаете, должно быть, что это все вздор... Из такой женщины скорее выработается друг, чем из невинной и презренной фитюльки, которая сама не знает, что̀ она будет завтра...

— Я иначе вас и не судил... Но заметьте, что в такой-то женщине и друге особенно надо искать откровенности и правды... Уверены ли вы, что она с вами вполне пряма? Дело не в верности, а в искренности... уверены ли вы...

— Почти... — отвечал Богоявленский с болью на сердце.

— Смотрите, смотрите, я бы на вашем месте подумал бы, да и подумал.

— Спасибо за совет... Я вам дам ответ дня через три.

— Конечно, обсудите хоть сколько-нибудь... Я так буду гордиться, что мог увлечь такого человека, как вы... Я изною от нетерпения... Подумайте... подумайте, где мы будем, что̀ увидим, к чему привыкнем... Прощайте...

— Подумаю, подумаю... Прощайте, — отвечал Богоявленский, и в первый раз, с тех пор, как он знал Милькеева, он задумчиво вздохнул.

Милькеев, не совсем довольный своей полуудачей, прошел опять мимо старика, который бродил по зале, едва поклонился ему, и, не встретив Любаши и Сережи и никого из старших, уехал опять к Лихачову, а Богоявленский не спал до рассвета, ходил по комнате, даже в большие нежилые покои вышел, чтобы дохнуть свободнее, и половицы в огромной зале так скрипели всю ночь от его шагов, что Анна Михайловна наверху испугалась и завернулась с головой в одеяло.

XVIII

Милькеев вернулся от Богоявленского в десять часов утра, подождал Лихачова до полуночи и потом заснул как нельзя спокойнее. Лихачов только часам к четырем утра приехал домой. Сперва он часа два подряд убеждал Шемахаева дать Милькееву денег; написал, наконец, расписку и подписался под ней сам; потом, довольный успехом и вспомнив приличное и выгодное для него поведение Варвары Ильинишны в Троицком зашел в гостиную и застал ее за пяльцами. Варя с улыбкой протянула ему руку.

— Вот это дело, Варвара Ильинишна, — сказал он, — если бы вы были всегда такие... Что̀ ваша школа? Я слышал об ней в Чемоданове.

— Я думаю, там от нас с Алексеем Семенычем одни кости остались — так нас за это изгрызли... Я рада-радешенька, что нет охоты туда ездить теперь... Гораздо лучше... Посмотрите, хороша эта подушка?..

— Подушка недурна, а школа что̀ ваша, я спрашиваю?

— Подушка недурна, а школа еще лучше... Три девочки и два мальчика уж без складов стали читать. Правду говорит Алексей Семеныч, что женщины способнее вашего брата.

— Я думаю оттого, что у них больше желанья нравиться и угодить, — отвечал Лихачов, вставая, — однако прощайте; у меня дома гость — Милькеев...

— Вот, гость! друг закадычный, а не гость... Подождет — посидите... Ну, посидите еще... Скажите, отчего вы не спросите, для кого эта подушка?

— Что же тут спрашивать — дело понятное, для кого... Для Богоявленского. Ведь вы за него замуж выходите?

— Кто вам сказал?

— Никто... Я сам догадался... Ну, прощайте...

— Постойте (она взяла его за руку и притянула его к себе ближе) — видите ли что... Я думаю, по старой друж-

бе можно было бы и посоветывать что-нибудь. Вы подумайте — я одна-одинешенька! Кто мне от всего сердца добрый совет даст?.. Одна я, горемычная сиротинушка... А? разве неправда?

Варя говорила все это так естественно и полушутя, что Лихачов почти без опасения остался еще посидеть. Он сказал ей, что не по доброте, а просто для собственного спокойствия он очень рад этому браку и что верно они будут жить хорошими соседями. И хотя ему очень-очень хотелось, по привычке, подтрунить над ее планом, когда 10 она сказала, что соседями они не будут, потому что она возьмет свое приданое и уедет с Богоявленским в Петербург — однако он на этот раз воздержался... А воздержаться ему от этой привычки трунить было так же трудно, как трудно было Милькееву не «развивать», Баумгартену не бранить русских, а Рудневу не видеть Любаши.

— Да-с, Александр Николаич, уедем мы от вас, — продолжала Варя, не поднимая глаз от работы. — Уедем, и помину не будет об нас... Дай-ка ты мне руку на про- 20 щанье, положи ее сюда на пяльцы, чтобы я видела, — сказала она вдруг.

Люхачов встал.

— Не буду, не буду! — воскликнула Варя, вскакивая и обнимая его. — Останься, не буду, милый мой, не буду. Последний разок.

— А теперь что̀ ты делаешь... Оставь поцалуи; что только попусту тревожить себя...

Варя с отчаянием всплеснула руками.

— Неужели, неужели я так противна?! Неужели, 30 когда у тебя уж и не просишь никакой любви, когда я должна выйти за другого — и выйду непременно, ты не можешь мне дать ни минуты счастья... Один вечерок по-старому... Один вечерок... Саша! голубчик мой Саша!

— Я не для этого приехал, Варвара Ильинишна, — отвечал строго Лихачов. — Вы знаете, что вы бы меня не

дождались долго, если бы не нужно было по делу... Пустите же меня...

Но она уже забыла все — и Троицкое, и жениха, и стыд, и гордость... Его рука была в ее руках: она то подносила ее к губам, то к щекам своим, то прижимала к своей груди; каким отвратительным показался ей чемодановский семинарист: худой, бледный, ядовитый, в очках, с каким-то незнакомым, чужим воздухом вокруг себя...

10 — О, милый, милый мой! останься! Один вечер, один час... Господи, зачем я не Палашка, не Марфушка твоя какая-нибудь... Держал бы ты меня где-нибудь в чулане — я бы сапоги тебе чистила, снимала бы с тебя их.

— Варя, оставь; брат придет...

— Ты боишься брата? Очень нужно! Вот дурака бояться... Никогда не боялся прежде. Нет, я тебя сегодня не пущу, это вздор... Ты у меня наверху до полуночи просидишь... Я не пущу тебя...

20 Лихачов бережно отстранил ее, очень бережно, едва коснулся только, стараясь высвободить свою руку, и сказал: «Нехорошо смотреть на влюбленную женщину, которую сам не любишь! Отвратительно!»

Он сказал это нарочно, чтобы совсем покончить дело, хоть оскорбительно, унизительно для нее, но она была неисцелима, неумолима, непреклонна.

— А, ты бьешь меня, толкаешь! — закричала Варя, — ты думаешь, я позволю тебе себя бить... Я сама умею... Вот тебе...

30 И, осыпая его грубой бранью, она начала бить его слабыми руками по груди, по плечам, по спине, куда приходилось.

Лихачов стоял неподвижно и смотрел ей в глаза с твердым упреком. Ни слова не сказал он ей и только покачал головой и вздохнул.

Как только она услыхала этот вздох, весь гнев ее пропал как дым; она упала перед ним на землю и обливала его

сапоги слезами, целовала его ноги... И... все-таки просила провести с ней один вечерок по-старому...

— Все будет кончено! Все — я буду на Фоминой жена его... Смотри, до Фоминой всего недели две осталось — больше не увидимся, коли хочешь.

— Нет, Варя, не надо, — отвечал Лихачов. — Не надо — и тебе не совестно его обманывать...

— Совестно, конечно! Совестно, — утвердительно сказала Варя. — Я чуть не сошла с ума в тот день, когда потихоньку от него написала к тебе записку, помнишь? А теперь уж сам случай вышел... Ну, я ему расскажу — ему это ничего, если бы только не обманывать его, а это ничего...

— Да, в прошедшем, быть может, ему и ничего, особенно когда у тебя пятнадцать тысяч приданого, а теперь, в настоящем — другое дело... Пусти меня, пусти, или я, наконец, толкну тебя... Нечего тебе перед свадьбой поднимать все старое...

— Да я бы уж сегодняшнюю ночь забылась, а там!

Варя махнула рукой.

Лихачов был молод; ему показалась она прежней Варей, самой первой Варей, которую он когда-то встретил на Святках в штофном сарафане, с платком в руке и в удалую минуту русской пляски, той плутовкой, той черноглазой барышней-крестьянкой, которая отдалась ему молча и нечаянно, без обещаний и клятв и хитростей ни с той, ни с другой стороны. Он остался и поужинал с нею и братом, а после ужина пробыл с ней один до трех часов ночи.

— Смотри же, — сказал он ей, — не потеряй ты своего жениха; сказать неловко, а скрывать еще хуже: через людей дойдет... Опять, скажут, повадился... Смотри... Ведь я, ты знаешь, не люблю тебя...

— Знаю, знаю... — отвечала Варя, — и за это спасибо, что по-моему сделал... Я больше ничего не хочу.

Так она думала в эту минуту; но оставшись одна, когда Лихачов уехал, вдруг почувствовала всю слабость, всю вину свою перед Алексеем Семеновичем, все отвращение,

которое проснулось вдруг к нему, — когда она вспомнила такое славное прошедшее...

Не раздеваясь, сидела она с ногами на диване, распевая любимые Лихачовым песни и раздумывая, что̀ ей сделать... К утру она решила, что нечего делать: надо пойти в монастырь этим летом, а до тех пор пожить уж как хочется, а Богоявленский как знает! Ведь и она не виновата, что не может любить его, когда любимец истинный на глазах; а если не на глазах, то только мостик да плотина, да три-четыре версты полем, и до куреевского осинника, за которым стоит серый флигель, уж два шага!.. Какая же сила вынесет это!

— Ну! — решила она, наконец, перекрестясь три раза, и написала Алексею Семеновичу письмо:

«Не могу! не могу! Алексей Семеныч! Вы уж простите мне; но я за вас замуж идти не могу и в Петербург с вами не поеду! Я думала, что забыла его; однако — нет, не могу! Уж там как хотите ругайте меня, а я слово свое беру назад. И школу знать не хочу! Чорт с ней совсем. Разорвите это письмо!»

Богоявленский с наслаждением разрывал его, стоя бледный перед мужиком, которого прислала ему Варя.

— Вот тебе! — сказал он, вынимая из кармана гривенник, — не так-то я сам при деньгах, а то бы и больше дал за добрую весть. Куда это другая записка?

— Это к Александру Николаичу в Куреево, — отвечал мужик.

— Ну, это дело хорошее... Ступай скорей, брат! Он тебе больше даст. Постой, однако, я тебе тоже записку дам — в Куреево.

Перед обедом в Куреево вернулся Николай Николаевич Лихачов и прошел прямо в свой флигель. Молодые люди тотчас же пошли к нему. Молодой Лихачов еще поутру сознался Милькееву в том, как он провел вчераший вечер, и сказал ему, между прочим:

— Конечно, Богоявленского мне ничуть не жаль... но забавно, что он ищет ее обратить в свою веру, а она за-

благовременно ставит ему рога... Если мне жаль кого, так это ее...

— Позволь мне рассказать ему, что она его еще раз обманула.

— Зачем это?

— Я его зову с собой ехать... а он через нее колеблется.

— Ты зовешь его с собой? — с удивлением спросил Лихачов.

— Зову, отчего же. Это ему, должно быть, очень по душе.

Лихачов с усмешкой отвечал:

— Конечно, это твое и его дело, а не мое... Но, в самом деле, старики правы, когда говорят, что мы в странный век живем... Наша губернская семинария и Неаполь; кардинал Антонелли и Александр Семеныч Богоявленский; Ламорисьер и ты!.. Ну, впрочем, твое физическое, если не духовное, величие еще годно и туда, а вот я удивляюсь, как ты не боишься, что он своим присутствием всю поэзию Италии испортит?.. Чорт знает что — Богоявленский в очках над кратером Везувия...

— В этом есть правда, — отвечал Милькеев, — но я надеюсь, что он как-нибудь там сам окрасится...

— Разве загорит, — сказал Лихачов.

Говоря так, они переходили через весеннюю грязь двора во флигель предводителя; Милькеев уже занес ногу на крыльцо, но Лихачов приостановился и сказал ему:

— Смотри, ведь это от Вари мужик пешком плетется... вязнет; видно, проповеди твоего будущего спутника не очень-то плодотворны... По этакой распутице пешком мужика с любовными письмами посылать... Ужасно она груба!

Мужик, в самом деле весь мокрый и в грязи выше колен, снял шляпу, с которой лился пот, и достал из нее две записки: одну побольше, другую поменьше.

— Откуда тебя это пугнули, душа моя? — спросил у посланного Лихачов.

— Да барышня к чемодановскому поповичу послала. Братец лошадки не дал своей... Да какая тут лошадь! утопнет всякая... Я пеший в вершинке вон в той так и повалился навзничь — лежу, ей-Богу, ни-ни с места — ровно пьяный! К поповичу, Александр Николаич, к поповичу...

— Зачем же ты ко мне пришел?.. Разве я попович? Спасибо, брат, за это.

— И к тебе, Александр Николаич, и к тебе тоже... Я поповичу уж отдал письмецо; и он вот гривенник мне дал; снеси, говорит, в Куреево... там барин в гостях из Троицкого, высокий такой, курчавый... ему отдай...

Молодые люди взяли письма и прочли их тут же на крыльце. Прочли, посмотрели друг на друга и поменялись письмами.

«Сердись, не сердись; ругай и презирай меня, сколько хочешь, а я Богоявленскому отказала сегодня, — писала Лихачову Варя. — Не бойся, я тебе надоедать долго не буду; даю честное слово, что уйду или уеду куда-нибудь летом, только ты хоть два раза в неделю, хоть раз приезжай к нам по-старому! Алексей Семенович зовет тебя «консерватором», и он мне объяснил, что̀ это такое значит... Так ты должен старое любить... Видишь, какая я умница и милое дитя, шучу и об страстной своей любви к тебе не говорю ничего... Любить не надо меня, а только приезжай ради старого. Право, не надолго!

Твоя Варя Шемахаева».

«Я к вашим услугам, — писал Богоявленский Милькееву. — Хоть сейчас, хоть после Святой, когда вам угодно... У меня есть триста рублей с небольшим; у вас есть пятьсот. Отлично доедем. Будьте только осторожны, чтобы нас не задержали где-нибудь.

Ваш Богоявленский».

— Ну, что? — спросил Лихачов.

— А ты что̀ скажешь?.. — спросил Милькеев.

— Пойдем к брату пока... — отвечал Лихачов... — ответа не надо никому, — продолжал он, обращаясь к мужику, — скажи, что получили... Вот тебе полтинничек. Да барышне скажи, чтобы еще тебе дала за труды... Скажи, Александр Николаич Лихачов говорит, нехорошо даром в такую дорогу людей посылать... Поди, отдохни сперва в людской да пообедай у нас...

XIX

Полина едва только узнала, что Любаша отказала ее брату и что Авдотья Андреевна долго не будет пускать Любашу в Троицкое, — принялась сейчас же выпытывать от огорченной девушки, кто ей нравится, и, догадавшись по очень ясным признакам, что нравится именно Руднев, еще яснее намекнула Рудневу, что можно и почаще *сюда* ездить *теперь, так как они слышали стороной*, что он уже детям уроков в Троицком не дает... Руднев все это время не встречался с Милькеевым; как нарочно приезжал из округа в Троицкое, когда тот тосковал и строил планы в Курееве, и написал ему длинное и теплое письмо, упрашивая забыть все и простить ему «глупую вспышку», тем более, — прибавлял он, — «вы сами виноваты, что недостаточно еще переделали меня, несмотря на все ваше искусство затрогивать мне душу. Я не горюю теперь; вы, может быть, сами догадаетесь, почему, и при свидании я, милый мой, все вам подробно объясню. У меня теперь вдруг, *кроме всего остального*, скопилось так много работ по округу! Воробьев свалил на меня два вскрытия скоропостижных; я успеваю только благодарить судьбу за то, что в троицком лазарете теперь нет ни одного опасного больного. Хочется мне с вами давно поговорить целый вечер, да, Бог даст, в конце Страстной буду свободнее! *Я могу вас уверить, что ни одна женщина вас вполне* не убьет в моем сердце!»

В зале Полины, в минуты отдыха, у рояля, возобновились прерванные беседы... Сестра князя не мешала им: то

за две комнаты от них вышивала в пяльцах, то няньчилась в детской с Колей, то читала; муж ее был беспрестанно в отлучках, да и дома, сидя в кабинете, не обращал внимания на нескладную музыку Любаши, которая чаще всего играла одной рукой, потому что другая была в руке полуживого от счастья и от страха за свое счастье — Руднева. Иногда он успевал прочесть что-нибудь громко ей одной или при Полине... И при Полине хорошо; он взглядывал часто сбоку через книгу и выдел около себя розовые щоки и русые волосы, знакомые ямочки и веселые глаза, опущенные к работе. Сидели и по разным углам, то в том, то в другом укромном местечке, пробовали и за плющом, и на эсе за печкой, и на другом эсе посреди гостиной для очищения совести перед свидетелями. Иногда она играла как следует на рояле, и он смотрел целый час на ее спину и спину хвалил про себя, не говоря уже об игре.

Он рассказывал ей то самое, что̀ он решился рассказывать про себя Милькееву: про детское горе свое, про мать и дядю, про других недобрых родных, про разнородные муки молодости, которые теперь уже казались чем-то далеким и почти невероятным, наконец, про свою дружбу с Милькеевым...

— Хороший ли он человек? — спросила Любаша.

— Я другого такого не знаю! — отвечал Руднев с восторгом. И объяснил ей, почему он считает его таким, а не иным.

— Мне кажется, он такой самолюбивый и для самолюбия своего готов все сделать... И все-таки, я думаю, что он фарсит-таки, важничает немного...

— Бывает! но он имеет, по-моему, больше прав на это, чем другой!.. Скажите, любили ли вы его хоть на минуту?

— Разве можно любить на минуту? Любить можно только всегда; я с ним так шалила, шутила... Нравился он больше при других, в обществе...

— Как это странно, — заметил Руднев, — он то же самое мне говорил об вас; я спросил раз у него: хотел ли бы

он на вас жениться, а он отвечал: нет, я танцовать с ней хочу на всех вечерах, и за ужином, и за обедом рядом всегда хотел бы с ней сидеть и воображать... воображать; что мы друг друга не сегодня завтра полюбим страстно и без последствий...

Любаша на это не отвечала, и легонькое облако пробежало по ее лицу.

— Это нехорошо, — сказала она минут через пять, — это нехорошо, что я чувствую; мне стало что-то досадно, зачем это он так сказал; к чему это я так почувствовала? Вы мне простите это?

Руднев только пожал плечами и угрюмо отошел прочь.

— Не уходите, — сказала она кратко, — не уходите, я разве дурно делаю, что во всем признаюсь вам? Я еще не привыкла к вашему лицу, не знаю, когда вы сердитесь и когда конфузитесь...

— Не ухожу! Не ухожу-с! Куда я пойду от вас? Ну, посудите сами, разве я в силах уйти от вас?

— Какой суровый, и какой молодой! — сказала Любаша, качая головой, — как строго глядит, и сам какой еще молодой; что за лицо у вас, нежное, как у барышни... ничего еще здесь почти нет...

И, задумавшись на минуту, она провела рукой по его подбородку и щекам.

— Братец мой младший, Сережа... нет, не Сережа — другой брат, Вася... Посмотрите-ка на меня. Отойдите от двери; что я вам скажу, чтобы никто не видал.

Руднев отошел от двери, и Любаша, вдруг указав пальцами на него и на себя, поспешно сказала: «это мой брат, Вася, а это я...», поцаловала его в губы, но слегка, истинно по-братски, и ушла спать, а Руднев простился с хозяевами и уехал к себе.

«Чем-то это все кончится? — думал он дорогой, — зачем бы это так долго ждать, чтобы старуха смягчилась!.. Впрочем, пусть будет так, как она желает и как советует Максим Петрович».

Дома он сказал тотчас же дяде, что надо будет завтра, наконец, в Троицком провести целый день... Стыдно на глаза показаться! «Через все эти разъезды да вскрытия», — прибавил он потом.

— Недурно бы, — отвечал дядя, — очень недурно бы!.. Спрашивали о тебе эти дни. Да и сюрпризик небольшой там есть... Есть сюрприз там ныньче!.. Красное яичко к Христову дню!

— Что̀ такое?

10 — Граф вчера приехал с Кавказа. Вчера около полудни.

— Граф, сам граф?.. Ну, это вы шутите?..

— Отнюдь не шучу. Приехал вчера при мне. Сидели мы с Катериной Николавной, вбегает опрометью дворецкий... Шар-шаром катится... «Ваше сиятельство, граф изволит ехать!.. я их узнал». Катерина Николавна взглянула на него, взглянула на меня, бледнешенька, вся побледнела. И Трофим тоже не без страха ждет ответа... Но, однако, этот минутный ужас продолжался недолго... Она пришла в 20 себя и встала с софы... Дети вбежали вслед за этим и кричат: «папа́, папа́ едет!..» Уж что̀ в их душеньках деялось — не объясню, не объясню!.. Не берусь за это! Но все как бы смущены и испуганы были... Кроме Юши, конечно, кроме Юши, который был уже на крыльце...

— И вы сами все видели это? Ну, говорите, что̀ ж дальше. Как он приехал? на чем?

— Не по-барски, попросту, на перекладной... Толстейший, здоровый мужчина, нога выше колена отнята и на костылях; здесь, натурально, на плечах густота... Таким 30 орлом глядит!.. Она его встретила сама на крыльце, и с Машей вместе не дали ни одному слуге прикоснуться — сами высадили его из телеги; а Юша уж на нем повис; а Федя и Оля стоят и глядят из дверей: Оля хмурится, Федя плачет...

— Боятся оба, верно: они ведь его не помнят вовсе, — заметил Руднев... — Ну, потом что, дядя?.. Милькеева не было?

— К вечеру только отыскался, к вечеру отыскался; и он как бы ошалел немного — так, по крайней мере, по крайнему моему разумению, его наружность мне представлялась; а граф сам, нимало не стесняя себя ни в чем, идет на костылях на лестницу и рассказывает, как он возок у губернатора на дворе оставил через распутицу и сел на перекладную, и дочь старшую со смехом пополам похваливает, что она на английскую девицу, на англичанку молодую похожа... «В Англии я недавно был, — говорит, — так мне на всех балах девицы самого изысканного круга помогали на лестницу всходить и с лестницы сходить, увидав меня на костылях... Раненому человеку там почет великий...» Отвели ему большую комнату внизу, в которой был театр зимой... понравилась... фасон окон долго хвалил. Я за ним все следил и слушал внимательно!.. Поезжай, и ты увидишь...

— Ну, уж нет, теперь даже из лазарета к ним не заеду... Нет, уж не надо... Им не до нас.

— Да и тебе тоже, Вася, не до них... — осторожным голосом добавил дядя.

— Ах, дядя, дядя. Мартиниан-то наш (помните?) плохо умудрил меня! Да что там, Бог знает, еще что будет. Покойной ночи пока!

Дядя, оставшись один, постоял, поглядел на закрывшуюся дверь пристройки и подумал:

«Ничего... Мартиниан — Мартинианом, а Любаша — Любашей... Спать ныньче стал крепче и рано засыпает, не гнется над книгами до полуночи, не гнется над книгами... И то хорошо... Натура свое потребовала... Натура все делает... Без натуры человек ни на шаг! От нее все и в ней все обратно свой путь продолжает! Помяни нас, Господи, помяни нас, Владыко, егда приидеши во царствие Твое! Помяни нас, Господи, егда приидеши во царствие Твое... Помяни нас, Владыко, егда приидеши во царствие Твое...»

XX

Лихачов и Милькеев еще раньше Руднева узнали о приезде графа.

Одно из личных физиологических замечаний молодого доктора возбуждало не раз споры в Троицком: он упрямо утверждал, что умных лиц и особенно умных глаз не бывает, а бывают выразительные лица и глаза.

— Ум, — говорил он, — в чистоте своей — процесс бесстрастный и не может сам по себе быть источником ни движения, ни твердого покоя во взгляде. Глаза могут быть добрые, хитрые, томные и страстные, веселые, покойные — одним словом, они могут выражать качество характера, а не количество и силу ума. У гениев не потому выразительные лица, что они очень умны, а потому, что у них и многое другое сильно, если не все; а идиот беден не только умом, а вообще он — нищий духом.

В пример он не раз приводил с одной стороны глубокие, кроткие и бархатные — словом, выразительные глаза князя Самбикина, а с другой — холодные, незначительные серые глаза обоих братьев Лихачовых, которых все, однако, считали людьми умными.

— Особенно у предводителя, — прибавлял Руднев, — лицо добрее, чем у брата, а глаза навыкате, без всякой жизни. Допуская умные лица, надо счесть Николая Николаича глупым добряком и ошибиться. Я всего раз или два видел, как у него изображались в глазах жизнь и игра чувств: раз на балу у Протопоповых, когда он спорил с дворянами; а другой раз, когда Катерину Николавну начала бить лошадь и он схватил ее за повод и остановил.

Теперь, после того, как Милькеев признался Николаю Николаевичу, что после Святой он едет в Италию, и расспрашивал у него, как бы денег немного истратить и цели достичь — этот случай в жизни старшего Лихачова Руднев признал бы третьим случаем игры страстей на лице серьезного и спокойного толстяка.

— Да! — сказал он, вставая без нужды с кресел тотчас после плотного обеда... — Да! — повторил он, не спуская глаз с Милькеева, который, развалившись в креслах, строил на радостях, что есть деньги и что Богоявленский увлечен, всякие воздушные замки, в половину которых и сам не верил.

Потом, сказав еще раз «да! недурно!», предводитель все-таки не сел, а стал спиной к холодному камину и обвел заблиставшими глазами потолок.

— На Фоминой!... — начал он. — Святая ныньче поздно, на пароход и в Одессу — через Азовское море... Волга, Таганрог, Бердянск... В Одессе бывает всякий народ... Пожалуй! там найдешь охотников... Особенно в Одессе... Поляки там попадаются, они ведь на эти штуки охочи... Да чорт ли в этих поляках! Какая-то смесь жида с французом.

— Найдем всяких! — отвечал Милькеев, — не все ли равно.

— Лишь бы не очень велика компания — и с разбором ищи людей, чтобы не встретить какой помехи... Впрочем, постой-ка... Ты мне скажи, почему ты непременно хочешь ехать к Гарибальди? Отчего в Италию? Я и сам говорил, что тебе не следует успокоиться здесь на веки веков, а надо ехать и страдать и кипеть. Отдохнул душой, да пора и честь знать... Все это ты говорил и сам еще на Святках...

— Ну так что̀ ж? Говорил — так надо ехать.

— Надо, надо... Да зачем в Италию! Ты бы поехал лучше знаешь куда!

— Куда? Уж не в Петербург ли? — воскликнул Милькеев. — Знаешь ли, что̀ такое Петербург?.. Гуляли мы с Рудневым и детьми в цветнике... Небо голубое, цветы также, солнце яркое; сели мы на лужайке под тополем, а Руднев поднял большой камень, около меня, чтобы показать детям разных насекомых. Я посмотрел туда — сырость, грязь, какие-то черви и вроде мокриц ползают... Руднев опять опустил камень... Италия, это — цветник, а Петербург, это — место, где ползают мокрицы.

— Катерина Николавна говорит, — отвечал предводитель, — что Петербург, однако, принес свою долю пользы для России. Это правда; но я думаю, что он натяжка, а не столица: ни национальности, ни климата, ни настоящей красоты... Резиденцию могли бы перенести в Москву — и множество мыслящих и образованных людей рассеялось бы по внутренней России и волей-неволей разнесло бы по ней гражданское сознание, как гугеноты разносили свои ремесла и трудолюбие, когда их изгнали из Франции, или как визан-
10 тийцы — свое просвещение, спасаясь от Мухамеда Второго!.. Никто и не просит тебя ехать в Петербург.

— Я знаю, — перебил молодой Лихачов, — куда он тебе посоветует... Все туда же, в славянские земли...

Предводитель слегка покраснел.

— Ты говоришь, Александр, с легкостью об этом, потому что ничего в этом не смыслишь, брат, не прогневайся, — сказал он с досадой.

— Да ведь скука там, душа моя... Ничего вообразить себе нельзя. Париж — понятно, что̀ такое; английская де-
20 ревенская жизнь тоже; ну, Италия, Испания, Америка, Индия... Знаешь, что̀ тебя ждет там, хоть приблизительно. Можно ждать опасности, лишений, горя, но не скуки, а все эти Дравы, Савы, Моравы... Никакого, кажется мне, в них характера нет.

— Это все равно, что суждение французов о России, точь-в-точь! Такая же пустота с кондачка. Признайтесь оба, что вы даже читать себе не дали труда об этих краях, а судите... Противен тебе Баумгартен, когда он говорит, что гораздо приятнее в Nançy или Celestà играть в шахма-
30 ты в кофейной с каким-нибудь скотиной мэром, чем гулять в троицком бору? Ведь небось сволочью считаешь его, когда он это говорит, не зная ничего про Россию. Так и не врите вздору о том, в чем ни зги не видите... То-то! какие-то светские сапожники — вот что̀ вы!

Предводитель так редко сердился, а младший брат так привык уважать его с детства, что не отвечал на это ни слова...

— Да и я плохо об них знаю, сознаюсь, — сказал Милькеев задумчиво.

— В этом-то и беда, — продолжал предводитель, — что наше общество глупо и невежественно. Оно способно сделать все, когда немцы или французы дали на это право примером своим, или когда прикажут, пошлют куда! Всякий дурак понимает Италию, Париж... Ярко, ясно, как 2 + 2 = 4... Нет, ты пойми там, где чуть брезжится все; пойми там, где, как ты сам, Милькеев, раз сказал: краски пестры, да лаком сознания и свободы еще не покрыты!.. Скучно! Мильоны славян говорят почти тем же языком, которым писана наша Библия; в глухих, диких деревнях с восторгом произносят наше имя! А мы их не знаем и не думаем о них. Прогрессисты наши, разочарованные недоверием и холодностью здешнего народа, бегут из своих имений шляться по Невскому, пляшут в растленных притонах или жрут в парижских кофейнях. А там бы их на руках носили, пророками бы считали, если бы они шли туда не только официально, а сами по себе! Там всякому еще есть дело: учителю, попу-проповеднику, художнику, купцу, искателю приключений. Живописные места; Дунай; первобытные народы, которых даже западные путешественники ставят сердцем выше греков, а умом выше турок; монастыри в горах, где молятся за наше государство; монахи там настоящие монахи — знают близко смерть и нужду; древние забавы, песни народные и эпическое время не прошло еще для них... Благодушны, гостеприимны, чисты нравами; за «честный крест», по их словам, каждый мужик готов кровь отдать без приказания. Если южная пылкость у них слабее, чем в Италии, зато мудрой стойкости больше...

— Ты, — продолжал предводитель, обращаясь к брату, — почитатель Пушкина — знаешь ли ты стихи, которые он писал дочери Карагеоргия? Не посмотрел, верно! А?

— Не помню...

— Ну, конечно! Эх, брат Милькеев, поезжай ты туда... Там ты не только одноплеменником, но и *единоверцем* станешь с ними!

— Не вошло еще сюда! — отвечал грустно Милькеев, указывая на сердце. — Не пролезло в щелку, которая здесь есть... Чуждо!

— Италия ближе?

— Пока ближе. Не знаю, что̀ будет после. Я влечениям своим охотнее внимаю, чем чужому рассудку. А пока все, что̀ вы говорили, для меня только рассудок.

— Оттого-то вы оба неполные люди, — сказал старший Лихачов. — У тебя есть познания, а почвы нет, русского в тебе мало; а у него есть почва русская, да твоих познаний нет. Ну, как знаете! Только в Петербург ты, Милькеев, ради Христа, не езди, нейди ты по битой дорожке!

Едва успел предводитель кончить, как на двор въехал посланный из Троицкого с запиской, в которой Катерина Николаевна писала, что муж ее приехал, и звала Милькеева поскорее к себе.

Александр Лихачов захотел проводить его до половины дороги. Уже совсем стемнело, когда друзья верхом въехали в лес. Со всех сторон оглашал его весенний крик ликующих птиц. Лихачов знал все эти голоса и объяснял их товарищу, который ехал молча и печально.

— А ведь ты горюешь, душа моя? — спросил Лихачов, пожимая ему руку.

— Горюю, — отвечал Милькеев.

— О Троицком?

— И о Троицком горюю, и сам не знаю о чем! Думаю, как бы граф не повредил бы им всем. Судя по ее рассказам, он молодец, и где-нибудь в ополчении или на севастопольском бастионе я бы его любил; но здесь... Послушай! что̀ это за птица кричит? Послушай! послушай ее... Какой раздирающий крик... Когда я проводил первую весну в этом раю у Новосильских, я вначале пошел один в лес; еще мало знал их всех — но уже жилось сладко и покойно... Тогда тоже кричала эта птица... И что за воздух! Что за воздух! Слушай, видал ты много на Дунае убитых людей?

— Еще бы! — отвечал Лихачов. — Первый раз я увидал молодого казака лет девятнадцати. Бомбой его убило. Руки нет ниже локтя; две кости торчат обломанные; лицо и все тело малиновое; ног тоже нет. Из лица куски мяса вырваны; говорят, у него дома осталась жена молодая, и я прежде не раз говорил с ним.

— И ничего ведь тебе? Не слишком жалко и страшно?

— Нельзя сказать! Хоть у меня и нет столько воображения, сколько у тебя, а все-таки! Обстановка, мечты! Война эта, проклятая, как-то облагороживает человека, сколько ни мудри против нее все эти мудрецы, которые честно прокисли над книгами! На Дунае я реже скучал, чем дома, и гораздо чаще грустил... А в Италии должно быть еще лучше!

— Надеюсь, что лучше. Вот, когда бы с тобой вместе! — с жаром сказал Милькеев.

— Если тебе это приятно, я с удовольствием поеду, — сказал Лихачов. — Ты меня соблазнил; страшно еще как-то обречь себя на вечную жизнь дома. Брат хочет, чтобы я служил после эманципации: так до тех пор вернусь еще, если вернусь...

— Ты не шутишь?

— Нисколько! Я нарочно поехал тебя провожать, чтобы поговорить об этом. Молчи пока; не хочу толковать с братом: уеду — и конец... Если ты не боишься ехать, когда у тебя дома кровли нет, так отчего же мне и подавно не съездить: все же интереснее простого путешествия по дурацким гостиницам и минеральным водам! К тому же Варя... Хуже этого быть ничего не может! Бог даст, отвыкнет, образумится, и я отдохну...

— Надеюсь, по крайней мере, что ты не раскаяваешься в прошлом насчет ее? — спросил Милькеев.

— Разумеется, нет! Надо поправлять, а не раскаяваться!

У выезда из леса они расстались, и Лихачов крупной рысью поехал домой, а Милькеев пустил вскачь свою лошадь к Троицкому.

XXI

Целую неделю граф отдыхал и веселился. Все ему нравилось в Троицком. Тяжелый хохот его раздавался то у Катерины Николаевны в кабинете, то в классе, то в манеже, то на гимнастике. Конюшню он нашел в порядке, долго говорил с кучерами и берейтором и дал им по пять рублей; ходил с Рудневым в лазарет, шутил с сиделками, дал и фельдшеру денег; ловко перекинулся на костылях в лодку и долго катался с детьми по Пьяне; спрашивал у жены названия растений в оранжерее и цветниках; с Баумгартеном беседовал о последних событиях во Франции; рассказывал Милькееву множество любопытных анекдотов московских, парижских, лондонских, кавказских; жалел, что со взятием Шамиля утихнет боевая жизнь в том краю, и Россия лишится, пожалуй, прекрасной военной школы, в которой выработывались сильные и самобытные характеры; интересовался всеми соседями и, чтобы видеть их, взял с жены слово, что в день Фединого рожденья, через неделю, она даст хороший вечер.

Но ничто не развеселило и не тронуло так графа, как успехи, исправление и довольный вид Юши. Юша показывал ему свои тетради, игрушки, письменный стол, который Катерина Николаевна подарила ему на новый год в награду за сдержанное обещание отвыкнуть от ругательных слов и который привел Юшу в такой восторг, что он один-одинешенек в комнате не раз подходил и отходил от стола, простирая к нему руки и восклицая: «письменный стол!» Юша отвечал хорошо из священной истории, отлично умножал и делил дроби, с жаром декламировал: «Терек воет дик и злобен...» и «Обвал» Пушкина; порядочно чертил карты; знал, где лежат у человека печень, селезенка и сердце; показывал даже «arbor vitae» в мозжечке; ездил уже довольно смело на клепере и ни разу при графе не кричал и не капризничал.

Оставшись раз с ним наедине, граф посадил его к себе на колено и спросил, весело ли ему здесь?

— Еще бы! Мамка мне совсем подарила Том-пуса клепера. Деревянных лошадей у меня шесть. Как запрягу четверку, закричу: «Малыш!» Малыш бежит.

— Кто это Малыш?

— Это мой слуга. Он невидим для других, но я его вижу. Все хорошо! Учителя только лихи — изверги, тираны! Васинька-Василек еще ничего; Васька тоже не строг; а уж Древосадский — беда, заморит над книгой!

— Древосадский? Кто это Древосадский?

— Баумгартен значит — *дерево* и *сад*. Вот он и зовется у нас так, чтобы не понял. Однако догадался изверг; как заорет: «Je m'en vais vous ficher un Drevosatzky!» У нас с Федей душа в пятки уходит.

Граф видел, что Юша доволен. Он благодарил жену с большой теплотой и крепко жал руки Рудневу, Милькееву и Баумгартену, который чуть не приседал перед ним, особенно после того, как Новосильский сказал ему в классе: vous avez la logique bien serrée!

Как-то после ужина граф остался с глазу на глаз с Катериной Николаевной, протянул ей руку и сказал:

— Житье у вас здесь! Что̀ бы вы сказали, если бы я остался навсегда?

Катерина Николаевна ожидала этого вопроса; больно было ей отвечать ему сухо, но пришлось.

— Вы сами здесь не усидите! Вам нужно движение, — сказала она.

— Мне уже 47 лет! Толст; страдаю часто от ран ужасно; хочется отдохнуть. Eh! voyons donc! Будем откровенны. Разве вы не знаете, как года изменяют человека? Пора бы и на отдых! И что моя карьера? В 47 лет и с моими связями я полковник только! Кровь уж не кипит, как прежде. Я вас стеснять ни в чем не буду. Детей я всегда любил, а Юшу люблю особенно. Что̀ ж делать — это естественно! Ребенок без матери, бедный!

Граф был взволнован и сильным движением откинулся к спинке дивана. Катерину Николаевну тронуло его родительское чувство.

— Послушайте, друг мой, — сказала она, — в память прежней нашей любви, не говорите мне так, прошу вас! Жить нам вместе нельзя. Разве вы себя не знаете? Разве вы можете жить той жизнью, которой живу я?

— Неужели вы думаете, — отвечал он с усмешкой, — что порок пропитал меня до костей? Что я уже вовсе без души и без правил?

— Нет; но страсти ваши всегда сильнее у вас и доброты, и тех правил, которых вы с вашим умом не можете не понимать.

Граф вздохнул глубоко, задумчиво побарабанил пальцами по столу и помолчал.

— Положим так! — начал он опять, — прошедшее скверно! Но кто же мешает нам добрыми друзьями дожить наш век? Как! Я имею семью, жену такую, как вы, таких славных детей — и должен век скитаться, служить! Когда бы вы знали, как тяжело иногда! Я не жалуюсь обыкновенно; энергии, вы знаете, мне не занимать. Но я и здесь не останусь без дела: я бы мог служить по выборам. Постойте... Вы не вздумайте оскорбиться тем, что̀ я вам скажу. Вы не хотите быть моей женой — не будьте; вы хотите располагать вашим сердцем — располагайте! Я вижу роль, которую играет у вас в доме Милькеев. Это не беда. Он человек вполне порядочный... Не оскорбляйтесь же!

— Я не вижу тут ничего обидного, — отвечала Катерина Николаевна сурово и спокойно, — я имею право располагать собой и, если бы Милькеев был моим любовником, я бы не стала краснеть. Только это просто неправда. Вот и все. Вот, видите, не обидьтесь и вы тем, что̀ я скажу теперь... Вы не поймете моих чувств...

— Говорите; постараюсь понять.

— Едва ли! — продолжала она, — по моему мнению, в браке еще много разных условий для того, чтобы заставить женщину принадлежать человеку без страсти, если он этого требует. А здесь? Что̀ может заставить меня? Для меня ни Милькеев, ни вы не существуете, как мужчины. Я — вы видите — развалина!

— Что вы развалина, против этого я не спорю! — любезно возразил граф, — развалины часто бывают красивее и занимательнее новых домиков... а что касается до Милькеева...

— Я говорила, что вы меня не поймете! говорила, что не поймете! Вы судите...

— Я не досказал, погодите! — перебил граф, — Милькеев, может быть, и не любовник ваш, и это может быть! Мне до этого и дела не будет. Чем же я могу мешать вам?

Катерина Николаевна встала и подала ему руку. 10

— У меня голова кружится, — сказала она, — поговорим завтра... не могу больше.

Муж поднялся на костыли, вежливо проводил ее до дверей спальни, поцаловал ее руку, возвратился в кабинет и сел на прежнее место. Он долго сидел, снова барабанил по столу, шептал про себя: «душа и правила! душа и правила!», перекладывал костыли с места на место и не хотел спать.

Давно уже слышал он в зале чьи-то мерные шаги, но сначала не обратил на них внимания, потом вышел туда и 20 увидал Баумгартена.

— Вы меряете залу? — спросил он. — У вас бессонница?

— Да! здешняя жизнь, граф, очень вредна мне. Я часто не сплю...

— Не хотите ли пойти посидеть ко мне? — сказал Новосильский. — Потолкуем; мне тоже не спится.

Баумгартен с радостью согласился.

— Так вам не нравится здешняя жизнь? — сказал граф. — Чем же она дурна? Кажется, жена моя живет 30 весело, ни в чем не стесняется и других не стесняет?..

— Я не жалуюсь, граф; о, нет! — отвечал Баумгартен. — Графиня очень добра; elle est pleine d'attentions pour moi; но слабость — вот задняя сторона ее медали!.. Если вы позволяете мне быть с вами откровенным...

— О! я прошу вас! — с жаром воскликнул граф, — к кому же она слаба?

— Она, во-первых, слаба к miss Nelly, которую поручила ей мать, и я не могу не осуждать ее за это; во-вторых, она дала слишком много воли г-ну Милькееву. Он изучал Гегеля и Лейбница и, не стесняясь, при неопытной девушке, говорит, что все действительное разумно и что зло есть необходимый элемент прекрасного. И графиня, и доктор Руднев, и miss Nelly недовольны, когда я называю г-на Милькеева эгоистом, и я принужден был создать для него новое слово — *эготист*. Его материализм или, лучше сказать, сенсуалистический пантеизм во многом совпадает с тем кальвинистским спокойствием, которым была напоена miss Nelly еще в доме родителей... Позвольте мне принести вам и показать отрывки из ее дневника... Вы увидите, сколько у нее воображения и ума, и разделите то чувство жалости, которое я испытываю всегда, когда думаю, что такое сердце обратилось на ложный путь... Я сам не имею на нее никаких видов... Я сделал две копии...

— Принесите, принесите, — любезно сказал Новосильский, решившись терпеливо ждать конца. — Да где эта рукопись, у вас?.. Вам придется проходить через комнату детей, и вы их разбудите... Не отложить ли?

— О! нет, я не разбужу детей. Я разуюсь, — отвечал француз и побежал на цыпочках наверх; у дверей детской снял сапоги, неслышным вихрем промчался к себе и принес графу тетрадку.

Утомленный граф прочел через силу и, заметив равнодушно: «que c'est une âme bien réveuse!», свел опять разговор на то, что̀ его интересовало.

— Мне самому г. Милькеев не по душе; и так как я вовсе не намерен отказаться навсегда от моих родительских прав, вы поймете, что я обращаюсь к вам как к честному и серьезному педагогу...

— Я очень хорошо понимаю вас, граф, — с достоинством отвечал Баумгартен, — и благодарю за доверие. Но, прежде чем перейти к г. Милькееву, я остановлюсь еще на miss Nelly; разве дурное обращение молодой девушки с человеком, который, подобно ей, живет трудами,

не вредный пример для детей? Сегодня она не пошла гулять со мной и через час пошла с Милькеевым; вчера она не хотела танцовать со мной и танцовала с г. Милькеевым...

— Конечно, это — дурной пример, — перебил граф, — но я полагаю, вы со мной согласитесь, что слабость матери к человеку, который живет в доме и учит детей, еще вреднее и заразительнее... Не правда ли? Вот вам моя рука... Все это будет между нами. И, если я соблазнюсь решительно этой покойной жизнью и вздумаю остаться здесь, вы можете быть уверены, что я никогда не расстанусь с вами; несмотря на вашу скромность, вы сами, верно, знаете себе цену и понимаете, что не легко найти такого серьезного и просвещенного наставника за тысячу рублей в год... Я уверен, что вы согласитесь принять прибавку, которую вполне заслуживают ваши познания и ваша честность.

Граф, говоря это, взял за руку удивленного француза и смотрел ему пристально в лицо.

— Вы понимаете меня? — продолжал он, — я бы желал иметь доказательства тому... что̀ теперь только подозрение... Я бы хотел знать, до какой степени моя жена близка к г. Милькееву. Voyez vous, je suis un homme de bonne compagnie et j'ai les moeurs faciles... Но я не хочу быть обманутым... Вы должны все знать... Ваша наблюдательность...

Баумгартен покраснел и встал.

— Quant à ça! — сказал он, пожимая плечами, — я не имею права ничего предполагать! Я не имею никаких доказательств... Нет! Я слишком уважаю графиню... В ее лета! Нет, я решительно даже убежден, что та слабость, на которую я жаловался — не что иное, как слабость матери к старшему сыну... Позвольте мне ручаться за это...

— Вы боитесь быть доносчиком?..

— Я не могу быть доносчиком преступления, которого не был свидетелем! — возразил француз не без гордости

и протянул было руку, чтоб пожелать графу покойной ночи. Но Новосильский не подал ему руки и сказал сухо:

— Прощайте. Я хочу спать, и давно пора. Возьмите же тетрадку, в которой столько поэзии...

Баумгартен печально ушел, утешая себя, впрочем, мыслью, как он завтра расскажет Nelly о своем благородстве. Обманутый в своих ожиданиях, граф заснул и проснулся рано утром с сильной болью в рубце отрезанной ноги. Он тотчас же послал в лазарет за хлороформом; приложил компресс и, успокоившись немного, лег в халате на диван и послал за детьми. Маши не было: она ушла в лес с Nelly еще до чая; а трое остальных детей тотчас прибежали и сели около него на диван. Федя и Оля давно уже привыкли к нему и беспрестанно требовали рассказов про Кази-Муллу, про Ермолова, про казаков, грузин и чеченцов, и Федя не раз уже говорил с восторгом: «Эх, папка! Зачем ты у нас не живешь!..» В другие раза, не совещавшись еще с женою, граф ничего не отвечал ему; но теперь, когда он попросил детей переменить себе компресс с хлороформом на ноге и когда дети увидали с ужасом и жалостью толстый обрубок голой ляжки со швом на конце, он сказал им, искренно тоскуя:

— Да! больно мне, дети... очень больно! и смерть мне не хочется опять на службу!

— Останься здесь, — сказала Оля, — когда ты будешь болен, я сама тебе буду класть хлороформ. Эта комната хороша; летом прохладна, зимой теплая. Будем в лес далеко за грибами ездить: мы верхами, а ты на линеечке; на реке кататься... Про войну еще расскажешь нам, я бы сейчас в каза́чки пошла... Или бы в казаки... Досада такая — зачем я не мальчик!

— Благодари Бога, что ты девочка! — отвечал граф. — Мужчинам труднее; посмотри, как меня изранили. Когда я был еще первый раз солдатом, меня взяли в плен черкесы и приковали на длинную цепь к очагу. Я нашел пилку, и, когда они уходили из сакли, я пилил все одно и то же кольцо; опилки прятал и мешал их с воском: воск станет

серый — я и замажу это место. Они посмотрят на цепь и не заметят: в сакле не так-то светло было. Допилил и ушел ночью, сам не знаю куда; на другой день они с собаками меня отыскали в кустах; собаки ноги мне искусали; потом раздели меня голого и гнали домой ногайками... Потом уж откупили меня.

Дослушав этот рассказ, Федя заплакал и сказал: «мы тебя здесь оставим!»

— *Мы*! — возразил граф, — кто это *мы*? Разве вы можете здесь командовать? Мать ваша не хочет, чтобы я остался.

Глядя на Федю, и Юша заплакал, а за Юшей — Оля. Потом дети переглянулись и закричали все разом:

— Пойдем! Пойдем к маме! Упросим! Упросим... на колени упадем... Пойдем...

И с этим криком дети убежали наверх и кинулись в спальню Новосильской, которая еще лежала в постеле.

XXII

Вернувшись из округа, Руднев позавтракал с дядей, который сказал ему, что из Троицкого присылали три раза, и сел на беговые дрожки. Весенний полдень был прекрасен, и Руднев ехал не спеша; на половине дороги увидал он издали Милькеева верхом.

Улыбка на лице доктора успокоила Милькеева.

— Что̀ ж, все кончено? Прорвался нарыв? — сказал он, протягивая ему руку с лошади.

— Прорвался, душа моя, прорвался! Вы ко мне?

— К вам, еще как к вам-то!.. Скорей, скорей в Троицкое... Катерине Николавне опять дурно; судороги и спазмы в горле.

Руднев ударил лошадь, и они помчались. Милькеев второпях рассказал ему, что̀ случилось вчера.

— Граф хочет остаться в Троицком навсегда. Он испортит эту жизнь, развратит детей. Он просил детей; дети

плакали и стояли на коленях перед матерью. Она не отвечала ни слова, ушла в свою комнату и с ней сделалось дурно.

Судороги кончились в то время, как приехал Руднев; все уже в доме привыкли, что̀ надо делать и давать в таком случае. И Катерина Николаевна заснула на полчаса.

Милькеев отвел Руднева к себе и запер дверь.

— Да, да, просил детей... Вы знаете ее любовь к детям. К счастью еще, пока только Федя, Юша и Оля упали перед ней на колени и просили, Маша не говорила еще ничего... Тем детям можно сказать: «вы не понимаете еще ничего!», а Маше надо говорить резонно. Что̀ должна сказать мать? «Отец твой с виду только добродушен, но он развратен, он может быть жесток, им и влияние его будет пагубно». Разве она может это сказать?.. Она уже поколебалась; она начинает думать, что это ее долг.

— Вы можете отговорить детей!

— Нельзя, нельзя, друг мой... и без того... граф думает Бог знает что̀ про мое значение в доме... Вся моя надежда на вас... Возьмите на себя. Вы — человек посторонний, непричастный ничему... Скажите прямо Маше, что̀ вы думаете про графа.

— Такая страшная ответственность! — сказал Руднев, — позорить отца... А если его раскаяние искренно?..

— А если наша робость сгубит эту благородную жизнь?..

— Вам бы лучше...

— Ну, как хотите... Я беру на себя, — сухо возразил Милькеев.

— Нет, нет, не сердитесь. Дайте мне подумать. Я не отказываюсь. Мне, конечно, ловчее. Дайте, я подумаю...

— Не думайте... Умоляю вас! Для меня, ради Бога, ради нашей дружбы. Скажите прямо... Разве есть что̀ верное на свете? Разве верна ваша медицина? Однако вы полагаетесь на нее и даете самые сильные яды... Отчего? Там никто не судья, кроме другого доктора, который не знает, что̀ вы тут делаете, а здесь судья всякий?.. Что̀

говорит вам сердце — я прав?.. Избавьте меня от объяснения с Машей...

Руднев тотчас же пошел искать Машу и нашел ее на реке, в лодке, за островом. Она грустила и, тихо шевеля веслом, плавала по ту сторону беседки.

— А, это вы, Василек? — сказала она, увидав Руднева на острове, — не хотите ли покататься со мной?..

Руднев отвечал, что он нарочно для этого искал ее, и сел в лодку.

— Вы что-то грустите, барышня, — сказал он, не зная чем начать.

— Нет, я не морально, я как-то физически грущу.

— Вот как! Так это от весны, барышня: дети и очень молодые люди тоскуют всегда весною.

— Нет, Василек, я всегда буду грустить.

— Вы, Марья Дмитревна, это отчего? У вас все есть: собой вы будете прелесть, добры, с душой, богаты будете, мать у вас такая, что редко найдешь... Ее умом и благодушием не только дом, да и уезд полон... Вот и я, с ее легкой руки, веселее стал жить, а вы грустить вздумали! Посмотрите, за какого еще гусара или дипломата первой руки выйдете!..

— Я, Василек, замуж никогда не пойду, а я буду жить одна или с матерью... Нет, даже с матерью жить не буду вместе... А где-нибудь недалеко от нее. Выпрошу у нее земли, построю дом в лесу и буду жить одна-одинешенька... Буду жить по Евангелию... Бедным помогать... Пусть другие веселятся.

— А вы?

— У меня свое веселье будет. Буду одна ездить верхом к матери, к братьям...

— К брату... У вас один Федя.

— А Юша? Разве он не брат мне?.. Я его все равно люблю... Еще больше, кажется, чем Федю... Федя всегда будет счастлив... А Юша — слабый, больной мальчик и беднее нас.

— Отчего же, барышня, замуж не хотите?

— Что̀ за счастье? Я не понимаю... Вот пишут об любви... Мамка теперь не дает мне уж третий год тех книг читать, которые прежде давала... А я все помню... Вот Печорин, например... Что̀ в нем хорошего? Как можно любить такого человека? Он никого не жалеет... Если бы у него была жена, он и ее бы не жалел!..

— Печорин человек благородный все-таки и сильный. Женщины особенно таких любят. Да ныньче таких чистых Печориных и нет. Если бы Печорин был жив теперь, ему было бы лет сорок пять, и он был бы полезен, например, хоть для крестьян. Поверьте, что он один из первых был бы за свободу крестьян и все бы для них делал... Ну, да Бог с ним... Отчего вы грустите-то, скучаете? Право, это от весны.

— Может быть. Хотите, Василек, я вам по правде скажу? Или уж нет...

И Маша опустила лицо к воде.

«Что̀ за глаза, что̀ за воздушный стан», — думал Руднев, с нежностью старшего брата следя за всеми ее движениями.

— Ну, скажите, барышня!

— Вы скажете мамке... Я сказала раз одну вещь Васе, а он передал мамке.

— Вася — легкомысленный человек, а я не скажу маме ни слова... Я сам, барышня, скрытен... Да уж, хотите, я вас избавлю... Я знаю, о чем вы грустите...

— Не говорите, не говорите, — сказала Маша, вспыхнув.

— Нет, отчего же! Смотрите-ка! Вы совсем на середину реки въехали.

С этим словом он повернул руль; и Маша молча начала грести к берегу.

— Я скажу вам, отчего вы грустите... Вам жаль отца...

Маша молчала и продолжала править к берегу.

— Вам жаль отца, — продолжал Руднев, — вы видите, что ему хочется остаться здесь, а надо ехать, служить; рана болит... Не правда ли?

Молча Маша слушала Руднева; голос начал изменять ему; однако он продолжал:

— Вам жаль отца; жаль, что он должен ехать на службу, что он усталый человек... Только вот что, барышня, я вас от души полюбил и привязан к вашей семье; не сердитесь на меня — не жалейте, то есть, жалейте его, это — чувство доброе!.. Только не потакайте ему ни в чем.

— Ну, ну! — сказала Маша, не глядя на него, и слезы полились у нее из глаз.

— Не плачьте... Ах, барышня, барышня! Знаю я ваше доброе сердце! Да, милая вы моя, нельзя!.. Ваш отец — человек хитрый. Уж браните как знаете меня! А это так. Вы не знаете цены той жизни, которая вас окружает... Ну, поверьте мне! А этакую жизнь надо беречь, хранить как святыню... Вот вы и грустите-то от избытка счастья... Ведь хорошо, барышня, посмотреть на хорошую картину, на образ Божией Матери, красивый, хорошо освещенный... Такая жизнь у вас здесь. А отец ваш испортит ее, несмотря на то, что он добродушен в обращении... Вот вы Печорина не хвалите... А Печорин того бы не делал, что̀ он делал и способен был сделать!.. Уж простите, что я вам говорю. Но что это правда — в этом я вам божусь.

Маша причалила к берегу; по милому лицуее бежали ручьи слез; она вышла из лодки и, махая рукою Рудневу, чтобы он не следовал за ней, бросилась бежать в лес и исчезла за кустами. Руднев гнался за ней и звал ее:

— Маша, голубушка, барышня милая!.. что̀ с вами... что̀ с вами!..

Наконец она остановилась, посмотрела на него как нельзя печальнее и сказала томно:

— Оставьте меня, Василек!.. Я хочу быть одна, подите... Я ворочусь к обеду... Одной легче...

— Ну, как хотите, — отвечал Руднев и ушел домой, не зная, к добру или ко злу поведет его вмешательство.

До обеда бродила Маша в лесу и, вернувшись, передала Nelly свой разговор с Рудневым и с горьким плачем спросила у нее, что̀ ей делать.

Nelly утешала ее как могла и придумала призвать Федю и Олю и сказать им от себя, чтобы больше мать не просили, что это не их дело, а старших.

— Я, Nelly, сама знаю, — сказала Маша, — что он сердит... Я помню, как он на всех кричал, как он дяденьку Трофима-дворецкого за волосы драл... Я видела сама седые волосы на полу! Зачем это так надо! Nelly! Зачем это так надо!

— Marie, мой ангел, — отвечала Nelly, — без горя жизнь не проходит. Всякий должен быть на это готов! Я от себя скажу детям... Уедет ваш отец, хоть и жалко тебе, и тогда опять наша жизнь пойдет по-старому!..

Призвали Федю и Олю и сказали им так, как сбирались, что это не их дело.

— Как не наше дело? — возразила Оля сердито своей наставнице, — разве ты своего отца не жалеешь? Небось жалеешь и другим дай жалеть! Ишь ты какая!

— Не видала ты его ноги, — сказал Федя и опять заплакал.

Nelly и Маша обе были бледны от волнения. Маша молчала, а Nelly разными уловками постаралась убедить детей, чтобы они больше не упоминали об этом; что отец, может быть, шутит; что он хотел только испытать их, и просила их не говорить ни слова Юше об этом разговоре.

Но Юша, уже обиженный тем, что Федя и Оля пошли на какое-то секретное совещание, а его не пригласили, разгоревшись любопытством и завистью, так неотступно просил Федю, что Федя все ему передал.

— Ах ты немка, француженка проклятая! — воскликнул Юша, сверкая глазами. — Пойду, все скажу отцу!

Пошел и сказал; а Федя хотел было притаиться, но откровенная душа его страдала, и он, с своей стороны, вернулся к Nelly и Маше и признался им в своей слабости.

Обе молодые девушки с беспокойством ожидали, что̀ из этого выйдет; однако граф пришел в залу очень веселый и, пошутивши с детьми, попросил у жены коляску, чтобы

съездить к Самбикину. Но веселость эта была не искренняя.

Когда Юша передал ему, что Маша и особенно Nelly уговаривали Федю и Олю не хлопотать за него, отец отвечал ему, что это очень хорошо, что он в самом деле хотел только испытать их любовь.

— Я думаю, — прибавил он, — это Милькеев подал этот совет Nelly? Милькеев дружен с нею и очень умный человек. Я бы желал, чтобы он долго был вашим учителем.

— Да, он с девчонками этими большой приятель, — 10 отвечал Юша. — Он жених Маше.

— Как? жених Маше? Это вы сами с Федей сочинили или ты слышал что-нибудь?

— Мы его так зовем и при мамке и при всех, — сказал Юша, — а мамка сказала раз: «Что ж, я бы отдала за Васю дочь».

— Вот как! Она его очень любит?

— У, у! беда! Всегда его Васей зовет, жить без него не может.

— Вот как! Я не слыхал! Может быть, и цалует его 20 даже.

— Ну, нет! На Пасхе разве; да раз в лоб поцаловала прошлого года; мы с капитаном с балкона в окно видели.

— С каким капитаном?

— Капитан Балагуев. Солдафон-идиот. Он здесь будет на днях. Как узнает, где будет обед большой или ужин, сейчас притащится... Тут как тут! Васю Милькеева ненавидит — страх!

— За что? 30

— Не любит: почем я знаю, за что!

— Ну, ступай, — сказал граф, цалуя сына, — если ты никому не будешь болтать о том, что̀ я у тебя спрашивал, я тебе этот маленький пистолет подарю.

Юша просил пистолет сейчас же; отец уступил, и Юша убежал хвастаться пистолетом к Феде, но не сказал ему ни слова о своем разговоре с отцом.

У Самбикина граф тоже расспрашивал о троицкой жизни, делал намеки на жену и Милькеева; но Самбикин не догадался, свел речь на Любашу и по старому знакомству жаловался, подобно Баумгартену, на Милькеева. Новосильский еще больше раздражил его приятельскими насмешками и заехал нарочно с визитом в Чемоданово, чтобы видеть Любашу.

Авдотья Андреевна приняла его, конечно, как нельзя лучше; но когда Новосильский упомянул о вечере, она отвечала:

— Не знаю, граф, не знаю! Аша, моя дочь, больна; я стара; отец Любаши, сын мой, Максим Петрович, тоже нездоров... Не ручаюсь, хотя нам внимание ваше очень лестно и милую графиню мы все очень любим.

Возвратившись в Троицкое и рассказывая при Милькееве о Самбикиных и Чемоданове, Новосильский расхвалил Любашу.

— Жаль, если она не будет! — сказал он. — Бедный Самбикин хотел, кажется, на ней жениться... но вы, m-er Милькеев, я вижу, решительно крушитель здешних сердец.

— Последний из ловеласов! — прибавил он и затрясся всем толстым телом от смеха.

— Разумеется, чтобы быть ловеласом вполне из первых, надо быть больше подлецом, чем я, — отвечал Милькеев, краснея.

Граф тоже покраснел, и оба они вышли в разные двери. Милькеев тотчас же уехал к Лихачову; а Новосильский, взбешенный его ответом и не сомневаясь, что он знает все его прошедшее, сгоряча хотел было переменить тактику и постращать жену, что он опять увезет детей или возьмет себе гражданскую должность в их губернии и не даст ей покоя. Но потом остыл, вспомнив, что этим он все-таки не добьется того правильного, барского житья, которое его так соблазняло в Троицком. Гнев свой он сорвал на милькеевском друге, Рудневе: увидав, что доктор в зале держит у себя на коленях Олю, Новосильский мимоходом

закричал на нее: «Сойди, Оля! Что̀ ты у доктора на коленях сидишь! Это грязно. Надо знать, у кого сидеть!»

Все дети, Баумгартен, Nelly и Руднев с удивлением переглянулись.

В Чемоданове бабушка и тетка решилась не пускать Любашу на вечер. Еще до визита Новосильского у них был разговор об этом с слугой, который накануне провожал Любашу к Полине.

— Иринашка! — сказала Авдотья Андреевна, — кто был вчера у Протопоповых? 10

Иринашка сказал, что лекарь Руднев был.

— Что̀ же он делал?

— С барышней сидели. Барышня на фортепьянах играли; а доктор около них сидели. В саду гуляли, на качелях качались.

— Все одни? Полина не ходила с ними?

— Не ходили.

Иринашку отпустили, и Авдотья Андреевна сказала дочери:

— Одно из двух — или сам Руднев за ней волочится, или записки от Милькеева ей передает. Пелагея-то Ва- 20 сильевна с какой стати в сводни записалась? Видно, Максим правду про нее говорит, что она брата холостяком уморить хочет!

— Не надо ее и к Полине пускать, — сказала Анна Михайловна. — А в Троицкое ни за какие мильоны!

Но Максим Петрович, который стал опять мрачен и сердит с того самого времени, как последний раз объяснился с Рудневым, узнал от горничных, что Иринашка доносит все барыне, дал Иринашке несколько добрых оплеух, показал сестре кулак, а матери объявил, что сам 30 повезет дочь в Троицкое с утра.

Авдотья Андреевна сразу не противоречила ему, но накануне назначенного дня объявила, что у нее две лошади нездоровы. Максим Петрович тотчас же написал записку к Полине, и Полина прислала ему фаэтон четверней, извиняясь, что не карету — потому что в карете она поедет сама.

Что̀ было делать старухам? Сердить еще больше Максима Петровича было опасно в такое время; призвали Любашу и советовали ей отговорить отца.

— Он там скандал, ужасный скандал сделает! ты увидишь! — воскликнула тетка. — Он теперь не в своем уме...

— Он меня не послушает, — отвечала Любаша, — что̀ мне делать, я не знаю!

— Не финти! — сказала бабушка, — сама умираешь по Троицком!.. я очень буду рада, как он тебя там осрамит... Убирайся с глаз моих поскорей...

Дорогой Любаша от радости беспрестанно заговаривала с отцом; но старик молча, казалось, обдумывал что-то. Во все время он сделал только один вопрос: «А что̀, старый Руднев — Владимір Алексеич, бывает на этих вечерах или нет?»

— Всегда, — отвечала Любаша.

— Гм... хорошо! — сказал отец, и по лицу пробежал минутный блеск.

— На что вам? — спросила дочь.

— Так, матушка. Давно не видались, — отвечал Максим Петрович и до самого Троицкого не сказал уже ни слова.

XXIII

В Троицком праздновали день рождения Феди. Любаша с утра приехала с отцом. Другие гости съехались к обеду.

Снег почти стаял; лежал еще только в тени за деревьями и в глубоких ямах. В саду расцвело множество голубых подснежников.

Перед обедом Любаша, Милькеев, дети и Nelly поехали верхом, мимо реки и больницы. Nelly ехала впереди с Машей и берейтором; за ними дети; Милькеев остался сзади с Любашей. Баумгартен был покоен: он видел, что Милькеев занялся Любашей, и остался помогать Катерине

Николаевне в приготовлениях. Руднев был занят с больными. С каким наслаждением работал он в этот день!.. Его ампутированный шел отлично; две женщины с застарелыми сыпями, которым он в первый раз решился дать мышьяку, тоже скоро должны были выйти; одна чахоточная была слаба, но против этого он не мог уже ничего, и совесть его была покойна. Он не мог ехать кататься потому, что с утра приходящих собралось много и едва к обеду он надеялся с ними управиться... Он перевязывал одну разрубленную топором ногу, когда кавалькада проехала мимо окон больницы... С сладким вздохом взглянул он туда и опять обратился к крестьянину, который грустно смотрел на свою окровавленную ступню. Усталый и бодрый, вышел он на воздух из больницы...

Милькеев поднимался по лестнице из цветника к нему навстречу.

Руднев остановился перед ним и тихо произнес, поднимая руки к небу:

— Как я счастлив, душа моя, ах! как я счастлив! Ну, не думал, никогда не думал!.. Спасибо вам, спасибо...

— За что? — с удивлением спросил Милькеев.

— Помните стихи:

Кинься в море, бросься смело!
Весл в замену две руки.

— Помню.

— Понимаете теперь?..

— Понимаю.

— Ну, и довольно. Смотрите, весна везде... одуванчики желтеют... подснежники цветут... Я думаю, подснежники будут идти к Любаше. Она ведь будет в голубом платье сегодня...

— Да! — отвечал рассеянно Милькеев, — только они скоро завянут. Пойдемте, пожалуй, соберем и сделаем ей венок. Оля и Маша сплетут...

Руднев спросил у него, отчего он так грустен.

— От многого! — сказал Милькеев. — Мне бы хотелось, чтоб случилось что-нибудь необыкновенное сегодня; я сам не свой!

Обед был шумный; играла музыка; утренняя грусть Милькеева прошла и сменилась раздражительной веселостью. Любаша, как другу, открылась ему, что давно любит Руднева, но что и его никогда не забудет, дала ему тайком поцаловать руку, и сама пригласила его на мазурку.

Милькеев признался ей, что на днях уедет, но не сказал куда и зачем.

После обеда Любаша, немножко разгоряченная длинным обедом, упоенная весной, музыкой, видом зелени, которая глядела во все окна и двери, увела своего жениха в беседку, покаялась ему в том, что дала Милькееву поцаловать руку, обнимала и цаловала его долго и наконец сказала:

— Ты видишь, как я тебя люблю! Позволь мне сегодня пожить, как говорит Милькеев... Ты мало танцуешь... а мне хочется веселиться... Позволь, я тебя прошу...

— Живи, живи! мое божество! — отвечал Руднев. — Живи! только изредка взгляни на меня издали, и тем я буду доволен!

Уже танцы были в полном разгаре; граф и графиня сидели рядом в кресле, как согласные супруги, и смотрели. Новосильский старался быть любезным, но не мог; он с нетерпением ждал случая остаться наедине с женою и с негодованием осмеять ее лицемерие. Теперь он был убежден, что не его пороки мешают ему остаться в Троицком, а ее собственные слабости. После обеда он отыскал того капитана Балагуева, о котором говорил ему Юша, взял его за руку и сказал ему: «Что вы так редко бываете здесь? Я люблю всех военных, как старый товарищ!» Потом расспрашивал о его житье-бытье, о походах, о том, как и за что он был произведен в офицеры, и капитан от восторга не знал, куда стать и сесть; грубо смеялся, садился на конец стула, вставал, опять садился и, наконец, когда граф навел его на троицкую жизнь и Милькеева, капитан сказал:

— Прежде их сиятельство, Катерина Николавна, меня любили. Я стоял на деревне, в дом меня взяли; Олиньку я учил арифметике и закону Божию. А после уж!..

Капитан махнул рукой.

— Что̀ же вы?.. говорите, — сказал Новосильский, — после вы поссорились с моей женой?

— Ссориться с Катериной Николавной я не могу-с; а наговорили на меня им — это так! Нянюшка, эта ехиднинская душа, Анна Петровна передала, будто я на учителей детям наговариваю. А вы, ваше сиятельство, посудите сами, разве хорошо видеть, как Милькеев-прохвост, прости Господи! какой-нибудь, да Руднев-живодер графских деточек учат стерву-падаль трогать... Вот хоть бы Юша, положим, хоть и незаконнорожденный, а все-таки графский сын. — Тащит, бедняжка, на ремешке коровий череп: «вот тебе, говорит, Вася!» С доктором вместе начнут поросят при барышнях потрошить. Не вытерпел я, признаться, и сказал детям, что доктора́ никогда в царствии небесном не будут! Ну, и барышням вашим в акушерки не резон идти... И Милькеева таки ругнул, а Катерина Николавна на меня за это взъелись...

Новосильский увел его в свою комнату, угостил вином и, продолжая разговор, спросил:

— Жена моя, кажется, слабенька к Милькееву? Кабы я здесь, капитан, остался да выгнал бы этого негодяя... я бы вас сделал своим управляющим. Вы, должно быть, человек умный, честный... Как вы думаете насчет жениной слабости к Милькееву?

— Что̀ уж и говорить! — отвечал капитан, улыбаясь и отвертываясь стыдливо от графа.

— А что̀?

— Все знают. По ночам вдвоем чуть не до рассвету сидят; с балкона я сам видел, как она обнималась, да и прошлого года в лесу сраму не мало было. Ездили мы в монастырь все и в лесу ночевали... Так графиня всю ночь не спали с ним, по роще гуляли в одной блузе...

— При детях, при людях? — спросил с удивлением Новосильский.

Капитан опять махнул рукой. Граф подарил ему пять фунтов лучшего турецкого табаку, черкесский кинжал и довольно новый вицмундир для перешивки и пошел в залу сидеть около жены и ждать удобной минуты для объяснения. Между тем, Максим Петрович возобновил знакомство с старым Рудневым и сказал ему, глядя на танцующих: «Молодежь наша пляшет... вон Федор Новосильский какого трепака загибает! Лихой мальчик будет! А ваш не так-то охоч».

— Серьезен. Не по годам серьезен, — отвечал Владимір Алексеевич. — Любовь Максимовна зато танцорка. А сколько будет им лет?

— Любе? Девятнадцати еще нет, — отвечал Максим Петрович.

— Ну, это только начало живота! — с радостью воскликнул Владимір Алексеевич. — Это только начало живота... Одно начало живота!

Максим Петрович взял его под руку и увел на заднюю террасу.

— Пусть их пляшут; а мы здесь посидим в холодке.

— Посидим у моря да подождем погодки, — намекнул хитрый Руднев, который все уже знал от племянника.

— Да что ждать-то! — возразил Максим Петрович. — Эка невидаль ждать... А вот, как бы не ждавши сделать дело?

— Да! как бы не ждавши сделать его? — повторил Владимір Алексеевич.

— Небось рублей восемьсот имеет Вася-то ваш в год?

— Нет, — отвечал старый Руднев, — до шестисот доходит и даже может при случае переступить за эту черту. Однако надо ждать улучшения от освобождения крестьян.

— Да! ведь у вас земли-то в Деревягине не так-то мало?

— Не по душам, не по душам, — отвечал Владимір Алексеевич, — если бы капиталец небольшой — можно бы хорошо пустить в обработку... и крестьян все-таки числом тридцать три души по последней ревизии...

— Ну! крестьяне-то отойдут скоро к дьяволу! — заметил Максим Петрович.

— Положим, так; но оброк, по всем вероятиям, они будут платить еще долго. Поэтому — они еще пока мерило!

— И то! и то! Я не подумал об этом.

— Как же! они еще мерило! — весело затвердил Руднев, — все-таки еще мерило... Мерило!

Оба помолчали, повздыхали, послушали музыку и шум фонтанов в темном саду, и, наконец, Владимір Алексеевич сказал:

— Признаюсь вам, я крайне жду этого переворота... без этого переворота мне неудобно. Вася крестьянами владеть не может. А при этой реформе я ему все отдам. До этой реформы одна моя надежда — на брак...

— Что ж! — отвечал отец Любаши. — Брак — так брак... Попытаем счастья, коли Люба моя ему по душе.

— По душе! — с улыбкой воскликнул дядя Руднева, — я давно говорю: наш доктор сердце потерял! Ловите, девушки, ловите!

В эту минуту на террасу вышли: Новосильский, князь Самбикин, младший Лихачов и Милькеев. Тяжело скрипя костылями, Новосильский шел впереди всех и говорил громко и сердито:

— Где это видано?! Что̀ это такое за кадриль-экстра?! В каком это обществе делают?

— В уездном нашем городе на Святках пехотные офицеры так делали... И я у них выучился. Спросите у капитана Балагуева, — отвечал Милькеев с улыбкой.

— Хороша школа вежливости и приличий! — воскликнул граф.

— Хорошее — везде хорошо, — отвечал Милькеев.

— Это грубо! это низко!.. — дрожащим голосом сказал Самбикин.

— Князь слишком мягок и добр, — прибавил граф, — в другой раз вы можете дорого поплатиться за это, мсьё Милькеев.

— Я готов платить и теперь — и вам, и господину Самбикину! — отвечал Милькеев.

— Я не хочу заводить истории в доме, который уважаю! — сказал Самбикин.

— Это очень похоже на то, что всей казенной капусты нельзя в солдатские щи класть оттого, что будет слишком густо! — возразил Милькеев.

Лихачов схватил его сзади за локоть, чтобы удержать, но было уже поздно.

10 Раздраженный холодностью Любаши, возбужденный дружескими насмешками и подстреканиями графа, Самбикин вышел из себя.

— Повторите... повторите, — закричал он.

— Тише! — сказал Лихачов, — все услышат. Зачем повторять?.. Это он так только...

— Нет! нет! — твердил Самбикин. — Нет, я этого не спущу... Ни за что! Нет! Ни за что!

Владимір Алексеевич взял за руку Лихачова и спросил у него тихо, в чем дело.

20 — Из-за Любаши вышло, — отвечал Лихачов. — Милькееву непременно хотелось танцовать с ней кадриль, а все были разобраны; вместо третьей он и вздумал эту экстру... Все мы согласились... А об князе и забыли; забыли его предупредить. Эту самую кадриль он должен был танцовать с Любашей же. Вот и все! пустяки, и надо это все покончить.

— Надо! — сказал Максим Петрович, которого Лихачов и не заметил. — Пойду, Катерине Николавне все скажу.

30 Пошел и сказал. Катерина Николаевна старалась обратить все это в шутку, призвала молодых людей, уговаривала их, сказала, что она, как старая комендантша в «Капитанской дочке», велит девке спрятать их оружие в чулан; потребовала другую такую же кадриль-экстра, чтобы вознаградить Самбикина; наедине стыдила Милькеева за то, что он связался с таким ничтожным человеком, и умоляла его извиниться с высоты своего величия.

Милькеев вывел опять Новосильского и Самбикина на террасу и сказал:

— Я думаю, князь, не бросить ли нам все это дело? Катерина Николавна беспокоится. Обидеть я вас не желал... Я просто забыл об вас — вот вся моя вина!

Но граф перед этим уже успел еще подлить яду в душу Самбикина, не надеясь на его собственную стойкость.

— Ему надо дать добрый урок! Quelle canaille! Экстра-кадриль... Где и когда это видано? Хороши у вас кавалеры! Экстра-кадриль!.. Тошно произнести даже! Какая наглая, смелая гадина!

И Самбикин, как ни хотелось ему помириться, отвечал, однако, Милькееву, что он не забыл ни его слов, ни его поведения и посчитается с ним на следующее же утро.

— Как хотите! Я очень рад! — отвечал Милькеев и предупредил Руднева и младшего Лихачова, чтобы они не ложились спать после танцев, а были бы готовы ехать на рассвете в лес.

— А если он сдуру да убьет тебя — спросил Лихачов.

— Вот вздор! — отвечал Милькеев. — Я еще ничего не успел сделать — а он убьет меня? Никогда не поверю!

— А если вы его убьете — не жалко разве? — спросил Руднев.

— Если он будет убит или ранен — ему же лучше. Хоть немножко интереснее станет; таким людям остается один рессурс — быть жертвой.

— Удобная теория, — сказал Руднев и пошел заранее тайком приготовить инструменты и корпию.

— Что̀ ж, помирились вы? — спросила Катерина Николаевна после ужина у Милькеева.

— Помирились, — отвечал он.

— И слава Богу! — сказала Новосильская. — А меня музыка эта навела на математические расчеты. Сидела я, сидела и рассчитывала, буду ли я в средствах положить на имя Юши тысяч десять серебром. Хочу предложить завтра мужу, что я сделаю это для его сына и даже больше, если можно, только чтобы он уехал отсюда. Он его очень любит.

— И это, верно, вас очень трогает? — спросил Милькеев.

Катерина Николаевна улыбнулась и покраснела.

— Один Бог знает, как мне самой его жалко... Сколько раз я готова была согласиться... Спасибо вам, что вы поддержали меня... Дайте руку... Вы и доктор поддержали меня. Мне Nelly все сказала. А я начала уж таять... Правда, что сахар-медович! Он уже успел Федю выучить какую-то грязную песенку петь. Верно, он согласится на мое предложение. Уедет, и я опять отдохну!

— Скоро-скоро мы все отдохнем! — сказал Милькеев и поцаловал ее руку.

XXIV

Милькеев с князем стрелялись рано утром в большом лесу. Они выстрелили почти разом оба, и оба были ранены: Милькеев в правую руку, а Самбикин в грудь. Когда князь упал, Лихачов и Руднев подняли его, позвали коляску и повезли его скорей прямо в лазарет, чтобы иметь скорей все под рукою и не напугать никого в доме. Новосильский поспешил за ними в линейке, и Милькеева все забыли.

Оставшись один, он отыскал знакомое болотцо, обмыл рану холодной водой и дрожащей рукой и зубами перевязал себе больное место платком. Ему казалось, что он слышал под пальцами пулю неглубоко в теле... Он посмотрел с благодарностью на небо и пошел домой. На крыльце он никого не встретил, в залу не хотел идти и, запершись у себя в комнате, до тех пор тер себе больную руку, пока пуля выпала сама. Немного погодя, постучался фельдшер и сказал, что доктор прислал перевязать его.

— Что князь? — спросил Милькеев.

Фельдшер отвечал, что «трудны, но Василий Владимірович ласкают себя надеждой на выздоровление».

Вслед за фельдшером и сам Руднев пришел усталый, бледный и, обнявши раненого друга, сказал ему:

— Как подумаю, что вы живы, не знаю — верить ли или нет от радости! Вы — вертопрах, и понять не в силах, как я вами дорожу!

За Рудневым пришел младший Лихачов, потом ворвались дети, пришла почти бегом сама Новосильская. Они все только что узнали, только что проснулись... все обнимали Милькеева, поздравляли, кричали, бранили, ласкали его... Но он только теперь почувствовал усталость от бессонной ночи и сильных ощущений, просил всех уйти, заперся и заснул.

Руднев поспешил опять к Самбикину, совещаясь дорогой с Катериной Николаевной и Новосильским, как бы его поспокойнее перенести в дом. Самбикин просился к матери или, по крайней мере, к сестре, которая ближе; но Руднев решительно восстал против этого. И князя перенесли осторожно в нижний этаж. Часа через два приехали сестра его и зять, а к обеду и сама княгиня.

Княгиня, как вошла, так и упала со всех ног у его кровати. Напрасно Новосильский и Руднев уговаривали ее, успокоивали. Она плакала, называя его самыми нежными именами.

Наконец Руднев сказал ей, что вопли ее могут усилить страдания сына и даже опасны для него.

Это отрезвило княгиню, и она вышла, утирая слезы, в соседнюю комнату.

— Будет он жив, будет он жив, доктор? — твердила она, умоляя Руднева. — Все вам отдам, не надо ли за другим послать?..

— Князь сам не желает другого, — отвечал Руднев, — кроме Воробьева, поблизости нет никого; а на скрытность Воробьева нельзя надеяться. Князь не хочет ни себя, ни других подвергать опасности.

Княгиня наконец успокоилась и пошла наверх к Катерине Николаевне, которая не могла удержаться от слез при виде убитой матери; франтиха-старуха была растрепана, и глаза ее опухли. Она обняла Новосильскую и благодарила за уход...

Катерина Николаевна усадила ее, успокоила и начала уверять, что Руднев ручается за рану, что муж ее — знаток в этом деле и не боится за ее сына... рассказала сначала, по желанию княгини, самые мелкие обстоятельства, как вышла ссора, старалась оставить Любашу в стороне, но это было невозможно, и княгиня начала бранить ее.

— С этих лет девушка, с этих лет девушка!..

Вдруг растворилась дверь с балкона, и Любаша вошла. Лицо ее было не так румяно, как всегда... За нею шла Nelly, тоже угрюмая и усталая.

Едва успели они поклониться, как княгиня, вглядевшись пристально в Любашу, вскочила и, приседая, закричала:

— А, это вы-с, это вы-с... Благодарю, благодарю, милая, благодарю... Дайте, я вам в ножки поклонюсь за то удовольствие, которое вы мне доставили на старость! Merci, merci, моя милая.

Старуха опять приседала и делала ручкой Любаше...

— Я, кажется, ничем тут не виновата... Василий Николаич звал меня на кадриль...

— Ну-с, ну-с... милая, говорите...

Княгиня прищурилась и ядовито смотрела на смущенную девушку.

Катерина Николаевна давала Любаше знаки, чтобы она удалилась, махая ей рукой, но Любаше хотелось оправдаться.

— Василий Николаич, — продолжала она...

— Кто это Василий Николаич? — спросила княгиня.

— Это наш Милькеев, — сказала Катерина Николаевна.

— А! Господин учитель, — значительно склоняясь перед этим именем, промолвила княгиня. — После этого я молчу! Если Василий Николаич вас пригласил, что̀ же после этого остается делать?

Княгиня посмотрела еще раз на Любашу пристально и прибавила:

— Стыдитесь, стыдитесь, Любовь Максимовна!..

— Любовь Максимовна ни в чем не виновата, — заметила Катерина Николаевна. — Уж вы, княгиня, и без того огорчены...

— Не буду, Катерина Николавна! не буду плакать я!.. Извольте, не буду! Вам легко, не ваш сын...

В эту минуту в дверях балкона показалась седая борода Максима Петровича. Он искал дочь, чтобы звать ее домой. Он тоже уже знал об дуэли.

— А-а! — воскликнул он, увидав княгиню, — это вы, ваше сиятельство!

Княгиня гордо и холодно поклонилась.

— Вы никак мою Любовь грызете тут, — продолжал старик, — ну! это дело! Не проказь. Я вчера видел проказы ее.

— Зачем же вы допустили вашу дочь до этого?

— Зачем? Молода. Вот зачем — пусть побалуется. Я уважаю вашу грусть, княгиня, вполне уважаю. Только Любу-то оставьте. Пусть балуется.

Катерина Николаевна не знала, что̀ сделать, чтобы предупредить как-нибудь ссору между огорченной матерью и полоумным отцом.

— Баловство это убьет сына моего! — воскликнула княгиня, — слышите вы — сумасшедший вы изверг! Зачем она прежде кокетничала с ним, сидела по садам, улыбалась, кривлялась... Девка! И кто этот Милькеев... Что̀ это такое — чтобы предпочесть его моему сыну... Кто это? Что̀ это?

— Вы ошибаетесь, ваше сиятельство! Конечно, вы — мать... А я — отец... вот и все.

Княгиня продолжала:

— Не надо было обманывать человека! Платить злом за добро. За мое расположение, за мою вежливость...

— Бог с ним с вашим расположением, княгиня, — перебил Максим Петрович. — И вежливости мы от вас никакой особенной не видали. Все гневаетесь.

— Напрасно я с вами говорю, Максим Петрович: вы — не человек. Вы, сударыня, Любовь Максимовна,

вы зачем не пожалели меня?.. И что̀ это, что̀ это за фигура г. Милькеев!

— Позвольте, ваше сиятельство, — настаивал старик, — позвольте: вы ошибаетесь! Мимо Сидора да в стену. Нам с Любовью и Милькеев и ваш сын нипочем. Мы их и знать не хотим! У нас есть другой жених. Вот Катерина Николавна поможет нам свадебку сыграть. Все заживем! Я в Чемоданово ни ногой, Анна Михайловна скоро умрет; ваш Александр Васильич поправится. Уж мой зять об нем похлопочет. На что моя болезнь застарелая — и то пособил! Ведь меня в сумасшедший дом хотели отправить! Ей-Богу!

Он засмеялся и взглянул на всех. Все молчали. Любаша стояла спиной ко всем, припав лицом к окну; старик медленно продолжал:

— Что ж! По-моему, это вовсе недурно! Человек он молодой, солидный, служит хорошо, доброй души, доктор хороший. Своего состояния нет; да вот у дяди, авось, земля очистится: он ему всю тогда припишет. 200 десятин, да служба, да практика, да за ней, может быть, бабушка и даст что-нибудь — будут жить хорошо. И собой он, по-моему, недурен. Женоподобен, это правда! да не всем же и силачами быть. Всякая женщина знает, кто ей как приходится! Читал я раз в книжке прошлого года... Так, оборванная книжка валялась... Два грека были: один был Менелай, а другой Парис... Менелай было Париса раз ловко вздул; сильнее был — куда! А жена Менелая, однако, с Парисом ушла. Земли, я говорю, десятин 200 у него будет. Владиміру Алексеичу некому их отдать. Лишь бы эманципации дождаться. Что ж, это правда, человек должен быть свободен. Теперь взять хоть бы меня. Я вчера пошел против матери, приехал сюда; а будь я не сын ей, а крепостной — она меня бы высекла. Княгиня и подобрее матушки, да тоже в застенок их посылает. Да что! Я-то мало их лущил? И не говорите! Лущишь, лущишь — ажно самому тошно станет!

Говоря это, он заложил руки за спину и, став перед Катериной Николаевной, загородил собой княгиню; Новосильская с упреком головой указала ему в ту сторону.

Старик обернулся к бедной матери, которая, склонясь на ручку кресел, кротко плакала, и сказал ей:

— Ну, Марья Никитишна! Не убивайтесь. Сын ваш — человек еще свежий; вынесет рану. Эх! у кого, Марья Никитишна, нет змеи в душе! Живешь-живешь — как в комнате душной бродишь! В окнах сад виден хороший. Увидишь садик из окна, и хорошо будто; шевельнулся — опять жолтый простенок... Ну! а за простенком — опять весело! — прибавил он, вдруг бодро возвышая голос.

Никто ему не отвечал; он походил, повздыхал, взял фуражку и предложил дочери ехать домой... Люба даже не простилась с своим женихом; и если бы у нее спросили теперь, кого она любит: Руднева, который так предан ей, или князя, который, быть может, отдал жизнь за нее — она бы не знала, что̀ сказать: и того жаль, и того жаль. И тот добр, и тот мил! И князь на краю гроба, и Руднев не виноват, что не ему пришлось быть на месте князя!

О Милькееве все забыли в этот день. Проснувшись около сумерек, он было пошел наверх, но в передней подбежал к нему дворецкий и жалостливо шепнул:

— Княгиня там, Василий Николаич... маменька князя. Хорошо ли будет?

— И то правда! — сказал Милькеев, краснея. — Велите-ка мне лошадь оседлать.

И уехал к Лихачовым.

— Испортил ты все дело! — сказал младший Лихачов, — да что̀ делать! Хуже-то будет не тебе, а мне и Богоявленскому. Богоявленскому революцию хочется видеть, а мне Италию во время революции. А тебе весь риск в том, если князь умрет, что на Кавказ пошлют те самые щи хлебать, из-за которых вы вчера оба показали столько мужества. Недоставало бы только, чтобы он из мести опять в комиссариат поступил. Как бы это устроить? А для тебя, я думаю, все равно, — лишь бы ощущения? На Кавказе есть и горы, и море, и «по камням струится Терек».

— Ну, нет! — отвечал Милькеев, — я не знаю, что̀ мне делать?! Кавказ — не Италия. Я тогда буду с особенной охотой драться за Россию, когда в ней будет много знатных дам вроде Новосильской, много докторов вроде Руднева, много крестьянок вроде его покойной матери, много дельцов вроде твоего брата и много лихих помещиков вроде тебя!.. А пока Кавказ, брат, не Италия! Не уехать ли уж нам поскорее, пока все еще шито и крыто! Я заеду сейчас к Богоявленскому и потом в Троицкое, прощусь с ней, и будь готов дня через два в путь.

Но в Троицком его успокоил сам граф. Он уже помирился с мыслью возвратиться на службу, согласился на предложение жены и даже полюбил немного Милькеева после дуэли.

— Vous vous êtes conduit en brave! — сказал он, дружески сжимая ему руки. — Теперь надо подумать о последствиях. Как только Самбикину будет лучше, я поеду и, если это дойдет до губернатора, заеду к нему: он мне старый приятель. Я знаю, он оставит это так. Лишь бы князь был жив до тех пор. Я знаю даже наперед его мнение; он часто говорит: есть добрые суеверия и доблестные предрассудки; не надо их уничтожать!

Дня через два Руднев сказал, что Самбикину немного легче, что он приходит в память, и жар начинает упадать, и граф собрался в путь. Простился со всеми, поплакал, обнимая Юшу и других детей, сел в карету и умчался за Пьяну, долго махая платком из окна. Вся семья и слуги смотрели на карету, пока было можно видеть, и молча разошлись с крыльца в разные стороны.

XXV

— Едет, едет наш Вася далеко! — говорили дети. Куда, — они не знали!

Огромная туча двигалась с востока и заняла уже половину неба; по широкой маркизе пробегал трепет, и в

темном саду видно было только светлое платье Маши, которая запирала фонтаны перед бурной ночью.

Слабыми шагами спустился Милькеев с балкона в сад; Маша увидала его издали, подошла к нему и, обняв его, сказала:

— Ах! Вася, Вася... Зачем это не придумали тебе лучше имени... Что̀ это за злой Василиск... Я бы желала тебя иначе назвать... Как бы?.. не знаешь ли, Вася, — я уж не чувствую ничего, когда я тебя назову просто Вася. Придумай нам на прощанье...

Наверху террасы нашли они мать, которая позволила Маше еще погулять в саду одной, без других детей и присмотра.

Милькеев сел около Катерины Николаевны и взял ее руку.

— Ну, что, как вы себя чувствуете? — спросил он, — не холодно вам в этой мантилье?.. Подушку вам принести?

— Нет, — отвечала она, — это все вздор... А *то* вы не раздумали?..

— Нет!

— Скажите, что это вас все подбивает на какую-нибудь штуку? Для чего это вы...

Милькеев не отвечал, но поднес ее руку к губам и поцаловал эту руку с благоговением сына и нежностью брата.

— Поздно, поздно я вас встретил! — отвечал он ей, — лучше бы раньше!..

— Отчего вы не хотите раздумать, — продолжала она, — вы любите свободу, жалеете народ, — вы добры и смелы... Крестьяне скоро будут вольные, будут новые должности... Я ведь могу много для вас здесь сделать. Да это и не для вас, а для других! ведь вы могли бы сколько пользы здесь сделать, сколько добра. Сколько здесь нужно будет добродушия и терпенья с крестьянами, а с помещиками занадобится справедливость, дар слова и либеральность. Ведь это все нашлось бы у вас? Николай Лихачов вас уважает, друзья вам здесь все... Подумайте-ка... Что̀ это будет? Борьбы вы не боитесь, вы хотите ее... Свекуйте у нас!..

В это время из-за кустов опять показалась белая тень Маши, и Катерина Николаевна загляделась на нее... Помолчав с минуту, она опять обратилась к нему:

— Видите вы, кто там в саду?..

— Вижу...

— Вот вам. Вы сказали, что меня вы встретили поздно... и это жаль... Вот она подрастет для вас, если хотите... Милый мой! останьтесь... прошу вас... Ведь вы понимаете ли, что̀ за отрада была бы мне видеть вас и богатым, и счастливым и доставить вам известность здесь, имя громкое на весь округ, если не на всю Россию. Друг мой! останьтесь... Видите, я плачу об вас, Вася; вы мой, мой уж стали. Я ни с кем так не была, как с вами... И разве моя Маша плоха?.. Разве она не симпатична?.. И какая бы мне радость была, если бы я могла сказать: «вот какого мужа я достала своей фаворитке». Ведь она не бедная; она не стеснит вас. А люди, люди-то как бы вас любили...

Последний фонтан вдруг замолк вдали; Маша закрыла его; дождь начинал уже капать крупными каплями; небесная, задумчивая отроковица взошла на террасу, села около своего друга, нежно припала к нему и положила ему на плечо свою головку, и душистую, и свежую от дождя.

Все они трое молчали долго; он держал руку матери одной рукой, другой рукой обнимал Машу. Когда Маша ушла, Катерина Николаевна спросила: обдумал ли он и останется ли?

— Нет, не останусь, — отвечал он, — разве я не знаю, какие это будут и важные и почтенные должности и сколько чести быть таким судьей... Да вот, как бы вам это сказать, постойте, — вот вы теперь любите раскладывать гран-пасьянс?

— Опять сравнение! Оставьте это...

— Постойте! Любите? А ведь смолоду, верно, не любили. Так позвольте же и мне теперь поиграть в штосс, хоть это, может быть, и не так честно. А уж для гран-пасьянса время найдется и после! А вот, что вы сказали

про Машу — это хорошо, только ведь я стар для нее. Вы родились рано, она — слишком поздно!

— Это уж ваше и ее дело... Я говорю, что я готова и на это, я бы не побоялась этого и хоть семнадцати лет за вас ее отдам, — другому нет, рано не отдам. А там что̀ будет! Ах! что̀ будет, мы не знаем!..

Она давно уже слышала капли слез, которыми обливал ее руку благодарный избранник ее дружбы. Когда этот долгий источник долго сдерживаемых слез иссяк, она поцаловала его кудри и оставила его одного на террасе, в которую уже давно бил проливной дождь.

XXVI

Несколько недель после отъезда Милькеева в Троицком все чувствовали большую пустоту; увеселения не ладились уж так, как прежде. «Без Васи плохо идет дело», — говорили дети. «Да! все как-то не то», — отвечала мать. — «Oh! Quant à ça, il était bien amusant, — говорил Баумгартен, — только я бы не желал иметь такую репутацию...» — «Это не помешает ему быть и в серьезном выше скучных людей», — возразила Nelly.

Менее всех чувствовал его отсутствие Руднев; он был занят и князем и Любашей. Князь уже поправлялся и гулял; старая княгиня сама водила его под руку и каталась с ним в коляске. Руднева она до такой степени полюбила за это время, что не иначе звала его, как «мой второй сын», «мой блондин» — в контраст князю, который был «мой брюнет». Руднева, который от души жалел княгиню, но не мог никак заставить себя любить ее, иногда это мучило и на сентиментальные слова старухи отвечал молчанием.

Однажды князь поехал с матерью прокатиться к своему «chalet»; осторожно и с роздыхами вошли они на горку и сели под дубками на скамье.

— Доктор говорит, — начал князь, — что мне надо ехать в Ниццу, матушка... пережить эту зиму в тепле. Не

продать ли мне этот дом, и со всем местом — с лесом и службами... Не купят ли Лихачовы, — они все хвалят...

Мать помолчала.

— Что ж, мой голубчик, — сказала она, подумавши, — если доктор говорит, надо ехать... Только дом...

И, не кончив слов своих, она заплакала.

— Так я без тебя и умру... — сказала она наконец.

— Вы, матушка, молоды еще, не стары. Посмотрите на Авдотью Андревну!.. Увидимся! — отвечал дрожащим голосом сын...

— Ничего, ничего, — прошептала княгиня, — это нервы!

Она продолжала плакать, а князь не старался ее утешать пустыми фразами.

Они осмотрели дом, полюбовались на кабинет; развернули дорогие обои с прекрасными изображениями лесов и охоты, которыми он хотел отделать угловую, и сели опять в коляску.

— Зачем ты взял с собою эти обои? — спросила мать.

— Хочу Рудневу подарить. На что̀ они нам? Некому ведь здесь будет жить...

— А! Рудневу... Ну, хорошо. Я бы не только обои, я бы себя ему, кажется, теперь подарила... Поверишь ли, Alexandre, я вся дрожу, когда он входит!..

— Знаете ли что, матушка... Знаете, что̀ бы я вам посоветывал насчет Руднева?

— Что̀ же, Alexandre? говори, голубчик...

— Да! знаете что... Я ведь, вы знаете... теперь я не думаю о том, что̀ было... Мне нужен покой... Я уеду... Вы бы с Авдотьей Андревной поговорили...

— Насчет чего?

— Насчет денег.

— Насчет каких денег?

— Ну, да как же вы не догадаетесь!.. Конечно, я еду; мне, может быть, и больно было... Да ведь кто же знал.

— А! насчет этой негодницы! Подлая девчонка! Пожалуйста, не говори ты об ней... У меня вся внутренность

перевертывается. Я бы ее в угол затолкала да била бы головой об стену... И что̀ в ней находят! Кормилица, ражая русская девка, по-французски двух слов связать не умеет!..

— Не сердитесь, maman, — сказал князь, целуя ее руку. — Тем лучше, что это так вышло... Мне она самому так опротивела через все эти страдания, что я вам пересказать не могу. И Бог с ней... А Руднева мы можем сделать счастливым... Полина говорит, что Авдотья Андревна даст приданое за ней если вы попросите... 10

— А какое мне дѐло в это мешаться! — отвечала княгиня сердито. — Что̀ я им за сваха! Que tous ces diables et diablesses crêvent, je m'en soucie fort peu!

Осторожный князь не продолжал в этот раз разговора, боясь рассердить мать и еще более опасаясь расстроить себя. — Но возобновлял потом внушения не раз, и такая любящая мать не могла не уступить.

— А что̀ ты думаешь, chère amie, о Рудневе? — спросила княгиня Авдотью Андреевну.

— Милый и солидный молодой человек! — отвечала с 20 тонкостью Авдотья Андреевна.

— Отчего ты, chère amie, не отдаешь за него твою внучку? (Княгиня после поединка сына с Милькеевым никогда не называла ее Любашей.)

— Да разве он сватался за нее? — с притворным удивлением спросила Авдотья Андреевна.

— Говорят все, что они влюблены друг в друга! Ты разве этого не знаешь? Твой юродивый при всех это объявил.

— Ну, что̀ же значит, ma chère, его слово! Кто его 30 слушает! Ведь князю теперь гораздо лучше...

— Кому это, сыну моему? — вспыхнув, спросила княгиня. — Сын мой едет в Ниццу, и я с ним поеду, может быть; мы даже chalet свой продаем... После этой несчастной истории нам здесь слишком тяжело... Вернемся, когда все позабудем немного... К тому же, сыну моему, согласитесь, не к лицу быть несчастным искателем невест!

— Дружок-княгиня, за что же ты рассердилась? — сказала ласково Авдотья Андреевна, — ты меня не поняла; я говорю: если князю Александру Васильичу лучше, так что он может уже ехать за границу, так тебе бояться нечего старой истории...

— Какой это старой истории?..

— Дружок-княгиня, пожалуйста, не сердись: Александр Васильич влюблен был в Любу, Люба тоже. Не поверю я, чтобы она могла предпочесть Руднева Александру Васильичу. Но я понимаю, княгиня-голубчик, как тебе было бы больно, если бы это опять все возобновилось. Люба тебе опротивела... после этого... Я понимаю это. Так о чем же ты хлопочешь за Руднева?

— Авдотья Андревна, Авдотья Андревна! Отчего ты меня такой интриганткой и эгоисткой считаешь, что я только для себя и хлопотать буду, — чтобы всякий соблазн от сына отдалить... Я знаю, что Руднев твою внучку любит, и она его. Пошли за ней, спроси у нее...

— Не забудь, княгиня, что он не дворянин...

— Ну, что̀ говорить о дворянстве, когда у нас главное отнимают... Чем я теперь от своей вольноотпущенной мещанки отличаюсь?.. Пообразованнее немного? Да и земля-то у старого Руднева вся на имя племянника переведется, как только отпустят на волю этих зверей — мужиков...

— Я подумаю, — сказала Авдотья Андреевна.

К вечеру все было кончено. Авдотья Андреевна давно уже думала о Рудневе и очень хорошо видела, что все: Полина, Максим Петрович, Платон Михайлович, сама Любаша и даже Сережа желали этого брака; Анна Михайловна ничего не имела против него. Авдотья Андреевна все еще ждала, что князь поправится и опять посватается, а Любаша образумится и уступит с радостью. К тому же Любаша так часто плакала вначале о князе, так беспокоилась об его здоровье, что легко было всякому понадеяться.

Но Любаша плакала от одной жалости и муки, что она причиною всему; а изменить Рудневу не подумала ни на миг.

Авдотья Андреевна вошла вдруг в столовую во время чая и сказала:

— Ну-с, господа! Честь имею объявить, что я за Любовь Максимовной даю семь тысяч приданого. Максим Петрович, что̀ ты на это скажешь?

— Я, матушка, что̀ скажу?

— Да, ты что̀ скажешь...

— А что̀ я вам скажу? Умнеете вы день ото дня к старости — вот что̀ я вам скажу...

— Седой дуралей! — весело сказала старуха... — Ашенька, дай ему подзатыльника...

Анна Михайловна, разумеется, не осмелилась пошутить с братом, а Максим Петрович встал и пошел в свою комнату.

— Сергей! — закричал он, уходя, — принеси чернил свежих; у меня яко кладезь в пустыне!

— Благодари, Любаша, княгиню, что твое желание исполнилось, — сказала старуха.

Любаша хотела подойти к руке княгини, но оскорбленная мать отодвинулась от нее и, сценически отстраняя ее рукой, сказала:

— Об одном прошу, Любовь Максимовна, не прикасайтесь, не прикасайтесь ко мне... И не думайте, что я для вас что-нибудь захочу сделать... Я, конечно, сделала это для Василия Владимірыча, которого вы не стоите... Прочь, прочь, ради Бога! вы все в крови... Бесстыдница!..

Княгиня побагровела и велела, задыхаясь, подать свой экипаж. Авдотья Андреевна не уговаривала ее остаться, зная, что вспышка эта сама собой утихнет дорогой, и княгиня будет ей опять друг. Трудно и было им удаляться друг от друга: только друг с другом и с Анной Михайловной чувствовали они себя дома между всем этим новым и чужим народом.

На следующее утро Руднев получил от Максима Петровича записку:

«Радуйся и веселися, угодниче дамский Василье! Радуйся бессеребрениче! Любовь твоя увенчана, и моя Лю-

бовь с тобой скоро будет обвенчана. Дамы устроили все! Дамы, как ты знаешь, цветы, и требуют ухода; ты им потрафил еси; сыночек мой будущий и прошедший мой докторище!

Старичку Рудневу чемодановский старичище шлет низкий поклон».

Свадьба была отложена до июля, когда князь с матерью уедет в Ниццу. Прощаясь с Рудневым, Самбикин развернул перед ним полосу обоев с кабаньей травлей и предложил оклеить ими столовую в новом доме, который уже строился в Деревягине.

— У вас домик будет маленький, так я вам советую оклеить угловую с видом на нашу Пьяну; в ней вы можете и обедать, и потанцовать иногда. И сделайте готические окна... с разноцветными стеклами. Вам по размеру уже нельзя иметь правильного распределения комнат; так пускай это будет этакая fantaisie... Впрочем, вы сами лучше знаете...

— Напротив, Александр Васильич, — сказал Руднев, — у вас так много вкусу...

— Да мало счастья! — отвечал, качая головой, бедный князь.

— Славная будет горенка! — прибавил он, любуясь на разостланную картину и вдруг, вспомнив о той утренней охоте, после бала, на которой в первый раз зашевелилась ошибочная ревность в его душе, подумал: «пусть и *она* вспоминает иногда, глядя на эти обои!»

«Пусть вспоминает иногда!» — подумал и Руднев, принимая обои.

Довольно щедро одарив доктора, княгиня уехала с своим любимцем в Италию, а в Троицком отпраздновали свадьбу тихую и малолюдную.

Не раз многим вздохнулось, что Лихачов и Милькеев далеко; не раз и громко об них потужили; но молодые были тихи и счастливы, и всем было не то, чтобы весело, а сладко на них смотреть. Катерина Николаевна заплакала, обнимая их, и думала: «О! если бы на месте его был *тот*, а на ее

месте — моя Маша! Что за восторг! Что за радость была бы тогда! Да, быть может, успокоится опять он в Италии и вернется к нам!» — Еще до свадьбы она предложила новобрачным весь нижний этаж своего дома, пока достроится их домик, но они желали быть одни и уехали вдвоем верхом в Деревягино. (Любаша, не снимая белого кисейного платья, в котором венчалась, надела на него только юбку от амазонки.) Никто не провожал их... Родные Любаши все вернулись в Чемоданово; вечер был жаркий и грозный; дождь еще не шел, но молнии сверкали, и молодые доехали рука-в-руку рядом и не говоря ни слова.

XXVII

Через два дня после свадьбы за Рудневым прислал лошадей Сарданапал. Варя была больна. Едва только узнала она, что Лихачов уезжает за границу с Милькеевым, тотчас же приехала к нему, плакала и жаловалась, потом утихла и сказала:

— Нет, нет! поезжай! Слава Богу! мне без тебя просторнее будет... И Алексея Семеныча увезите, мне лучше так, я отдохну!

— Выйдешь замуж, — сказал Лихачов, — приданое у тебя хорошее для деревенской жизни... Женихи найдутся.

— Выйду, выйду, — отвечала Варя задумчиво, — только ты уж, пожалуйста, не упрекай себя. Через тебя я пожила! Эх! помнишь, как мы с тобой ночью в роще гуляли под Духов день!.. Ландышей, ландышей сколько было! Без этого что̀ бы я была? Вышла бы замуж дура-дурой. Нарожала бы дюжины две детей — без толку... Этакая скука и гадость!..

Они обнялись и простились дружески, и Варя ушла пешком. Весенняя грязь еще стояла кой-где по вершинкам; дул холодный ветер; в поле не было никого. Варя разулась и долго ходила по лужам, распевая песни. Она думала, что

завтра сляжет, но сухой кашель ее только усилился, поболела опять грудь — и только... Что̀ делать! Несколько раз еще мочила она ноги, лажала на росе, садилась после прогулки или верховой езды на сквозной ветер и к июню насилу добилась того, чего желала — начала кашлять кровью, слабеть... И с этой слабостью, с этим кашлем вернулась надежда и проснулся страх. Она призналась Рудневу, что сама виновата, говорила себе: «ведь *он* вернется! Побыв в чужом краю, дома все опять ему будет ново и хорошо... Не теперь, так позднее, быть может, опять скажет: „Варя, мне с тобой никогда не скучно!"»

Но Руднев видел, что надежды нет! Она уже ходила плохо; зябла и горела под вечер, хотя все еще бодрилась и говорила ему: «Никогда не поверю, что у меня в самом деле чахотка! Слишком нежно, интересно уж! Совсем ко мне нейдет!»

Комнаты братниного дома и сам брат стали ей ненавистны, и Катерина Николаевна перевезла ее к себе. Здесь Варя дожила последний месяц в тоскливом покое, доходившем иногда до блаженства. С утра выносили ей кресло на садовую террасу и ставили около нее чай. Иногда по два, по три часа сидела она одна и смотрела в сад. Вдали Катерина Николаевна играла на рояле; с другой стороны слышны были голоса детей из классной; фонтаны торжественно шумели, и сквозь деревья парка блистала река; по скошенным лугам за Пьяной чернелись телеги и люди. Варя уже ничего не желала, ничего не ждала... Слушала, смотрела, думала о том, как перед террасой идут в цветнике цветы: сперва полоса каких-то белых больших колокольчиков извивается, а за ней красные мелкие цветы. Вот, вот куда пошли!

— Хорошо вам, доктор, на свете жить? — спрашивала она Руднева.

— Недурно.

— Любаша вас как цалует?

— Как? обыкновенно, как...

— Куда! я хотела сказать...

— Что̀ за вопрос!..

— Везде, я думаю — вы недурны, — замечала Варя, рассматривая его лицо, и прибавила, — хорошо видеть счастливых!

— Хорошо тебе, Федя, на свете жить? — спрашивала она в другой раз.

— Не так-то, Варвара Ильинишна! Глаголы французские одолели, да еще вот Стрелка больна... Боюсь я за нее; лошадка славная! А вам, Варвара Ильинишна, хорошо? 10

— Здесь хорошо! — отвечала Варя.

Тот же вопрос делала она и другим детям, и Nelly, и самой Новосильской.

— Тоскуете вы об Милькееве? — спросила она вдруг Nelly, когда та сказала ей, что часто грустит.

Nelly смутилась немного и отвечала:

— Я тосковала и при нем.

Глаза Вари засверкали на миг, и она сказала помолчав:

— Неужто! вот как! Впрочем, вас не поймешь, вы все изворотами говорите! А по-моему, он хоть и видный был, 20 да не вкусный...

Варя для этой мысли не нашла французского выражения, но Nelly понимала русское слово «вкусный» и удивилась, как можно так говорить про мужчину.

— Вы сами то же думаете, не говорите только. Все это думают, — сказала Варя.

— О! нет, — отвечала Nelly, — Лихачов наружностью мне больше нравился... Но без Милькеева как будто скучнее все.

— Нравился вам Лихачов? Нравился? — спросила 30 Варя.

— Иногда, — сказала Nelly с испугом, думая, что растревожила ее.

— Ничего, это хорошо!.. Дай вам Бог!.. Дай вам Бог... — воскликнула Варя и заплакала.

Скоро она уже и плакать, и говорить перестала, даже кашляла мало, а лежала прозрачная и немая на кровати.

В полдень ее выносили на складной кровати в сад под липы. Катерина Николаевна сама обмахивала ей мух и служила ей.

— Добрая ты, добрая! — прошептала ей раз Варя, — сшей ты мне сарафан красный, и кисейные рукава, и платок парчовый купи... пусть лежат около меня тут... Я буду на них смотреть. И похорони меня в этом... Хоть в гробу буду покрасивее... Я была на Святках наряженная так — он меня и полюбил... А когда приедет без меня, скажите ему все от меня, пусть не жалеет и пусть *ее* возьмет... Тихая она такая, умная!.. Все ему скажите так, голубчики мои! Как у вас умирать хорошо здесь!..

Катерина Николаевна сшила и купила ей все, что̀ она просила, и через две недели ее похоронили в Троицком, недалеко от матери Руднева.

Баумгартен написал ей эпитафию:

La feuille verte et pleine encore de sève
Palit, frissonne et tombe au gré des vents;
Tout passe ainsi, tout passe comme un rêve,
Comme un soupir, comme un désir brûlant!
Ah! priez Dieu qu'il vous donne en grâce
Que vos beaux jours ne disparaissent pas,
Ainsi qu'un songe et sans laisser de trace,
Priez le Dieu qui veille sur vos pâs!

В стихах этих все нашли больше чувства, чем можно было ожидать от Баумгартена; но высечь французскую эпитафию на русском кладбище показалось Новосильской неловким, и Nelly утешила доброго француза тем, что списала эти стихи себе в альбом.

XXVIII

А слухов все еще не было от волонтеров. Только в августе получил предводитель от брата письмо из Тифлиса, в котором Лихачов писал:

«И мы не без патриотизма! Как ни хотелось ехать в Италию, но сами отказались. Набралось нас, молодых людей, человек до двадцати: пять поляков; один отставной артиллерист; два гусара отставных; один грек какой-то; остальные Бог знает кто. Все Милькеев через этого грека вербовал, да грек похвалился перед своей сестрой, та матери передала, а мать довела куда следует, и дело расстроилось. Богоявленскому не на что было ехать одному, потому что он весь тот капитал, который в Чемоданове скопил невозможными средствами, издержал в дороге, из гордости не желая обязываться нам. Однако пришлось ему, хочешь не хочешь, ехать на счет Милькеева в Петербург. Милькеев, сколько я его ни уговаривал к нам вернуться, твердил одно: „Разогретое кушанье не годится! Я у вас отслужил свою службу!" Он и бледный отрицатель отправились с своими тенденциями в Петербург, а я решился проездить деньги на Кавказе и надеюсь быть в сентябре домой».

Предводитель привез это письмо в Троицкое; все были рады, что Лихачов скоро вернется, но Катерина Николаевна боялась сообщества Милькеева с Богоявленским.

— Я боюсь, — сказала она, — чтобы он куда-нибудь не увлекся еще!.. Что̀ это за несчастное свойство — портить себе жизнь. Оно высоко, может быть, я понимаю, да все-таки страшно мне-то за него!

— Всякое честное направление, не выходящее за пределы национальности, нужно! — возразил предводитель.

— Не знаю, честно ли это — все ставить вверх дном, — отвечала Новосильская. — У Богоявленского, я понимаю, это может быть искренно, потому что он мало смыслит и ничего не любит; а у Милькеева это разве не натяжки! И что̀ они могут! Что̀ они могут сделать!

— Личное творчество! — насмешливо сказал предводитель.

— Вам смешно, а мне вовсе нет! — отвечала Катерина Николаевна.

Предводитель немного погодя прибавил:

— Да, худо то, что он сюда не заехал на минутку и не хотел слушаться меня... Впрочем, еще лучше, как обожжется в Петербурге, так тогда и меня вспомнит... Я напишу ему нарочно еще, чтобы он рано не ездил сюда. Если вы ему мать по сердцу, так не сбивайте его с пути движения и той ажитации, в которой он как сыр в масле катается.

В душе, конечно, предводитель был рад-радешенек, что Милькеев не заехал; желания его скоро все исполнились. Брат через полгода какие-нибудь... не более, читал уже крестьянам «Положение» на троицком крыльце; а предводитель смотрел в окно, краснея от волнения и кусая себе усы. В этот день в Троицком, в Деревягине и в Куреевe господа были гораздо веселее самих крестьян, слишком покойных и еще нехорошо вошедших во вкус свободы. Все знали, конечно, что Владимір Алексеевич Руднев радовался не торжеству принципа, а тому, что кусты и луга на Пьяне и вся пахатная земля за овинами отойдет теперь к Васе и Любаше, а родные съедят гриб... да еще разом два: и без деревягинской земли, и без работников!..

Баумгартен еще до зимы, измученный холодностью Nelly, уехал в другую губернюю развивать рассудок, чувство и волю других детей по всем правилам французского министерства народного просвещения!

Но Nelly не осталась без поклонников: теперь ей предстоял выбор между молодым Лихачовым, который уже купил chalet Самбикина, и одним женевцем, m-r Tracy, который приехал получить наследство после умершей жены своей, русской помещицы.

Глубоко проникнутый просвещенным демократизмом Европы, m-r Tracy вполне сознавал свое достоинство, как швейцарский гражданин и муж русской дворянки; с твердостью, приличной члену свободного государства, застав-

лял он, сидя на крыльце в шубе, стоять перед собой наших седых и лысых стариков и ни за что не хотел позвать их в дом до тех пор, пока посредник Лихачов не отворил дверей в прихожую и, сдерживая в себе сильный гнев, не впустил мужиков, не спросясь демагога, в залу.

— Если бы я был в Европе, monsieur! — сказал ему Tracy, задыхаясь, когда мужики ушли.

— Народ бы с вами поступил иначе! — докончил за него Лихачов.

Они были одни; посмотрели друг на другу в глаза; Tracy спросил: «следует ли так отвечать; это ли речь d'un juge de paix!..» Но не вызвал Лихачова, ему было не до вызовов — он становился владельцем прекрасной и большой земли чуть не с полкантона — написал только в губернское присутствие, что г. посредник бунтует против него крестьян и пьет чай с волостным старшиною.

Продав свою землю и отряхнув с негодованием варварский прах с своих цивилизованных сапог, Tracy приехал в Троицкое и сделал предложение Nelly, которая ему сразу очень понравилась и с которой он всю зиму толковал про русскую скуку и отсталость. Nelly отказала и объяснила Катерине Николаевне, что он сам и груб, и скучен, гораздо грубее и скучнее, чем «ces bons mougiks, que j'aime maintenant beaucoup et qui sont si pittoresques et si drôles!»

Руднев в это время был в Москве и выдержал экзамен на доктора, а Любаша, чтобы не мешать ему и повеселиться самой, танцовала в Варшаве у дяди. Она было посовестилась сначала ехать (муж так трудится, а она пляшет и рядится в генеральском доме в Польше!), но Руднев рассердился и сказал ей: «надо жить; надо жить, пока молода!»

Они возвратились вместе в Деревягино и по этому поводу дали вечеринку, на которой танцовали в угловой комнате, отделанной по совету князя. Александр Лихачов,

проездивший весь день по соседней волости, не хотел танцовать и сел с Nelly в укромном уголку; взял со стола яблоко, откусил и не доел его. Nelly взяла его и хотела докончить.

— Что̀ вы делаете? — спросил он вставая, — я принесу вам целое.

— Не надо, — сказала она.

Лихачов покраснел немного и спросил:

— А очень нравится вам мой chalet? Я слышал, он вам очень по сердцу.

— Я думаю! — сказала она. — Я бы согласна в нем век прожить.

— Это, конечно, зависит от вас, — сказал Лихачов.

— От меня?..

— Будто вы не знаете? К чему это притворство?

— Если бы вы не сказали теперь, я бы не ожидала никогда.

— Разве только страсть дает на это право?

— О! нет, зачем страсть... и без нее можно быть очень счастливыми... Я, скажу вам от всего сердца, рада быть вашей женою... Только вы... Я уже любила, и от этого человека зависело... как бы это вам сказать...

— Загородить вам раз навсегда всех других?

— Да! в этом роде... Но и тогда вы мне нравились... И теперь я больше уважаю вас, чем тогда. А он не хотел... я ему не нравилась... он не хотел увести меня далеко... Я бы дошла далеко тогда... Но... он не хотел сам... И я осталась свободна... Я только спрашиваю, что̀ вам за охота есть вот такое яблоко... обкусанное другим?

— Надо знать, кто его касался, — отвечал Лихачов весело, — вы знаете, что вишни вкуснее, когда их тронут птицы... Сношения с Милькеевым, особенно такие невинные, какие были у вас, только могут развить женщину... Он никого не испортит!..

Сыграли и эту свадьбу, гораздо наряднее и шумнее. Дубки вокруг швейцарского домика все горели разно-

цветными фонарями, смоляные бочки освещали двор. Крыльцо и столовая были убраны цветами и коврами. Новая молодая чета украсила окрестности. А Милькеев все не писал!

Однажды Катерина Николаевна, немного больная, лежала на диване, а дети учились у нового учителя в классе; приехал предводитель, очень расстроенный. Катерина Николаевна не слишком удивилась, потому что незадолго перед тем он лишился своей выгодной и почетной должности за то, что не хотел поддерживать дворян во всех их проделках, и служил в другом участке, точно так же, как брат, простым посредником, и хотя он с пяти тысяч перешел без ропота на тысячу пятьсот, но положение его было гораздо запутаннее и тяжелее прежнего; при его народно-демократических взглядах он не находил пока в алчных и еще более, чем помещики, придирчивых крестьянах того утешения, которого бы ему хотелось найти.

— Что̀, Николай Николаич, — спросила Новосильская, — опять сечь надо, как на той недели. Это ведь ужасно!

— Лучше бы сечь... А тут хуже. Только вы посмотрите... Эх! уж эти спазмы... Вот вам письмо, читайте... А я за проклятыми каплями схожу...

Письмо было от Богоявленского к младшему Лихачову.

«Пишу к вам по просьбе общего друга нашего, Василия Николаевича. Ему самому не хотелось, он посылает только два слова на записке! Скоро из газет вы узнаете, что̀ с ним случилось. Как *нам* всем жаль его, выразить трудно! Даже люди совершенно других взглядов и крайне отсталые сочли себя обязанными сделать все что̀ можно для его вещественного успокоения».

За этим следовали подробности о судьбе Милькеева и ряд, по-видимому, искренних и самых жолчных проклятий.

Задыхаясь от слез, Новосильская схватила клочок, на котором рукою ее избранного сына были набросаны слишком знакомые слова:

«Горевать нечего. Не навек! А факт этот сам по себе ничего!.. Пожалуйста, чтобы у вас все было по-старому. У вас прогресса не надо!»

Послали за Рудневым. И на дубовой горке муж целый день молчал, а Nelly твердила: «О! Боже мой, о, Боже!»

— Духом бы не падал, — отвечал ей мрачно старший Лихачов, — поехать опять к этой Катерине Николавне, она лежит ведь теперь. Чертовщина какая! Брат! если ко мне от волостного старшины кто будет, пришли туда... Целый день рыщу, а сегодня пусть не прогневаются и подождут хоть до вечера; хоть мужик, хоть барин — все пусть ждут. Пусть не прогневаются... Я ведь тоже живой человек!

Не болезнь Катерины Николаевны его смущала — он знал, что это скоро пройдет — но мучила совесть. Врожденная доброта шептала ему, что он толкнул Милькеева отсюда, когда тот еще колебался, хотя здравый смысл и отвечал, что и без этого толчка Милькеев бы уехал. И, наконец, если бы он остался, то, может быть, не видел бы брата счастливым, добрым и трезвым гражданином, не плавал бы сам в блаженстве отдыха после разъездов, споров и служебных огорчений в игрушечном домике, где встречала его румяная Nelly и говорила, простирая ему объятия: «Ah! voilà, notre gros frère!.. Вот наша толстая брат!

С Катериной Николаевной избегали долго об этом говорить, но раз она сама приехала к ним в гости, довольно свежая и спокойная, и сказала ему:

— Хуже всего в этом деле то, Николай Николаич, что я не могу не осуждать его... Посудите сами, не пустая ли это лихорадка... В этом есть что-то больное и ложное. Народ этому не сочувствует. И может ли он сочувствовать?

Николай Николаевич взял со стола газету и, ударив по ней рукой, сказал:

— Ведь я то же самое твердил другими словами... Не заехал — вот беда! Я бы его поворотил куда следу-

ет... Не знает он ничего... Я говорил ему ехать в Герцеговину.

— Где это Герцеговина? что̀ это такое? — спросила Новосильская.

Николай Николаевич покачал головою.

— Вот посмотрите газету, — сказал он, — прочтите, как перед домом паши были недавно разбросаны отрубленные уши восставших славян! Чего ж бы лучше!

Что же касается до Богоявленского, то он сохранил себя для всемірной отчизны своей. Он пишет в Петербурге больно злые статьи отрицательного направления; женился на купчихе; взял за ней хорошее приданое, оправдывая себя тем, что «при современном ужасном состоянии общества надо быть обеспеченным, чтобы приносить пользу людям»; заказывает платье у лучших портных на Невском и сердится больше по старой памяти. Мнения об нем очень разнообразны.

— Что за диалектика! — говорят люди одного учения с ним. — Кого побьет — тот уж не встанет! — «Он все еще пишет?» — спрашивает человек других взглядов. — «У него нет ничего своего. — Он подражает другому публицисту... Но у того брань была орудием идей, а у этого брань и гразь для брани и грязи!» — «Про кого это вы говорите? — спрашивает третий, равнодушный к общественным вопросам, — не про Богоявленского ли? Я его вчера встретил на Невском. Идет под руку с женой, и клок белых волос торчит через воротник пальто... Терпеть не могу семинаристов!»

Однако статьи его небесполезны. Новосильская недавно прочла одну, и ей стало вдруг так стыдно; она сама себе показалась такой ничтожной и ленивой, что энергия добра пробудилась в ней с новой силой, и она тотчас же завела для крестьян прекрасную школу, о которой прежде только раздумывала.

XXIX

На счастье Руднева и Любаши радовалась не одна умирающая Варя. Дети троицкие кричали им навстречу: «Василек и махровая роза!»

Максим Петрович нарочно переехал в Деревягино, чтобы видеть это счастье. Он живет ладно с Владимiром Алексеевичем и только изредка подтрунивает над ним.

— Что̀ это у вас, Владимiр Алексеич, за насмешливое лицо? Преядовитая, я вам скажу, у вас улыбка. Все смотрю я на себя — не замарался ли я где? Чищу, чищу, а вы все улыбаетесь?

— Напрасно! — отвечает немного обиженный Владимiр Алексеевич. — Корень того, что вы называете моей улыбкой, вам хорошо известен. Архитектурной постройки у меня на лице нет, архитектурной постройки нет!

Катерина Николаевна сохранила лазарет для вольных троицких крестьян, не считая нужным лечить их только для себя, как домашних животных. Но сверх троицкой больницы у Руднева есть теперь другая — своя.

Лихачовы долго советывали крестьянам устроить волостной госпиталь; человек десять после этого заходили к Рудневу и предлагали ему заняться им.

Руднев с радостью согласился; но другие крестьяне не шли на это: один говорил, что и без того расходов много; другой — что он всегда здоров.

Тогда Руднев решился приступить к делу сам: поставил у себя два просторных сруба с большими сенями; предложил за умеренную плату ложиться всем тем, кто не в силах лечиться на ногах, а для неимущих уговорил ходить с кружкой одного почтенного и набожного старика и положил сам для примера большие деньги. Мало-помалу и здесь создался небольшой мiрок, с привычками и сердечной теплотой. Одна из троицких сиделок, черноглазая, старательная Лукерья, у которой доктор крестил каждый год незаконных детей, перешла к нему, и с ней

постоянный любовник кузнец. Кузнец в свободные часы рубит для больницы дрова, носит воду и железной рукой держит больных, когда нужно держать; дочка их, Настя, везде бегает за «крестным» и смотрит без страха на все операции и перевязки, изредка только вскрикивая: «бяка! мама! бяка!», когда рана уже слишком велика или зловонна; выходили больные чорного котенка, и он спит теперь всегда на банке с пиявками на окне... Зажглись лампадки по углам; божественных картинок все больше и больше на стенах; смертные грехи, согбенный пустынник Серафим, путешествие души по мытарствам. И в троицкой больнице, и в своей он убеждался день ото дня, что народ наш не так дурен, как его хотят представить, с одной стороны, Авдотьи Андреевны, а с другой Богоявленские; он нашел в нем много добродушия, терпимости, родственных, родительских и сыновних добрых чувств и даже правды!

Если ему неприятно было видеть, что пятидесятилетний красавец-староста, на которого он столько раз любовался и от которого слышал такие умные речи, приходил потом к нему с малиновым лицом и пунцовыми глазами, потому что в кабаке его кто-то ударил поленом, — зато этот самый староста с радостью платил пять рублей в месяц за себя и не роптал, что рядом с ним лежит даром сирота-мордвин и что на этого мордвина Руднев тратит по роду болезни впятеро больше, чем на всех остальных.

Руднев убедился также, что неуместно в деревне гнаться вдруг за госпитальной художественностью: не спешил сначала издерживаться на лоск и образцовую чистоту, на белье, халаты и туфли. Больные, как дома, до сих пор у него лежат на лавках, на нарах и на печке, часто в тулупах, кичках и лаптях. Казалось, подойдя к другой полной женщине, что ей неудобно и тяжело без кофточки или халата, что в таком не клиническом виде не возьмет никакое лекарство; однако дорогое лекарство, купленное издалека, ценою внешнего беспорядка — делало свое дело, и статис-

тические списки Руднева, благодаря свежести этих людей и хорошему воздуху, были нередко гораздо отраднее, чем у знаменитых врачей в больших городах.

Счастлив, кто вошел в жизнь без веры и очарований, но с потребностью веры и любви; кто вначале, как Руднев, терпел нужду, обиды и болезни! Каждую новую ступень к покою и гордости, каждую жилку позднего сознательного веселья он будет благословлять!

Набегали иногда на его жизнь прежние и новые тени: крестьяне не слушали его предписаний, не долечившись уходили из больниц; врывался грубый муж и силой уводил с койки изнуренную жену на работу; Любаша бывала нездорова, как всякий бывает нездоров; не понимала что-нибудь такого, что̀ для него было ясно... Но что̀ значат эти тени для человека занятого, согретого верой и окруженного друзьями и благодарными людьми в любимом краю, где даже простая смена времен года доставляет ему наслаждение!

Недавно Руднев начал не спеша введение к ученому труду, которым он хотел составить себе со временем имя в столице, как роскошь посреди деревенских занятий.

Между прочим, там было следующее замечание:

«Я показывал одной молодой ученице моей большой мозг свиньи, полушария которого покрыты, как известно, более сложными извилинами, чем полушария собаки и других соседних с ней плотоядных, хотя непосредственное наблюдение этих животных при жизни доказывает, что собака, лисица и т. п. гораздо умнее и живее свиньи. Молодая девушка выразилась по этому поводу хотя не научно, но весьма удачно: «Может быть, свинья и не глупа, но у нее такие грубые манеры, что ничего нельзя разобрать!» Действительно, если мы будем изучать мозг без связи с орудиями чувства и движения, с утонченностью и стройностью всего организма, с законами, определяющими характер линий тела, мы можем впасть в большие ошибки.

Вопросы же эти важны не для одной физиологии живых тел, но и для физиологии обществ. Какого бы мы ни были гражданского мнения о будущем человечества — думаем ли мы равнодушно, вместе с Бастиа, что „человечество должно прийти со временем к одному общему уровню — экономическому, умственному и нравственному"; или, сообразуясь более с самой природой, которая не выносит долго однообразия и нарушает его неожиданными побочными путями, желаем, чтобы люди, неизбежно стремясь к космополитизму, старались вознаградить себя новыми условиями разнообразия... во всяком случае, мы должны изучить внимательно так называемую „натуру", одно из главных условий разнообразия жизни в прошедшем и настоящем, то есть, должны изучить мозг, внешние контуры и характер движений человеческого тела параллельно с психологическими чертами».

Влияние Милькеева было заметно и в этом беспристрастном, осторожном сочинении, не только во всем остальном — Руднев охотно сознавал это. Он сознавал, что с прежними взглядами он должен был считать все чужое, не походящее на его собственную дорогу, уродливым и вредным; а принимая, как всемірный идеал — идеал Милькеева, он учился ценить чужое, не переставая ревностно служить тем узким и безукоризненным целям, к которым влекли его избранное ремесло и первые привычки. И самая вражда религии с математическими выводами, которая так терзала его прежде, прекращалась от мысли, что вся наша наука — только раздутый уголек во мраке бесконечности; и за этим углем, раздутым сначала могучим личным творчеством и только в последнее время доставшимся в руки бездарности, остается бездна, преданная Творцом тоже личному творчеству, но требующая высшего разбора, новой аристократии ума, чтобы из мнений отрывочных и тайно рассеянных по сердцам создать прекрасное целое. И не одному Милькееву он был обязан. Всей этой сложной жизни, которой он так боялся когда-то, он был теперь благодарен.

Погружаясь иногда по-старому в одинокую умственную работу, он видел, что и для научных взглядов эта жизнь и эти встречи прошли не без следа. Не говоря уже об известности и общественном весе, которым так способствовала близость с Новосильской и Лихачовыми, он отыскивал тонкие нити, которые протянулись к нему от них; чувствовал, что, благодаря братьям Лихачовым, он выучился свободнее и смелее обращаться с крестьянами, реже боялся обидеть их какой-нибудь непонятной для них обидой, брал от них изредка подарки и дождался, наконец, что про него говорили: «отец, а не доктор!»

С детьми Новосильской он не имел уже времени заниматься как учитель; но они сами находили случай служить его кабинетным занятиям. Замечание Маши он, как мы видели, решился поместить в начале любимой книги своей; Федя и Юша носили ему с охоты всяких животных и птиц; Оля помогала ему с неутомимым прилежанием вычислять центиметры при изменении черепов и довольно верно срисовывала ему с натуры мозги в разных положениях и разрезах. Даже психологические наблюдения над этими детьми, ничуть друг на друга не похожими при одинаковом воспитании, принесли ему много задач и кой-какие решения, полные осязательности.

Однажды он вместе с Любашей обедал у Лихачовых, и разговор зашел о троицких детях и матери, здоровье которой все больше и больше слабело.

— Дай Бог, чтоб она как можно дольше жила; без нее наша сторона будет совсем не та! — сказала Nelly.

— По крайней мере, до тех пор, пока дети будут в силах заменить ее, — прибавил младший Лихачов, — что за дети! И что за люди выйдут из них!

— Счастливые дети! — сказала Любаша.

Руднев обратился к ней и спросил:

— В каком смысле ты считаешь их счастливыми?

— Богаты, все красивы, все здоровы, все их любят, — отвечала Любаша.

— Это теперь, — сказал Руднев, — но ручаться вперед нельзя. Маша мечтательна и будет болезненна, как мать; Федя слишком чувствителен и страстен, чтобы прожить без сильного горя; Юша самолюбив, беднее тех детей и сложения плохого; Оля страстна, как Федя, но упорна и скрытна. Все это — залоги страданий... Да и мало ли какие тучи впереди! Я вижу их счастье не в вечной веселости, а в другом...

— Они счастливы тем, что они таковы — каковы есть! — докончил Лихачов.

ИСПОВЕДЬ МУЖА
(ПОСВЯЩАЕТСЯ НЕМНОГИМ)

1850, май. Ай-Бурун,
на южном берегу Крыма.

Слава Богу, я не беден! Морской ветерок веет в моем саду; кипарисы мои печальны и безжизненны вблизи, но прекрасны между другой зеленью. По морю тихо идут корабли к пустынным берегам Азовского моря... Паруса белеют вдали. Я с утра слежу за ними. Они выходят из-за последних скал громады, которая отделила нас от Балаклавы; а к обеду они уже скрылись за мысок, где растет столько мелкого дуба и где я один гуляю по вечерам. Чего я хочу? я покоен. Никто не возьмет моих кипарисов, моего дома, обвитого виноградом; никто не мешает мне прививать новые прививы и ездить верхом до самого Аю-Дага и дальше... Да! я покоен. Здесь хорошо; зимы нет, рабства нашего нет. Татары веселы, не бедны, живописны и независимы. Общества здесь нет — и слава Богу! Я не люблю общества, на что̀ оно мне? Успехи? они у меня были; но жизнь так создана, что в ту минуту, когда жаждешь успеха, он не приходит, а пришел, — его почти не чувствуешь.

Когда я один, я могу думать о себе и быть довольным; при других, как бы хорошо со мной ни обращались, мне все недостаточно. Разве бы триумфальное вступление в город при криках народа, в прекрасную погоду, на лошади, которая играла бы подо мной, и не в нынешнем мундире, а в одежде, которую я сам бы создал и за которую женщины боготворили бы меня столько же, сколько и за под-

виги мои; боготворили бы и шептали: «зачем мы его не знали прежде, когда он был молод!» Это я понимаю. Иначе о чем заботиться? Не лучше ли следить за медленным бегом кораблей отсюда и думать: «Везде люди! везде они борются и спешат. А я не борюсь и не спешу! Вам на палубе жарко, а в каюте душно, а мне прохладно и под этой смоковницей, которая растет так пышно, и в кабинете моем с разноцветными окнами!» Гораздо лучше.

Да, кстати о стеклах. Я люблю иногда по очереди глядеть то в жолтое, то в синее, то в красное стекло, то в обыкновенное белое, из моих окон в сад. И вот что̀ мне приходит в голову: отчего же именно белое представляет все в настоящем виде? В жолтом стекле все веселее, как небывалым солнцем облита и озолочена зелень сада; веселье доходит до боли, до крика! В красное — все зловеще и блистательно, как зарево большого пожара, как первое действие всемірного конца. Не знаю, в которое из двух, в синее или в лиловое, — все ужаснее и мертвее: сад, море и скалы; все угасло и оцепенело... Так ли мы видим все? И почему мы думаем, что *мы* именно правы? что деревья зелены, заря красна, скала черна? Никем невиданный эфир волнуется в беспредельности; его размеренные волны ударяют в нерв глаза... Но что̀ такое нерв? Проводник электричества до ячейки? Но что̀ такое электричество? Но что̀ такое ячейка? И кто поклянется, что стенки ее, не шутя, уже без ткани и что в недрах ее не кипит бездонная пропасть жизни? И тем более, почему мы думаем о нравственных предметах с такой самоуверенностью? Почему человек должен жить в обществе? Почему здравый смысл в этом деле здрав а не повальная ошибка? Ведь мы смотрим на средние века как на безумие веры, а XXI век не взглянет ли на наш как на безумие положительности, здравого смысла и пользолюбия? Был же один человек (Дальтон, кажется), который не видал никогда никаких красок, и весь ландшафт вселенной был для него непокрашенной гравюрой. Почему же он не прав? Потому что не так, как все? Да и Сократ был не так, как

все, и Авраама соседи, верно, считали безумным, когда он ушел от отца, чтобы развить единобожие!

О! Боже! Боже! Тебе, великий творец наш, угодно, чтобы было так! И если благодарность земного червя Тебе слышна... о! как я благодарю Тебя и за покой, и за скалы эти, и за виноград мой, и за мою смоковницу!

1852, 15-го июля. Там же.

Там же! Там же! Какое счастье! Я потерял счет однообразным дням. И если бы мне не сказали вчера, что сегодня 15-е июля, я бы забыл, что это мои именины. Было время, когда я не был один! Было время горя и радостей! Все уснуло! Люди в гробах на разных концах России; над забытой могилой не служат и не плачут родные. Где у нас молиться! все бегут в разные стороны, и не отыщешь родной гробницы! Велю себя здесь похоронить, над мысом перед дубовой рощей, и чтобы огромный каменный крест простирал объятия к морю и кораблям, которые медленно бегут вдали. Зачем? Зачем? Кто придет на эту красивую могилу? К дерновому валику над телом бедной тетки в глухом русском селе все, быть может, прокрадется молодая племянница или добрый племянник-офицер велит отслужить панихиду и скажет: «Бедная тетушка! помню, как ты певала надо мной по зимним вечерам: „котик беленький, хвостик серенький, приди Волю покачать". Ах! голубушка ты моя родная!», и зальется святыми слезами, забыв и карты, и буйство, и чины, и любовниц! И прибредет гордый грошовым знанием студент, и тот зарыдает, когда русский поп скажет: «упокой Господи душу...» А над моей красивой, нерусской могилой кто прольет хоть одну слезу? Татары? Они добрые соседи — они честны; они всегда были свободны и не только к своим дворянам, они и ко мне подходят с доверчивой улыбкой. Но что̀ же я могу им сделать? Чем могу осчастливить их? Просвещать по-нашему? Избави Бог! Это ужасное пося-

гновение на жизнь мирную и молодецкую. Освободить свободных я не могу, как мог бы освободить русских рабов, от которых бежал сюда. За что же мохамедане будут вспоминать обо мне, глядя мимоходом на мой величавый крест?

17-го июля.

Да, здесь все прекрасно: море синее, небо голубое, белые паруса таинственных судов, рисунок строгих скал, облака розовые и белые, которые ползут у плоских горных вершин по темным полосам далеких сосновых лесов; холмы свежей виноградной зелени, яркие одежды татарок и татар, пустые за́мки, а хижины, как гнезда, и над головой путника, и под ногами у дороги... Да! все здесь прекрасно! Но во всем нет для меня здесь той музыки, того плача и стона, который тихо носится по сырым и горьким полям нашим! О, когда бы чем-нибудь согреть мне душу посреди этой роскоши неба и земли! Не мог согреть, не мог один! Но ты бежал от горя и радостей, безумец! Зачем же ты призываешь их? Зачем? Зачем я умираю от полноты душевной? Вчера я плакал, лежа ниц лицом на траве, сегодня я сломал толстую трость о деревья вдребезги... в самые мелкие щепки...

Иногда я думал, нельзя ли окрестить дочь моего приятеля Мустафы-Оглу или самому стать мусульманином? Она бледна и черноброва; бархатная шапочка; русые косы на спине; платочком подпоясана; взгляд добрый — я ее ребенком знал. Читает Коран у окна и от меня не прячется. Какой избыток любви в бесполезной душе — любви чистой, бескорыстной, родительской любви!

20-го июля.

Конечно, я бы мог жениться. Не далее, как в Ялте есть молодая девушка. Я очень люблю, когда она в розовом холстинковом платье качается на большом кресле. Она небогата; русская; глаза у нее игривые, темные; щоки не-

жные и румяные; стройна; к музыке способна; умна. В комнатах у них много цветов; почти под окнами кипит море; чай она делает прекрасно, масло свежее; мебель скромная. Раз кто-то играл на гармонии, а солнце садилось за горами; она качалась, а я смотрел на нее — и думал... Я выходил от них не раз умиленным и возвращался с радостью. Так мирно и сладко у них! Дочь шьет, мать шьет, отец вздыхает; часы, и те без звука идут и бьют глухо... Какая она хозяйка! Как шьет все сама! Какие дельные книги читает и как мила, кудрява, молода!.. Но у них много родных, и все недалеко отсюда. Я перестал ездить. Да и стар я и душою и на лицо; жаль губить девушку; жаль соблазнять садом, кипарисами, мраморными ступеньками, коврами. И недостало бы у меня никогда жестокости оторвать ее от родных и друзей, — так пусть хоть достанет твердости удалиться. Теперь я почти дух; я не дворянин, о чине своем никогда не слышу; едва ли изредка слышу имя и отчество. А с ней и с родными вернулось бы все. Надо платить иногда тоской за свободу!

1-го сентября 1853. Ай-Бурун.

Вчера я получил письмо от Катерины Платоновны С***, моей двоюродной сестры, которая была замужем за итальянцем. Не знаю, как ее назвать, — странная женщина или бедная, или счастливая женщина? Муж ее был красавец и буян; он прожил все ее имение, был на нашей службе и убит три года тому назад на Кавказе; она осталась в бедности с пятнадцатилетней дочерью. Присутствие ли этой дочери возбуждает ее силы, или она рождена так, во всяком случае, она строит такие широкие планы, которые бы многих испугали. Она знает мой Ай-Бурун и предлагает мне предпринять вместе дело: настроить домиков по саду и долинкам, завести водолечебное заведение, купальни морские, гимнастику и открыть гигиенический пансион для слабых детей. Она будет директрисой этого училища.

Дети будут и учиться, и купаться, и здоровье укреплять, и привыкать к хозяйству. Мы будем им показывать полезные травы; они будут работать; они будут счастливы, честны, богобоязненны и свежи. Хорошая мысль! И на это дело я должен положить, по ее расчету, всего тысячи три. Понемногу, говорит она, заведем все.

«Вы, — пишет она, — нашли бы, наконец, случай приложить к делу ваши познания, вашу небесную (?!?) доброту; ваше одиночество и бездействие погубят в вас все живые начала, которыми так щедро одарил вас Бог». 10

Бедная! (как же не назвать ее теперь бедной?) она льстит мне, чтобы заставить меня войти в ее планы. Если б моя доброта была так небесна, я бы не продал своих крепостных крестьян Бог знает в какие руки, чтоб избавиться от них и купить эти кипарисы, этот берег, эти безответные камни. Но пусть я добр, — только с чего она взяла, что я решусь наполнить мой сад детьми, которые будут кричать, ссориться, лениться, своенравной прислугой, родителями, которые будут приезжать и любоваться на своих детей? Если бы даже это дело дало нам 20 после десятки тысяч дохода, так я за эту цену не продам свою свободную скуку!

2-го сентября 1853.

Однако надо бы ей помочь. Я люблю женщин, которые любовью испортили свои дела. Покажу ей, что она не ошибалась, когда назвала меня добрым. Пошлю ей 500 рублей? Нет! больше пошлю; разочту средства и пошлю больше. В Малую Азию или опять в Вену хотел съездить? Не съезжу. Тем лучше!

А ведь в доброту нельзя не верить: она единственная 30 вещь несомненной цены, и для той и для другой стороны. Шевелит так сладко, когда подумаешь: «У нее и кофе не на что было купить вчера; на дочери рубашки порвались; прислуга уже грубит». И вдруг с почты объявление — 500 рублей. Нет, 800! Это еще лучше, еще веселее!

25-го сентября того же года.

Я наказан за порыв. Катерина Платоновна заплатила долги, оделась, одела дочь и приехала сюда. Она хочет обратиться к княгине К*** (которой белый дворец с башнями в шести верстах от меня) с просьбой выхлопотать ей казенное пособие и землю для идеального училища. И вместе с тем благодарить меня!.. Слава Богу, она остановилась в городе.

30-го сентября.

10 Был в городе. Ездил верхом и заехал к ним. Кроткая, милая женщина. Мне нравится даже ее сентиментальность и простодушная риторика ее речей. Дочь хороша. Жалко! Пригласил их к себе, пока ей надо хлопотать у княгини. Княгиня обошлась с ней грубо. Та приехала на татарской телеге, насилу добралась к вечеру; сошла с горы вниз в сад, одна по незнакомой дороге, в темноте; а княгиня выслала ей сказать, что сегодня принять не может. На южном берегу в 25 верстах от города! в 10 часов вечера! Катерина Платоновна поднялась в гору без про-
20 вожатого, отыскала татарскую деревню, ночевала там и на другой день ее еще заставили ждать до полудня. Княгиня велела ей написать свой проект, и я, хотя и не верю в успех, взялся помочь ей. Пусть поживут у меня пока: и к княгине ближе, и даром.

15-го октября.

Княгиня обещала хлопотать. Катерина Платоновна мне нравится теперь. Лиза (дочь зовут Лизой; славное, доброе, русское имя!) занимает меня игрой на рояле и пением... Мне нравится также, что у нее углы глаз наруж-
30 ные опущены книзу, глаза мрачные и глубокие. Дай Бог ей счастья! А мать не раскаявается в своем прошедшем. «И я, говорит, рвала розы без шипов — было время!» К

ней эта чувствительность идет. Привычка к зависимости от чужих оставила навек на добром лице ее любезную улыбку; за обедом она на маленький кусок хлеба, который нежно отложила, смотрит с чувством, и стакан квасу, который скромно налила, она не подносит спереди прямо ко рту, а обернется вбок и как бы спешит сама вежливо навстречу. Что ж, это оригинально! Вчера Катерина Платоновна рассказывала мне много про Лизу. Она, по ее словам, друг слабых и гроза притеснителей. Рассказывала, как Лиза разбила большую алебастровую куклу об любовницу отца, которая вздумала грубить матери. Отец хотел ее высечь. Она не скрывает от меня поведения своего покойного мужа; она видит, что я без того все почти про них знаю; может быть, даже она думает, что я слышал об нем хуже, чем было, и часто повторяет: «несмотря на все эти пороки, в нем было столько души и благородства!»

И в самом деле, что̀ за заслуга любить хорошего человека? То ли дело, вопреки всем, любить порочного, но обворожительного!

Пока мы с ней толкуем о пансионе, Лиза сидит с моей старой Христиной, и отсюда слышно, как они громко смеются. Дом мой оживился, и слуги стали веселее. Мать боится, чтобы Лиза не вышла слишком груба: «Посмотрите, какие у нее волосатые, сильные руки, какой толстый голос! Как она скачет на всякой лошади и с камней бросается в море плавать. Душа у меня замирает!» Я ее утешаю. Я думаю, что расти Лиза больше не будет; она стройна; голос, правда, иногда немного груб; но зато каким она поет контральто! Вчера я еще слышал из дубовой рощи, как она пела:

Друзья! молодость наша не вечна!

Славный Орсини она могла бы быть на сцене. У нее красивый тонкий нос и лицо продолговатое. А глаза мрачные — чудо!

7-го ноября.

Княгиня уехала в Петербург. Я пригласил Катерину Платоновну остаться до весны. Зачем ей ехать? теперь там грязь и снег. Пусть отдохнут. Я к ним привык. Она предложила было мне смотреть за моей провизией — нашла, что у меня много выходит. Но я не хочу, чтобы люди не любили их. Пусть лучше еще больше выходит; другие тратят на театр, на карты, а я хочу, чтобы все у меня в доме друг друга любили. Они остаются. Или быть одному, или чтобы все друг друга любили.

10-го ноября.

Катерина Платоновна сокрушается опять о том, что Лиза слишком храбра и сегодня ушла одна на горы в лес. Я говорил ей, что мужу смелая жена приятна, что нет ничего хуже женщин, которые кричат дорогой и с которыми страшно отойти погулять далеко от дома. «Муж! Кто ее бедную возьмет?» — воскликнула Катерина Платоновна. Я не отвечал и сам подумал: *кто?* и вспомнил о цветных стеклах. Вся беда оттого, что на одно заведено смотреть в белые стекла, а на другое заведено смотреть в синие. И смотрят все!..

В самом деле — женихов разных очень много. Но я бы не желал, чтобы Лиза вышла за мелкого чиновника или за бедного учителя в старом фраке. А из богатых редкий возьмет; многие побоятся уже того, что она дурно и мало говорит по-французски. И если б нашелся обеспеченный, привлекательный и умный молодой человек из *нашего* общества, так ему надо оценить ее, сблизиться. А где встретить? где сблизиться, где найти случай открыть те прекрасные семена, которые, я уверен, зарождены в ее сердце?

Но есть совсем, совсем другой мір, о котором и не думают, благодаря стеклам. Например, у управителя в Сегилисе есть сын. Он вольноотпущенный, обучался садоводству

в казенном саду, неглуп, пишет с небольшими ошибками, знает кое-что из ботаники, красив — настоящая русская кровь с молоком, 21 год, ловкий, глаза синие, сердце хорошее. Я его знаю: не раз вместе ездили верхом на Яйлу и в нагорные сосновые леса. Он наблюдателен и делает очень приятные замечания. «Видите, здесь наверху только теперь пион расцвел, а внизу давно отцвели. Много ли проехали, а климат другой». От него я узнал, что большие розовые цветы, которые здесь летом в таком множестве распускаются по необработанным холмам, называются Cistus taurica; «это, говорит, с чорными кисточками — Melia Azederach, а это дерево хвойное из Японии: Salisburia Adiantifolia или Gincko biloba; сразу совсем и не похоже на хвойное, а оно хвойное».

Разумеется, сидя в петербургском кабинете, читать в книге эти имена тяжело. Но я люблю сочетание природы и науки, когда гуляю в казенном саду, где собраны деревья из Италии, Японии, Китая, Африки, Кавказа, или когда в тишине поднимаешься по нагорному бору, и сквозь сосны, вдали, мелькает море с каймой немой пены у берега. Вообразим же себе, что они обе — и мать, и дочь, решились посмотреть в другие стекла. И вот в соседстве белый домик с плющом и виноградом, маленький дом, каких здесь много; он получает хорошее жалованье у какого-нибудь вельможи за садоводство; в доме чисто (у отца его, я знаю — чисто), воздух кругом дивный; она вечером на крыльце поет: «Друзья! молодость наша не вечна!» Дети растут... Да я бы с радостью своих дал две-три тысячи ей на приданое. Это эгоизм своего рода. Я люблю прекрасное. Если бы они и поссорились между собой... так что ж? Это забавно, а не грустно. И разве у нее такие высшие потребности ума, чтобы она искала товарища для мысли? Нет! Что̀ же мешает? Стекла, стекла и стекла! А я и предложить этого не смею ни матери, ни дочери, хотя знаю, что это могло бы устроиться. Для Алеши это было бы неожиданное счастье; он, когда они еще жили в Ялте, встретился мне

на дороге и спросил: «Кто это такая славная барышня приехала в город? Красотка!»

Как? Дочь полковника и образованная девица выйдет за вольноотпущенного садовника? Да поймите вы, если этот вольноотпущенный образован нисколько не менее вашей дочери? (Лиза делает много орфографических ошибок и вообще знает мало; мать учила других, а ею заняться, при своих разъездах и хлопотах, не имела ни времени, ни уменья.) Она знает по-итальянски и немного по-французски, а он по-татарски и по-немецки немного. А будь он не садовник, отдай его отец в гражданскую службу и стань он губернский секретарь и вместо синей блузы надень форменный фрак — был бы жених в минуту крайности... Волос дыбом становится!

А мне на милую и возможную идиллию было бы отраднее смотреть, чем на других моих соседей. Например, хер Зильхмиллер — управитель г. Ш-ва, румянится, носит то розовый, то голубой галстух; красит усы; женат на зубатой англичанке; бьет дворовых, читает Дюма и Поля Феваля и мне советует прочесть «Les crimes célèbres».

— Вы, — говорит, — увидите всю человеческую черноту.

— Я, — говорю, — и без этого ее вижу.

11-го ноября.

Соберусь с духом и попробую поговорить. Не знаю, с кем бы прежде, с дочерью или с матерью? Я думаю, прежде с Лизой. Что же они мне сделают за это? Ничего. Первые слова только тяжелы, а потом я разовью свой взгляд. Или не поговорить ли прежде с Алешой? «Что̀, Алеша, если бы я дал за этой девицей две тысячи, ты бы женился на ней?..» Посмотрим, что̀ будет!

13-го ноября.

Алеша сгорел, когда я сделал ему тот вопрос. «Вы шутите, — говорит. — Где нам!» Не только лицо, уши,

шея — все покраснело! Я сказал: все возможно, когда Бог захочет. А он: «Бог захочет, да люди не захотят». Ведь какую великую мысль нечаянно сказал! Если уже сметь придавать высшему существу наши свойства, так я бы скорей всего решился придать ему неизмеримое, полное чувство прекрасного.

А прекрасное бывает трех главных родов: красота живописная, пластическая; красота драматическая, или действия, и красота чувств, или музыкальная. Здесь было бы все. Горы, море, сады и леса; собственная красота лиц; красота их добрых, радостных чувств; красота предварительной борьбы с сословными неудобствами. Да! это один из главных моментов красоты — сословное неравенство. Будь они равны друг другу — дело утратило бы полцены.

Все, что я говорю, не совсем согласно с философией здравого смысла. Один мой прежний знакомец, ученый и дельный человек, говорит, что для философии міроздания здравый смысл никуда не годится, но для философии жизни он одно спасение. Нет правила без исключений; я здесь, в горах, удалился от жизни и приблизился к міроздaнию.

14-го ноября.

Мы с Лизой ездили сегодня к обедни. Катерина Платоновна нездорова. Лиза еще очень дика. С ней говорить трудно.

6-го января 1854.

Что за день сегодня! Я ездил утром верхом. Море бледно-фиолетовое и как зеркало. Тишина. На шоссе холодно, на Яйле снег, а внизу в садах как майский день в России. Я встретил в своей роще татарку, которая сбирала хворост. Она из бедной семьи, но здесь и бедность не страшна. Что̀ за мир, что̀ за живое забвение! Какие слова изобразят то, что я чувствовал? Только прекрасные стихи

могли бы сравняться и с природой этой, и с тихой жизнью здешних людей, и с тем ощущением восторженного покоя, которым я упивался сегодня, когда лошадь моя то осторожно опускалась с камня на камень по высохшему руслу ручья, то бежала с горы на горку по гладкой дороге. Какое счастливое сочетание диких картин с изящными следами просвещения! Здесь надо мной сосна поднялась из голого камня и на такой отвесной громаде, что смотреть на нее от подошвы трудно, а у подножья этого гигантского камня шоссе; а прямо с шоссе один шаг в поблекший на зиму цветник и на чистый двор готической дачи. Иные деревья в саду обороняли листья, а другие — лавр, кипарис и лавровишневый куст зелены как летом. К ограде, по которой сам собою ползет плющ, привязаны две прекрасные оседланные лошади. Высокая девушка в легком платье гуляет с книгой между миртами. Еще шаг — и дача волшебно скрылась за куполом чорной сланцовой скалы, округленной, как хребет скорченного зверя. Страшные глыбы серых камней в вековечной неподвижности как бы катятся с гор в море. Татарка на плоской крыше стелет ковер; из трубы дымок; красный перец висит у дверей... Аулы тонут в зелени... Нет, один Пушкин достоин был этой жизни...

Кто видел край, где роскошью природы
Оживлены дубравы и луга,
Где весело синеют, блещут воды,
Роскошные лаская берега;
Где на холмы, под лавровые своды
Не смеют лечь угрюмые снега?
Все живо там: кудрявых рощь прохлада,
В тени олив уснувшие стада,
Вокруг домов решотки винограда,
Монастыри, селенья, города,
И моря шум, и говор водопада,
И средь валов бегущие суда.

Мне было очень досадно, когда я давича вышел в гостиную и застал у дам Маринаки. Он опять стал чаще ездить!

Сначала (не с самого начала, когда я никого не хотел видеть, а на второй год) я немного сблизился с ним. Странно! Склад его ума и род его образования не внушают доверия, а характера он хорошего и, кажется, честного. Я тогда мало знал Крым. Когда он мне говорил, что на северном склоне Таврического хребта, тенистом и прохладном, были колонии готов и что в Мангун-Кале жил их герцог, побежденный и убитый турками, приводил, не помню как, по этому поводу «Слово о полку Игореве» и половцев — все мне казалось, что он выдумывает. С удивлением узнал я потом, что в его словах было много правды; конечно, он не учен, не археолог и мог ошибиться в частностях, но ведь и ученые оспоривают друг друга и обличают друг друга в ошибках. Одним словом, он оказался гораздо правдивее, чем я ожидал. Но что̀ бы вы подумали о человеке, который никогда из своей губернии не выезжал, который и говорит тихо, и глядит томно; тихо и томно волочится за женщинами, носит щегольское платье и стриженые бакенбарды, страдает всегда грудью и спинным хребтом, проводит дни за французскими романами в большом кресле, пишет сам, наконец, и говорит: «У меня написано во всяких родах столько, чтобы запрудить на два года все периодические издания; но редакторы хитры, я боюсь их; они ценят имя автора, а не достоинство вещи». Напечатал на свой счет в Харькове роман под заглавием «Глухое горе» и раздает его даром кому угодно. Я прочел. Изысканный язык и ничего живого. «Этот нравственный эмбрион»; «пошлая кратность светских отношений». Множество французских, татарских и греческих слов без нужды.

Однако он ровного характера и добр, я имею на это доказательства; не то, чтобы необыкновенно добр, а добр, как многие, и женщина невзыскательная могла бы с ним ужиться. Мы приелись друг другу во время путешествия и все реже и реже стали видеться. Кажется, его привлекает сюда Лиза. Но он ей не пара.

9-го января.

Катерина Платоновна не совсем моего мнения. Она как будто считает Маринаки и опасным обольстителем, и выгодным женихом. Он, надо отдать ему справедливость, ездит сносно верхом. Вчера велел привести из города лошадь и пригласил Лизу прокатиться. «Я не могу тридцать верст ехать верхом, — сказал он ей чуть слышным голосом, — приехал в пролетке; и лошадь моя и я к вашим услугам». Лиза согласилась, посмотрела на мать и пошла в конюшню. Я недавно подарил ей славную лошадку. Я вышел как будто по делу, а в самом деле потому, что меня испугала мысль: а что если Лиза сделается madame Marinaky! Это ужасно! Я не шутя люблю ее любовью отца или воспитателя, и мне бы не хотелось, чтобы она стала madame Маринаки. Катерина Платоновна догнала меня и просила ехать с ними.

— Я боюсь этого льва, — сказала она.

— Лев он не очень кровожадный, — отвечал я. — И зачем я с ними поеду? Пусть Лиза развлекается. Время ей жизнью дохнуть слегка. И может быть, он посватается за нее?

— Когда бы так! Об этом еще можно бы подумать, — сказала она. — Лиза неопытна, а он... Кто его знает, какой он!

Я собрался ехать и пошел в конюшню. Лиза сама взнуздывала своего коня, пока кучер седлал.

— Меня твоя мать посылает с тобой гувернером! она боится любезности Маринаки.

— Чего же она боится? — отвечала Лиза. — Она хочет меня замуж отдать. Я за него и выйду, когда захочу.

— Захочет ли он? — спросил я.

— Я знаю, что̀ говорю! — возразила Лиза и вывела лошадь.

Я подержал ее под уздцы; Лиза стала на большой камень, вскочила на седло, сказала только «пустите!» и

ускакала. Я поехал за ней. Маринаки ждал нас за поворотом, играл концом уздечки, улыбался и гордо и сладко.

Я всю дорогу был задумчив. Я никогда не умел хорошо скрывать своих чувств, а на южном берегу отвык от всяких усилий над собой. И не все ли равно? Скрытность имеет свои выгоды, откровенность свои. А самолюбие еще не умерло... Слава Богу, думал я, что сделали шоссе; можно троим рядом ехать. Я ехал с ними и молчал. Пожалел, что не умею холодно язвить. Этим, как известно, старым средством умеют иные ронять других при женщинах. А я не умею; рассердиться и рассердясь нагрубить, — это я понимаю. Но как-то все жалко трогать спокойно самолюбие другого. Хотел для пользы Лизы поробовать подтрунить над Маринаки, и вышло неудачно. А у него спросил:

— А что, это про вас написали стихи:

Маринаки
Поел все раки и т. д.

А он отвечал без гнева и смущения:

— Нет, это про Манираки. Вы видите, и рифма лучше:

Манираки
Поел все раки.

Маринаки говорит вообще немного. Лиза часто молчалива и угрюма. Прогулка наша была нескучна (езда по таким местам и в такую погоду все-таки приятна); но грустная-прегрустная была эта прогулка! Я предался вопросам — как назвать, как определить мое собственное чувство? Ревность? О, нет! Отчего же я не ревновал, когда Алеша принес Лизе букет? Лиза приняла букет и сказала с улыбкой: «спасибо, Алеша!» И посмотрела на него пристально этими пылкими глазами, которые так пугают мать и так нравятся мне. Потом заняла у меня рубль серебром и хотела дать ему на чай, но я остановил ее. Почему же начало этой встречи порадовало меня, а конец огорчил? Где же ревность? Или это оттого, что я нахожу Алешу лучше себя, а Маринаки хуже? Что за

странная роль! Отец? Но отец сравнивает только Алешу и Маринаки, А и В. А у меня еще является между ними С, и это С — я сам.

2-го февраля 1854.

Катерина Платоновна нездорова. Сверх того ее огорчила скрытность дочери; мы недавно только узнали, что Маринаки делал ей предложение, и она отказала. Она боялась, что мать будет жалеть об этом, и скрывала до сих пор. Я долго журил Лизу за эгоизм и объяснил ей, что от такой доброй и несчастной матери можно перенести замечания, что принуждать ее никто бы не стал, а если любишь мать, не надо скрываться от нее. Они помирились. Лиза просила у нее прощенья. Она слушается меня, я это давно вижу. И мне захотелось признаться Катерине Платоновне, что я не раз смеялся над Маринаки и доказывал Лизе, насколько она выше такого жениха. «Хорошо ли вы это сделали?» — спросила бедная мать с таким чувством, что я на минуту смутился. Но потом напомнил ей, что она сама, однако, предпочла бы своего мужа господину Маринаки.

— То я, — сказала она. — Свои страданья не так еще страшны. А сокровище мое, дочь родную, не вернее ли по гладкому пути ввести в хаос жизни?

Я возразил ей на это, что она верно бы не желала, чтобы сын ее покупал покой и право идти по гладкому пути в «хаос жизни» ценою чести?

— La vertu conjugale est le courage et l'honneur de la femme! — заметила мать.

Я с этим не согласился. Надо еще знать, с *кем* соблюдается vertu conjugale!

11-го апреля 1854.

Катерине Платоновне хуже и хуже; она, кажется, не переживет весны. Сегодня она одна сидела на скамье в тени; я подошел к ней.

— В дальний путь собираюсь! — сказала она печально.

Я молчал.

— Благодарить вас или нет? — спросила она.

— Не благодарите, — отвечал я, — мы квиты. Мне было легче этот год. И вас и Лизу я очень люблю.

— Ах, Лиза! Лиза! — воскликнула бедная мать и заплакала. — Лиза, дитя мое родное! Отрада, жизнь моя! Что я с тобой сделаю, дочь моя милая? Куда я дену тебя?

— Куда? — сказал я, — никуда. Пусть здесь живет. 10

— А языки?

— Я сделаю ее наследницей моей. Встретится жених и получше Маринаки. Кого вы боитесь? Мнений Зильхмиллера, который румянится, и ему подобных?

Катерина Платоновна думала, а мне хотелось поглубже войти в ее душу, и я продолжал:

— И наконец, всякий знает, что я ей двоюродный дядя, плешив, сорок пять лет, отжил. Поставьте себя на место других и судите — чем я не опекун?

— Ваше открытое чело всем нравится; на нем печать 20 мысли, — отвечала она. — У вас лицо приятное, выразительное. Вы бодры и здоровы... Поверьте, найдутся низкие люди... и наконец, вы сами не бессмертны; а что̀ она будет и без вас, и без меня!

Я отклонился от разговора, желая подумать. Когда Катерина Платоновна уснула, я позвал Лизу гулять. Вечер был прохладный. Она повязалась по-русски белым платком, а этот убор смягчал ее строгое лицо.

— Лиза! — сказал я, — если твоя мать умрет, что ты будешь делать?.. 30

Она просила не говорить о матери, но я настаивал.

— Я знаю, ты целый день плачешь, когда одна. Ты знаешь, она сильно больна. Любя ее, подумай о себе...

— Я у вас останусь. Буду на ее могилу ходить, буду вам служить, буду вас любить...

— Мать твоя боится людей. Скажут, что она тебя продала мне.

— Я не боюсь.

— Но она боится и с этой боязнью в гроб уйдет.

— Уеду, определюсь куда-нибудь. Одна она у меня; ее не будет, что мне!

— Лиза, — сказал я ей, — что быть любовницей нелюбимого человека, что женой — все равно для души. Но для жизни все ловчее быть женой. Мне тебя жалко!

— Кусок хлеба найду, если вы не хотите, чтобы я у вас осталась! — перебила она.

— Я не хочу? я не хочу? Да я буду умирать от тоски без тебя и без твоей матери! (Я чувствовал, как вся моя душа уходила в мои слова.) Я сочту себя несчастным, если дам тебе погибнуть.

— Что̀ такое «погибнуть»?

— Что̀ такое «погибнуть»? Это очень длинное объяснение. Проще всего погибнуть — значит унизиться, упасть. Не то, чтобы нужду терпеть или страдать. Если нужда тебя не унизила, если, напротив того, ты стала выше и прекраснее от ее тяжести — тогда ты не погибла. Если ты умерла от нужды в честной борьбе, ты тоже не погибла. С другой стороны: если ты ведешь богатую и разгульную жизнь, но при этом добра, великодушна, пряма, умна, даровита и пленительна, как одна из тех знаменитых артисток, монархинь и других женщин, имена которых дошли до нас, тогда ты не погибла, по-моему. А если беспорядочная жизнь обезобразила твою душу — ты погибла! Или, если ты можешь быть счастливой с Маринаки — ты погибла!

— Вот как! — сказала Лиза. — Вот вы что̀ говорите! А с вами быть счастливой — это не погибнуть?

— Нет, — отвечал я смело, — влюбиться в меня, обнищавшего духом, с лицом старым, с сердцем бесстрастным — это своего рода гибель или жалкая ошибка. А выйти за меня замуж, чтобы быть независимой, порадовать больную мать, чтобы иметь в руках средства помогать другим страдальцам, чтобы жить вольно и широко, когда захочется, и в запасе иметь верного друга для

чорных дней, для дней болезни, отвращения и обманов — это не гибель, это улучшение!

— Так, значит, кончено? — спросила она.

— Кончено, мой друг, — отвечал я.

Она, быть может, думала, что я обниму ее в этот вечер, прижму ее к сердцу, и готовилась это снести; но я, как случалось и прежде, поцаловал ее в лоб и перекрестил три раза, вместо матери, которая уснула и не успела благословить ее.

Я спал ночь хорошо и не чувствовал в себе никакой перемены.

Я думаю, она привыкла ко мне; любит Ай-Бурун, пожалуй, и Христинья тут замешалась; никогда Лиза прежде так привольно не жила; и в сердце столько движений! Спроси у нее, она и не сумеет отделить меня от Ай-Буруна. И не надо. Зачем требовать невозможного и неуместного в таком деле бескорыстия? Она не сознает своего детского расчета, и довольно! Будет ей привольно, будет и мне не стыдно.

15-го апреля.

Вчера мы обвенчались.

Мы возвращались домой по шоссе в коляске; ехали рысью и молчали. Я не знаю, отчего Лиза молчала, а я молчал от радости. Лиза бывала почти всегда одета не только бедно, но иногда не совсем опрятно: с матерью за это у нее бывали ссоры. Но в день свадьбы она была дама, как дама! Белое кисейное платье, пышное, новое; палевые перчатки, букет цветов в руке и в косе белая роза, брильянтовые серьги (это я выписал для нее еще прежде). В первый раз я ее видел в душистых палевых перчатках! Лиза — дама! Моя Лиза — дама, и еще богаче многих! Из-за этого одного стоило жениться. Верст за пять не доезжая до Ай-Буруна, мы увидели на горке толпу молодых татарских всадников в праздничных одеждах. Они крикнули все разом, бросились с горы вскачь, окружили

нашу коляску, осыпали нас цветами и проводили на рысях до самого крыльца.

Мы благодарили их, угощали кофеем и фруктами, жалели, что они не пьют вина. Зато вина вдоволь выпили русские дворовые, которых собралось меня поздравить человек до двенадцати из соседних экономий. Они пели и плясали, и татары плясали на площадке перед домом, а русские смотрели. Море опять было тихое, бледно-лиловое; луна начинала слабо светить в стороне; по решотке и колоннам нашего балкона уже распускались ползучие цветы, а за морем чуть был виден розовый отблеск зари. Добрая мать наша, полуживая от умиления, сидела на балконе; Лиза внизу на ступеньках пела с русскими девушками «Во лузях, во зеленыих лузях»; татары собрались кучкой под кипарисами; а я? Я — что̀ чувствовал в этот миг!

17-го апреля.

Однако небольшое облако набежало на мое счастье. Пока пели и плясали люди, пока мы ехали в коляске, пока я смотрел на мать и любовался (клянусь, только любовался!) на Лизу, я был счастлив чуть ли не чужим счастьем. Да! радость моя смутилась при одной мысли, что я в самом деле муж, а не только покровитель. Лиза моя! Когда ты вчера принимала покорно и серьезно мои презренные, нерешительные ласки, ты не знала, моя дочь, что твой друг отступает в ужасе от своих святотатственных прав!

Мне ли следует окончить весну ее жизни? Мне ли сделать ее матерью! Мне ли?!

Что я приношу ей, кроме теплой дружбы? Законные права? Отдать первые чувства девы не божественной страсти, а печальной дружбе и правам... Боже! дай мне силы быть счастливым!

20-го апреля.

Сегодня поутру я вышел рано на крыльцо и спросил себя еще раз: зачем я женился? Но провидению угодно было вразумить меня. Около крыльца распутился роскошный махровый мак. Еще вчера весь цветок был завернут в зеленые листья бутона. Я знаю, зеленые листики эти отпадают, когда цвет распутился в полной красоте. Такими листиками для нее буду я со всем моим до поры до времени. Придет время, и отпаду и высохну!

25-го июня. 10

И за то благодарю, что она не показывает мне любви. В ней ничего как будто не изменилось. Все та же Лиза. Слава Богу! Что̀ бы я должен был думать, если бы она хоть раз обняла меня страстно или бы томно прижалась к моему плечу? Дурной вкус? Притворство? Презренное получувство привычки? И то, и другое, и третье! Один раз она рассеянно поднесла мою руку к губам своим. Я оттолкнул ее и сказал ей с таким гневом: «никогда, Лиза, никогда!», что она смутилась и ушла. Я выждал минуту и просил у нее извинения за мою грубость. 20

— Я не буду, если я вам так противна, — сказала она.

— Не ты противна, дитя мое, а я сам себе противен! Придет время, когда ты поймешь меня.

Она просила меня говорить ей всегда, чем я недоволен; я отвечал ей:

— Я, Лиза, всем доволен. Довольна ли ты?

— Живу, — сказала она угрюмо. — Я еще никогда так не жила... Что мне? Сад есть, гуляю; рояль есть, играю и пою; корова есть — дою корову... Верхом катаюсь. 30

О матери ни слова. А мать угасает так, как я бы желал угаснуть. Счастье и покой дышат во всех ее словах, во всех движениях. Сама недавно мне сказала: «так умирать еще можно, как я умираю у вас, глядя на Лизу. Лиза не

думает, что смерть так близка». Свадьба наша сначала оживила немного Катерину Платоновну, и это обманывает дочь. К тому же у Лизы есть та благородная детская стыдливость, которая избегает говорить о высоких чувствах. Но надо видеть, как она служит матери, как веселит ее своими отрывистыми шутками, пением; читает громко целые часы; ночью сколько раз встает и прислуживает ей.

28-го июня.

Да! она довольна. Она незнакома с лучшим и не знает, что есть лучшее на свете и что мы не только имеем право, но обязаны иногда узнавать (не искать ли?) это лучшее, если оно не покупается ценою унижения и духовной гибели. Она, кажется, довольна. Наряжаться не ищет и не умеет. Но когда я прошу, чтобы она оделась в новое платье — оденется. Один раз сама оделась наряднее в длинное шолковое платье, вышла (а мы с матерью пили кофе поутру), посмотрела на нас, покраснела, не своим голосом сказала: «дама сегодня пришла!» Ушла и переоделась. Лошадей любит; на конюшне беспрестанно; вышивает кучерам пояса; за орехами ходит с девушками в верхние рощи; в саду работает; зимою сажает деревья сама, вдвоем со стариком Ахметом. Корову я ей отличную подарил; доит, кормит ее. Последнее время газеты интересны; грозятся высадкой в Крым; Лиза иногда читает нам их громко и делает свои замечания.

— Как уж мне этот фельдцехмейстер фон-Гесс надоел! Все куда-то ездит! Вот в Вену опять поехал.

Мы с Катериной Платоновной этой выходке очень смеялись.

Иногда ее суровые мужские вкусы смягчаются; недавно она завела котят. Один чорный котенок вышел такой забавный, что я и в жизни такого не видал. Только мы собрались все вместе, он на сцену и давай штуки выделывать, кубарем так и катается, без нужды заберется везде...

Лиза его полюбила; а за ней и мне он стал как будто родной.

В гости она любит ходить только к татарам и к простым русским и всегда приносит оттуда любопытные рассказы: как Эмине, дочь Саад-Сейдамета-Оглу, делала в бумажном окне отверстие, чтобы видеть своего жениха; как он ее увез; как отвез к русской помещице в степь; как гнались за ним двадцать человек; как молодые немецкие колонисты помогали им; мать ездила жаловаться губернатору, а дочь у губернатора в кабинете по-русски сказала: «Я его люблю; я за него и пойду!» Рассказывает, как убирают золотом лоб невесты на свадьбе, как ее раз самое всю раздели татарки, чтобы видеть и платье и белье со всех сторон.

Находим изредка случай делать добро. Недавно Лиза выручила из рук Зильхмиллера (чтеца Дюма) Парашу, крепостную девушку соседа нашего Ш-ва, у которого Зильхмиллер управителем. Она ходила за г-жею Зильхмиллер, а муж ухаживал за нею. Madame Зильхмиллер прибила ее по щекам раз; Параша перенесла; но на другой раз прибежала к нам вся в слезах. Помещик Ш. человек умный и хороший; я написал ему в Петербург об этом; а Лиза встретила в Ялте ревнивую управительницу, заспорила с ней о Параше и разгорячилась до того, что наговорила грубостей. Madame Зильхмиллер сказала как-то: «Всякая порядочная женщина...» — А Лиза скрипнула зубами и говорит (из бархатных глаз ее как будто посыпались искры): «Да разве вы женщина!», отвернулась и ушла.

Мы взяли Парашу внаймы к себе.

29-го июня.

Я каждый день купаюсь за грудой больших камней, за которыми ничего не видно, кроме неба и моря. И прежде я тут же купался, но все было не то. Волны те же; каждый день, каждый миг бьют они точно так же, как

прежде, в те же камни... Та же пена кипит... И я по-старому сижу долго один на песке, смотрю на зеленую и малиновую морскую траву... все то же... Но я не тот! Все кругом поет тебе долголетие и мир. Возможна ли здесь мысль о смерти?

11-го июля.

Давно я не брал пера в руки. Катерина Платоновна скончалась. Мы ее похоронили.

23-го июля.

Мне понравилось, что Лиза в первые дни не плакала, а стала плакать потом. Могила Катерины Платоновны на круге, к которому ведет миртовая дорожка; весь круг тоже обсажен стриженными миртами, дорожка вдруг заворачивает в ту сторону. А посредине круга старый, огромный дуб, и под дубом скамья. Не раз уже мы на ней молча сидели вдвоем. Памятник покойнице еще не готов, но в душах наших воздвигнут вечный памятник ее кротости и горю!

25-го июля.

Газеты продолжают говорить о будущих бомбардировках. Я не верю, чтобы французы решились высадиться в Крым. В Варне был большой пожар. Приписывают его грекам и их преданности России.

22-го сентября 1854.

Как это вдруг все сделалось! Высадка; несчастное сражение под Альмой; Севастополь осажден. Мы слышим отсюда грохот артиллерии. По морю уже ходят большие неприятельские суда. Что̀ делать? Уехать или нет? Уехать — ограбят все. Не уехать — Лиза, баши-бузуки... быть может, и

татары... Конечно, они почти все знакомы нам и любят нас; но слышно со всех сторон, что они расположены к измене и грабежу. Какие неожиданные чувства разгораются у народа мирного и честного под влиянием широких исторических эпидемий! Лиза думает остаться; я вижу, ее интересует близость войны; она ничего не боится, и по незнанию, и по природной отваге.

10-го октября 1854.

Говорят, турок в этой стороне не будет. Англичане занимают Балаклаву. Поэтому лучше остаться и стеречь имение. Ее никто, Бог даст, не тронет; а те средства, которые дают нам возможность жить по-своему, могут пострадать, если мы уедем. Христинья боится больше всего татар; Ахмед-садовник нарочно стращает ее, а она проклинает его на чем свет. Лизу все это занимает до крайности. И у меня душа выросла... Все сильнее, все слышнее стало чувствоваться! Ловишь каждый миг своей жизни, каждый слух... Все исполнилось кругом как бы иным, высшим смыслом...

Останемся!

2-го марта 1855.

Что за зиму мы провели здесь с Лизой! У нас здесь мир и еще безлюднее прежнего. Из прекрасных экономий уехали последние помещики; зайдешь или заедешь в которую-нибудь — ни души! Для кого эти столпообразные скалы Орианды (самые прекрасные из всех здешних скал)? Для кого бурый исполин Аю-Даг с начала веков купает свою медвежью голову в море? Эти сады террасами, с растеньями всех стран и дивными домиками, разноцветными в разноцветной зелени? С непостижимым чувством смотришь вечером с высот на огонек, мерцающий далеко в русском окне.

На плоских вершинах гор сходит снег.

В верхних сосновых лесах и пониже, в орешниках и рощах, которые лепятся по склонам — все уже в цвету.

Цветут нежные орхидеи; фиалки уже кончились. Недавно ходили мы вдвоем с Лизой в рощи собирать фиалки для белья. Боже мой, вблизи ни звука, ни голоса... Все распускается, все душисто, а севастопольская пушка ревет вдали и день, и ночь!.. Лиза говорит: «ах! если б туда!» Всякий раз, как грянет знакомый гром, она бледнеет и краснеет, а глаза искрятся... какие разнообразные силы сокрыты в ее душе!

3-го апреля.

И у нас показались признаки войны. Заезжали донские казаки со стороны Ялты. Со стороны Балаклавы показываются иногда неприятели. Французы сходили в Алупку, но ничего не испортили. Было человек десять и в трех верстах от нас. Вообще они ведут себя хорошо, и солдаты и офицеры. Однако прекрасный мраморный дом соседа Ш. сгорел, и церковь его ограбили; один русский работник заболел от страха и недавно умер; мимо него промчался французский кавалерист: на голове один свадебный венец из церкви, а в руке другой. Я думаю, француз вообразил себе, что это какие-нибудь «couronnes ducales!»

Говорят, что они нашлись в погребе Ш-ва; другие обвиняют татар, которые поселены на земле Ш. Мне трудно поверить, что это сделали французы; это на них не похоже. Однако на одной из обгорелых стен написано: «Le 47 de ligne a passé par là! Adieu messieurs les russes!» По дороге вокруг дома валяются пружины из диванов и кресел. Погибла картина Айвазовского «Вид Керчи в пасмурный день».

Может быть, вино и в самом деле довело их до поступка, который не в нравах их честной армии.

Хорошо, что мы остались, хотя иногда и страшно за Лизу.

Да! между прочим, за ней ухаживает казацкий юнкер, который приезжает иногда сюда. Красивый и лихой казачок двадцати пяти лет; говорит высокопарно. «Когда б, — говорит, — вы посмотрели наш народ на тихом Дону! Народ чистый, уродливый! А дончиха в Новочеркасске идет — так ее ветром колышет; словно пташка на древе!»

Лизу он занимает; она ездит с ним верхом, крутит ему папиросы, поет ему «Колыбельную песню» Лермонтова, ходит с ним под руку. Раз надела его папаху и шашку, подтянулась поясом, стала перед нами и ударила себя молодецки кулаком в грудь: «Каков казак?» Юнкер с радости захлопал в ладоши. Неужели она в него влюбится?

2-го мая.

Параша пришла объявить Лизе, что юнкер предлагал ей пять рублей и просил научить, в какое окно надо влезть ночью в спальню Лизы. «Я, — говорит, — одурел от твоей барыни. Ну, такая любовь, такая любовь — просто заключение!» Меня удивило особенно, что Параша запомнила последние слова.

Лиза пришла и рассказала мне все это. Она смеялась и вместе с тем была смущена. Я успокоил ее и сказал: «Если ты сама не влюблена в него, будь только как можно суше в следующий раз... А если влюблена — это твое дело. Предупреждаю тебя только, что он очень груб и развратен»...

(Раз мне пришлось ужинать в Ялте с ним и другими казаками; он напился и стал рассказывать, как он любит (стыдно даже повторить) «баб и девок розгами или плетьми драть». Я спросил: «за что?» — «На вот — знай наших Гаврилычей!» Жаль было слышать такие речи от лихого русского молодчика.)

Через три дня он приехал; но Лиза едва показалась ему, не сказала почти ни слова, и он перестал заезжать к нам.

Июль.

Вдали все слышен страшный гул с небольшими роздыхами. Недавно штурм отбит от Малахова кургана. Отличился один генерал Хрулев, о котором я прежде не слыхал. Дай Бог нам побольше военных дарований!

Нас, крымских жителей, затрогивает не только честь русского оружия; нам грозят самые глубокие потери. Если, от чего Боже сохрани, Крым возьмут весь и отдадут Турции или еще хуже — сами союзники завладеют им? Прощай тогда горный рай! Куда мы поедем с Лизой? В Россию, внутрь, где бродит столько старых теней, где как из гробов восстанут близкие и давно чужие люди? А больше некуда. Еще лучше остаться у турок. Французы и англичане заведут везде здесь железные дороги и фабрики, от пароходов отбоя не будет; будут топтать в грязь все русское; оденут как раз татар в жакетки и фраки; распространится зловоние местных газет...

«Courrier de la Tauride!» Прощай тогда дикая, забытая поэзия Крыма! Боже, избави нас от завоевания! Мы так тут сжились — Лиза, я и южный берег! В другом месте (кто знает) и я, и Лиза будем не те!

Июля 16-го, 1855.

Сейчас Лиза умоляла меня свозить ее хоть на северную сторону в Севастополь; хоть издали посмотреть на войну; видеть, как громят бедный город, как ночью по небу летают ракеты и каленые ядра. Но я решительно отказался взять ее... Лучше, чтобы развлечь ее, съезжу с ней в Симферополь. Теперь там все кипит. Я знаю, что я там встречу много знакомых из Москвы и Петербурга; но на войне они будут и лучше и новее, да и разве, если станет больно, не могу я тотчас убежать от них сюда?

Июля 29-го, 1855.

Что за шум! Что за движение в Симферополе! При въезде в город и на большой улице дороги нет. Мы беспрестанно останавливались. Гремят городские экипажи; офицеры мчатся на перекладных; немазанные шаграры скрипят; верблюды ревут... Визг, брань, лай собак! Лошади, буйволы, казаки, пленные в фесках, пленные в синих и красных мундирах; дамы, ополченцы с песнями, пики, каски с перьями, патриотические сарафаны, папахи, шляпки с цветами, генералы, татары, цыгане, небритые греки, армяне, евреи, чернобровые гречанки у калиток... Насилу отыскали мы порядочный номер — и то за 20 рублей в день! Все лучшие, большие дома, и казенные и частные, заняты ранеными и больными. Беспрестанно приходят и уходят новые отряды; девицы ловят женихов, молодые люди увлекают девиц и спешат уехать; в городе тиф и холера.

Рядом два дома: в одном сотни людей изнемогают на койках, в другом — танцы и музыка далеко за полночь. Не скучно, когда опомнишься... Ночи теперь лунные, и на бульваре около Салгира каждый вечер музыка. Мне приятно было видеть, как все оглядывались на Лизу, когда она шла со мной в белом кашемировом бурнусе и белой шляпке. Я думаю, жалеют, что у нее муж уже немолод и немолодцоват. Впрочем все эти прохожие смотрят, вероятно, в белые стекла и разделяют мнение, что «мужчина, если немного получше чорта, так и хорош!» (Что за смрадное мнение!).

Вышли раз на бульвар и встретили полковника барона Пильнау, моего старого знакомого; он командует гусарским полком. У него большие дочери, ровесницы Лизе (а он мне почти ровесник), и они приехали из самарского имения с ним повидаться. Он нанял прекрасную дачу за Салгиром и тут же пригласил нас на бал.

Дочери его, высокие и гордые блондинки, с Лизой обошлись очень любезно.

— Что ж, поедем? — спросил я, когда мы остались одни.

— Как вы хотите.

— Я хочу... А ты?

— И я хочу, — сказала она.

Я спросил, училась ли она танцовать? Она отвечала, что учиться — не училась, а *так* знает.

Я решился, конечно, одеть ее сам, потому что она ничего не знает. Послал за француженкой для моды, а вкус предоставил себе. Белый тарлатан, широкий чорный бархат где нужно и бледно-розовые маргаритки превосходной работы — вот и все... Веер купил хороший, француженка говорила все «ah! bah! vous n'êtes pas dégouté!», когда я ей говорил, как сделать cache-peigne из чорного бархата и маргариток.

Хоть куда вышла моя Лиза!..

Сели в коляску и спустились за Салгир к пышным и тихим садам, из которых дул влажный, упитанный запахом горького миндаля ветерок. (В это время всегда цветет здесь множество белой повилики.) Сквозь чащу старых тополей и каштанов уж видны были разноцветные фонари, и музыка играла восхитительный вальс. Лиза молчала, и я молчал. Вошли. Зала была полна. Гвардейцы, гусары, уланы, моряки, чиновники, щоголи, несколько шотландских пленных красавцев, дам множество. Дочери барона взяли Лизу, а меня повели играть в карты. Я насилу вытерпел два роббера и вышел в залу. Смотрю, моя дочь танцует больше других: то с тем, то с другим, и говорит довольно свободно. Я от радости проигрался в пух!

Заря занималась, когда мы уехали. Лиза заснула, заснула в коляске; а я был так взволнован печальными воспоминаниями, мыслями об ней и о моей собственной судьбе, что и дома уснуть уже не мог.

Лиза встала поздно и целый день была грустна; после обеда она позвала меня за город. Мы уехали в сад Княжевича, один из лучших в этом зеленом поясе садов, который широко вьется за Салгиром — посреди нагой степи.

Лиза не отходила ни на минуту от меня, держала меня за руку и все твердила:

— Тут лучше! Тут лучше! Поедем домой, к Христинье.

— Зачем так скоро? — спросил я с удивлением, — еще потанцуешь, еще увидишь народ.

— Не хочу. Я не буду больше по вечерам ездить... Душно потом.

— Это в первый раз, Лиза; попробуем еще. Таких случаев долго не будет. Южный берег опустел и когда-то оживится!

— Нет. Уедем домой!

Я знаю, что значит, когда она твердит одно и то же. Она редко противоречит мне, и наша жизнь была так устроена и однообразна, что и спорам не было причин. Я убеждал ее в чем-нибудь, и она слушалась; но если она стала так твердо на этом «уедем! уедем!» — надо ехать. Иначе целую неделю будет молчать, тосковать и отдаляться от меня.

И в самом деле, здесь и мне тяжело.

Пока Лиза утром еще спала, я пошел проведать одного пожилого ополченца, разоренного помещика той губернии, в которой я родился. Я на днях, мельком, увидал его больного и обвязанного в пролетке, по дороге к госпиталю. Было время, я проводил у него дни и ночи. У него было пять дочерей и три сына; дочери были почти все недурны, а я был студент. Потом я узнал, что он разорился и поступил с горя в ополчение 50-ти слишком лет.

Прихожу я в главный госпиталь. Говорят, «кажется, сегодня ночью или утром умер; посмотрите в часовне». Зашел в часовню. Стоят целым рядом солдатские гробы закрытые; свечи горят перед иконами. В соседней комнате вскрывают кого-то доктора; один говорит другому: «Вот селезенка так селезенка! Посмотрите! Это идеал селезенки! Что̀ значит свежий человек из России. А наши-то селезенки на береговой линии, что̀ за объем, что̀ за кон-

систенция!.. Я забыл там, какая это бывает нормальная селезенка!»

Я заглянул туда; один из них, молодой, почти дитя, белый, розовый, кудрявый, дерзко облокотился на труп, держит в руке что-то чорное и кровавое и любуется; другой пилит череп мертвецу и кричит на фельдшера, чтобы крепче держал, чтобы не моталась голова туда и сюда. Я спросил, не капитана ли К-го они вскрывают.

— Нет. Что̀ вам угодно? — надменно отвечал кровожадный хирург.

Я хотел уйти; но в ту минуту два солдата внесли труп моего капитана и положили его в угол на землю. Какое жолтое, налитое лицо! Знакомые морщины были как будто разглажены... И, что̀ ужаснее всего, челюсти его были подвязаны пестрым шарфом, который был мне знаком 20 лет тому назад. Шарф тот дала мне тогда вторая дочь его; мы любили друг друга; особенно она меня, но я был ветрен тогда и, уезжая, позабыл ее подарок у них в доме. Говорят, она неутешно плакала при одном взгляде на этот шарф.

Нет, скорей домой! Лиза права. И зато, что̀ за блаженство, когда мы опять поехали мимо Салгира и душистых садов, потом по лесам к Таушан-Базару! Смотрели на аспидную стену Чатыр-Дага, который был у нас вправо. В Алуште мы кормили лошадей, гуляли у моря по песку, любовались на старую башню, вокруг которой ступенями лепятся татарские хижины с навесами и колонками и вьется виноград.

Уже было совсем поздно, когда мы увидали наши огоньки под горою, и Христинью, и кошечку, и все то, что мы обожаем...

4-го августа 1855.

Однако и здесь не без приключений!

Третьего дня в соседнюю татарскую деревню приехали вечером четыре казака, напились и заснули. Поутру их

нашли на дороге убитыми и ограбленными. Татары клянутся, что ночью наехали неприятели и убили их. Это вздор. Я, конечно, не пристрастен к французам; но армия их, надо сознаться, первая в міре не только по храбрости, но и по привычке к рыцарскому поведению.

На самих трупах есть признаки, что убийцы азиятского происхождения: трупы обезображены. Издеваться над врагом, убитым во сне, не станут, конечно, ни французы, ни англичане.

Странно, а в мирное время куда как татары приятнее для меня и тех и других!

5-го августа.

Узнали об этом деле за Байдарскими Воротами. Приехало сегодня утром несколько французов и сардинцев. С ними два офицера и еще один молодой грек, лет 20-ти или 22-х, в феске; пальто подпоясано красным кушаком, за кушаком пистолеты. Красив и доброе лицо. Зачем он с ними? Как переводчик? Он ни по-турецки, ни по-русски не знает. Он грек не крымский; это было заметно с первого раза и по феске, и по прекрасному произношению греческого языка. Мсьё Бертран, начальник этого небольшого отряда, представил его мне; он родом с Ионических островов, из хорошей тамошней фамилии — *Маноли Маврогенис*, или Маврогени. Я пригласил их всех на завтрак. Маврогени с замечательной жадностью смотрел на меня, на Лизу, на все наши вещи. Я не успел спросить у него ничего, и ни разу не пришлось мне с ним быть наедине.

Мсьё Бертран пришел в негодование, когда узнал, что татары осмелились обвинить французов в изменническом убийстве казаков; созвал их, напомнил кстати о пожаре в имении Ш-ва и пригрозил им так, что они обомлели и объявили имена убийц, утверждая, что они скрылись куда-то. Бертран предоставил розыски русским властям, велел при себе прилично похоронить убитых; сказал татарам, что

подобные поступки равно противны обеим воюющим сторонам и что при малейшей попытке их к грабежу и разбою он сам заберет их, свяжет и отвезет в союзный лагерь, а там их расстреляют или повесят.

После завтрака он благодарил нас с Лизой и прибавил: «что если он еще не так тронут и удивлен, как бы следовало, так это сами русские виноваты — l'on s'y attend toujours! L'hospitalité russe est connue!». Мы пошли провожать их в гору; Бертран шел с женою моею впереди под руку и вел изысканный разговор о Париже, о театре, который они устроили в Камыше, о львиной храбрости русских и о дружеском обращении неприятелей во время перемирий. Лиза отвечала ему довольно сухо, и между прочим я слышал, как она сказала: «танцев я не люблю, а в театре никогда не бывала».

Я думаю, он об ней отзовется как о красивой дуре, или, если у него побольше толку, как о полудикой козачке с грубым голосом. И она не слишком хорошего мнения об нем.

15-го августа.

Мсьё Бертран и Маврогени уехали сегодня на рассвете. Они провели у нас опять целый день. Какой славный этот грек! Лихой француз с острыми усами как нарочно ездит с ним, чтобы тот казался еще лучше. Как будто и не глуп, и любезен, и, должно быть, честный малый, и, верно, храб под Севастополем, знает много — *все* у него есть... Но отчего же это *все* так сухо, так казенно, так истаскано?

На деле, все это силы несомненные, до того несомненные, что этими силами, разлитыми в их полках, они победят стойкую и небрежную отвагу наших войск. И мсьё Бертран — француз... француз и только! Все качества его нации налицо и многие из недостатков. Своего *бертрановского* нет ни искры! Бертран ли он, или Дюмон, или Дюпюи, не все ли равно? Зачем таким

людям имена? Их бы звать француз № 31-й, француз № 1568-й и т. д. Какая разница — Маврогени! Какое простодушие, какая искренняя, пламенная молодость во всем, в улыбке, в блеске синих очей, в чорных коротких кудрях, которые падают на лоб, в жажде жить и веселиться! Еще прежде я хвалил его наружность Бертрану, особенно бледно-золотой цвет его лица и кроткого, и лукавого, и веселого; Бертран согласился со мной и сказал: «надо уговорить его, чтобы он привез с собою свой албанский костюм: тогда посмотрите!» И точно, пришлось мне подивиться, как может быть красив человек, когда он одет по-человечески, а не по-нашему! Вошел он в густой белой чистой фустанелле, в малиновой расшитой обуви с кисточками на загнутых носках; золотой широкий пояс, полный оружия; синяя куртка разукрашена тонкими золотыми разводами; длинная красная феска набекрень, и с плеча на грудь падает пышная голубая кисть!

Я вслух пожалел, что не родился живописцем. Бертран обратился к Лизе и сказал: «А я, madame, жалею, что я не женщина, когда вижу его албанцем!».

Лиза покраснела и не отвечала ему. Маврогени был необыкновенно естественен, пока мы его рассматривали. Не скрывал своего удовольствия, смеялся и не был смущен. Понравилось мне также то, что он мало знает и не скрывает своего невежества; на словах как будто стыдится, а лицо веселое. Увидал у меня на стене портреты знаменитых людей и спрашивает: «Это кто?» Это Лист. «Кто такой Лист?» «А тут подписано *Ройе-Коллар*; что он сделал, Ройе-Коллар?..» «Кто такой Бальзак?» — Странно, — отвечал я, — что вы не знаете ни Листа, ни Бальзака. Про Ройе-Коллара я не говорю — это лицо скромное и серьезное, не для молодых повес...

— Не знаю, говорит, извините! Мне так совестно...

А сам и не думает совеститься...

— Mavroguéni est un brave garçon, mais c'est une tête un peu felée, — говорит о нем Бертран с высокомерием старшего и глубокомысленного друга.

Стали петь хором по-итальянски; Маврогени фальшивит, смеется и кричит:

— У греков, говорит, мало хороших голосов; для этого надо ехать в Италию.

Увидел мой халат. «Позвольте мне надеть!» Надел, смотрится в зеркало и доволен.

Потом рассказывает, что он никогда халатов не носил и не носит. «Когда был на родине, проснусь поутру — и в море. И плаваю, и плаваю, ныряю, ныряю! Некогда халат надевать!» И, несмотря на все свое ребячество, как он смело и строго остановил Бертрана, когда у того сорвалась одна, быть может, необдуманная невежливость. Я стал рассматривать штуцер одного из их солдат, а Бертран сказал:

— Voilà, monsieur, la bajonette française qui fait trembler toute l'Europe!

Я не отвечал ни слова и поставил штуцер в угол.

Маврогени пожал плечами и заметил ему: «Здесь не бастион, я думаю... идет ли это говорить?..»

Бертран покраснел.

Потом я из другой комнаты слышал, как они спорили.

— Ты приверженец русских... это известно! Ты слишком молод, чтобы давать мне уроки приличий.

— Да! я русских люблю и тебя люблю. И скажу тебе, нехорошо говорить это русским, когда и без того у них больше тысячи человек выбывает каждый день из строя в Севастополе. Не сердись! ведь мы друзья?

— Прекрасно... мы друзья; но именно из дружбы можно бы было воздержаться от подобных замечаний, пока мы не одни с глазу на глаз...

— Мне было жаль, — сказал Маврогени.

Наконец Бертран воскликнул:

— Eh bien! j'ai eu tort! Je l'avoue!

Маврогени искал случая быть со мной наедине и, когда добился этого, с жаром стал рассказывать мне о своей жажде видеть русских, о своем побеге на войну от родных, об ошибке, которую он сделал.

— Я решился вдруг, — сказал он, — отец и мать мои жили тогда в Галлиполи... я собрал, что̀ мог, денег, сел на первое купеческое судно, и оно привезло меня в Балаклаву к союзникам. Я все думал — лишь бы доехать, а там убегу... Я воображал всех русских великанами, силачами; думал, что они все строгие, набожные; я с ума сходил, чтобы попасть в ваш лагерь. Но пришла мне мысль ехать в Крым только тогда, когда некому было меня довезти, кроме французов и англичан. Попал я на большое купеческое судно. Волов на нем везли для войска. Поднялась буря, и шесть дней носило нас по Чорному морю. Я не унывал: мачты сломались, руль испортился, капитан головой об стену бился; а я все ел, пил и смеялся... и ни разу не подумал, что могу утонуть. Французы за мной следили; бежать не знаю куда, по-русски не знаю; надеялся хоть издали увидеть русских. И когда видел я вдали огни в севастопольских домах, когда пушки ваши стреляли, когда союзники бежали или были разбиты, я был вне себя. Привезли пленных, кричат около меня: «русские! русские!» Я бегу... Вижу — трое. Один казак и два солдата: нехороши собой, ростом невелики. Досадно мне было, что они такие; а еще досаднее, что ни слова не могу им сказать! Все заметили, как я на них смотрел и теперь шагу не могу один сделать. Бертран боялся, чтобы я не пробовал бежать и чтобы не расстреляли; взял меня на поруки, а я дал ему честное слово не перебегать к русским. Но если бы я мог!

— И в Бертрана бы вы стреляли, если бы были свободны? — спросил я у него.

— Нет, — отвечал он, — в него бы не стал стрелять, а в других с удовольствием, особенно в красных дьяволов, в англичан!

Я разочаровал его немного тем, что сказал: «Между русскими и русскими есть большая разница. Народ, правда, набожен, но нравами не слишком строг; а общество вовсе уж не строгого нрава и, к сожалению, не слишком религиозно. Если и есть где строгость семейных нравов, так это скорей в богатом дворянстве, — прибавил я, — а

средний круг наш, который образовался не столько выработкой снизу, сколько распадением сверху, скорей страдает распущенностью, чем излишней суровостью семейного начала».

— Как это странно! Как это странно! — повторял Маврогени. — А у нас, греков, нравы строги. Говорят, это турецкое иго очистило народ. Я не знаю. Так думают другие.

— Не знаю, — отвечал я, — иго ли это очистило или что другое. И крымские греки в семьях строже русских. Если ссор у них [не] меньше, чем у нас, так порядка внутреннего, наверное, больше. Все мужья у них, во-первых, ревнивы, если не по натуре, так по обязанности и для приличия.

— Разве можно не ревновать жену, если ей кто-нибудь нравится? — спросил он с лукавым любопытством.

— Можно! — отвечал я, — у нас многие не ревнуют, а только притворятся из страха чужих разговоров. А есть изредка такие, которые не ревнуют и не притворяются!

Он задумался, и мы простились.

29-го августа 1855.

Севастополь отдан. Иные говорят: чем хуже, тем лучше. Может быть, для России они и правы; но мне, крымскому жителю, страшно за Крым.

30-го августа.

Вчера приезжал Бертран. Он был деликатен; опустил глаза и сказал между прочим: «Это было дело военной удачи, поворот фортуны. Русские были так же мужественны, как и во время первого штурма!»

Второстепенное лицо из французского романа второй руки — какой-то верный, твердый друг!

Маврогени был с Лизой в саду. Я слышал, как они смеялись, играя в мяч.

Мы вышли на балкон посмотреть на них, и они нас не заметили.

Как они оба хороши! Как бы они были созданы друг для друга, достойны друг друга, если бы судьба соединила их, вместо того, чтобы послать меня навстречу Лизе! Как она была сурова и мила! На голове у нее был тот самый белый платок, в котором она ходила со мной в дубовую рощу в тот вечер, когда мы решились обвенчаться.

А какой он молодец! Как молод душой и как ловок! Главное, как молод душой! Как мало в нем той ужасной осмотрительности, которая, как печать проклятия, легла на всю умную часть нашей молодежи; и бертрановская деревянная живость не похожа на то исступление жизни и веселости, которыми дышит Маврогени. Играя, он прыгает и смеется; схватил острую палку и проколол резиновый мяч.

Лиза требует за него деньги; он уверяет и божится, что деньги у него все французские, которые у нас не будут ходить.

Я ушел с балкона и заперся у себя, наедине мне стало еще грустнее.

15-го октября 1855.

Больше месяца не приезжал Маврогени; он был нездоров. Лиза не скрывала, что ей скучно без него. Раз она подумала, что он пробовал перейти к русским и что его расстреляли. Подумала, побледнела, начала спрашивать, кàк я думаю, и голоса нет. Однако вчера пришла записка от него. Хочет идти сам к генералу Боске проситься к нам на две недели и дать честное слово, что он не перебежит.

10-го октября.

Приехал. Все ожило у нас. Дай Бог здоровья Боске! Лиза громко поет по утрам, когда выйдет к чаю в залу. Он клянется, что скоро будет мир. Прыгает от радости, твердит: «мир! мир!»

Октября 25-го.

Уж скоро две недели, как Маврогени у нас. Мы возили его везде по горам, в Ялту, в Алупку. Он все хвалит; иногда как будто без внимания, иногда с восторгом. Беспрестанно говорит о русских: он видел еще русских пленных; он любит русское кушанье; это русская церковь, в русском вкусе; а сам в первый раз видел под Севастополем русский монастырь.

Наших бородатых дворовых, кучеров, извощиков в Ялте принимает за монахов, потому что у греков все, кроме монахов и священников, бреют бороды.

В нем странное соединение грека с итальянцем. Греческой сухости в нем нет, и лицом он больше на итальянца походит. Во французском языке он ошибается как итальянец, а когда хочет выучиться русским словам, произносит их как грек. Меня это смешит, но Лиза не может слышать этого и говорит: «Уж лучше бы не учился по-русски! Точно еврей» (портной из Ялты). Политические убеждения в нем крепки, и в них он истинный грек героического взгляда. Россию обожает, хотя и не знает ее; горой за православие, хотя сам ленится ехать к обедни; с наслаждением рассказывает о турецких несправедливостях, о грубости англичан; ни в Македонии, ни даже в Румелии не хочет и слышать о славянах — все греки. Мечтает о том, как было бы хорошо, если бы составились две большие православные земли — сухопутная Россия и морская, большая Греция, которая бы вытеснила английский влаг из Средиземного моря и просветила бы даже мохамеданскую Азию. Я на этом всегда его останавливаю и говорю, что новая Греция, особенно та ее часть, которая зовет себя передовой и образованной, не носит в себе никакого оригинального исторического начала и что комерциальные способности одни не дают еще права просвещать по-своему мусульманский Восток. Это просвещение будет губительно для духовного богатства на земном шаре; мусульманизм, по-моему, способен к обновлению

самобытному, лишь бы он покинул Европу и, оставляя другим волю развиваться, избавился бы сам от опасности стать жалким лакеем Запада. Я думаю даже (хотя и не совсем слепо), что в Коране есть начала сходные и с фатализмом новой статистики, и с пышностью самого міроздания. Коран говорит: «Богу угодно, чтоб были и добрые и злые, и грешные и праведные. Он знает, что̀ нужно!» Не сообразно ли это с историей, с жизнью растительного и животного міра, поэтическими противоположностями вселенной? Может быть, я ошибаюсь. Если так — пусть простит мне Бог; но в мыслях наших мы не властны!

Маврогени не понимает этих возражений. Продолжаю о нем. Сегодня мне и весело и душно, как будто я помолодел; хочу писать.

По привычке или по обязанности, он хвалит строгость домашней жизни у греков; хотя и сознается, что нередко гречанки обманывают мужей, но пусть принцип стоит!

А итальянская натура и жизнь в Италии тоже не остались в нем без следов. Добродушие, легкомыслие, невольное желание изменить этому греческому принципу домашней жизни, но только не в ущерб себе, а в ущерб ближнему...

Он рассказывал Лизе, что в Неаполе у одной дамы был муж и был «человек, которого она любила» (так он сам выразился). «Человек, которого она любила», продал хорошее имение около Флоренции и переселился в Неаполь, чтоб быть всегда с нею. Муж был осужден на изгнание за политический заговор; неаполитанке стало так жаль мужа, что она уехала с ним. И что же? Родные этой дамы порицали ее и брали сторону любовника, который из любви к ней разорился!

— Вот как строго судят в Италии! — сказал Маврогени.

И, по всему видно, рад, что судят так! Он знает наизусть много любовных греческих песен, и хотя сам поет

дурно, но для верного музыкального чувства Лизы достаточно было его намеков на музыку, с которой их поют. Не знаю, поет ли она их верно, но слышу, что поет хорошо. Из героических мне нравится особенно одна:

С мечом за поясом
И на коне моем
Я лечу, как птица!
Когда стреляю из ружья,
Я не забочусь о том,
Что̀ мне сулит судьба.
Я пою и смеюсь, когда свищет свинец,
льется кровь
И верхом на моем коне по темной дороге
Скачу через пропасти.
Не плачь, красивая девушка!
Путь мой лежит за горы...
Я везде найду красавиц, но долго не
останусь ни с одной
Из них нигде и назад не вернусь.

Недурна также другая грустная песня, которая начинается:

Ты ангел мой!
И в руках ты держишь мечь,
Который погубит мою голову...

Какое прекрасное соединение страсти и суровых таинственных впечатлений! Я зову эту песню вечерней, и Лиза всегда поет ее под вечер.

Октября 27-го.

Вчера вечером мы долго говорили с Маврогени с глазу на глаз. Он беспокоится о том, что ему делать, если мир не будет заключен. Как попасть к русским, не нарушая честного слова?.. Он думает уехать в Турцию и возвратиться через месяц совсем сызнова через Молдавию и сухим путем, через Перекоп, в наш лагерь. Слово сдержано, — он не бежал; он уехал на родину. А после — это уже нечто вовсе новое. Это умно придумано.

2-го ноября 1855.

Все кончено! все решено! Утром я пошел, по обыкновению, осмотреть сад и возвратился довольно усталый со стороны той лужайки за домом, за которой полукруг кипарисов. Надо заметить, что дом наш прислонен к этому лугу задом, и прямо с него можно шагнуть на балкон. Я так и хотел сделать. Подхожу — Маврогени стоит спиной ко мне у перил, а Лиза сидит перед ним на стуле: лицо ее скрыто в его руках, а ее руки обняли его колени. Они не слыхали, как я шел по траве, и я поспешно удалился.

Остался я один, и все во мне было и полно, и взволновано. И жалость непонятная, и радость, что ей весело и хорошо... Не так ли волнуется и блаженствует мать, когда сын покидает ее для успехов и наслажденья? Хотел идти... ищу шляпу — она на мне... Хотел идти к морю — не мог. Сел опять к столу, закрылся руками, чтобы свет Божий забыть, и спросил себя:

— Зачем ты не ревнуешь? Кàк смеешь ты не ревновать? Но чтò же делать мне, если во мне нет ни искры ревности? Чтò делать мне, если она мне давно не жена, а моя дочь, мое создание?..

— Но твоя дочь, твое созданье *гибнет!* Она падает!.. Протяни ей крепкую руку старого друга... Удержи ее на краю!..

Нет, пышный мак расцвел, и хранительные зеленые листья пусть сохнут и отпадают!.. Кто сказал вам, глупцы, что она гибнет? Кто сказал вам, глупцы, что тот, чья рука покрыла землю коврами цветов; тот, кто научил человека воздвигать узорные дворцы и храмы и списывать на полотно благородно-дряхлые хижины; чей дух вдохнул в нашу жизнь громы музыки, громы бурь и громы сражений; по чьей воле мы в сумерки поем грустную песнь про страшного ангела с мечом и про степь, по которой веет вечерний ветер, — кто из вас решил, что волнения чувств и страстей не плодотворны и не угодны ему так же, как и

узоры храмов, и узоры цветов, и волнения моря, и волнения музыки?..

Чем упала, чем унизилась она? Она не была и не будет счастливой женой ничтожного Маринаки, она ко мне, обветшалому и отжившему, не питала глупой страсти. Она не влюбилась в безличного Бертрана; странная речь молодого казака, его выразительные узкие глаза и белокурая скобка волос, его грубое русское удальство ей нравились больше, но за мигом страсти могли грозить ей униженье и обида дикаря. Она остановилась. Привычка ко мне, глубокое уважение, дружба, покойная роскошь наших будней не убили в ней бездонных сил для новой жизни и любви... Живи, живи, моя Лиза! Живи моя дочь, живи и расцветай, мое божество!..

4-го ноября.

Уехал. Я не видал ее в минуту его отъезда.

5-го ноября.

Вечером я сидел один в темном кабинете. Вошла Лиза, села у стола, вздохнула раза два, сказала: «Ну!..» и замолчала, и опять вздохнула. Лица ее мне не было видно.

Я молча взял ее руку. Она начала опять:

— Ну... я пришла!

— Знаю! — сказал я, — знаю. Не тревожься... забудь обо мне...

Она упала передо мной на колени и горько заплакала, повторяя тихо:

— Вас забыть?.. Вас?.. Ангел мой! Добрый... добрый!..

Я видел, что эти слезы были слезы невыносимого счастья, теплый майский дождь между двумя сверкающими днями.

Я не был так чисто счастлив, когда сам любил юношею!

Прочь сомнения! Прочь рабство общих мнений! Пусть питается дешевой и безвредной пищей тот, кто не в силах вынести божественных напитков!

20-го ноября.

Мы ждем его с нетерпением. Днем Лиза избегает произносить его имя; но когда вечером мы гуляем по скалам и в рощах над морем, тогда мы говорим о нем.

— Однако вам больно что-то? — спросила она вчера. — Вы чаще вздыхаете. 10

— Разве я не вздыхал часто, когда мы с тобой ехали, после бала, по лесам у подошвы Чатыр-Дага? Разве я не был счастлив тогда?

— Нет у меня слов, чтобы вам сказать, ка̀к было, — продолжала Лиза, — когда я одна — все во мне кипит как будто... Готовлю вам столько... А пришла — не могу! Это-то и есть любовь или еще нет?

— Это и есть любовь, — отвечал я.

— Отчего же душно и при нем и без него? 20

— Оттого, что истинное, глубокое счастье не по силам нам; мы к нему не привыкли.

— Это правда! — отвечала Лиза.

— Это правда! Видите? Это правда; значит, мы к счастью не привыкли!..

Должен ли я, смею ли я мешать ее блаженству и умерять неразрывную с ним благодатную тоску? Не со мной же испытывать ей эти чувства! не со мной же озаряться на миг райским лучом за то только, что я честен, добр для нее и прочел сотни две разных книг! 30

Последняя заслуга дешевеет с каждым днем и лет через 50 станет пороком, если люди не образумятся.

22-го ноября.

Все это время Лиза весела; она ждет его с нетерпением. Известия о мире становятся вероятнее.

26-го ноября.

Поеду сам за ним. Лиза тоскует. Теперь перемирие; да и кому нужно брать в плен мирного помещика?

5-го декабря.

Вернулся один. Он больше трех недель как уехал домой. Что̀ это значит? Он слышал со всех сторон, что ждут мира... Неужели он легок до того, что прикоснулся к цветку и умчался? Остыть — я понимаю. Но есть мера и время на все!.. Легкомыслие не исключает глубины чувств, и я думаю, тут кроется что-нибудь другое. Впрочем, не раз я видал, как прекрасные люди поступали дурно и ничтожные вели себя хорошо.

Едва только я выехал на наше шоссе из Байдарских Ворот, как увидал Лизу одну на камне. Было уже поздно, а от нас этот камень верст пять или шесть. Вот за это бы стоило вызвать и убить его! И как он мог быть так близок с ней и не полюбить ее, не увлечься сильно, по крайней мере, на время? Не понимаю! Это его унижает.

Я увидал ее на камне и вскрикнул:

— Лиза!

А она подошла, глядит в коляску...

— Вы одни?

Только и сказала.

Когда она узнала, что он уехал на родину, она прибавила только:

— Ну, Бог с ним. Как все было прежде, та̀к и будет!

8-го декабря 1855.

Хорошо, если бы прежнее было возможно! Но я боюсь. Она бледна, и Христинья жалуется, что она по ночам плачет на кровати.

26-го апреля 1856.

Наконец! Мир заключен, и пришли письма. Приезжал Бертран и мне отдал одно, а Лизе другое, — тайна. О моем я не говорю, — пустые оправдания, просьбы сделать для него что-нибудь, чтобы он мог служить в России, благодарность за дружбу и т. п. Но когда Бертран, простившись с нами навсегда, уехал, — Лиза принесла мне свое и переводила слово за словом с итальянского. Ей не нравился реторический язык этого страстного письма. Она часто повторяла: «К чему это?» Иные места она вовсе пропускала (от стыдливости, я думаю, а она говорит, что не умеет перевести).

«Как мог я (пишет Маврогени) долго наслаждаться в земном раю вашем, когда совесть моя поднимала ежедневно во мне ужасную бурю? О, мой кумир! О! зачем я лишен света, который озарял мой путь? Но могли ли мы с тобой, моя вечерняя звездочка, быть врагами нашего доброго, почетного друга? Я разве не помню тот вечер, когда в шуме гигантских волн, в шопоте деревьев роскошного сада, в кротком взгляде луны с небес я слышал и видел упреки?.. Я бы не мог выносить прикосновения соперника к тебе, моя прекрасная, хотя бы ему были даны права на тебя перед жертвенником. Я понял: некоторые из *слов его* были желанием испытать меня... Я это понял и не мог сам выносить долго его близости. Зачем же и я с своей стороны буду терзать сердце того, кого чту, как отца? Зачем буду вносить в его дом бесчестие и раздор? Прощай, моя прекрасная! Краткий миг блаженства нашего был выше, прекраснее всяких слов... Но не лучше ли было бежать от тебя?»

Он думал, что я не могу не ревновать! Он называет это — вносить бесчестие в дом! Он видел впереди раздоры, воображая, что я ничего не знал и что, притворяясь доверчивым, испытывал его честность!

Благородно, — но какая ошибка!

Я спросил у Лизы, как она не сумела объяснить ему мой взгляд; говорила, — он не верит: а мне тогда много говорить не хотелось...

Нет, он ее любит, и я мирюсь с ним. Цветистый слог письма меня не удивляет и не внушает мне отвращения. Многие люди прошлого века не умели иначе писать, умирая от страсти. Именно потому, что цветистость эта *не своя*, а школьная, привычная, — я верю, что она не придумана и, зная его, слышу в ней чувство.

Я знал и других греков, которые, как он, просты на словах, но на бумаге изысканы, сами того не замечая. Это могло зависеть от учителя; а он учился где попало. Мы, русские нашего времени, тоже не умеем говорить просто и впадаем в другую крайность: без юмористического крючкотворства ни строки! У другого и улыбки на лице никогда не бывает; сел писать и не слышит, что каждое слово его гримаса, и на читателя, вместо смеха, нападает тоска. Я сам так писал письма к той, которую любил когда-то... Что̀ за ядовитые отступления! Сколько оговорок! Какие глупые насмешки над благородным романтизмом!

Однако, несмотря на все это зловоние гоголевских обносков, я был влюблен до безумия.

Я верю, что он любит ее; но что̀ делать теперь? Писать ему или нет?

30-го апреля 1856.

Лиза ответила ему; но звать его сюда еще не хочет. Она хочет победить свою тоску. Хочет жить по-прежнему. Не будет этого!

Мая 20-го.

Напрасные попытки забыть его! Страсть не совершила полного своего круга. Ни кошка, ни лошади не занимают ее. Напрасные усилия! Все стало мрачно у нас в доме.

20-го октября 1856.

Целый месяц мы ездили по Крыму, смотрели новые места... Я старался всеми силами развлечь ее. И все напрасно! А сколько любопытного мы видели с ней! Видели белые безмолвные обломки большого города на холмах и языки синих бухт, которые входят в пустынные берега погибшей крепости; видели французские бараки над русскими развалинами; входили на Малахов курган: видели картечь, вбитую в землю, как горох на току после молотьбы; вывески: «Bazar de la Gloire!»; на северной стороне просыпается жизнь: трактиры, жилище в бараках, толпятся женщины в платочках, пляшут и поют матросы. Смотрели землянки сардинского лагеря с кирпичными печами и голубым домиком главного штаба; кругом сотни старых деревянных острых башмаков, изломанные жестянки от сардинок. У дороги мы нашли грядку ископанной земли и лежащий большой белый каменный крест на конце грядки, с надписью, которая нас тронула: «Ici reposent des soldats français».

В Чоргуне кормили лошадей и ночевали. На покинутой батарее растут садовые цветы. Деревня в зеленой сочной долинке, а кругом лесистые холмы; татары распластывают кучи жестяных банок, на которых еще видно: «boeuf bouilli, 16 rations», и обивают ими крыши; отели в деревянных стенах оклеивают листами «Times». Черноглазый мальчик принес нам на блюдечке разные сухари.

— Все тут были! — сказал отец, — это хлеб сардинский, а это турецкий, а это энглэз, а это француз. И козах был; все были!..

В Бахчисарае мы слушали, как журчит фонтан Марии; ходили по звонким комнатам дворца, любовались на пестрые стены. Ездили на Судаг, спускались с огнем в огромную пещеру: ее дно усеяно костями. Когда-то давно здесь множество народа было задушено дымом костров, которые враг разложил у входа. Морской берег у горной деревни Коктебель славится красивыми разноцветными камешками, и многие собирают их. Лиза хотела давно туда съездить; мы пошли одни и долго собирали у моря; собрали, но она забыла их на первом ночлеге! «Ей уже и дом не мил, и нести она в него ничего не хочет!..» — подумал я; но ни эти забытые камешки, ни равнодушие, с которым она смотрела на красноречивые остатки великой борьбы, не поразили меня так, как одно ее слово у камина в доме старого приятеля, муллы Османа. Мы ночевали у него. Прекраснее этой деревни, похороненной в ущелье и в лесу огромных деревьев грецкого ореха, трудно вообразить... Старик и старуха угощали нас как своих детей. Почтенные люди! Он в чалме, седая борода до пояса; веселый, ласковый; она построже, погордее; черты нежные, бледна как воск, одета в маленькую длинную шубку, а покрывало, чистое и белое, подколоно и прибрано вокруг лица с замечательной заботливостью. В здешних горах уже холодно под вечер. Мы сели у широкого камина на подушках, и Лиза сама стала варить кофе. Я говорил с Османом; рассказывал ему о войне; которая до них не доходила, а глаза мои и мысли не могли оторваться от нее. Кàк она наклонялась к огню, кàк падала через плечо на грудь чорная коса ее, как она держала кофейник — все мне хотелось видеть сто раз, и каждый взгляд терзал мое сердце жалостью... Отцветает невидимкой, бедная, горная травка! В сакле становилось все темнее и темнее; Осман вышел, а старушка молча гремела самопрялкой.

— Чем у них дурно? — сказала Лиза, осматривая комнату, — на полу сукно; сундуки хорошие, шкапчики и полочки, все выкрашено зелеными и красными фигура-

ми. Полотенца по стенам висят золотом шитые... Сколько подушек разных... можно здесь жить.

Я хотел было спросить: «да; но не со мной, а с ним», но удержался. Между тем старушка приблизилась к нам и, разговаривая, удивлялась, отчего у нас нет до сих пор детей!

— У нас, — продолжала она, — родилось девять в этой комнате. Трое умерло, а другие живут и своих детей имеют. Эта комната счастливая. Переночуешь у нас, Аанум (обратилась она к Лизе), и будешь беременна.

Мы долго еще молча сидели одни у камина, и Лиза, наконец, первая прервала молчание:

— В самом деле, как это дурно, что у нас нет детей! — сказала она.

— Тем лучше, — отвечал я, — дольше будешь молода.

— На что мне молодость?

Вот ее ответ!

Могу ли я после этого не требовать, чтобы она звала его сюда?

Ноября 1-го.

Написали ему письма. Лиза своего мне не показала, и я, конечно, не просил посмотреть. Что касается до меня, то я всеми силами старался убедить его, чтобы он забыл обо мне, как о муже, и видел бы во мне только старшего брата ее и неизменного своего друга.

Ноября 5-го.

Отправили. Что-то будет!

Декабря 1856.

Лиза сначала стыдилась немного показывать свою радость и свое беспокойство; но не может более скрывать.

Спрашивает, сколько времени пойдут наши письма, не тонут ли пароходы в это время года. Вечером сна нет; утром встает до света; ко мне стала еще внимательнее, ласковее прежнего; чаще стала играть на рояле. Повторяет забытые греческие песни; лицом еще бледна, но глаза помолодели и сверкают.

Декабря 26-го.

Получили ответ. Он будет скоро. Что за радость! Она уже не владеет собой... Прыгала, плакала, ноги мои обнимала... И я был как безумный; не мог более сносить волнения и ушел на горы один.

Меня радовало, что она ни разу не сказала: «простите!», как говорила иногда прежде.

На горе я нашел глубокий снег, и влажные летом леса стояли теперь, как на родине моей, немые и без листьев; у ног моих, далеко внизу, вилась дорога; за ней зеленели сады, стесненные у моря, и дом наш, чуть видный у берега, белел и блистал на холодном солнце. Море отсюда казалось еще бесконечнее.

Есть монастырь далеко отсюда, на горах; там всего семь или восемь монахов; они сами работают в огороде; красные скалы, над которыми виден его крест, — татары зовут Кизиль-Таш. Каждое лето с гужом идут туда толпы на богомолье, а потом опять ни души чужой.

Не скрыться ли мне туда, а им двоим оставить все мое имение? Пусть сперва поживут в исступлении полного блаженства, а потом тихо, как честные и дружные супруги.

Января 2-го, 1857

Лиза не отходит от окна и все смотрит на море. Два раза мы ездили в город встречать пароход... Она опять начинает тосковать. Опять плакала на кровати. И вчера сказала: «Что̀ же это такое будет? Все только и думаю:

как он смеялся, каким голосом говорил! И все мне кажется, что я не так помню... что и голос, и лицо, и смех у него не тот...»

Января 19-го.

Наконец! Вчера приехал... С утра море было бурно, и мы издали видели, как качало пароход от носа к корме и от кормы к носу.

Мы оделись тепло, потому что на шоссе падал снег и дул холодный ветер, и пошли пешком часа через три после того, как показался пароход. Я хотел отпустить Лизу одну, но она сама пригласила меня.

Дорогой она была очень бледна и не раз останавливалась, чтобы перевести дух.

Мы прошли версты четыре не без труда, все в гору и против ветра; она хотела идти дальше, но я не согласился, и мы присели отдохнуть на ступенях одной из тех маленьких и чистых казарм, в которых живут солдаты для присмотра за шоссе... Сидели долго; Лиза не сводила глаз с дороги... Вдруг видим, скачет кто-то на татарской лошади, и сзади тоже верхом едва поспевает татарин с чемоданом в руках.

Мы отошли за поворот дороги, чтобы солдаты не видали нашей встречи. Один миг еще — и он доскакал.

Как он обнял меня! Как он был рад! Как он у нее целовал руку! как хохотал!

Мы взяли его с обеих сторон под руки и спустились вниз. Надо было согреть его, накормить, хотели дать ему отдохнуть, но он ни за что!..

Прошел обед веселый, при огнях, и вечер пролетел далеко за полночь.

Расспросы, рассказы, смех, его восторг открытый, ее полусмущенное блаженство.

Возможно ли мешать им?

О Боже! Ты, который видишь сердца наши, «прав я или нет?»

Прав или нет, не знаю; но я счастлив, и долгое прошедшее мое мне уже не кажется бесплодным. И в нем я вижу тысячу встреч, мыслей, причин и впечатлений, которые привели меня к уменью жить так, как я живу.

Что̀ за вечер! Что̀ за длинный, что̀ за дивный вечер... Что за счастье видеть их вместе!

Море ревело к ночи все страшнее и страшнее; стекла наши дрожали от ветра. Сегодня утром я увидел, что за ночь волна кой-где подняла стоймя большие каменные глыбы, а другие зарыла в песок. Весь ряд молодых деревьев, которые Лиза посадила довольно далеко от берега, сломан и смыт. Морская трава и мелкие раковины летели с пеной до цветника. А у нас пылал камин в гостиной, ковер пестрый и густой как бархат, казалось, был еще богаче, и лампа мирно горела на столе.

Лиза сидела с ногами на диване, и незнакомое мне теплое сияние озаряло каждую черту ее лица. Он то расспрашивал нас обо всем, о моих занятиях, о пении Лизы, о Христинье, о кошечке, о лошадях наших, то рассказывал нам, как переезд по Чорному морю был труден. Пароход невелик, и его с одной стороны беспрестанно заливало волной. Вода в одну минуту мерзла; пароход от тяжести льда на одном боку мог пойти ко дну, и только тем и спасались, что матросы окоченелыми руками рубили этот лед.

— Я прежде не боялся моря и не думал, — заметил Маврогени, — а в этот раз мне было очень страшно! Я и теперь не верю, что я у вас...

Наконец простились. Когда я остался опять один, еще раз мелькнуло какое-то сомнение... Но я сказал себе: «Зачем я буду гнать от себя чувство, которое ощущаю? Что же делать, если я рад их счастью?»

Через два дня.

Лиза поет с утра в зале, и все веселые песни и танцы. Она опять прежняя Лиза, но с высшим значением! Море утихло; тепло так, что мы окна открыли. *Они* ездили долго

верхом, а я сводил счеты за прошлый месяц. Хотел пойти далеко гулять; но без них долго быть скучно; вернулся и застал их за картами.

Через месяц.

Маврогени начинает немного читать по-русски. Лиза его учит сама; мне азбука показалась скучной; я после с ним займусь. Он думает выучиться по-русски и поступить где-нибудь здесь на службу. Посмотрим. Говорят, скоро откроется место смотрителя при одном из дворцов. Конечно, для нас он будет не смотритель, а Яни Маврогени в одежде албанского волонтера!

Еще через полтора месяца.

Вот этого я никак не ожидал! Сегодня утром я позвал к себе Лизу, чтобы вместе с ней составить записку о том, что нам нужно из города. Я был в большом кресле перед столом, а она села на ручку кресел, и я, чтоб ей было ловчее, обнял ее, и мы вместе считали.

Вдруг отворилась дверь, и он вошел. Вошел и вышел. Выходим и мы. Где он? Говорят, оседлал себе лошадь и уехал в Ялту.

Лиза с большим смущением объяснила мне, что он ревнует и беспрестанно ей твердит: «Никогда не поверю, чтобы ты в мужа не была влюблена! Его нельзя не любить! И я его люблю, а ты влюблена в него!»

Я и сам замечал раза два, что он не в духе; но подумал, что без таких минут никто не проживает, и молчал, и не расспрашивал.

Это странно! Есть, наконец, мера на все! Послал за ним и написал ему самое строгое письмо. Между прочим, сказал ему: «Ты не стоишь уважения, если не умеешь верить такой женщине, как Лиза. Если она говорит тебе: „он мне не муж, а друг", ка̀к смеешь ты не верить? Разве

она из тех прелестниц, с которыми ты вместе, в Италии или где-нибудь еще, обманывал влюбленных стариков или строгих мужей? У нее душа суровая, страстная и прямая. И если ты этого не понимаешь, то склад ума твоего самый презренный».

В самом деле, выдумал что̀! Не бежать же мне отсюда!

Марта 5-го.

Возвратился и раскаялся. Не знаю, что̀ было между ними, но со мной он объяснялся долго.

— Послушай! — сказал я ему с досадой, — нет трудного положения, в котором характеры благородные и добродушные не могли бы честно ужиться. Что̀ естественнее всеми принятых отношений мужа и жены, брата и сестры, родителей и детей?.. А разве эти отношения не извращаются беспрестанно дурными натурами этих лиц? И если б мы еще могли всегда найти большую разницу в политических, религиозных мнениях и т. п... Чаще и этого нет! Я не спорю, наше положение странно; но от нас зависит сделать его счастливым... Вбей себе только в голову, что она меня уважает, а влюблена в тебя...

— Как этому поверить, — сказал Маврогени, — что она не влюблена в вас! Вы с ней так кротки, вы так образованы... я сам каждый день умнею от разговоров с вами... И за что вы так добры ко мне? Что̀ я перед вами?..

— У тебя много качеств, которых у меня никогда не было, — отвечал я и объяснил ему, как я смотрю на счастье и на развитие любимого существа и почему я добр к нему, а не был бы добр к другому, который унижал бы Лизу своей прозаической близостью; сказал ему, как я люблю, чтобы молодость не пролетала даром; растолковал также, что я старался бы всеми силами, советами, удалением излечить Лизу от дурно направленной страсти, и если бы она не вняла моим увещаниям, я бы скрывался от нее с тоской, с отчаянием, но и тогда мешать не стал бы

свободному чувству. А его я и сам люблю и нахожу вполне достойным Лизы, несмотря на кой-какие ошибки и на беспутное его воспитание.

Надеюсь, что он понял.

Мая 2-го.

Нет, он неисправим! Разорвал себе жилет; ходит как убитый.

Когда мне было 22 года, и я был влюблен в Зинаиду К... Я помню, как меня тоже душило платье в минуту ревности; я убежал с танцовального вечера, не спал всю ночь, курил и затягивался насильно до тех пор, пока кровь показалась горлом; хотел стреляться с соперником; написал ей ночью письмо до такой степени пылкое и грустное, что она сама на другой день бросилась ко мне в объятия... И отчего вся эта буря? Оттого, что она на вечере была в чорном платье, с голубыми бантами на голове; оттого, что нежная бледность ее в этот вечер доводила меня до безумия; оттого, что она, любя меня от всей души, захотела немного только повеселиться с Т..., улыбалась, смотрела ему пристально в глаза, то подавала ему конфекту, то не давала, то опять подавала. А он ей говорил:

— Такое-то у вас сердце? Такое-то?

Если я, «больной сын больного века», русский студент, переживал такие бури, так что̀ же он должен чувствовать?

Ревность — чувство благородное, если она сильна, бурна и нестерпима.

Лиза в негодовании на него. Во время прогулки, назло ему, взяла меня под руку, зовет его в глаза мальчишкой; сказала:

— Довольно дурачиться! Пусть убирается, куда хочет!

Поцаловала меня три раза сряду при нем против моего желания. Глядит ему прямо в глаза; довела его до того, что он вчера в темном коридоре схватил ее за руку выше локтя с такой силой и злостью, что у нее синие пятна остались.

Не надо бы мешаться... Однако я призвал его и сказал ему:

— Стреляться я с тобой не стану. Во-первых, я тебя самого очень люблю; а потом я не хочу, чтобы она еще страдала: ей и меня, и тебя будет жаль. Но я тебя попрошу уехать, если ты будешь так тревожить ее.

— Хорошо! — отвечал он с жаром, — я делить с другим женщину не могу. Я когда люблю или пока люблю — хочу быть деспотом, царем. Захочу — прибью, убью ее, и тогда пусть меня никто не смеет судить! Утешу после, но утешу я, а не кто другой! И если она сама меня страстно любит, она не должна считать это унижением, а стать на колени и целовать руку, которая ее бьет... Вот как я люблю! А если не я один ей царь, так я уеду и ее увезу с собой!

— А! если так, — сказал я, — увидим! Увезти тебе, безумному, ее не дадут. И я буду деспотом, и она скорее покорится мне, чем тебе...

Он побледнел, не отвечал и уехал в Ялту, чтобы опять там ждать парохода целую неделю, а я тотчас же к ней...

Мы долго говорили. Куда пропала ее сила! Пока он был здесь, она до грубости строго обращалась с ним дней пять сряду; но с тех пор, как он уехал — она упала духом.

Через неделю.

Ужасное мученье! Что за ужасная неделя! Вчера вышли к обеду и ничего не ели; я зыкрыл лицо руками и молча ждал конца — она не дождалась и ушла. Глаза ее мутны... Но отпустить ее с ним я не в силах!

15-го мая.

Он еще здесь. Прислал ей письмо; умоляет ехать с ним. Она говорит — ни за что меня не оставит и твердит: «довольно шалостей!»

17-го мая.

Исхудала в эту неделю; не ест, не спит. Я вижу, она хочет ехать и жалеет меня...

Не дать ли ей допить чашу до дна?

21-го мая.

Долго умолял я ее сказать правду. Говорил о недоконченных чувствах; признавался ей, что легкомыслие его и молодость меня утешают в том смысле, что, быть может, они скоро утолят друг друга, и она, спокойная, с радостью воротится ко мне. Они только и ждали моего одобрения! А я чуть не упал в обморок, когда она спросила у меня:

— Я поеду; а вы-то? как вы-то вытерпите без меня?

Послали за ним.

22-го мая.

Едва не упал мне в ноги, обнял мои колени: «Она мое сокровище! Я ее буду беречь! Верьте мне! Не бойтесь! Дайте мне хоть год, хоть месяц прожить с ней наедине и тогда возьмите ее хоть силой... Я вас обоих вместе видеть не буду. Простите мне! Я буду служить ей как раб... Простите мне!»

Я думаю, он поцаловал бы мою руку, если бы стыд не удерживал его.

Слава Богу — море теперь тихое, не зимнее. Об одном буду молить ее, чтобы она сохранила себя для меня, если он изменит ей, если он разлюбит ее. Этой жертвы я требую во что бы то ни стало! Пусть приедет больная, обезображенная, жолчная, слепая, но лишь бы вернулась!

27-го мая.

Проводил ее до города. На пароход не пошел. (Он вне себя от радости и ехал заранее с вещами.) Мы вышли у Ливадии из коляски, и я в последний раз обнял ее. Она не плакала. Я сказал ей: «Больше отживешь, и мы будем ровнее; не бойся — годов тихих еще много впереди».

28-го мая.

Что̀ писать? Долго вчера видел я, как быстро шел их пароход к Балаклаве. Как ни мчали мои лошади, но мы еще не сделали и половины дороги, а он уже пропал из виду...

1-го июля.

Писать нечего. Все тошно, все пусто! Христинья ходит печальная. «Где наше солнышко?» — сказал я вчера, а она зарыдала. — О, Лиза, Лиза, где ты?

15-го июля.

Пишет. Во всех словах видны боль и угрызения. К чему это? Надо ее утешить и опять повторять, чтобы она была веселее и только берегла бы для меня свое существование.

7-го апреля.

Еще письмо, и длинное, из Венеции. Веселее первого. Она пишет гораздо лучше, чем говорит, и сделала большие успехи в этот год. Целовал письмо и обливал его слезами, о которых она не узнает!

Одного молю, чтобы ее медовый месяц был без горечи и отравы, и еще об одном... чтобы он поскорей ее разлюбил!

Сентябрь.

Ездил один в горы, в Керчь, в степное имение.

Последнее письмо опять из Венеции. Она пишет мало, но я чувствую, что она веселится, ездит в гондолах. Меня бы это уж не заняло. Какое дело мне до Венеции, до древности, до всего міра, когда Лизы нет со мной!

Октябрь.

Письмо Лизы к мужу из Рима.

«Я было совсем уехала к вам. Он вздумал меня дразнить и ухаживать за другими. Я удивляюсь, как это вы не ревнуете! Это ужасное мученье! Здесь много недурных девиц и дам, и простые на улицах прекрасивые. Особенно хороши англичанки, такие они нежные; мне перед ними все кажется, что я груба. Прежде я не смотрела на свои руки, а здесь все смотрю и прячу их. Извините, что я пишу вам такой вздор, мой друг, мой милый друг! Пишу — что̀ пишется. Знаете ли что̀? вы не поверите — *он* иногда утомляет меня. При вас у него было больше охоты заниматься; а здесь что-нибудь одно — или веселится, или дома сидит и скучает. Недавно сказал мне: „О чем мне с тобой говорить? Обо всем уж говорили!" Я вижу, все-таки, что он меня любит, как прежде. Уйдет на минуту — опять поскорей ко мне домой. Попробует говорить с другой, в любви ей объяснится, а на другой день, если волю ему дашь, терпишь молча — он не отходит от меня. А я слаба! очень слаба. Я не знаю, где вы во мне видели твердость. Иногда я за ветреность его или за лень и за беззаботность выхожу из себя; а он улыбается, за руку меня возьмет — я все и простила. Одно я люблю в нем всегда — это то, что он и не старается казаться лучше, чем есть, а какой есть, так и показывает. Скажу ему: „зачем ты себя не принудишь в чем-нибудь?" Один ответ: „А если мне скучно принуждать себя?" Я еще люблю его,

по правде сказать, от всей души и недавно чуть не умерла от страха, когда ему пришлось драться на шпагах с одним итальянцем. Из-за пустого поспорили: тот назвал его фанариотом, а он его по лицу ударил. От дуэли я удерживать его не стала (настолько у меня есть характера, чтобы дорожить самолюбием любимого человека). Но уж зато денек это был, мой друг! Слава Богу, он ранил итальянца; проколол ему шпагой всю руку от кисти до локтя. После этого так нам обоим было весело; целую неделю все вдвоем гуляли и за город ездили. Прощайте, милый друг, отец мой и друг, которого мне Бог послал. Отслужите за меня панихиду на могиле матушки, поцалуйте Христинью и помолитесь за вашу неблагодарную, низкую и слабую Лизу».

10-го ноября.

Вот уже полгода, как ее нет! В рабочем столике с места не сдвинулась ни одна мелочь. Я сам сметаю пыль со всех ее вещей, сам объезжаю ее лошадь. О, моя дочь! о, моя Лиза! Ты уже не приносишь мне сама на балкон поутру кофе с суровым взглядом и улыбкой! Где ты? Что̀ думаешь? Что̀ чувствуешь? Как ходишь? Как сидишь? Где ты? Где ты? Если бы ты знала, какую сладкую благодать, какой волшебный напиток я пью, когда гуляю один около полукруга кипарисов, за которыми скрыта миртовая дорожка к гробу нашей матери, и шепчу сто раз твое имя: Лиза! Лиза! дочь моя! моя Лиза! Письма твои кратки, как бывали кратки твои речи, но я всякому слову в них знаю цену!

Нужен ли я тебе — ты не пишешь; жалко ли меня — ясно не говоришь; боишься обидеть? О, жалей, жалей меня! Не бойся обидеть: горечь сострадания в твоих руках для меня будет рай! Еще раз повторяю, еще раз напишу твое имя: «Лиза моя, Лиза, Лиза!»

Письмо мужа к жене (от того же числа).

«Не бойся философии, мой друг: она невидимая основа жизни. Каждый из нас, каждый человек, каждый простолюдин — философ, сам того не зная. Я тебе повторю еще раз: не покидай его, пока не захочется; меня не жалей; даю тебе честное слово — я счастлив тем, что случай, встреча с ним спасла твою молодость, обогатила не только внутренний мір твоей, моей и его души новыми ощущениями и силами, но обогатила и внешний мір рядом таких прекрасных явлений, как ваша встреча, ваша и бурная, и веселая любовь, ваше, редкое в подобных случаях, уважение ко мне, ваши странствия и т. п.

Знай это все про себя; знай, что ты прекрасна, а я счастлив и горжусь тобой, как гордились спартанки храбрыми сыновьями, как гордятся наши матери службой своих детей, как гордятся наставники блестящими делами и умом учеников.

Повторяю, что я хочу тебя видеть только тогда, когда ты с радостью оставишь его. Если же ваша любовь навек, то упроси его вернуться сюда с тобой и взять себе все мое имение; а я пойду в монахи и только раз в месяц буду навещать вас. Он знает, что я сдержу слово.

Прощай, пожми его руку за меня.

Твой друг К...»

Декабря 6-го.

Вот уже больше трех недель нет слухов! Как дни идут медленно! А ночью нет сна...

Декабря 21-го.

Письмо Лизы к мужу из Палермо.

«Нет сил без вас и без всего нашего. Все мне здесь чужое. Что̀ хорошего в этих лимонных и померанцовых

деревьях! Точно они нарочно сделаны в магазине! То ли дело наши сосны на горах и орешник! Он умоляет меня остаться. Вчера умолял, умолял. Я дала ему еще слово на два месяца. Мы поедем в Афины и в Египет, а оттуда я скоро уеду в Одессу. До свиданья, мой друг!»

Января 17-го 1858.

Письмо Лизы к мужу из Александрии.

«Я не дождалась вашего ответа. Я скоро буду. Я не виню его; я знаю, что у него такой характер — ревнивый и ветреный. Здесь есть теперь цирк, и он все ночи проводит у одной француженки. А мне никогда не давал шага сделать от ревности. Я готова была сносить его бешенство, пока он был верен. А теперь я утомилась; я хочу вас видеть; мне страшно иногда, как будто я грех большой сделала, не тем, что я его люблю (я понимаю теперь вашу философию), а тем, что вы одни, что к матушке на могилу я не хожу, что все родное бросила!

Видите, я прежде вам не все писала, чтобы вас не огорчить, да и стыдно было; а теперь уж все скажу. Раз я встретила молодого русского моряка, познакомилась с ним, обрадовалась русскому, говорила с ним долго, вечером по саду ходила под руку; а на другой день этот моряк прислал мне букет. Вечером Маврогени пришел домой, выбросил букет из окна, а меня схватил за волосы обеими руками и бил головой об стену. Я читала и слыхала о достоинстве женщин; только как ни старалась об этом вспомнить, не могла притворяться. Скажу даже (ради Бога, сожгите вы это письмо) — мне было что-то хорошо; очень было больно, но я не плакала и молча терпела и (не огорчайтесь же, Боже мой!) целовала не только руки, ноги его целовала после этого. А он, он был как безумный от любви. Да, тогда он меня одну любил душою; шутил с другими, иногда дразнил меня, но он был верен. И тогда, если бы он всю кожу на руках

изрезал бы мне ножом (как один простой римлянин сделал это с женой недавно), мне было бы это приятно! А теперь нет. Если бы вы видели, что̀ за манеры у этой француженки! Худая, смелая такая! Вот убить-то не жалко такую тварь! А он наслаждается! Я не виню его и помню ваши слова — беречь себя для вас. О! зачем, зачем он себя так унизил! Ну, Бог с ним, довольно! Я чувствую в себе больше сил против прошлогоднего; я хочу домой, к вам, мой друг! Он опять просит остаться; бросил ее, как узнал, что я еду; но я не уступлю. Не хочу даже, чтобы он провожал меня до Одессы; я боюсь, что от Одессы и до Ялты он не расстанется со мной. Из Константинополя уеду одна потихоньку от него. Одно средство!

До свиданья. Скоро я отдохну с вами, мой добрый друг! Увижу и Христинью, и могилку... Благословите меня на дорогу.

Ваша Лиза»...

Января 18-го.

Я без ума от радости! Только одно меня тревожит — море дурно. Вчера разбилось одно судно; люди едва спаслись, двое утонули. Впрочем, пароход не парусное судно. Еще бы месяц не напиши она, что едет, и я сам бы полетел за ней.

Января 19-го.

Велел Христинье помолиться у обедни за Лизу; что̀ моя нерешительная молитва!

И вдруг, через две-три недели — она здесь! Опять здесь; одна со мной; усталая, с перегоревшим сердцем, она рвется к отдыху и забвению. О, радость! о, жизнь моя! Как я тебя обниму! Каким благодарным рабом я поцалую следы твоих ног на песке, на том самом песке, который стал и живее и новее с тех пор, как твоя скромная мать спустилась с тобой с горы и сказала мне: «Вот вам моя Лиза!»

30-го марта.

Вот уже около двух месяцев нет слухов. Все смотрю на море. Когда пароход идет, я рвусь на лошадь и скачу в город. Нет моей Лизы!

5-го апреля.

Еще один пароход, а ее нет, и нет писем. Напишу к Г-и в Одессу; не знает ли он чего: он имеет дела и в Турции и в Египте.

29-го апреля.

10 Ответ одесского купца Г-и мужу Лизы.

«Как ни больно мне быть печальным вестником, однако, что же делать! Я удивляюсь, как вы не прочли в газетах о гибели турецкого парохода «Багдад»» в Средиземном море. Родной мой племянник был на нем и спасся благодаря своему уменью плавать и еще благодаря просьбам одного поляка (как вы увидите дальше). Лизавета Иосифовна погибла и г. Маврогени тоже. Простите! Чем же я виноват, что должен, наконец, написать эти строки? Племянник мой с большим удивлением увидал вашу супругу на этом турецком пароходе, который шел из Александрии в Константинополь. Он говорил с Лизаветой Иосифовной и нашел ее очень похудевшею, но веселою. Ехали двое суток, как вдруг, по незнанию или небрежности капитана, машина остановилась, и в то же время открылась течь. Турецкие матросы не хотели качать воду, заставили пассажиров и, пользуясь смятением, крали вещи. Капитан был пьян. Племянник мой говорит, что супруга ваша, сняв шаль и шляпку, работала лучше многих мужчин; г. Маврогени также обнаружил много энергии. Стреляли из пушек, требуя помощи. Наконец показался один египетский корабль. Увидев, в чем дело, еги-

петский капитан потребовал себе 300 000 пиастров (около 48 000 р.) за спасение пассажиров и экипажа. Он полагал, что на пароходе много богатых негоциантов. Пока спорили, собирали деньги, плакали, кричали, пароход стал тонуть. Капитан корабля послал небольшую шлюпку, чтобы взять гарем одного паши; с этими турчанками спаслась, по их настояниям, жена одного здешнего купца; кроме нее и турчанок спаслись еще двое: мой племянник и один, как я сказывал, молодой польский эмигрант. Последний доплыл до корабля, влез туда и упал к ногам капитана, умоляя спасти моего племянника, с которым он подружился дорогой. И его взяли на шлюпку. Племянник мой говорит, что, бросаясь в море, он как во сне видел мельком вашу несчастную супругу. Она стояла у борта и, кажется, разрывала на себе платье, чтобы тоже плыть. Корабль быстро ушел, и все остальные погибли: пьяный капитан турецкий, матросы, множество пассажиров. Нет сомнения, что и г. Маврогени утонул. Вице-король приказал отрубить голову египетскому капитану.

Еще раз выразив вам мое глубокое сожаление о потере, которую вы понесли, имею честь быть с глубоким почтением, милостивый государь,

Ваш покорный слуга Г-и.

(ПОСЛЕДНИЕ ЛИСТКИ ИСПОВЕДИ)

3-го сентября 1858.

Уж осень. На горах опять похоже на Россию. Не гуляется, и не сидится, и не спится!

5 сентября.

Удивляюсь, почему люди стреляются всегда в голову. Гораздо покойнее прямо в сердце. И не так страшно... Пожал пружинку — и все кончено. Я думаю, выстрела не слышно самому.

10-го сентября.

Что̀ мне говорит совесть? Что̀ мне говорит могила матери, которая вручила мне свою дочь? Ничего! Она
10 была прекрасна, и она жила. Она не упала, и она наслаждалась. Не таковы ли две великие и редко совместимые задачи жизни? Я прав. Смерть ее была случайна. Я исполнил мой долг против твоей дочери, бедная мать... Да, я сто раз прав... Но *мне* — *мне*-то что̀ же делать? Я-то разве не погиб до тла? О! если бы, по крайней мере, могила нашей Лизы была здесь, около твоей могилы, родная мать! я бы сидел на скамье с утра до ночи там и рыдал бы над вами. А теперь на что я? Что я? Зачем я? Не она погибла — я, я погиб без нее. Прошел бы год и два,
20 я бы ждал, и она бы вернулась. Может быть, даже она вернулась бы матерью, и я бы обожал их ребенка.

Разве их дитя могло быть бездарно или ничтожно, или некрасиво? На эту пышную почву я бы посеял свои поздние семена, и то, что во мне было только цветистыми мыслями, в их роскошном ребенке стало бы кровью и делом с ранних лет. Я подарил бы міру прекрасную душу и слышал бы голос Лизы, ее пение, видел бы ее улыбку, упивался бы ее радостью на мою любовь к ее ребенку...

30 О Лиза! Где ты? Где твои руки, твои глаза, твой голос? О, Лиза, дочь, отрада моя, ненаглядная! Лиза, Лиза моя! О, мое сокровище!

ВАРИАНТЫ И РАЗНОЧТЕНИЯ

В СВОЕМ КРАЮ

В данном разделе приводятся фрагменты журнальной редакции романа, которые были вычеркнуты или заменены Леонтьевым. На местоположение фрагмента указывают номера страницы и строки нашего издания. Полужирным шрифтом обозначаются вставки, появившиеся в отдельном издании 1864 г. (далее: *ОИ*); звездочка обозначает исправление, сделанное в *ОИ*, если оно совпадает с тем, что мы имеем в *СС* (другие случаи вынесены в подстрочные примечания).

Корректуры романа держались племянницей писателя. В одном из писем 1864 г. она признается в своих ошибках: «Что же касается ошибок в романе, то мне самой чуть не досаднее вас на самую себя. — И ведь какие грубые ошибки? — Порядочная я разиня. Я сама не знаю, где у меня иногда бывает голова. ⟨...⟩ Уж кажется я следила строчка за строчкой, когда проправляла корректуру — и все-таки глупостей наделала» (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1032. Л. 49—49 об.).

В *ОИ* было исправлено много опечаток, допущенных в журнальной публикации, однако появились и новые опечатки, часть из которых осталась незамеченной и в *СС*.

В *СС* были исправлены «цензорские» изменения в тексте (в *ОЗ* и *ОИ* было «пан» вместо «генерал», «господин» вместо «декабрист») и большинство случаев авторских «ошибок» в именах героев. Подобные ошибки исправляются нами в тексте в угловых скобках.

Текст *ОЗ*: 1864. Т. CLIV. Кн. 5. С. 1—105. Кн. 6. С. 475—560. Т. CLV. Кн. 7. С. 28—119.

С. 7

5 «⟨Чего только⟩ не переносит человек! **О, Боже!** Чего не терпит он в жизни — болезни, обиды, сомненья, нужду, обманы! ⟨И когда бы⟩ от этого была польза ⟨кому-нибудь; а то никому:⟩ и другой страдает, и третий! — Все мы друг друга ⟨давим и гоним⟩, тесним

12 незаконный сын ⟨плохого барина и мужички⟩

14 ⟨Славное дело⟩ быть доктором! ⟨Бывало, сам занеможешь, еще учеником; войдет плотный, рябой лекарь, руки белые, большие; едва дотронется, едва посмотрит, а Рудневу уже легче, и от радости душа заноет; вот так и у других будет ныть душа, когда он войдет.⟩

Но остаться

18 быть фабричным ⟨по указанию?⟩»

С. 8

28 стройным⟨, хоть и нерослым⟩ отроком

С. 9

20 его податное ⟨состояние⟩.

С. 10

15 глаза ⟨—⟩ слышать музыку

34 от сидячей жизни ⟨и вдовьего отдыха⟩

36 голос ⟨этой⟩ матери

С. 11

6 про мать ⟨то раздирающие, то теплые дела⟩.

9 усач-то ⟨эдакой⟩!

10 окаянный ⟨я⟩ грешник!

18 душегуб Руднев⟨:⟩ кого-нибудь

С. 13

12 бывает у ⟨нее⟩

30 Но ⟨знакомство с картинами⟩ их деревень

С. 15

2 в ⟨благодарном⟩ сердце

30 Выкосили⟨-⟩не выкосили

С. 16

16 ⟨близь⟩ города Кесарии Палестинския. ⟨—⟩ Во всем

С. 18

26 она клушей ⟨рядом⟩ сидит?

С. 19

3 дань доставлять ⟨натурой⟩: куры

С. 20

10 упрямца и отшельника⟨?⟩

С. 21

4 просить... ⟨Оглушим его;⟩ а уж раз познакомится, ⟨уж⟩ не будет

С. 24

24 вместо ⟨его⟩

С. 25

9 А ⟨так⟩ уж это он*

24 так **головою** кивать*

С. 31

10 в избу, ⟨и⟩ тогда*

С. 32

18 теперь опять... ⟨Свинство!⟩

29 боится ⟨показать мне смятое лицо⟩, после кутежа...

С. 33

17 Скучно... **Скучно...** Вам и мне

С. 35

10 это — человек ⟨очень⟩ ничтожный.

19 потому, что я ⟨был⟩ недоверчив

С. 39

22 на необитаемом ⟨острову⟩

25 Вот ⟨эдакие⟩ вещи

35 из ⟨барышен⟩ поэзию выкачивать.

С. 40

11 в хохлушку — ⟨Оксана⟩.

С. 42

34 от матери ⟨—⟩ пришлет

С. 44

16 — ⟨Василевск⟩ — значит царь*

31 — Гиппопотам ты ⟨эдакой⟩!

С. 49

27 пойдемте... ⟨Я буду хоть веслом воду рыть.⟩

С. 50

7 ни до одного страстного ⟨глаза⟩.*

22 Вот ⟨эдакой⟩ выходки

С. 55

20 линию⟨, а здесь наголо⟩. «На!

С. 56

22 в эту минуту ⟨гордый в лице и манерах⟩ Лихачов...

С. 57

3 А у этой ⟨саксонской⟩ куклы

28 вот тот, ⟨вот⟩!

С. 58

15 ⟨вчерашнюю⟩ Рудневу, его слабость.*

С. 62

4 Авдотье ⟨Матвевне⟩ Забелиной

С. 67

14 Жорж-⟨Санда⟩ читать

15 из Жорж-⟨Санда⟩-то

С. 68

23 в Неаполе ⟨и⟩ Париже на водах*

С. 70

13 У него был соперником один ⟨пан⟩...

36 а ⟨пан⟩ ему встретился

С. 71

1 «Что, ⟨пан⟩, пусто?»

2 За это и разжаловали **опять**...

8 и прибил меня ⟨им⟩

С. 72

15 звал меня **прозрачным** хрусталем

С. 74

21 ⟨на⟩ двор Лихачовых...

С. 76

29 самим нужно вам*

С. 77

11 иногда ее ⟨и⟩ били

20 Акулина⟨: — все у меня есть!...⟩

Или вдруг

22 Я бородку люблю... ⟨С бородкой теплее... Ай! дай мне бородку, дай мне бородку.⟩

Махнув

С. 78

3 а Хавронья зимняя ⟨— печь. Ты, братец, не знаешь, что это за объяденье...⟩

— Нет

С. 79

14 Если ⟨б⟩ не ночь

С. 80

26 а я ⟨—⟩ плоть.

С. 81

27 Здесь еще ⟨нас⟩ терпят

С. 83

11 Владимір ⟨Николаевич⟩

С. 85

26 Что мне? ⟨—⟩ сыт

30 да и ⟨брюки⟩, впущенные

С. 86

36 на ⟨пороши⟩.*

С. 87

12 мужиков **кто** на деревне*

С. 88

8 день встал ясный[1]

11 уважают только да ⟨лечутся⟩...

13 давно ⟨уже⟩ Руднев*

31 Все проходило⟨:⟩ перед ним*

---

[1] *В ОИ*: встал день ясный

С. 91

2 ⟨неотесанная⟩ змея
8 ⟨центросложной⟩ силой

С. 93

14 с ружьем ⟨—⟩ зоологию
28 из женщин ⟨—⟩ деспоток

С. 96

12 борода, вербы, ⟨клопы, свежесть⟩ молитвы и постов
37 ⟨потащился⟩ в город ⟨с⟩ скрежетом зубов...

С. 97

19 с просьбой. ⟨Ради Бога!⟩ У сестры
26 что̀ нужно ⟨—⟩ оборвался

С. 98

19 внутри все ⟨было⟩ ново

С. 99

8 сивка!» ⟨Не мог выговорить Николай и звал себя: «ай-ай».⟩
Нельзя сказать

С. 100

23 история! ⟨—⟩ Старик

С. 101

34 Уже было видно

С. 102

2 привезли: ⟨—⟩ скажите
33 Петрович?» ⟨...⟩ И

С. 103

11 Basile. ⟨—⟩ Мы ему

С. 105

20 брат⟨!⟩ постой.

С. 106

9 говорить... ⟨Вот я сейчас доктору такую штуку из-под кровати достану, что ты во все лопатки удерешь отсюда.⟩

Любаша

12 стараясь не ⟨хохотать⟩, качался

С. 107

8 в магнетизёры! ⟨—⟩ А?

С. 113

30 ⟨Повара⟩ за это ⟨сосланы⟩*

С. 114

32 скорее ⟨—⟩ мгновенный смельчак

С. 116

18 садясь ⟨в⟩ возок

С. 117

35 жить не могут, — **заметил он раз, когда Руднев возражал против**[2] **его атеистических теорий**.

— Все-таки

С. 119

14 — Идем ⟨—⟩ если хотите.

С. 121

22 жалованье ⟨почище⟩ казенного

28 еще больше ⟨укрепил⟩

С. 122

35 за морскими бобрами ⟨на корточках⟩; до ужина

С. 123

11 — Мне всех жаль⟨,⟩*

34 Вы знаете, что **и** я

36 я ли ⟨плох⟩, или вы отжили?

---

[2] *В ОИ:* противу

С. 124

1 легкомысленны⟨. Легкомысленный не значит пустой... Воробьев пуст, а легкомысленны бывали даже и великие люди... У вас нет пока якоря⟩, вам все ни по чем

15 Наши отношения должны быть ⟨так⟩ чисты⟨, как этот кусок сахара⟩.

17 уходя, ⟨еще раз⟩ обернулся

31 ⟨динстолин⟩ и лупулин[3]

С. 125

30 виделся с кем нужно, ⟨поговорил,⟩ и Руднев

С. 126

21 гостеприимство ⟨—⟩ все старинное хорошее, и все новое почтенное.[4]

С. 127

1 но ⟨внутренно,⟩ добрые и честные.

17 Жена его ⟨—⟩ экономка

17 розовая, ⟨сдобная⟩

С. 128

23 не совершала ⟨огромных⟩ внезапных подвигов

24 на них ⟨при случае⟩ была бы способна

34 умирает от ⟨незаконных⟩ двойней

С. 130

29 вскрывал череп⟨, добираясь до своего любимца — мозга⟩.

С. 131

32 неосторожна и ⟨общежительна⟩

С. 132

1 Если бы, душа моя, изучив их до последней ниточки, ⟨могла обогатить⟩

10 полет ⟨умудрился соединиться⟩ с глубоким

17 увижу ли я ⟨этих зоологических субъектов⟩

35 увидит ⟨снаружи⟩ только милого

---

[3] *В ОИ:* дикстолин и лупулин

[4] *В ОИ:* гостеприимство все старинное — хорошее, и все новое — почтенное

С. 133

12 схватили его ⟨на⟩ руки и насильно ⟨отнесли⟩ в дом.
23 равных прав и ⟨независимого⟩ труда

С. 135

15 — *Он* именно, он
18 — Узко⟨-с!...⟩
18 шито⟨-с!⟩
21 у царя Адмета⟨?⟩*

С. 136

1 для выработки⟨-с⟩.
4 портер⟨-с⟩
5 брат⟨-с⟩!
6 шампанское⟨-с⟩!
9 аккуратно ⟨выслал⟩

С. 137

34 «крепил его **тяжкой** силой»

С. 138

16 старое ⟨приобретало, от его прикосновения,⟩ проникающую
29 сквозь ⟨милькееву⟩ призму
37 не отвечал ⟨уже⟩ как прежде

С. 139

9 флигель твой, ⟨обратно⟩ озарятся смыслом

С. 140

15 — Зачем же дело стало, Василиск?

С. 145

11 Руднев ⟨просто⟩ захохотал
20 серьезно ⟨отвечала⟩ Любаша

С. 146

24 лорнирует ⟨барышен⟩!..
29 около ⟨хозяйки⟩

С. 148

1 генерал, ⟨полный господин⟩, недавно[5]
17 — ⟨...⟩ Для предупреждения

---

[5] *В ОИ:* мрачный господин

С. 149

24 обращаясь к мрачному ⟨господину⟩

С. 150

15 — Либералы вы все! ⟨Навоз, а не либералы!⟩ Базар!

С. 152

5 для газовых фонарей⟨; живопись и теперь уж обижена гнусной фотографией⟩... Я сам

7 Если сердце мое жалеет ⟨вблизи⟩ — это дело организации, а не ⟨искусственных⟩ правил!..

С. 153

28 «⟨Сдавите,⟩ стесните

31 Жорж-⟨Санд⟩

32 своим ⟨мозговым⟩ гением Шекспир

С. 156

18 обычаи и поверья ⟨крестьян⟩ — вовсе разные

22 трезвее умственно итальянцев ⟨и греков⟩

С. 160

16 тётенька Анна ⟨Платоновна⟩

С. 161

26 князя Александра ⟨Михайлыча⟩!

С. 163

3 — Гоголь ⟨—⟩ полицмейстером

21 Весь зад ⟨его⟩ был оборван

С. 164

18 — Какой ⟨энергический⟩ хам!

С. 167

16 мать скажет ⟨ему⟩: «бей людей»

С. 168

25 у себя ⟨в⟩ сердце

С. 170

16 и ⟨обещалась⟩ сказать

25 для вас лучше⟨?⟩

С. 171

4 рада, что ⟨мы⟩ согласны!..

С. 173

32 ⟨правило⟩ общежития

С. 174

7 больше ⟨вооружает⟩ ее

13 старалась ⟨утешать⟩

С. 175

15 списать ⟨произведения⟩

37 будем ⟨слышать⟩ его.

С. 176

9 было **так** много

С. 178

3 уносит ⟨вас⟩ вверх

24 проснулось⟨; сознание — лак, от которого все краски становятся ярче...⟩

— Недурно!

С. 180

16 верзиле!.. ⟨Про нее можно сказать, хотя это немного топорно, то, что̀ наш столяр сказал про одну купчиху: «экая, подумаешь, посудина!»⟩

— Ты уж

С. 183

1 от ⟨нее⟩ выкинула

С. 184

8 — Найдет⟨! Найдет⟩

С. 187

36 — Тужур ⟨де⟩-бетиз

С. 189

4 с ⟨деревянным⟩... знаете

19 без ⟨приглашения⟩ играть

С. 192

15 и мчатся ⟨в темноту⟩ от крыльца

21 и шея — все ⟨не по нас⟩; а денек

27 тут ⟨же⟩ отпел

С. 198

12 трудиться, ⟨чтоб⟩ кормить

С. 199

7 лучше **всего** быть свободным...

С. 202

16 ⟨Постучались⟩ в дверь

С. 203

25 девка⟨-⟩каналья так подала...

С. 204

8 Кто бы мог ⟨думать!⟩

С. 205

13 экзаменовать меня будут, что ли⟨!⟩

С. 212

15 ⟨Эдакая⟩ собака!

25 И в каком смысле ⟨употребляют⟩ это слово

С. 214

19 ⟨Чуфаровская⟩ барышня

С. 215

8 Какой вы ⟨эдакий⟩!..

9 — Какой ⟨эдакий⟩?

С. 217

25 под крышу ⟨лазяют⟩...

С. 219

15 к решимости и ⟨к⟩ труду... в минуту горя ⟨—⟩ не забыли

С. 220

2 надуванье губ ⟨—⟩ и внезапные

6 Сколько родного⟨, душевного просвечивало перед ним сквозь ее смуглое тело, которое настолько же своей противоположностью с его финской наружностью волновало его чувственность, насколько сходство положений влекло к ней его рассудок.⟩

Погладив

31 все ⟨ведь⟩ дело и дрянь*

С. 221

36 разъяснить ей ⟨—⟩ как следует

С. 222

10 слишком ⟨неровными⟩

С. 224

4 проснулись ⟨и⟩ запрягли*

С. 225

18 свое ⟨звонкое⟩ одиночество*

С. 226

3 нечего мне и ⟨брезгать⟩-то...

С. 227

16 после ⟨балу⟩
23 поискреннее. ⟨—⟩ Вы знаете

С. 229

31 — Александр ⟨Владимірыч⟩, Александр ⟨Владимірыч⟩

С. 230

12 — Александр ⟨Владимірыч⟩
18 Александр ⟨Владимірыч⟩...

С. 231

5 — Ах, Александр ⟨Владимірыч⟩
25 тигр ⟨—⟩ настоящий тигр!..

С. 232

26 Любовь ⟨Михайловне⟩*
34 Любовь ⟨Михайловна⟩*

С. 233

34 Любовь ⟨Михайловна⟩*

С. 236

3 по комнате⟨:⟩ повздыхал

С. 239

24 чтобы не ⟨принимал⟩

С. 240

2 закрывались ⟨рукавами⟩
23 в ⟨Чуфарове⟩
26 знаете, ⟨привычки⟩

С. 241

11 думая: ⟨«не ошибся, я не ошибся! и слово *практичнее* как кстати...⟩ Не ошибся я в ней!»
15 ответ ⟨ее⟩, в котором

С. 244

3 — Как, ⟨мне⟩ понутру?*
25 не была **бы** ему противна
29 успех ⟨—⟩ вдруг подняло

С. 245

19 Маша ⟨уходит⟩*

С. 246

5 ⟨симпатичную⟩ женщину*
22 жить, как **и** все

С. 247

28 ⟨надел⟩ дубленку*

С. 248

17 ⟨Куда⟩ — скажи
29 в глуши⟨!⟩

С. 249

31 спрашивал⟨-⟩спрашивал

С. 251

15 да ⟨и⟩ знаю*
16 Горы⟨,⟩ Неаполь
26 А⟨!⟩ Скажите

С. 252

4 привлекает ⟨здесь⟩ еще
19 есть ⟨задержки⟩*

С. 253

27 как ⟨его⟩ знал ⟨Милькеев⟩

С. 254

2 Милькеев, ⟨вернувшись⟩ от Богоявленского

С. 256

6 ⟨чуфаровский⟩ семинарист
10 милый⟨-⟩милый мой
36 услыхала ⟨его⟩ вздох

С. 259

10 — Зову ⟨—⟩ отчего же.

С. 260

12 такой, ⟨кучерявый⟩...
30 есть ⟨рублей триста⟩

С. 261

11 принялась ⟨тотчас⟩ же выпытывать

С. 262

4 чаще ⟨все⟩ играла
8 И при Полине ⟨было⟩ хорошо
20 чем-то ⟨и⟩ далеким и почти

С. 264

7 Есть ⟨сюрпризик⟩ там ныньче!...

С. 265

27 Спать ныньче стал ⟨крепко⟩ и рано засыпает, не ⟨гнетется⟩
28 не ⟨гнететься⟩ над книгами...

С. 267

13 ⟨Полячки⟩ там
35 вроде ⟨макриц⟩ ползают
37 ползают ⟨макрицы⟩.

С. 268

7 ⟨разнесли⟩ бы по ней
10 ⟨удирая⟩ от Мухамеда Второго!...

С. 269

[1] об них знаю ⟨—⟩ сознаюсь, сказал Милькеев, задумчиво ⟨играя ключиком своих часов⟩.

С. 270

[36] Слушай ⟨—⟩ видал ты

С. 271

[17] это приятно ⟨—⟩ я

С. 274

[2] так ⟨—⟩ прошу вас!

[36] не существуете как ⟨мужчина⟩.

С. 276

[19] Да где эта рукопись у вас?..

С. 277

[2] пошла с ⟨г.⟩ Милькеевым

С. 283

[21] сделать!.. ⟨Он захватает, замарает все...⟩ Уж простите

С. 284

[28] ⟨чтоб⟩ Федя все ему передал.*

С. 285

[28] Васю Милькеева ⟨—⟩ ненавидит страх!

С. 287

[28] ⟨узнав⟩ от горничных

С. 288

[11] с глаз моих ⟨—⟩ поскорей...

[20] *Фраза, отсутствующая в СС, восстановлена по тексту ОЗ и ОИ. — Ред.*

С. 290

[13] двери ⟨—⟩ увела своего

[20] только ⟨разик⟩ взгляни

С. 291

[13] деточек ⟨учут⟩

[28] думаете ⟨—⟩ насчет жениной

С. 296

17 повезли его ⟨поскорей⟩
20 ⟨но⟩ Милькеева все
25 на небо ⟨сквозь деревья,⟩ и пошел

С. 297

18 так и упала
35 франтиха-⟨старушка⟩

С. 298

26 рукой ⟨—⟩ но Любаше

С. 299

25 И кто этот ⟨г.⟩ Милькеев...

С. 300

11 хотели ⟨отправлять⟩.

С. 303

4 Маша ⟨увидела⟩

С. 310

23 любуясь ⟨поочереди⟩ на разостланную*

С. 311

5 уехали ⟨вечером⟩ вдвоем
16 плакала ⟨сначала⟩ и жаловалась

С. 312

9 ⟨Побывав⟩ в чужом краю ⟨—⟩ дома

С. 314

18 ⟨aux grès⟩ des vents

С. 315

10 скопил ⟨незаконными⟩ средствами

С. 316

22 а ⟨уездные⟩ родные съедят

С. 317

17 чай ⟨при нем⟩ с волостным

С. 318

7 она. ⟨— Это вздор ведь, что после всех противно.⟩
Лихачев покраснел немного⟨, поклонился⟩ и⟨, садясь,⟩ спросил

11 Я бы ⟨желала⟩ в нем

18 только ⟨явная⟩ страсть

20 Я скажу вам⟨,⟩ от всего сердца

21 Только вы ⟨сами понимаете⟩... Я уже

26 не хотел ⟨завести⟩ меня

28 осталась ⟨на полпути,⟩ свободна

34 могут ⟨украсить⟩ женщину...

С. 319

12 с ⟨пятью тысячами⟩ перешел

22 Только вы ⟨смотрите⟩...

С. 320

20 не видел бы ⟨он⟩ брата

С. 321

9 ⟨—⟩ Что **же** касается

19 тот ⟨уже⟩ не встанет!

С. 322

15 улыбкой ⟨—⟩ вам хорошо

16 у меня ⟨в⟩ лице

33 и **сердечной** теплотой.

С. 323

22 кто-то ⟨огорошил⟩ поленом

28 убедился также, ⟨как⟩ неуместно

С. 324

8 будет ⟨видеть и⟩ благословлять!

10 крестьяне не ⟨слушались⟩ **его** предписаний

11 из больниц⟨,⟩ врывался

36 тела ⟨—⟩ мы можем

С. 325

19 остальном — ⟨и⟩ Руднев

25 к которым ⟨влекло⟩ его

32 Творцом ⟨—⟩ тоже

ИСПОВЕДЬ МУЖА

В настоящем издании в текст повести внесены исправления по авторской правке, сделанной Леонтьевым на его экземпляре *ОЗ* (РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 2. Ед. хр. 17). Измененные или отмененные в ходе этой правки фрагменты текста помещаются в данном разделе как варианты.

В раздел разночтений не входят случаи авторского исправления опечаток[6] (напр., «Мулы тонули в зелени» исправлено на «Аулы тонули...»; вместо «с черными косточками» — «с черными кисточками» и т.д.).

Текст *ОЗ*: 1867. Т. CLXXIII. Кн. 7 С. 219—272.

С. 328

[21] а пришел ⟨—⟩ его почти ⟨и⟩ не чувствуешь.

С. 329

[6] а мне ⟨—⟩ прохладно и под ⟨этой Pawlovia Imperialis⟩, которая ⟨цветет⟩ так пышно

[13] В жолтом стекле ⟨—⟩ все веселее

С. 330

[1] считали ⟨безумцом⟩, когда он

---

[6] 15 января 1877 г. Леонтьев писал Вс. С. Соловьеву: «Я ⟨...⟩ послал Вам «Подлипки» и «В Своем Краю», а повесть «Ай-бурун» не решился послать. — Она уж слишком дерзка... и потом в ней столько опечаток, что надо было бы целое утро исправлять их; вместо «*с трудом*» напечатано «*чужом*» и тому подобные прелести натуральной школы. — Как это на меня похоже!» (РГИА. Ф. 1120. Оп. 1. Ед. хр. 98. Л. 52—52 об.).

3 тебе, ⟨тебе,⟩ великий творец
20 в глухом русском селе ⟨—⟩ все, быть может

С. 335

31 ⟨Друг⟩! молодость наша

С. 337

4 не раз ⟨мы⟩ вместе ездили
15 читать в книге эти имена ⟨—⟩ тяжело.
36 Для Алеши ⟨—⟩ это было бы

С. 338

25 Я думаю ⟨—⟩ прежде с Лизой.
29 две тысячи ⟨—⟩ ты бы

С. 339

18 для философии жизни ⟨—⟩ он одно спасение.

С. 340

22 Нет ⟨—⟩ один Пушкин

С. 341

4 честного. ⟨Я никогда не смел твердо верить ни одному из его рассказов, когда мы с ним вместе объезжали горы.⟩ Я тогда

С. 343

11 рассердиться ⟨—⟩ и рассердясь, нагрубить
25 грустная⟨,⟩ прегрустная

С. 345

7 Лиза ⟨—⟩ дитя мое родное!
31 о матери⟨;⟩ но я настаивал.

С. 346

20 умерла от нужды ⟨—⟩ в честной борьбе

С. 347

3 значит ⟨—⟩ кончено?
18 детского расчета ⟨—⟩ и довольно!
18 Будет ей привольно ⟨—⟩ будет и мне

С. 348

20 был счастлив ⟨—⟩ чуть ли не чужим

С. 349

22 — Не ты противна, ⟨мое дитя⟩, а я сам
28 Сад есть ⟨—⟩ гуляю; рояль есть ⟨—⟩ играю

С. 351

5 ⟨Заид⟩-Сейдамета-Оглу
35 точно так же, как ⟨и⟩ прежде

С. 353

32 в русском окне. ⟨Одинокий сторож из Тулы или Пензы дрожит и желтеет от лихорадки в хате, чуть видной за пышными кустами...⟩

С. 354

9 силы **сокрыты** в ее душе!

С. 357

3 на большой улице ⟨—⟩ дороги нет.

С. 360

9 — Нет. ⟨—⟩ Что̀ вам
21 домой ⟨—⟩ Лиза
23 садов ⟨—⟩ потом по лесам
24 был у нас ⟨вправе⟩.

С. 362

33 *бертрановского* ⟨—⟩ нет ни искры!

С. 363

7 его лица ⟨—⟩ и кроткого, и лукавого
37 друга.
⟨«А ты каков? (думаю я про себя): если бы твоя голова треснула, оттуда, пожалуй, кроме математики, ничего бы не вытекло?»⟩
Стали

С. 365

30 в красных дьяволов ⟨—⟩ в англичан!
34 общество вовсе уж не ⟨строго нравами⟩

С. 367

9 А он какой молодец!

15 ⟨резинный⟩ мяч.

С. 369

17 и хотя сознается

С. 373

13 Разве я не был счастлив ⟨и⟩ тогда?

17 не могу!⟨...⟩

С. 376

25 над **благородным** ⟨романизмом⟩!

С. 377

16 поют матросы⟨...⟩

С. 378

4 пещеру ⟨—⟩ ее дно усеяно ⟨черепами и⟩ костями ⟨мужскими, женскими и детскими⟩.

15 старого ⟨моего⟩ приятеля

31 ⟨Отцветет⟩ невидимкой — бедная, горная ⟨трава⟩!

С. 379

2 подушек разных ⟨—⟩ можно здесь жить.

С. 380

25 мое имение?⟨...⟩

С. 382

1 или нет ⟨—⟩ не знаю

14 ковер пестрый и густой как бархат, **казалось, был еще богаче**, и лампа **мирно** горела на столе.

23 и только тем и ⟨спаслись⟩

30 Что ⟨ж⟩ делать

С. 384

6 В самом деле ⟨—⟩ выдумал что̀!

31 удалением ⟨—⟩ излечить Лизу

33 увещанием ⟨—⟩ я бы

С. 387

2 не спит. ⟨—⟩ Я вижу

С. 388

18 и опять ⟨повторить⟩

С. 389

29 а он ⟨улыбнется⟩

С. 391

2 (от того же ⟨самого⟩ числа)

С. 392

21 говорила с ним долго ⟨и⟩ вечером по саду ходила

26 об этом ⟨вспоминать⟩

С. 393

16 Ваша Лиза»⟨.⟩

С. 394

26 ⟨заставляли⟩ пассажиров

С. 396

32 О, мое сокровище!

⟨Здесь конец исповеди мужа.

Христинья услыхала на рассвете выстрел и нашла его мертвым на кровати. В ногах было привязано ружье, и курок он, должно быть, спустил снурком, который был проведен от правой ноги к пружине. Дуло было у сердца.

Нашлись наследники, и один из них, отдавая мне эту рукопись сказал:

— И давно пора! Что̀ за мерзавец! погубил молодую жену!

Другой возразил на это:

— Мерзавцем его жалко звать. Но он был давно не в своем уме; не раз, еще до женитьбы его, люди видели, как он один в саду палки ломал об деревья. Закон бы надо построже для таких людей, опеку, предупредительные средства...⟩

КОММЕНТАРИИ

В СВОЕМ КРАЮ

Автограф неизвестен.

Датируется 1858—63 гг.

Впервые: *ОЗ*. 1864. Т. CLIV. Кн. 5. С. 1—105. Кн. 6. С. 475—560. Т. CLV. Кн. 7. С. 28—119. Подпись: К. Леонтьев.

Отдельное издание: СПб., 1864 (дозволено цензурой 22 августа 1864 г.).

Вошло в *СС* (Т. I. С. 265—593).

Печатается по тексту *СС* с исправлениями.

Роман начат в 1858 г. в имении баронессы Марии Федоровны Розен Спасское в Арзамасском уезде Нижегородской губернии, где Леонтьев был домашним врачом. Автобиографические мотивы произведения отмечены в его воспоминаниях «Моя литературная судьба»(*ЛН*. С. 462). Собственные черты и излюбленные идеи Леонтьев «поделил» между двумя главными героями — врачом Рудневым и домашним учителем Милькеевым.[1]

Основная идея романа выражена автором так: «...Мысль его была сложная; прежде всего то, что *главное* в жизни — это *прекрасное* и, как важный элемент его, *зло, борьба, страдания, но высокие*; — хотелось представить и поэзию хорошей помещичьей жизни в России...» (Для биографии К. Н. Леонтьева // РГИА. Ф. 1120. Оп. 1. Д. 98. Л. 54 об.).

Существенные переклички с жизненной программой Милькеева, выраженной в его монологах, которые часто цитировались в работах о Леонтьеве, обнаруживаются в письме, адресованном Н. Н. Страхову (20 мая 1863). Посылая статьи в журнал «Время», и обосновывая выбор именно этого издания, Леонтьев пере-

[1] См.: *ЛН*. С. 493.

числил в этом письме наиболее важные для него представления: «Мне бы естественнее всего помещать статьи во «Времени», если (скажу откровенно) только *оно решится* печатать то с чем оно внутренно согласно (это видно между строками): — т. е.1) что прекрасное важнее полезного; 2) что *широкое* развитие важнее счастья; 3) что только на почве зла вырастает добро и великие личности. — 4) что лучше война, поэтические суеверия и доблестные предрассудки чем всеобщая бесцветность.... 5) что народность (*нам особенно*) нужнее демократической гуманности...» (ОР РНБ. Ф. 747. Ед. хр. 17. Л. 2).

По свидетельству Леонтьева, в романе «В своем краю» «большинство лиц взято с натуры» (Для биографии К. Н. Леонтьева. Л. 54 об.). Семья Новосильских напоминает семью М. Ф. Розен; гувернантка Новосильской, Нелли, возможно, имела прототипом воспитательницу детей баронессы Розен — мадемуазель Мари (она упоминается в письмах Гриши Розена; ОР ГЛМ. Оп. 1. Ед. хр. 215), а учитель Баумгартен мог быть «списан» с гувернера Грюнфельдера. Милькеева Леонтьев, возможно, наделил некоторыми чертами своего приятеля Н. А. Ермолова, часто бывавшего у Розенов.

Фамилия главного героя могла быть заимствована Леонтьевым из литературных анналов: в 1840-е годы был известен поэт-самоучка Е. Л. Милькеев (1815 — ок. 1845—1847), которого знали В. А. Жуковский, К. К. Павлова, А. С. Хомяков; статья о нем была помещена в «Современнике» (1838. Т. XII).

«Татарские» по происхождению фамилии (Самбикины и Шемахаевы) могут ассоциироваться с семьей кн. Ширинских-Шихматовых, помещиков Арзамасского уезда. Кроме того, фамилию Самбикина носила одна из племянниц писателя — Екатерина Васильевна (†1911), ставшая впоследствии настоятельницей Шамординского монастыря, основанного старцем Амвросием Оптинским.

Некоторые топонимы в романе также имеют реальное происхождение. Так, например, в журнальной редакции имение княгини Самбикиной несколько раз названо не Чемоданово[2], а Чуфарово. Село под таким названием существовало в Арзамасском уезде, им владели братья Николай Сергеевич и Иван Сергеевич Панютины (ср. в романе среди центральных героев — братья Лихачовы).[3]

---

[2] В очерке Л. «Мое обращение и жизнь на св. Афонской горе» упомянут «священник села Чемоданова», участвовавший в похоронах его отца (СС, IX, 21).

[3] См.: Приложения к трудам редакционных комиссий для составления положения о крестьянах, выходящих из крепостной зави-

Леонтьев был знаком с этой семьей: в «Хронологии моей жизни» упомянута Любаша Панютина (*Хронология...* Л. 2—3)[4]; о ней же неоднократно вспоминала в письмах Леонтьеву М. Ф. Розен (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 214). Так же — Любашей — зовут одну из центральных героинь романа. Поклонником Любаши Панютиной был сосед Розенов и приятель Леонтьева — доктор К. Н. Дмитриев[5]; возможно, он стал одним из прототипов доктора Руднева. Интересно, что впервые персонаж с этой фамилией появляется в незавершенном и не дошедшем до нас романе «Булавинский завод».

В настоящее время не представляется возможным точно установить, когда была завершена работа над произведением. Некоторым пояснением может послужить черновик письма неустановленному лицу из круга «Отечественных записок» (возможно, С. С. Дудышкину), хранящийся в фонде Леонтьева в РГАЛИ. По ряду признаков (напр., упоминаниям о врачебной работе и уроках детям) его можно отнести ко времени жизни у Розенов и датировать скорее всего 1859 годом. Речь в этом письме идет о том, что вместо обещанного романа «Война и юг» (им Леонтьев намеревался расплатиться за некий долг *ОЗ*), будет прислан другой роман, в котором «гораздо больше современности...» (РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 2. Ед. хр. 36. Л. 2—2 об.). Леонтьев уверяет своего корреспондента в том, что пишет «скоро и с больш⟨ой⟩ охотой в свободное время» и «что осень⟨ю⟩ ром⟨ан⟩ будет готов» (Там же. Л. 2 об.). Очевидно здесь говорится не о «Подлипках»: это название было уже хорошо известно в редакции *ОЗ*, А. А. Краевский с середины 1850-х гг. ожидал продолжения первых двух глав, хранившихся у него. Повесть «Второй брак» едва ли могла быть названа романом,, кроме того, ее объем не позволил бы расплатиться с долгом. Остается предположить, что под «другим романом» подразумевается «В своем краю». Работа могла быть позднее отложена (известно, что Леонтьев часто был занят несколькими замыслами одновременно)

симости. Сведения о помещичьих имениях. Т. II. Извлечения из описаний имений по великороссийским губерниям. СПб., 1860. С. 20. 2 паг.

[4] Сам роман, впрочем, в «*Хронологии...*» не упомянут.

[5] В ОР ГЛМ (Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 117) хранится 11 писем его к Леонтьеву (1860—1863).

и возобновлена уже после публикации «Подлипок» в 1861 г.[6] В это время нужно было думать уже о другом долге. В одном из писем Н. Н. Страхову Леонтьев сообщает, что вторым своим романом он расплатился с Дудышкиным, давшим при публикации «Подлипок» 500 р. вперед (ОР РНБ. Ф. 747. Ед. хр. 17. Л. 37 об.).

Вероятно, роман был завершен в 1863 году до отъезда из России. «Что Ваш нынешний роман?» — спрашивал Леонтьева К. Н. Дмитриев в письме от 24 февраля 1863 г. (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 117. Л. 16). «Что же касается до романа его, — писала 28 апреля Ф. П. Леонтьева своей внучке М. В. Леонтьевой, — он наводит на меня большой страх; хотя я его не читала, но кажется, по словам его, герой романа есть нынешнего поколения, то есть судит высоко, поступает высоко, затеивает вещи высоко, да и кончает тем, что взлетит высоко!

Слова Писаревского[7] очень помню: «Дайте им высказаться! — а как кто выскажется, тот и наказан».

Я боюсь, если Константинов герой очень высказался, как бы и писатель не пошел в след за своим героем!» (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1064. Л. 8—8 об.).

27 июня 1864 г. М. В. Леонтьева сообщала о том, что началась публикация романа в журнале: «Вы вероятно никак не ожидаете, что роман уже помещен; его разделили на три части, потому что оказался велик; вторую часть разделила на две. — Майкова[8] была в Павловске у Дудышкина и говорит, что он в восхищении от него; что он никак не ожидал такого... Был у нас Каподистри и говорил отцу, что он хочет переводить его на французский язык»

---

[6] В письме к И. С. Аксакову от 7 марта 1862 г. Леонтьев замечает: «...я расположен писать длинные романы и не знаю чем бы я не пожертвовал, чтобы они достигали до того эстетического идеала, который меня терзает! Поэтому-то я и не могу, и не хочу работать романы к спеху и считаю такое дело поруганием, какой-то подлостью» (РО ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 4. Ед. хр. 335. Л. 1).

[7] Н. Г. Писаревский (1821-1895), полковник Генерального штаба, редактор газеты «Современное Слово» (1862—1863) — друг В. Н. Леонтьева. К. Н. Леонтьев сотрудничал как переводчик в «Прибавлениях» к редактируемой им в 1861—1862 г. газете «Русский инвалид» (см. письмо М. В. Леонтьевой к о. И. Фуделю от 11 марта 1911 г. // РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 102. Л. 17 об.).

[8] Софья Михайловна Майкова, двоюродная сестра А. А. и А. Н. Майковых.

(РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1032. Л. 40).[9] О своем желании переводить понравившийся ему роман Ж. Каподистрия писал Леонтьеву 21 августа 1864 г. (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 137).

Публикация романа в журнале не вызвала откликов. Уже после выхода отдельного издания в «Книжном вестнике» появилась краткая библиографическая заметка, оценивающая произведение как написанное «с большими претензиями — содать нечто великое и необыкновенное», лучшими главами которого можно назвать те, «где автор забывает свои высокие стремления и великие претензии» (1864. № 18. 30 сент. С. 350).

Через месяц в «Современнике» была напечатана без подписи рецензия М. Е. Салтыкова-Щедрина, высмеивающая компилятивный характер произведения (С. 1864. № 10). «Сочинение г. Леонтьева нельзя назвать просто романом; это, если можно так выразиться, роман-хрестоматия. В нем вы на каждом шагу встречаетесь с воспоминаниями о Тургеневе, графе Л. Н. Толстом, Писемском и других» (*Салтыков-Щедрин М.Е.* Собр. соч.: В 20 т. Т. 5. М., 1966. С. 454). Сложное соотношение сюжетных линий и обилие персонажей также вызвали упрек критика: «не драма, а какая-то бессвязная и очень неловко организованная игра в жмурки» (Там же. С. 459).

Об этом отзыве Леонтьеву стало известно не сразу. 30 ноября 1864 г.[10] он писал из Адрианополя К. Н. Бестужеву-Рюмину: «Конечно — в сравнении с идеалом, который носят в душе понимающие исскуство, — мой роман *швах*, но больше же он заслуживает критики и статей — чем *Помяловский* и К°? Все молчат! — Терпи козак — атаманом будешь? Не так ли?!» (РО ИРЛИ. Ф. 27. Архив К. Н. Бестужева-Рюмина. 24. 885. Л. 1 об.). Позднее Леонтьев вспоминал о щедринской рецензии: «Есть очень злая критика, видимо, Щедрина по манере ⟨...⟩ Критика очень хороша, и роман за *грубость* некоторых приемов заслуживает строгого разбора» (*РО*. 1894. № 8. С. 814).

Резко негативно роман был принят тургеневским кругом. 3 октября В. П. Боткин писал И. С. Тургеневу: «Ты знаешь, что твой

---

[9] К вопросу о переводе и о трудностях, с ним связанных, М. В. Леонтьева возвращается в письме от 22-27 января 1865 г. (Там же. Л. 58 об.).

[10] Октябрьская книжка «Современника» вышла в свет 19 ноября 1864 г. См.: *Боград В. И.* Журнал «Современник». Л., 1959. С. 447.

бывший protégé Леонтьев, разразился романом, который был напечатан в От⟨ечественных⟩ Зап⟨исках⟩ и преплохим и прескучным — и тем более противным, что он исполнен всяческих претензий» (В. П. Боткин и И. С. Тургенев. Неизданная переписка. 1851—1869. По материалам Пушкинского дома и Толстовского музея. М.; Л., 1930. С. 215).

В декабре 1865 г. М. В. Леонтьева сообщала о встрече своего отца с П. В. Анненковым и о намерении последнего написать статью о романе «В своем краю»; видимо, она должна была стать ответом на рецензию «Современника», автором которой В. Н. Леонтьев считал М. А. Антоновича (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1032. Л. 3). Но здесь возникли неожиданные затруднения. «...Анненков и до сих пор ничего не написал; или скорей не напечатал, потому что не знает куда напечатать. — С Петербургскими ведомостями он рассорился; — Дудышкин советует послать в Русский Вестник. Что-то Бог даст!» (письмо от 22 января 1865 г. // Там же. Л. 56).[11]

В 1870-е годы Леонтьев неоднократно критически отзывался о своем втором романе. «...Выбор лиц хорош, но и в языке, и в подробностях те же отвратительные грубости и *ненужные реальности*, которые я ненавижу, и у Тургенева и у Некрасова, и у Достоевского и которые недурны только у Щедрина и Писемского...» (Для биографии К. Н. Леонтьева. Л. 56 об.). «Вспомните хоть бы «В Своем Краю», просмотрите, — вы не можете не согласиться, что там есть эти *типы*, эти *характеры*, которые *лезут* в глаза с бумаги и в реальной обрисовке которых, я не знаю, кто только у нас теперь не набил себе руку. — *У всех* характеры живы, и типы очень верны и ясны. Мне это еще в 60-х годах опротивело ⟨...⟩ Я ненавидел «В своем краю», за то, что этот роман похож на русский роман вообще, на Тургенева, напр⟨имер⟩. — (А мысль его, конечно, не пустая, и все в нем правда)» (письмо Вс. С. Соловьеву от 18 июля 1879 г. // РГИА. Ф. 1120. Оп. 1. Д. 98. Л. 28 об.—29 об.).[12]

---

[11] Статья так и не была написана, и в конце лета М. В. Леонтьева чрезвычайно резко отозвалась об Анненкове: «...Анненков мог бы написать хорошую статью, но он свинья, извините за выраженье; я уверена, что он не написал о вашем романе потому, что как дескать он, Анненков, будет писать о Леонтьеве, неизвестном лице» (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1032. Л. 67 об.).

[12] Ср. с письмом Вс. С. Соловьеву от 15 января 1877 г.: «...Я бы, если бы мог, то многое бы и из «Подлипок», и особенно из

Леонтьев нередко противопоставлял друг другу свои первые романы — «Подлипки» и «В своем краю». Второй представлялся ему построенным, в отличие от «Подлипок», «рутинно-драматическим порядком»; «...для меня *Подлипки*, — писал он Страхову 19 ноября 1870 г., — именно *по форме*, хоть убейте, лучше, чем «В своем краю»» (ОР РНБ. Ф. 747. Ед. хр. 17. Л. 29 об.—30). С другой стороны, этот роман постоянно сравнивался автором с восточными повестями, написанными в конце 1860 — начале 1870-х годов.

С. 9. *...его податное сословие.* — т. е. принадлежность сословию, облагаемому податями, непривилегированному (в данном случае — мещанскому).

С. 11. *...в самое Крещенье...* — Крещение Господне, или Богоявление — один из двунадесятых праздников Православной Церкви, празднуется 6 января ст.ст.

С. 11. *Иордань* — прорубь, в которой совершается великое освящение воды в праздник Крещения Господня.

С. 11. *Он даде — Он и отнимет...* — аллюзия на Иов. 1: 21.

С. 12. *Кичка* — русский женский головной убор.

С. 12. *Саров* — Саровская Успенская пустынь — монастырь, основанный в 1706 г.; в 1778—1833 гг. здесь подвизался св. преп. Серафим Саровский.

С. 13. *Маркизы* — навесы над окнами или балконами для защиты от солнца.

С. 13. *...в «нахлопку»...* — правильно: «езда на хлопки»; так называется охота на зайца с борзыми, когда охотник, хлопая арапником, выгоняет зайца на открытое место (см.: *Губин П. М.* Полное руководство ко псовой охоте: В 3 ч. Изд. 2-е. Ч. 3. М., 1906. С. 11).

С. 14. *Трифоль* — вахта трехлистная, лекарственное растение.

С. 14. *...эмблема Эскулапа...* — змея над чашей; Эскулап, в древнеримской мифологии — бог врачевания, привезенный в Рим в виде змеи.

С. 16. *...по биркам считает* — по нарезкам на бирке (палочке или дощечке) обычно считались долги.

романа «В своем краю» *вырубил* бы *топором*... До того я ненавижу уже давно все эти крючкотворства Великорусского юмора и все эти будто бы народные мужиковатости...» (РГИА. Ф. 1120. Оп. 1. Д. 98. Л. 52 об.).

С. 16. «*Памятник Веры*» — сборник, выдержавший несколько изданий; полное заглавие: «Памятник веры, представляющий благочестивому взору христианина празднества, православною церковию установленные святым угодникам Божиим с кратким оных жизнеописанием; с присовокуплением избранных на каждый день текстов Священного писания, благочестивых размышлений и духовных стихотворений, руководствующих к непрестанному упражнению в богомыслии. С приложением к каждому месяцу гравированных картин и листков для ежедневного записывания на них своих мыслей, чувствований и поступков» (М., 1825; 4-е изд. М., 1863).

С. 16. «*Театр света*» — Возможно, имеется в виду составленный С. Н. Глинкой (1776—1847) сборник «Театр света, или Изображение достопамятнейших происшествий древних и новых времен, нравов и словесности» (Ч. 1—8. М., 1823—1824). Ср.: «Театр света, на котором добродетели и пороки, взятые для примера из древних и новых историков, между собою взаимно противополагаются» (СПб., 1782), русский перевод книги Адриена Рише (1720—1798).

С. 16. «*Дневник Российских достопамятностей*» — возможно, контаминация названий двух различных изданий: «Отечественные достопамятности, или изображение Русских исторических памятников и необыкновенных произведений природы, наук и художеств, находящихся в России» (Ч. 1—4. М., 1823—1824) и «Дневник отечественных воспоминаний: Карманная книжка на 1840 год. Январь» (СПб., 1840).

С. 16. *Преподобного отца нашего Мартиниана* — память преп. Мартиниана, жившего в V в., празднуется 13 (26) февраля. Его житие в романе изложено близко к тексту «Памятника Веры» (3-е изд. М., 1843. С. 65).

С. 17. *...был непременным членом...* — т. е. чиновником, ведущим дела одного из губернских коллегиальных учреждений (присутствия, комитета и т. п.).

С. 17. *...дослужиться до дворянства...* — для того, чтобы заслужить потомственное дворянство, в конце 1850-х годов необходимо было получить чин действительного статского советника.

С. 22. *Берейтор* — специалист, объезжающий верховых лошадей и обучающий верховой езде.

С. 22. *Френология* — наука о связи между психическими особенностями человека и животных и наружными формами черепа. О своем увлечении френологией Л. рассказывал в «Воспоминании о Ф. И. Иноземцове и других московских докторах 50-х годов»: «В молодых моих годах, я ко внешности человеческой при-

сматривался очень внимательно. Сначала я был очень заинтересован френологией Галля, Шпурцгейма, Комба и т. д. Позднее, разочаровавшись в научном достоинстве старой френологии, я внимательно читал книгу глубокомысленного Каруса: *Символика человеческого образа*, был без ума от ⟨...⟩ книги иенского профессора Гучке: *Мозг, череп и душа*. Позднее выписывал даже из Германии нарочно брошюры Энгеля о развитии костей черепа и лица, большое и прекрасное сочинение *О лицевом угле* Вирхова ⟨...⟩ Изучая все эти книги, я мечтал тогда найти в *физиогномике* ⟨...⟩ точку для великого обновления человечества...» (СС, IX, 60—61).

С. 22. *...в систему Галля...* — Франц-Йозеф Галль (1758—1828), австрийский ученый, основатель френологии, разработавший теорию локализации психических функций в коре больших полушарий головного мозга.

С. 22. *Краниоскопия* — наука о строении черепа.

С. 22. *Остеология* — наука о костной системе.

С. 23. *...исповедь Руссо...* — автобиографическая книга Ж.-Ж. Руссо «Исповедь» (1766—1769).

С. 23. *...свою благодетельницу, m-me Warens...* — об отношениях с Луизой-Элеонорой де Варанс (1700—1762) Руссо рассказывает во второй книге «Исповеди».

С. 23. *...Алкивиада, алмаз, тигра...* — Приводимые как примеры имморальной красоты в природе и в человечестве, эти образы оказались в одном ряду, возможно, под влиянием трагедии В. Шекспира «Тимон Афинский» (1605), где Алкивиад — один из главных персонажей (правда, не вполне соттветствующий тому образу Алкивиада, который обычно фигурирует у Л.), а алмаз (брильянт) и тигр неоднократно упоминаются в различных контекстах. Алкивиад (ок. 450—404 до н.э.) — афинский полководец и государственный деятель, перешедший позднее на сторону Спарты, а затем бежавший в Персию; один из учеников Сократа. Первая и наиболее яркая характеристика Алкивиада дана Плутархом в «Сравнительных жизнеописаниях» («Гай Марций и Алкивиад»).

С. 23. *Линейка* — многоместная повозка.

С. 25. *...из Чивита-Веккии...* — Чивитавеккья, город в Италии.

С. 26. *Nelly* — Нелли

С. 27. *Карус* — Карл-Густав Карус (1789—1869) — немецкий зоолог, врач и философ.

С. 27. *...о «Символистике человеческой наружности»*. — Речь идет о книге Каруса «Символика человеческого образа.

Руководство к познанию человека» (Symbolik der menschlichen Geschtalt. Ein Handbuch zur Menschenkenntniss. Leipzig, 1853).

С. 29. *Квасцы* — минерал, содержащий alumen, квасцы — соль, которая использовалась в лекарственных целях.

С. 29. *point de violence!* — крайнее насилие! (*фр.*)

С. 30. *Воззри в леса ~ сотворил с тобой!* — шуточная неточная цитата из «Оды, выбранной из Иова» М. В. Ломоносова.

С. 30. *...лягушки, просящие царя...* — сюжет басен Эзопа, Ж. де Лафонтена, И. А. Крылова, В. И. Майкова.

С. 30. *Сушила* — места для сушки снопов или сена.

С. 30. *Сердце злой тиран, тиран...* — источник цитаты не установлен.

С. 32. *Помочь* — общая работа крестьян (всем міром) за угощенье.

С. 33. *docteur* — доктор (*фр.*)

С. 33. *nous sommes toujours seuls...* — мы всегда одиноки... (*фр.*)

С. 33. *Ça me mécanise horriblement!* — Это меня страшно механизирует! (*фр.*)

С. 33. *...родился в Альзасе...* — в немецкой провинции Эльзас (Alsace).

С. 33. *Nancy* (Нанси), *Celestà* (Селеста) — города на северо-востоке Франции.

С. 33. *ami Josephe* — друг Жозеф (*фр.*)

С. 33. *ami Bongars* — друг Бонгар (*фр.*)

С. 33. *Les parties de campagne* — загородные прогулки (*фр.*)

С. 33. *Voyez vous ~ la coqueluche des dames, docteur!* — Видите ли... благородное занятие, честный достаток, уважение друзей, любовь женщин, доктор! Я был любимцем дам, доктор! (*фр.*)

С. 34. *Oui* — Да (*фр.*)

С. 34. *Coqueluche des dames... j'étais la coqueluche des dames.* — Любимец дам... я был любимцем дам (*фр.*).

С. 34. *elle était bonne comme un ange et spirituelle comme un démon...* — она была добра, как ангел, и умна, как бес... (*фр.*)

С. 34. *Je m'abrutis!..* — Я тупею!.. (*фр.*)

С. 34. *La comtesse* — графиня (*фр.*)

С. 34. *laisser-aller russe* — русской беззаботности (*фр.*)

С. 34. *C'est une éducation manquée...* — Это негодное воспитание... (*фр.*)

С. 34. *ille tollit punctum, qui mismit utile dulci!* — тот достигает цели, кто соединяет полезное с приятным! (*лат.*)

С. 34. *C'ést une rose.* — Это роза (*фр.*).

С. 34. *Qu'est ce qu'une rose, mon enfant?..* — Что такое роза, мое дитя?.. (*фр.*)

С. 34. *Cher enfant* — Дорогое дитя (*фр.*)

С. 34. *etc... etc* — и так далее... и так далее

С. 35. *...бегать с братьями...* — неточность автора; второй брат героини вводится в повествование позже.

С. 35. *miss Nelly* — мисс Нелли

С. 35. *Marie* — Мари

С. 34. *et pleine de ce laisser-aller...* — и полна этой беззаботности... (*фр.*)

С. 35. *Pouchkin et Tourgeneff. Elle le porte sur ces ailes...* — Пушкина и Тургенева. Ее уносит на этих крыльях... (*фр.*)

С. 35. *Miss Nelly est folle de lui... Laissez-nous donc vivre* — Мисс Нелли без ума от него... Дайте же нам жить (*фр.*)

С. 35. *...квиэтистка — последовательница Кальвина...* — Квиетизм — религиозно-этическое учение, возникшее в XVII в. и основывавшееся на идее Жана Кальвина (1509—1564) о безусловном предопределении; в переносном смысле — созерцательность, бездеятельность.

С. 37. *...на Дунае сражался, в Молдавии и Валахии был...* — речь идет о событиях Восточной войны 1854—1856 гг. Валахия — придунайское княжество на территории современной Румынии.

С. 38. *Theodor* — Теодор

С. 38. *Чумбур* (чембур) — «третий, одинокий поводок уздечки, за который водят верхового коня» (Даль).

С. 39. *Грановского слушал, Кудрявцева иногда...* — Тимофей Николаевич Грановский (1813—1855) и Петр Николаевич Кудрявцев (1816—1858) — русские историки, профессора Московского университета; с обоими Л. был знаком и встречался в салоне гр. Е. В. Салиас де Турнемир.

С. 40. *...ходил в ополченье...* — Имеется в виду ополчение, созванное высочайшим манифестом от 29 января 1855 г. во время Крымской войны.

С. 40. *...à la Sand жила...* — как Занд (*фр.*); т. е. в гражданском браке.

С. 42. *Физиогномика* — см. прим. на с. 432—433.

С. 42. *Clementine* — Клементин

С. 45. *Поход Ксенофонта...* — Имеется в виду отступление из Персии десяти тысяч греческих пехотинцев, участвовавших в неудачном походе претендента на персидский престол Кира Младшего против царя Артаксеркса (401 г. до н.э.); одним из

руководителей этого похода был греческий историк и писатель Ксенофонт (ок. 430 (по другим сведениям ок. 445) — 354 до н. э.), описавший его в «Анабасисе».

С. 46. *...для того, чтобы на одном конце существовала Корделия, необходима леди Макбет...* — Персонажи трагедий Шекспира «Король Лир» и «Макбет» в данном случае выступают олицетворениями добра и зла.

С. 46. *...пряничной Фредерики Бремер...* — Фредерика Бремер (1801—1865), шведская писательница, автор переведенного в 1842—1843 гг. романа «Семейство, или Домашние радости и огорчения», в котором семейная жизнь изображается в сентиментально-моралистическом духе.

С. 47. *Le prestige aux yeux des enfants est indispensable, madame* — Престиж в глазах детей необходим, сударыня (*фр.*).

С. 49. *Voyons donc!* — Ну что вы! (*фр.*)

С. 50. *...и Лютер, и все реформаторы приходили напрасно... Женщины нисколько не стали гуманнее...* — Шутливое замечание Милькеева основано на распространенном представлении о том, что с эпохой Реформации связана общая демократизация отношений и «гуманизация» личности.

С. 53. *...развязка бывает à la Berquin.* — Как у Беркена (*фр.*); Арно Беркен (1747—1791), французский писатель.

С. 54. *Фихте* — Иоганн Готлиб Фихте (1762—1814), немецкий философ и общественный деятель.

С. 56. *...курц-галопом...* — коротким галопом (*нем.*; укороченный шаг при движении лошади вскачь); в переносном смысле: очень быстро.

С. 57. *Штоф* — плотная ткань с крупным узором, использовавшаяся для портьер и обивки мебели.

С. 58. *...синей или зеленой...* — пятирублевой или трехрублевой ассигнацей.

С. 62. *...«звезды просто прыщи на лице неба»...* — источник цитаты не установлен.

С. 63. *«le fils d'un boyard et d'une serve»* — «сын боярина и служанки» (*фр.*)

С. 64. *C'est une espèce de bibliothèque renversée!* — Это нечто вроде перемешанной библиотеки! (*фр.*)

С. 66. *«vivons et laissons vivre!»* — «живите и давайте жить другим!» (*фр.*)

С. 67. *c'est ridicule, c'est roturier!* — это смешно, это вульгарно! (*фр.*)

С. 67. *...из Жорж-Занда-то «гососо» взять...* — Речь идет о теме свободы от традиционных норм морали.

С. 67. *...наружностью похожи немного на Страсбургский собор...* — Особенностью этого храма является то, что в нем отразились все стадии средневекового зодчества от романского до позднего готического стиля.

С. 68. *...под Салтами...* — Салты, селение в Южном Дагестане, взятое русскими войсками 14 сентября 1847 г. после длительной осады.

С. 68. *comme il faut* — такой приличный (*фр.*)

С. 69. *Saint Cloud* — Сен Клу, город на р. Сене.

С. 69. *nous avons été trop peureux* — мы слишком боязливы (*фр.*)

С. 69. *trop heureux!* — слишком счастливы! (*фр.*)

С. 69. *...на Ван-Дика похож...* — Антонис Ван Дейк (van Dyck, van Dijck) (1599—1641), фламандский живописец.

С. 69. *un petit français — Charpentier* — маленький француз — Шарпантье (*фр.*)

С. 69. *petit* — маленький (*фр.*)

С. 70. *bon vivant* — кутилу (*фр.*)

С. 74. *Сорока* — женский головной убор, род кички.

С. 74. *Чекмень* — кафтан.

С. 75. *Распомадил, раздушил!..* — источник цитаты не установлен.

С. 76. *Сарданапал* — легендарное имя последнего ассирийского царя Ашшурбанипала (669 — ок. 633 до н. э.), который был известен своей изнеженностью и распутством.

С. 77. *Фальстаф* — сэр Джон Фальстаф, герой пьес Шекспира «Генрих IV» (1597—1598) и «Виндзорские насмешницы» (1601).

С. 81. *mauvais-genre* — дурной тон (*фр.*)

С. 81. *...олицетворять собой гофманские капли...* — лекарственное средство, применяемое при тошноте.

С. 82. *Элоквенция* — красноречие, ораторское искусство.

С. 82. *Je n'aime pas ces hommes noirs du midi, ces hommes cuits...* — Я не люблю этих чернявых южан, этих пропеченных людей... (*фр.*)

С. 83. *...про Иоанна Златоуста...* — св. Иоанн Златоуст (354—407), архиепископ (патриарх) Константинопольский.

С. 83. *Бросься в море, кинься смело...* — начальные строки греческой народной песни «Последнее прощание клефта», впервые переведенной на русский язык Н. И. Гнедичем в 1825 г. В 1854 г.

Н. В. Берг опубликовал два перевода этой песни, отметив в примечании, что она «была любимою песнею Байрона» (*Берг Н.* Песни разных народов. М., 1854. С. 202). Все указанные переводы не совпадают с леонтьевским.

С. 84. *l'ami des enfants* — друг детей (*фр.*)

С. 84. *...из Нормы...* — «Норма» (1831) — опера Винченцо Беллини (1801—1835).

С. 85. *...при наборах...* — Имеются в виду рекрутские наборы.

С. 88. *...Декарт старался все забыть...* — Рене Декарт (1596—1650), французский философ и математик.

С. 88. *После-обеда* — см. прим. к роману «Подлипки» (Т. I. С. 666).

С. 88. *...аптеки Крафта...* — Аптека под таким названием находилась на Тверском бульваре в Москве.

С. 90. *Дионея* — насекомоядное растение семейства росянковых.

С. 91. *Кювье* — Жорж-Леопольд-Кретьен-Фредерик-Дагобер Кювье (1769—1832) — французский естествоиспытатель.

С. 93. *...рассказывал про Давида...* — Имеется в виду рассказ о Давиде и Вирсавии (2 Цар. 11: 2—27; 12: 1—25).

С. 94. *...с мрачными глазами, которые оставались мрачны даже и тогда, когда он смеялся...* — Эта деталь напоминает портрет лермонтовского Печорина.

С. 94. *Чи я в поле не калинка была...* — вариант украинской свадебной песни «Да чи я в лузе не калина...» (см.: Малороссийские песни, изданные М. Максимовичем. М., 1827. С. 70—72).

С. 94. *Un pâtissier demeurant...* — Пирожник, живущий / На равнине Красной Горы, / Имел прекрасное дитя, / Которое звали красной шапочкой. / Вот, скажите-ка, небывалое имя! / Которое я никогда не видел в святцах... (*фр.*) Источник цитаты не найден.

С. 95. *ami-ennemi-Joseph'a* — друга-врага Жозефа (*фр.*)

С. 98. *Полба* — растение, напоминающее пшеницу или ячмень.

С. 99. *«Ну, тащися, сивка»* — цитата из стихотворения А. В. Кольцова «Песня пахаря» (1831).

С. 100. *...не велено было для пропаганды и гадиной брезгать...* — Речь идет об эпизоде, описанном в Деяниях св. апостолов (Деян. 10: 9—16).

С. 102. *Mon frère va trés mal...* — Мой брат очень болен... (*фр.*)

С. 102. *Ажитируется* — волнуется.

С. 102. *C'est affreux!..* — Это ужас!.. (*фр.*)

С. 103. *Un médicin tout à coup!..* — Ни с того, ни с сего — доктор!.. (*фр.*)

С. 103. *M-r Basile* — Мсье Базиль

С. 106. *Фибрин* — белок, образующийся при свертывании крови.

С. 107. *Est-ce qu'il a parlé?* — Что он говорил? (*фр.*)

С. 107. *Toujours ces bêtises?* — Все еще эти глупости? (*фр.*)

С. 107. *Toujours, toujours!* — Все по-прежнему! (*фр.*)

С. 107. *C'est magnifique!* — Это великолепно! (*фр.*)

С. 107. *«maman»* — «маме» (*фр.*)

С. 108. *Le voilà, le voilà!* — Вот он, вот он! (*фр.*)

С. 109. *C'est une pauvre idiote* — Это бедная идиотка (*фр.*)

С. 110. *Puce évanouie, maman.* — Обмершая блоха, мама (*фр.*); цвет блохи, упавшей в обморок. Пюсовый цвет — бурый, коричневый оттенок красного цвета.

С. 110. *...«фараоновой коровой» звали.* — Образ из книги Бытия; семь тощих коров из сна фараона, истолкованного праведным Иосифом (Быт. 41: 19).

С. 110. *comme elle est drôle* — как она смешна (*фр.*)

С. 112. *...под Карсом...* — т. е. при взятии города-крепости Карса в 1828 г.

С. 113. *Тут вдруг польская кампания...* — Речь идет о событиях 1830—1831 гг. Автором здесь допущена хронологическая неувязка: если Сереже 16 лет, то отъезд его отца из дома должен был прийтись на 1840 или 1841 годы.

С. 113. *...называет его всегда шемякиным судом.* — Т. е. судом неправедным, несправедливым. Фразеологизм восходит к «Повести о Шемякином суде» (XVII в.).

С. 116. *timbre* — тембр (*фр.*)

С. 116. *Laryngitis pseudomembranacea* — ложный круп (*лат.*)

С. 117. *...Мак'Дональд или Мак'Магон?* — Жак Этьенн Макдональд (1815—1891), маршал Франции, герцог Тарентский; Патрис Мак-Магон (1808—1893), маршал Франции, герцог (1859).

С. 118. *...в кружку положите...* — Имеется в виду церковная кружка для пожертвований.

С. 120. *charmant* — очаровательный (*фр.*)

С. 123. *...греки Ксеркса разбили.* — Ксеркс (ум. 465 до н. э.), персидский царь; возглавлял поход в Грецию (480—479 гг.), окончившийся поражением персов.

С. 124. *...атропин, сантонин, дигиталин и лупулин...* — Атропин — получаемое из растений семейства пасленовых болеутоляющее средство, а также капли для расширения зрачка; сантонин — лекарство от аскарид; дигиталин — экстрагируемое из травы наперстянки средство, применяемое для регулирования сердечно-сосудистой деятельности; лупулин — экстрагируемое из хмеля наркотическое средство.

С. 125. *...Энгель говорит в Вене...* — Йозеф Энгель (1816—1894) — немецкий анатом и физиолог; профессором Венского университета был с 1854 г.

С. 125. *...какой-то Fick...* — Адольф Фик (1829—1901), немецкий физиолог; автор книги «Медицинская физика» (1856).

С. 125. *...Гучке в Иене...* — Эмиль Гучке (Huschke), немецкий физиолог; автор книги «Череп, мозг и душа человека и животных по возрасту, полу и расе» (1854).

С. 125. «*Hirn, Schädel und Seele*» — «Мозг, череп и душа» (*нем.*), неточное название книги Э. Гучке.

С. 127. *...настоящая субретка...* — Субретка — в старых комедиях — бойкая, проказливая служанка.

С. 132. *Перстокрыл* — птеродактиль, небольшой летающий ящер конца юрского — начала мелового периода, известный по находкам в Европе и Восточной Африке.

С. 132. *Элоквент* — ритор.

С. 133. *...послал в Петербург большую статью об эмансипации женщин...* — возможно, автобиографическая деталь; в 1860-е годы Л. интересовался «женским вопросом».

С. 133. *...Аспазию, Нинону, Марию Стюарт, которые так же необходимы, как и весталки...* — Весталкам, жрицам Весты (богини домашнего очага), дававшим обет целомудрия, противопоставлены здесь: Аспасия (V в. до н.э.), афинская гетера, ставшая женой стратега и законодателя Перикла; Нинон де Ланкло (1620—1705) и шотландская королева Мария Стюарт (1542—1587), которые, благодаря красоте и уму, привлекали к себе цвет современного им общества.

С. 135. *à la Dickens* — по Диккенсу (фр.)

С. 135. *Аполлон в пастухах у царя Адмета!* — За убийство киклопов Аполлон был осужден Зевсом пробыть год пастухом у Адмета, царя фессалийского города Феры. Эту мифологическую параллель Л. применял и к одному эпизоду своей жизни: службе в военном госпитале, когда он «считал себя, улыбаясь всем снисходительно, чем-то вроде Олимпийского бога, сошедшего временно на землю, вроде Аполлона, пасущего стада у царя Адмета» (СС, IX, 147).

С. 137. ...*«крепил его тяжкой силой»*... — возможно, выражение восходит к строке «И падшего крепит неведомою силой» из стихотворения Пушкина «Отцы пустынники и жены непорочны...» (1836).

С. 140. ...*Адама Смита, Фурье*... — Адам Смит (1723—1790), английский философ и экономист; Франсуа Мари Шарль Фурье (1772—1837), французский утопический социалист.

С. 140. *folle journée* — безумный день (*фр.*)

С. 140. *Садка* — травля собаками пойманного живьем зверя.

С. 141. *chalet* — домик (*фр.*)

С. 142. *Массена* — Андре Массена (1758—1817), маршал Франции, герцог Риволи, князь Эслингский.

С. 145. *«L'apparence trompe!..»* — «Обманчивая внешность!..» (*фр.*)

С. 145. *m-lle Feloux* — девица Фелу (*фр.*)

С. 151. *à vol d'oiseau* — глядя на все с птичьего полета (*фр.*)

С. 152. *«L'homme s'agite, mais Dieu le mêne!»* — «Человек мечется, но Бог ведет его!» (*фр.*)

С. 153. *Граф Д'Орсе* — Альфред Гийом Габриэль д'Орсэ (1801—1852), граф — французский художник и скульптор. По утверждению Ф. Р. де Шатобриана, он имел репутацию денди («Замогильные записки», Кн. 27, 3). Барбэ д'Оревильи отрицает дендизм д'Орсэ (*Barbey d'Aurevilly J.* Du Dendysme et G. Brummel. P., 1879. P. 61—62). См. также комментарий к повести «Второй брак» (Т. I. С. 661—662).

С. 154. ...*Креон у Софокла прав*... — Креон (Креонт) — герой трагедии «Антигона»; в греческой мифологии — брат фиванской царицы Иокасты, занявший престол после гибели сыновей Эдипа.

С. 155. ...*немцам бы Фридриха нового*... — Имеется в виду Фридрих II (1712—1786), прусский король.

С. 155. ...*прокатят на вороных*... — т. е. забаллотируют на выборах, проголосовав черными шарами.

С. 155. ...*в посредники пойду.* — Посредник — мировой посредник; выборная должность, учрежденная после крестьянской реформы для разбора несогласий между помещиками и крестьянами.

С. 155. ...*на jeu de paume неспособны*... — Намек на один из эпизодов, предшествовавших Великой Французской революции: 30 июня 1789 г. депутаты Национального собрания в версальском Зале для игры в мяч (Jeu de paume) поклялись принять конституцию.

С. 156. *Громада* — сельская община на Украине.

С. 157. *...не найдут уже Шувалова и Станкевича...* — Имеются в виду Иван Иванович Шувалов (1727—1797), первый куратор Московского университета и президент Академии художеств, покровительствовавший М. В. Ломоносову, и Николай Владимирович Станкевич (1813—1840), философ и поэт, познакомившийся с А. В. Кольцовым в 1830 г. и издавший в 1835 г. его стихотворения.

С. 157. *...после мира в Крыму...* — т. е. в 1856 г., после завершения Восточной войны.

С. 157. *«Don! Don!»* — «Дон! Дон!»

С. 157. *Капор* — «женская стеганая шапка на всю голову, с завязками» (Даль).

С. 157. *...у той милой часовни...* — Речь идет о двухэтажной шатровой часовне во имя Христа Спасителя у Гостиного Двора в Петербурге, построенной в 1860—1861 гг. по проекту А. М. Горностаева (снесена в 1929 г.).

С. 158. *...Козлянинов, о котором теперь так много пишут...* — Имеется в виду помещик Ярославской губернии Н. Козлянинов, избивший крестьянку А. Лукьянову. Из-за сходства фамилий его могли часто путать с вышневолоцким помещиком А. П. Козляиновым, который ударил в 1860 г. в поезде немку-рижанку. См.: *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 7. Л., 1973. С. 383. Т. 27. Л., 1984. С.404—405.

С. 159. *...демократия Соединенных Штатов «выеденного яйца не стоит»...* — Весьма вероятно, что это реминисценция из книги Н. В. Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями». В главе X «О лиризме наших поэтов» Гоголь приводит слышанные им слова Пушкина: «А что такое Соединенные Штаты? Мертвечина; человек в них выветрился до того, что и выеденного яйца не стоит» (*Гоголь Н. В.* Полн. собр. соч.: В 14 т. Т. 8. [Л.,] 1952. С. 253). С этими словами согласуется суждение Пушкина об американской демократии в статье «Джон Теннер» (1836).

С. 161. *ma chère amie* — друг мой милый (*фр.*)

С. 162. *Боярка* — шапка, опушенная мехом.

С. 162. *...боялся быть похожим на Чичикова...* — реминисценция из 11 главы «Мертвых душ»: «Чичиков ⟨...⟩ швырнул на пол саблю, которая ездила с ним в дороге для внушения надлежащего страха кому следует».

С. 164. *...«мошки да букашки ~ полезли из щелей»...* — цитата из стихотворения Д. В. Давыдова «Современная песня» (1836).

С. 165. *...вспомнил Хавронью Крылова...* — Имеется в виду басня И. А. Крылова «Свинья» (1811).

С. 165. *На большом столе покоем...* — в форме буквы «П» (церк.-слав. «покой»).

С. 167. *Les dames en avant!* — Дамы вперед! (*фр.*)

С. 167. *Grand rond!* — Большой круг! (*фр.*)

С. 168. *comme il faut* — приличие (*фр.*)

С. 169. *Oh! ma Sylphide ~ Me voici!* — О! моя Сильфида, / Хочешь ли ты наставника? / Я здесь! (*фр.*)

С. 169. *Lancier* — лансье (*фр.*); английский парный бальный танец, напоминающий кадриль; в России вошел в моду в 1857 г.

С. 170. *Гросфатер* — от нем. Großvater, дедушка; шуточный танец, завершавший праздники.

С. 171. *Il a, je pense ~ plus solide...* — У него, я думаю, склад ума скорее немецкий, а характер несколько французский... Все это противоположно другому, у которого ум более поверхностный, но более основательный характер... (*фр.*)

С. 172. *...при лунном свете, как Светлану...* — имеется в виду героиня баллады В. А. Жуковского «Светлана» (1808—1812). Ср.: «Тускло светится луна / В сумраке тумана — / Молчалива и грустна / Милая Светлана...»

С. 172. *Крылов назвал ямочки на щеках красавицы «умильными»...* — Имеется в виду строка «Умильны ямочки пропали на щеках» из басни «Разборчивая невеста» (1805).

С. 173. *Ah! je le prends!* — А! я его поймал! (*фр.*)

С. 173. *Grâce! Grâce!* — Помилуйте! Помилуйте! (*фр.*)

С. 174. *«L'apparence trompe»* — «Обманчивая внешность» (*фр.*)

С. 174. *menetrier du village* — деревенского скрипача (*фр.*)

С. 174. *...avec son Эжель et son égotisme...* — с его Эжель и с его эготизмом (*фр.*). *Эжель* — так произносит Баумгартен фамилию немецкого философа (Hegel, Гегель), следуя правилам французской фонетики, но вопреки общепринятой традиции.

С. 175. *allons-donc* — полноте (*фр.*)

С. 176. *Child-Harold* — Чайльд-Гарольд

С. 176. *Eh bien?* — Ну? (*фр.*)

С. 177. *Oh! qu'à cela ne tienne!* — О! это не ваша забота! (*фр.*)

С. 177. *M-lle Эмé* — Мадемуазель Эмé; Aimée — французский эквивалент имени Любовь, Люба.

С. 177. *La faiblesse de la force ou La force de la faiblesse* — Слабость силы, или Сила слабости (*фр.*)

С. 178. *Профершпилился* — проигрался (от нем. verspielen).

С. 179. *...повелительное наклонение или имя собственное?* — Игра слов строится здесь на созвучии повелительного наклонения глагола (aimez, любите) и имени собственного (Aimée).

С. 181. *...пока еще не Эмé в смысле причастия...* — Намек на причастную форму aimée (любимая) и имя Aimée (Любаша).

С. 181. *...в старом нанковом сюртуке...* — из нанки, хлопчатобумажной ткани.

С. 181. *...уже носили сетки и кринолины...* — Имеются в виду сетки тонкого плетения, использовавшиеся в женских прическах. Кринолины (широкие юбки на стальных обручах) вошли в моду во второй половине 1850-х годов.

С. 181. *Вершина* — овраг (в орловских и др. говорах).

С. 182. *Одноколка* — повозка с двумя колесами на одной оси.

С. 185. *Alexandre* — Александр

С. 185. *milles pardons* — тысяча извинений (*фр.*)

С. 185. *c'est vrai!* — верно! (*фр.*)

С. 186. *Лафатер* Иоганн-Каспар (1741—1801) — швейцарский проповедник и мыслитель; здесь упомянут как один из основателей физиогномики, автор трактата «Физиогномические фрагменты» (1775—1778), переведенного на русский язык в 1817 г.

С. 186. *mon devoir* — моя обязанность (*фр.*)

С. 186. *mon besoin* — моя нужда, моя необходимость (*фр.*)

С. 187. *...под Карсом...* — т. е. при взятии Карса в 1855 г. во время Восточной войны.

С. 187. *же ву тюэре* — я вас убью (*фр.*)

С. 187. *Кес-ке-се! Кес-ке-се, Serge?* — Что такое! Что такое, Серж? (*фр.*)

С. 187. *Э! финисе, машер, ожурдюи се комса! А-ле-вузан* — Э! перестаньте, моя дорогая, теперь это все равно! Убирайте (*фр.*)

С. 187. *Тужур се-бетиз! Тужур...* — Вечно эти глупости! Всегда... (*фр.*)

С. 188. *...вдруг Милькеев скиксует...* — Скиксовать — термин бильярдной игры, дать кикс, «оскользня», «промашной удар» (Даль).

С. 190. *«Того мне жаль, люблю другого»* — источник цитаты не установлен.

С. 192. *Супé! Супé!* — Ужинать! Ужинать! (*фр.*)

С. 192. *Анкор* — больше (*фр.*).

С. 192. *...четырех углов, всего туалета и жгутов...* — популярные салонные игры.

С. 193. *Наш* — церковно-славянское название буквы «н».

С. 194. *Rêve? parfum ou frais murmure...* — Греза то, благоуханье / Или свежее журчанье, / Пташка, кто же ты? (*фр.*)

С. 197. *...вы были сильно влюблены...* — В истории любви Милькеева отразился эпизод биографии Л. — его любовь к Зинаиде Яковлевне Кононовой (*Хронология...* Л. 1; *СС*, IX, 72, 132, 142—144).

С. 209. *très volontiers* — с удовольствием (*фр.*)

С. 209. *...напоминая даже Генриха IV...* — Генрих IV (1553—1610), король Франции.

С. 210. *Бареж* — ткань,«шерстяная, шелковая или бумажная рединка для женских нарядов» (Даль).

С. 210. *en grâce* — ради Бога (*фр.*)

С. 213. *la coqueluche des dames* — любимец дам (*фр.*)

С. 213. *Oui, c'est vrai* — Да, это верно (*фр.*)

С. 216. *...не думаю, чтобы из Англии что-нибудь могло быть доброе...* — ср.: «Из Назарета может ли быть что доброе?» (Ин. 1: 46).

С. 216. *...дикого платья...* — дикого (серо-голубого, пепельного, светло-лилового) цвета.

С. 216. *На цуфусках* — пешком (от нем. zu Fuß).

С. 218. *...истории жирондистов...* — имеется в виду книга А. де Ламартина (1790—1869) «История жирондистов» (1847).

С. 219. *...про Татьяну и про Онегина поняли...* — Речь идет о статье В. Г. Белинского «Сочинения Александра Пушкина» (Статьи восьмая и девятая, 1844—1845).

С. 221. *Горé* — вверх (*ц.-сл.*)

С. 224. *«Наш доктор сердце потерял...»* — цитата из стихотворения Ф. Н. Глинки, ставшего песней.

С. 225. *Tout passe!* — Все проходит! (*фр.*)

С. 225. *Tout change!* — Все меняется! (*фр.*)

С. 230. *Качуча* — андалузский народный танец.

С. 231. *chalet* — швейцарского домика (*фр.*)

С. 232. *...в малиновом тарлатановом...* — Тарлатан — тонкая кисея или полушелковая ткань.

С. 232. *ammaryllis* — амариллис (цветы)

С. 237. *...сто четвертей хлеба...* — мера веса; «торговая» четверть хлеба состояла приблизительно из 24 пудов зерна; «казенная» — из 9 пудов.

С. 238. *Имеющие уши — да слышат!* — ставшее пословицей библейское речение (напр.: Мф. 11: 15; 13: 9; Мк. 4: 9, 23; Откр. 2: 7, 11, 17, 29; 3: 6, 13, 22).

С. 239. *Oui, maman!* — Да, мама! (*фр.*)

С. 240. *Старый Адам* — «ветхий Адам», греховное начало в человеке. Зд.: намек на «крепостнические» привычки.

С. 242. *Merci* — Спасибо (*фр.*)

С. 243. *...сидя в своей мурье...* — Мурья — «лачуга, конура, землянка, тесное и темное жилье, пещерка» (Даль).

С. 243. *Фиваида* — пустыня в Египте, прославившаяся как место подвигов множества святых отшельников.

С. 243. *Что̀ та́кое слово ~ пустой звук...* — Возможно, аллюзия на строку из элегии А. С. Пушкина «Андрей Шенье» (1825) «Ты, слово, звук пустой...»

С. 246. *Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем...* — стихотворение А. С. Пушкина (1831 (?)).

С. 246. *...французский король ~ говорит, что «отвергнутая родными, она ему еще милее...»* — цитата из трагедии Шекспира «Король Лир» (акт I, сцена 1).

С. 247. *Вакханка* — упоминание вакханки вызвано ассоциацией со стихотворением Пушкина «Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем...»

С. 247. *...Катерина в «Исправленной строптивой»...* — Катарина, героиня комедии Шекспира «Укрощение строптивой» (1593).

С. 248. *К Гарибальди еду...* — Джузеппе Гарибальди (1807—1882), один из вождей национально-освободительного движения в Италии; здесь речь идет об освободительной войне против Австрии 1859—1860 гг.

С. 251. *...до Святой...* — до пасхальной недели.

С. 252. *Шавера* — сброд, дрянной люд (ср. у Даля «шавель»).

С. 257. *...на Фоминой...* — на второй неделе по Пасхе.

С. 259. *...кардинал Антонелли...* — Джиакомо Антонелли (1806—1876), кардинал, статс-секретарь; итальянский государственный деятель.

С. 259. *Ламорисьер* — Христофор де Ламорисьер (1806—1865), французский генерал и политический деятель.

С. 262. *...на эсе...* — на диванчике в форме буквы S.

С. 265. *Помяни нас Господи ~ во царствие Твое...* — молитва одной из служб суточного круга («изобразительных», или обедницы), восходящая к Лк. 23: 42.

С. 268. *...гугеноты ~ когда их изгнали из Франции...* — В царствование Людовика XIV, после отмены в 1685 г. Нантского эдикта ок. 200 000 французских кальвинистов (гугенотов) выехали из Франции и расселились по Европе; по социальному составу это были в основном торговцы и ремесленники.

С. 268. *Мухамед Второй* (1432—1481), турецкий султан, завоевавший в 1453 г. Константинополь.

С. 268. *...Дравы, Савы, Моравы...* — ироничное перечисление названий славянских племен, образованных от названий рек, притоков Дуная. Ср. со стихотворением А. С. Хомякова «Безвездная полночь дышала прохладой...» (1847): «Мораву, и Лабу, и дальнюю Саву, / Гремящий и синий Дунай».

С. 269. *...стихи, которые он писал дочери Карагеоргия?* — стихотворение А. С. Пушкина «Дочери Карагеоргия» («Гроза луны, свободы воин...», 1820). Карагеоргий (Георгий Черный) (1768—1817) — руководитель первого сербского восстания против турок; ему посвящено стихотворение Пушкина «Песня о Георгии Черном» из «Песен западных славян».

С. 271. *...после эманципации...* — после освобождения крестьян.

С. 272. *...со взятием Шамиля...* — Шамиль (1799—1859), имам Дагестана и Чечни, был взят в плен 26 августа 1859 г. в ауле Гуниб.

С. 272. *«Терек воет дик и злобен...»* — стихотворение М. Ю. Лермонтова «Дары Терека» (1839).

С. 272. *...«Обвал» Пушкина...* — стихотворение «Обвал» («Дробясь о мрачные скалы...», 1829).

С. 272. *«arbor vitae»* — древо жизни (*лат.*)

С. 272. *...на клепере...* — Клепер (нем. Klepper — лошаденка, кляча) — порода лошадей, разводимая на о. Эзель (Саремаа) в Балтийском море (в дореволюционной России входил в состав Лифляндской губ.).

С. 273. *Je m'en vais vous ficher un Drevosatzky!* — Я ухожу от вас прибить Древосадского! (*фр.*)

С. 273. *vous avez la logique bien serrée!* — у вас железная логика! (*фр.*)

С. 273. *Eh! voyons donc!* — Э! полноте! (*фр.*)

С. 274. *...служить по выборам.* — Служба по выборам дворянского собрания отличалась от службы «по назначению» правительства; так избирались губернские и уездные предводители дворянства, депутаты и секретари дворянских собраний, председатели и заседатели палат уголовного и гражданского суда, совестные судьи, земские исправники, почетные попечители гимназий и др.

С. 275. *elle est pleine d'attentions pour moi* — она исполнена внимания ко мне (*фр.*)

С. 276. *Лейбниц* — Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646—1716), немецкий философ, ученый и общественный деятель.

С. 276. *que c'est une âme bien réveuse!* — это очень мечтательная натура! (*фр.*)

С. 277. *Voyez vous, je suis un homme de bonne compagnie et j'ai les moeurs faciles...* — Видите ли, я человек благовоспитанный и держусь свободных нравов... (*фр.*)

С. 277. *Quant à ça!* — Что касается этого! (*фр.*)

С. 278. *...про Кази-Муллу...* — Кази-Мулла (Гази-Мухамммед, 1785—1832) — дагестанский имам, вождь мюридов, описанный А. А. Бестужевым-Марлинским в «Письмах из Дагестана»; см. о нем: *Зиссерман А.* Осада Казы-муллою Бурной и Дербента в 1831 году // *РВ.* 1864. № 12. С. 698—733.

С. 278. *...про Ермолова...* — Алексей Петрович Ермолов (1777—1861), генерал от инфантерии, участник войны 1812 г., в 1816—1827 гг. командовал Кавказским корпусом.

С. 294. *...как старая комендантша ~ в чулан...* — Имеется в виду эпизод из IV главы повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка».

С. 295. *Quelle canaille!* — Какой негодяй! (*фр.*)

С. 300. *...один был Менелай, а другой Парис...* — Менелай — в греческой мифологии сын Атрея и Аэропы, брат Агамемнона, царь Спарты, муж Елены; Парис — сын Приама и Гекубы, царевич Трои, похитивший Елену.

С. 301. *...«по камням струится Терек»* — цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Казачья колыбельная песня» (1838).

С. 302. *Vous vous êtes conduit en brave!* — Вы храбро себя вели! (*фр.*)

С. 302. *...добрые суеверия и доблестные предрассудки...* — эд. речь идет о дуэлях. Выражение «доблестные предрассудки» встречается также в письме Л. к Н. Н. Страхову от 21 января 1863 г. (ОР РНБ. Ф. 747. Ед. хр. 17. Л. 2).

С. 304. *Штосс* — азартная карточная игра.

С. 305. *Oh! Quant à ça, il était bien amusant* — О! Что касается этого, он был очень забавен (*фр.*).

С. 307. *Que tous ces diables et diablesses crêvent, je m'en soucie fort peu!* — Чтоб все эти черти и чертовки лопнули, меня это мало заботит! (*фр.*)

С. 307. *chère amie* — дорогой друг (*фр.*)

С. 307. *ma chère* — моя дорогая (*фр.*)

С. 310. *fantaisie* — причуда (*фр.*)

С. 311. *...под Духов день!..* — День Сошествия Святого Духа на апостолов, который празднуется в понедельник после дня Святой Троицы.

С. 314. *La feuille verte et pleine encore de sève ~ sur vos pâs!* — Лист зеленевший и еще полный соков / Поблек, затрепетал и пал по воле ветра; / Так все минуло, все минуло, как сон, / Как вздох, как пылкое желанье! / Ах! молите Бога, дабы даровал Он вам милость / И прекрасные дни ваши не миновали, / Как сон, не оставив следа, / Молите Бога, Который блюдет пути ваши! (*фр.*)

С. 316. *...читал ~ «Положение»...* — «Положение о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости».

С. 316. *m-r Tracy* — господином Траси

С. 317. *monsieur* — сударь (*фр.*)

С. 317. *d'un juge de paix* — мирового судьи (*фр.*)

С. 317. *...с волостным старшиною* — с главой правления волости (округа, состоящего из нескольких сел и деревень).

С. 317. *ces bons mougiks, que j'ame maintenant beaucoup et qui sont si pittoresques et si drôles!* — эти добрые мужики, которых я теперь очень люблю и которые так живописны и забавны! (*фр.*)

С. 320. *Ah! voilà, notre gros frère!..* — А! вот наш толстый брат! (*фр.*)

С. 321. *...ехать в Герцеговину.* — Речь идет о начавшемся в 1861 г. герцеговинском восстании, возглавленном Лукой Вукаловичем (1823—1873); в 1862 г. сам Л. намеревался отправиться в Герцеговину в качестве корреспондента газеты И. С. Аксакова «День».

С. 323. *...согбенный пустынник Серафим...* — св. преподобный Серафим Саровский (1759—1833). В Саровском монастыре хранились два прижизненных портрета святого, сделанные Д. Евстафьевым и Серебряковым (Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря. Изд. 2-е. Т. II. СПб., 1903. С. 497). Здесь же речь идет, скорее всего, об одном из многочисленных литографированных портретов. Согбенность (непременная деталь всех изображений преп. Серафима) — следствие перенесенного святым в 1804 г. нападения разбойников.

С. 325. *...вместе с Бастиа...* — Клод-Фредерик Бастиа (1801—1850) — французский экономист, автор труда «Harmonies économiques» (1849), откуда взято приведенное суждение.

ИСПОВЕДЬ МУЖА

Автограф неизвестен.

Датируется 1864 г. на основании авторских указаний.

Впервые: Отечественные записки. 1867. Т. CLXXIII. Кн. 7. С. 219—272. Под заглавием «Ай-Бурун». Подпись: К. Леонтьев.

Вошло в СС (Т. I. С. 595—665).

Переиздавалось: *Леонтьев К.* Египетский голубь. М., 1991.

Печатается по тексту СС с учетом авторской правки в тексте *ОЗ*.

Повесть написана в Константинополе в 1864 г., о чем упоминает сам Леонтьев (*Хронология*... Л. 4). 30 ноября того же года Леонтьев сообщает К.Н. Бестужеву-Рюмину из Адрианополя: «С этой почтой пойдет в Петерб⟨ург⟩ новая повесть «Исповедь мужа». — У Вас волосы встанут от ее безнравственности — (А в душе будете сочувствовать — я ручаюсь, не фактам отдельным, а общему духу)» (РО ИРЛИ. Ф. 27. Архив К. Н. Бестужева-Рюмина. 24 885. Л. 1 об.).

М. В. Леонтьева писала дяде 23 декабря 1864 г.: «Третьего дня получила вашу повесть и письма ⟨...⟩ Вчера вечером ⟨...⟩ я прочла Исповедь мужа. Боже мой, как это хорошо. Читаешь и точно чудный сон видишь, а вместе с тем это такая правда» (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1032. Л. 1). В этом письме Мария Владиміровна, высоко оценивая повесть, ставит образ Лизы выше многих тургеневских и лермонтовских героинь и полагает, что «про эту вещь мог бы сказать как следует только такой критик, как Белинский» (Там же. Л. 2).

В течение 1865—67 гг. решался вопрос, где может быть напечатана повесть: предполагалось поместить ее или в «Эпохе», или в «Современнике» или в «Русском слове». В сентябре 1865 г., судя по письму Марии Владиміровны (Там же. Л. 71), Леонтьев намеревался «переделать» «Исповедь мужа». Возможно, он в

какой-то степени осуществил это намерение, поскольку до июня 1867 г. он держал рукопись у себя. 14 июня Н. Н. Страхов, который тогда редактировал *ОЗ* и, по словам Марии Владиміровны, от повести был «в восторге» (Там же. Л. 94 об., 97), запрашивал разрешения Леонтьева на печатание «Исповеди мужа» в *ОЗ*: «К тому, что Вам напишет Ваш брат, я со своей стороны хочу прибавить усердную просьбу — согласиться на напечатание Вашей повести. А также — сделайте милость, пришлите то, что у Вас еще написано, или напишется. Я не имею полной власти в «Отеч⟨ественных⟩ Записках»; но, любя Ваш талант и вполне полагаясь на него, я могу обещать Вам, что употреблю всю мою силу, чтобы журнал оказывал Вам подобающий почет и прием» (ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 186. Л. 1).

Наконец повесть была опубликована в этом журнале по копии, находившейся у М. В. Леонтьевой, и под неавторизованным заглавием «Ай-Бурун». 18 августа 1867 г. К. А. Губастов, прочитавший в газете «Голос» (№ 210) объявление о выходе июльской книжки *ОЗ* с повестью «Ай-бурун», выражал свое удивление в письме Леонтьеву: «Что это такое? Сколько помню, «Исповедь мужа» была так озаглавлена в первой рукописи; значит Страхов поместил Ваш роман не дождавшись Вашего ответа! Я не думаю, чтобы эта новость (если только это еще для Вас новость?) Вам особенно понравилась ⟨...⟩ Вот видите, что значит медлить!» (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 109. Л. 17—17 об.).

В ответ на негодование Леонтьева его племянница писала 22 сентября 1867 г.: «Напрасно только вы так сердитесь за название Ай-бурун. — По-моему название *Исповедь мужа*, гораздо обыкновеннее, и Ай-Бурун скорее может заинтересовать. — Впрочем я сужу по себе. — А отдельная продажа не пойдет ⟨...⟩ Изящной литературой у нас и забыли заниматься. — Ни Ай-Бурун, ни Исповедь мужа, равно, почти не читаются, будь они напечатаны в Июле, или в Декабре, еще летом журналы больше читаются, чем зимой. — Критиков тоже нет. — ⟨...⟩ Тургенева не читают! Вот до чего мы дожили» (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1032. Л. 102).

Позднее М. В. Леонтьева признала ошибочным своевольное изменение авторского заглавия и просила Фуделя поместить повесть в *СС* под первоначальным названием (РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1 Ед. хр. 102. Л. 33).[1]

---

[1] Тем не менее сам Леонтьев в «Хронологии моей жизни» и в письме Вс. С. Соловьеву от 15 янв. 1877 (РГИА. Ф. 1120. Оп. 1. Ед. хр. 98. Л. 52-52 об.) называл повесть «Ай-Бурун».

На одном из экземпляров публикации *ОЗ* Леонтьев осуществил правку текста, в которой, надо полагать, частично отразилась задуманная ранее «переделка» повести. Так, например, радикально изменено окончание: вместо объективно-отчужденного голоса повествователя и наследников, осудивших героя, звучит исполненный боли и отчаяния голос мужа, потерявшего со смертью Лизы все. Эта правка не была известна Фуделю и впервые учтена в нашем издании.

Леонтьев перевел повесть на французский язык и отослал П. Мериме, который отвечал письмом от 11 апреля 1867 г., содержащим скептическую оценку повести и недоумение по поводу характера главного героя (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 178); сходные отзывы заключены в письмах Мериме к И. С. Тургеневу от 7 мая и 1 июля 1867 г. (*Леонтьев К.* Избранные письма. СПб., 1993. С. 48—50). Существует черновик ответного письма Леонтьева (на русском языке), в котором он благодарит Мериме за «грубую откровенность оценки», в то же время не соглашаясь с мнением корреспондента (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 55).

Следует отметить, что основной мотив повести — желание героя быть для Лизы одновременно мужем и отцом — уже давно занимал творческое воображение Леонтьева и впервые сказался еще в ранней повести «Благодарность», где получил развитие в образе Ангста.

Непосредственные источники и прототипы героев повести не выявлены, но направление для предстоящих разысканий может дать письмо феодосийской знакомой Леонтьева А. А. Мызниковой от 13 мая 1861 года, где рассказывается о судьбе известной писателю семьи. «Вы всегда хотите знать, что у нас делается, может быть, Вы еще не знаете, что муж Эвелины Петровны Котляр⟨евской?⟩ в одну февральскую ночь, послал себе в рот заряд пистолета, и так искусно, что и не вздрогнул. Вот жизнь, которая может служить хорошим сюжетом для романа! Т. е. жизнь Mme Charpentier.[2] Причины смерти не известны; но как бы то ни было, она вдова, и совершенно разорена» (ОР ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 183. Л. 4об.).[3]

---

[2] Фамилию Charpentier Л. использует также в романе «В своем краю».

[3] В письмах А. А. и А. Х. Мызниковых неоднократно упоминается также *Лиза* (Елизавета Осиповна Шафрановская).

С. 329. *Дальтон* — Джон Дальтон (1766—1844), английский физик и химик, описавший нарушение цветового зрения и сам страдавший этой болезнью.

С. 330. *Авраам* — библейский патриарх, покинувший землю отцов, чтобы пойти в землю, указанную Богом и дать начало новому народу.

С. 330. *...это мои именины.* — 15(28) июля — день св. равноапостольного великого князя Владиміра.

С. 331. *Мохамедане* — мусульмане.

С. 335. *«Друзья, молодость наша не вечна!»* — начало куплетов Орсино из оперы Гаэтано Доницетти (1797—1848) «Лукреция Борджиа» (1833); см. анонимный стихотворный перевод «Песня Орсино из оперы „Лукреция Борджия", музыка Г. Доницетти, петая Г-жею Вьетти» (М., [1844]. С. 5; здесь — «Други! Молодость наша не вечна...»). См. также переведенное на русский язык либретто: *Романи Ф.* Лукреция Борджиа. Мелодрама-опера в трех действиях. СПб., 1859. С. 67, 69.

С. 337. *...в казенном саду...* — Имеется в виду Никитский ботанический сад, основанный в 1812 г. недалеко от Ялты.

С. 337. *Cistus taurica* — Cistus tauricus, ладанник крымский, розан каменный — растение из рода цистовых, невысокий кустарник, выделяющий ароматную камедь (ладан).

С. 337. *Melia Azederach* — цедрах обыкновенный, азедерак, или святое дерево, — растение из семейства мелиевых, невысокое дерево, листьями напоминающее ясень, а цветами — сирень. Из косточек его делают четки.

С. 337. *Salisburia Adiantifolia или Gincko biloba* — Ginkgo, гинкго двулопастный, реликтовое растение субтропиков, высокое, до 30—40 метров дерево.

С. 338. *...читает Дюма и Поля Феваля...* — Поль Феваль (1817—1887), французский писатель, автор занимательных романов.

С. 338. *«Les crimes célèbres»* — «Знаменитые преступления», книга А. Дюма.

С. 339. *6-го января ~ Что за день сегодня!* — 6 (19) января празднуется день Крещения Господня.

С. 340. *«Кто видел край, где роскошью природы ~ бегущие суда»* — неточно цитируется стихотворение Пушкина «Кто видел край, где роскошью природы...» (1821).

С. 341. *...в Мангун-Кале жил их герцог...* — правильно: Мангуп-Кале; город-крепость Мангуп был центром готского княжества Феодоро и Готской епархии.

С. 344. *La vertu conjugale est le courage et l'honneur de la femme!* — Супружеская добродетель дает смелость женщине и составляет ее честь! (*фр.*)

С. 344. *vertu conjugale* — супружеская добродетель (*фр.*)

С. 348. *...пела ~ «Во лузях, во зеленыих лузях»...* — возможно, выбор этой хороводной песни обусловлен тем, что в ней девушка просит не отдавать ее «за старого за мужа».

С. 350. *...фельдцехмейстер фон-Гесс...* — Генрих фон Гесс (1783—1863), австрийский генерал.

С. 352. *...о будущих бомбардировках.* — Первая бомбардировка Одессы союзным флотом произошла 8 апреля 1854 г.

С. 352. *В Варне был большой пожар.* — Пожар в Варне, уничтоживший торговую часть города, в том числе склады сосредоточенных здесь французских и английских войск, произошел 29 июля 1854 г. Это событие, а также предшествовавшая ему эпидемия холеры ускорили выход союзных войск из Варны и высадку в Крыму.

С. 352. *Высадка* — высадка союзных войск на Крымский полуостров (у Евпатории), состоявшаяся 2 сентября 1854 г.

С. 352. *...несчастное сражение под Альмой...* — первое крупное сражение Крымской войны (7—8 сентября 1854 г.), в котором русские потерпели поражение.

С. 352. *...Севастополь осажден.* — Севастополь был осажден в конце сентября — начале октября 1854 г.

С. 352. *Баши-бузуки* — сорви-голова (*тур.*), иррегулярная кавалерия в турецкой армии, набранная из диких воинственных племен.

С. 353. *Англичане занимают Балаклаву.* — английские войска заняли Балаклаву 14 сентября 1854 г.

С. 354. *couronnes ducales* — герцогские короны (*фр.*)

С. 354. *Le 47 de ligne a passé par là! Adieu messieurs les russes!* — 47 пехотный полк проходил тут! Прощайте, господа русские! (*фр.*)

С. 354. *Погибла картина Айвазовского...* — Иван Константинович Айвазовский (1817—1900), русский художник-маринист; во время Крымской войны Л. посетил его мастерскую.

С. 355. *Народ чистый, уродливый!* — Уродли́вый (вроди́вий) — красивый (*укр.*).

С. 355. *...«Колыбельную песню» Лермонтова...* — стихотворение «Казачья колыбельная песня» (1838), ставшее песней.

С. 356. *...штурм отбит от Малахова Кургана ~ генерал Хрулев...* — генерал Степан Александрович Хрулев (1807—1870) возглавил оборону Малахова кургана 18 июня 1855 г.

С. 356. *«Courrier de la Tauride!»* — «Курьер Тавриды!» (*фр.*)

С. 357. *...на бульваре около Салгира...* — Имеется в виду городской сад у губернаторского дома; Салгир — река, которая делит Симферополь на две части, западную и восточную.

С. 358. *Тарлатан* — см. прим. на с. 445.

С. 358. *ah! bah! vous n'êtes pas dégouté!* — вот как! вы неприхотливы! (*фр.*)

С. 358. *Cache-peigne* — кашпень, вид женской прически.

С. 361. *...родом с Ионических островов...* — острова, расположенные вдоль западного побережья Пелопонесского полуострова, в описываемое здесь время находились под протекторатом Англии; территорией Греции стали в 1864 г.

С. 362. *l'on s'y attend toujours! L'hospitalité russe est connue!* — Ведь всегда этого и ждешь! Русское гостеприимство известно! (*фр.*)

С. 363. *Фустанелла* — у греков и албанцев мужская одежда в виде юбки.

С. 363. *Лист* — Ференц Лист (1811—1856), венгерский композитор.

С. 363. *Ройе-Коллар* — Пьер Поль Руайе-Коллар (1763—1845), французский политический деятель, философ, адвокат, публицист; принимал участие в событиях Великой французской революции, впоследствии играл видную роль в восстановлении монархии Бурбонов.

С. 363. *Mavroguéni est un brave garçon, mais c'est une tête un peu felée* — Маврогени славный малый, но немного сумасброд (буквально: «это немного треснутая голова», *фр.*)

С. 364. *Штуцер* — старинное нарезное ружье.

С. 364. *Voilà, monsieur, la bajonette française qui fait trembler toute l'Europe!* — Вот, сударь, французский штык, который заставил дрожать всю Европу! (*фр.*)

С. 364. *Eh bien! j'ai eu tort! Je l'avoue!* — Ну ладно! я виноват! Признаю! (*фр.*)

С. 366. *Севастополь отдан* — 27 августа 1855 г.

С. 366. *...во время первого штурма...* — Имеется в виду штурм Севастополя, отбитый русскими войсками в июне 1854 г.

С. 367. *...к генералу Боске...* — Пьер-Жозеф-Франсуа Боске (1810—1861), генерал, во время Восточной войны командовал 2-м корпусом французской армии; впоследствии — маршал Франции.

С. 368. *...русский монастырь.* — Возможно, речь идет о Балаклавском Георгиевском монестыре (IX в.), занятом в сентябре 1854 г. союзными войсками.

С. 368. *Румелия* — турецкая провинция на Балканском полуострове.

С. 369. *Коран говорит: «Богу угодно, чтоб были и добрые и злые...»* — источник цитаты не установлен.

С. 370. *С мечом за поясом...* — позднее эта песня была использована Л. в повести «Аспазия Ламприди».

С. 370. *Ты ангел мой!..* — к этой песне Л. обращается еще раз в романе «Одиссей Полихрониадес».

С. 375. *Мир заключен...* — Парижский мирный договор был подписан 18 (30) марта 1856 г.

С. 377. *«Bazar de la Gloire!»* — «Базар Славы!» (*фр.*)

С. 377. *«Ici reposent des soldats français».* — «Здесь покоятся французские солдаты» (*фр.*).

С. 377. *«boeuf bouilli, 16 rations»* — «говядина вареная, 16 порций» (*фр.*)

С. 377. *«Times»* — «Таймс», англійская газета.

С. 378. *...фонтан Марии...* — т. н. «фонтан слез» в Бахчисарайском дворце; памятник, который легенда, использованная А. С. Пушкиным, связывала с пленницей хана Крым-Гирея Марией Потоцкой.

С. 378. *...ездили на Судаг ~ в огромную пещеру...* — Судак (Сугдея, Сурож) — древний город-крепость в Крыму.

С. 379. *Аанум* — ханум, госпожа (*татар.*).

С. 380. *...монастырь далеко отсюда ~ Кизиль-Таш.* — Киновия св. Стефана Сурожского, основанная в 1851 г. и открытая по благословению архиепископа Иннокентия (Борисова) в 1856 г. в урочище Кизильташ в 35 верстах от Феодосии.

С. 385. *...был влюблен в Зинаиду К...* — здесь, как и в романе «В своем краю» (см. прим. на с. 445) использованы автобиографические детали.

С. 385. *...«больной сын больного века»...* — лейтмотив романа А. де Мюссе «Исповедь сына века» (1836).

С. 390. *...назвал его фанариотом...* — Фанариот — буквально: житель Фанара, привилегированного греческого квартала Стамбула, где находится Патриархия; в переносном смысле: консервативный, осторожный, «политичный», как высокопоставленные греки — турецкие подданные (Ср. в «Письмах о восточных делах»: «Фанариоты ⟨...⟩ от греков афинских отличаются тем, что они *охранительнее* этих последних...» // *Леонтьев К.* Вос-

ток, Россия и Славянство. М., 1996. С. 361). Для Маврогени — жителя свободных от «турецкого ига» Ионических островов — это название звучало как оскорбление.

ВАРИАНТЫ И РАЗНОЧТЕНИЯ

С. 417. *Pawlovia Imperialis* — Paulownia imperialis, адамово дерево, павловния войлочная — южное растение семейства бигониевых, довольно высокое дерево с крупными листьями.

СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

АРХИВОХРАНИЛИЩА И РУКОПИСНЫЕ ИСТОЧНИКИ

ОР ГЛМ — отдел рукописных фондов Государственного литературного музея (Москва)

ОР РНБ — отдел рукописей Российской национальной библиотеки (СПб)

РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства (Москва)

РГИА — Российский государственный исторический архив (СПб)

РО ИРЛИ — рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский дом) РАН (СПб)

Хронология... — Хронология моей жизни (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1006).

ПЕЧАТНЫЕ ИСТОЧНИКИ

ЛН — Литературное наследство. Т. 22—24. М., 1935.

ОЗ — «Отечественные записки»

ОИ — отдельное издание (Леонтьев К. В своем краю. СПб., 1864)

РВ — «Русский вестник»

РО — «Русское обозрение»

С — «Современник»

СС — Леонтьев К.Н. Собр. соч.: В 9 т. СПб.; М., 1912—1913.

СОДЕРЖАНИЕ

В своем краю
Часть I 7
Часть II 126

Исповедь мужа 328

Варианты и разночтения
В своем краю 399
Исповедь мужа 417

Комментарии 423

Список условных сокращений 458

КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ
ЛЕОНТЬЕВ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЕ И ПИСЕМ
В 12-ТИ ТОМАХ

Том II

Утверждено к печати
Редколлегией полного собрания сочинений
К. Н. Леонтьева

Лицензия № 000190 от 03 июня 1999 г.
Подписано к печати 25.10.2000. Формат 60×90 1/16. Бумага офсетная
Гарнитура Академическая. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 29.0. Уч.-изд. л. 22.4. Тираж 2000 экз.
Тип. зак. №. 3600

Издательство «Владимир Даль»
193036. Санкт-Петербург, ул. 7-я Советская, д. 19

Отпечатано с оригинал-макета
в Академической типографии «Наука» РАН
199034, Санкт-Петербург, 9 линия, 12

К. Н. ЛЕОНТЬЕВ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ И ПИСЕМ В 12 ТОМАХ

ТОМ ТРЕТИЙ

В третий том войдут произведения «восточного» цикла. «Хризо», «Пембе», «Хамид и Маноли» — именно эти повести Леонтьев ценил больше всего. Повесть «Аспазия Ламприди» в дипломатических кругах 1870-х годов считалась своеобразным учебником для русских консулов на Востоке. Согласно воле автора, говорившего о неполноте трехтомника «Из жизни христиан в Турции» (1876), в этот же том включена и повесть «Сфакиот». Продолжение цикла — в четвертом и пятом томах. Впервые публикуются два стихотворения Леонтьева, написанные в Янине. Приводятся разночтения по журнальным редакциям и прижизненному изданию 1876 г.; подробный текстологический, историко-литературный и реальный комментарий.